Пикуль В.С.

Три возраста Окини-сан

Супружеской чете Авраамовых — Эре Павловне и Георгию Николаевичу, в семье которых уже три поколения служат Отечеству на морях

Возраст первый. Далекие огни Иносы
Возраст второй. Расстрел аргонавтов
Возраст третий. Vae victis

Возраст первый.

Далекие огни Иносы

Вдвоем или своим путем,
И как зовут, и что потом.
Мы не спросили ни о чем,
И не клянемся, что до гроба...
Мы любим. Просто любим оба.
Есано Акико

Это случилось недавно — всего лишь сто лет назад. Крепкий ветер кружил над застывшими гаванями... Владивосток, небольшой флотский поселок, отстраивался неряшливо и без плана, а каждый гвоздь или кирпич, необходимый для создания города, прежде совершал кругосветное плавание. Флот связывал окраину со страной по широкой дуге океанов, корабли дважды пересекали экватор. Экипажи, готовые миновать не один климатический пояс, запасались тулупчиками от морозов и пробковыми шлемами от солнечных ожогов в тропиках. Европа прощалась с ними в тавернах Кадиса — теплым amontiliado в бокалах и танцами испанок под гитару.

Оторванность от метрополии была невыносимо тягостна. Город еще не имел связи с центральной Россией, во тьме океанской пучины он выстелил лишь два телеграфных кабеля — до Шанхая и Нагасаки. Восточный фасад великой империи имел заманчивое будущее, но его оформление было нелегким. Дороговизна царила тут страшная. Книжонка, стоившая в Москве полтину, дорожала в дороге столь быстро, что попадала во Владивосток ценою уже в пять рублей. Тигры еще забегали из тайги в город, выедали из будок сторожевых собачек, по ночам кидались на часовых у складов, до костей обгладывали

носильщиков-кули. Нищие обычно говорят: "Что бог даст"; во Владивостоке говорили: "Что флот даст". Флот давал все — даже кочерги и печные вьюшки, лопаты и колеса для телег, матросы лудили бабкам кастрюли, боцмана, кляня все на свете, паяли дырявые самовары

Здесь, на краю России, было неуютно людям и неудобно кораблям.

Сибирская флотилия (эта одичалая и отверженная мать будущего Тихоокеанского флота) имела тогда в Японии постоянные "станции", где корабли привыкли зимовать, как в раю, и ремонтироваться, как у себя дома. Дальний Восток приманивал моряков не только первобытной романтикой: тут платили повышенное жалованье, возникало больше надежд на скорую карьеру. Правда, не хватало женщин, и любая невеста, на которую в Сызрани никто бы и не посмотрел, здесь, во Владивостоке, становилась капризна, отлично разбираясь в числе шевронов на рукавах матросов, в количестве звезд на офицерских эполетах.

Один за другим плыли и плыли корабли океанами!

А великое постоянство пассатов сокращало пути-дороги.

Пора заглянуть в календарь: была весна 1880 года...

К тому времени Владивосток уже обзавелся собственным гербом: уссурийский тигр держал в лапах два золотых якоря.

Подхваченный ликованием весенних пассатов, парусно-винтовой клипер "Наездник" пересек Атлантику по диагонали, спускаясь к устью Ла-Платы, откуда мощный океанский сквозняк потянул его дальше — к мысу Доброй Надежды. В паузах неизбежных штилей офицеры допили казенную мадеру, команда прикончила последнюю бочку солонины. В запасе оставались жирный, никогда не унывающий поросенок и две ласковые газели, закупленные у португальцев На островах Зеленого Мыса.

Пустить их в общий котел команда отказалась.

— Помилуйте, вашбродь, — доказывали матросы, — они же с нами играются, как детки малые, а мы их жрать будем?

— Но тогда вам предстоит сидеть на одной чечевице. Без мяса, —

пригрозил командир, — до самого Кейптауна...

Офицеры доедали жесткие мясные консервы, которые мичман Леня Эйлер (потомок великого математика) прозвал "мощами бригадира, геройски павшего от почечуйной болезни". Русский консул в Кейптауне оказался большим растяпой: почту для "Джигита" передал на "Всадника", а почту для "Всадника" вручил экипажу "Наездника". Старший офицер клипера Петр Иванович Чайковский флегматично рассуждал за ужином в кают-компании:

— Не бить же нам его, глупенького! Очевидно, консулу никак не освоить разницы между всадником, джигитом и наездником... Господа, — напомнил он, — прошу избегать закоулков по "изучению древних языков" мира. Обойдетесь и без этого! Лучше мы посетим обсерваторию Капстада, где установлен величайший телескоп. Созерцание южных созвездий доставит вам удовольствие больше, нежели бы вы глазели на танец живота местной чертовки. Молодежь флота обязана проводить время плавания с практической пользой.

При этом Чайковский (педант!) выразительно посмотрел на мичмана Владимира Коковцева, которому лишь недавно было дозволено нести ночную вахту под парусами. Совсем молоденький мичман, конечно, не удержался от вопроса — правда ли, что в Японии можно завести временную жену, никак не отвечая за последствия этого странного конкубината?

— Все так и делают... Но я не сказал еще главного, — продолжил старший офицер клипера, раздвоив пальцами бороду. — Консул передал распоряжение из-под "шпица" не полагаться на одни лишь ветры, а помогать парусам машиною. На смену восточному кризису в делах Памира, из которого нам, русским, лаптей не

сплести, явился кризис дальневосточный, и тут запахло гашишем. Лондон все-таки убедил пекинских мудрецов, чтобы собрали свои армии у Кульджи для нападения на Россию! Поэтому будем поторапливаться в Нагасаки, где "дядька Степан" собирает эскадру в двадцать два боевых вымпела...

Время было неспокойное: Англия, этот искусный машинист международных интриг, наслаивала один кризис на другой, держа мир в постоянном напряжении; "викторианцы" окружали Россию своими

базами, угольными складами и гарнизонами, они нарочно запутывали политику, и без того уже запутанную дипломатами. Со дня на день русские люди ожидали войны.

Минный офицер, лейтенант Атрыганьев, в свои тридцать пять лет казался мичманам уже стариком. Коллекционер в душе, он бдительно суммировал плутни коварного Альбиона, любовно наблюдал за нравами женщин всего мира и был неплохим знатоком японского фарфора. Сейчас лейтенант сказал:

— Господа! Вам не кажется трагичным положение нашего российского флота? Ведь мы крутимся вокруг "шарика" с протянутой дланью, словно нищие. Пока что англичане торгуют углем и бананами, но представьте, что однажды они заявят открыто: stopping!.. Интересно, куда мы денемся?..

Кейптаун был переполнен британскими солдатами в красных мундирах, спекулянтами и аферистами, шулерами и куртизанками: одни понаехали, чтобы размозжить, пушками восстание зулусов, другие -нажиться на "алмазной лихорадке", уже сотрясавшей разгневанную Африку; внутри Черного континента империализм свивал мерзкое гнездо, в котором пригрелся Сэсил Роде, основатель будущей Родезии... Скромно и трезво экипаж "Наездника" встретил здесь пасху — пудингами, вместо куличей, и аляповато раскрашенными яйцами страусов; веселья не было! Потом, законопатив рассохшиеся в тропиках палубы и обтянув такелаж, ослабленный в штормах, клипер стремглав вырвался в Индийский океан; на южных широтах Антарктида дохнула такими метелями, что каждому невольно вспомнилась русская зима-зимушка. И было даже странно, повернув к северу, ощущать нарастающее тепло. А скоро матросы стали шляться по палубам босиком, как в родимой деревне. Из распахнутых люков кают-компании доносилось бренчание рояля, Ленечка Эйлер музицировал, а юные офицеры горестно ему подпевали:

В переулке за дачною станцией,
Когда пели вокруг соловьи,
Гимназисточка в белых акациях
Мне призналась в безумной любви.

О, неверная! Где же вы, где же вы?
И какой карнавал вас кружит?
Вспоминаю вас в платьице бежевом.
Вспоминаю, а сердце дрожит...
Эйлер с громким стуком захлопнул крышку рояля:
— Самое печальное, что у меня ведь так и было: тишайший дачный полустанок за Лугою, белая акация и... Однако легко же нам прокладывать курсы на картах и так трудно понимать сердцем, что все былое осталось далеко от тебя.
Атрыганьев с затаенной усмешкой раскуривал сигару:
— Вовочка, теперь мы ждем признания от тебя. Коковцев стыдился говорить о своих чувствах. Он сказал, что отец его Оленьки служит по министерству финансов. Уже статский советник.
— Что еще? — задумался он. — Кажется, триста десятин на Полтавщине. Она очень хороша, господа... даже очень!
— Догадываюсь и сам, — захохотал Атрыганьев. — Где же ей быть очень плохой, если она с ног до головы обляпана жирным полтавским черноземом.
— Простите, но это гафф! — обиделся Коковцев. К "гаффам" флот причислял все неуместные остроты, плоские шутки или бестактные неловкости. Атрыганьев сказал:
— С тех пор как нам в последний раз мигнул маяк Кадиса, "дядька Степан" в Нагасаки ожидает нас с нетерпением, а в Питере стали понемножку забывать. Но я так и не понял — была ли у тебя акация с полустанком, как у Ленечки Эйлера?
— Акация уже отцвела, но зато распускался жасмин.
— Вовочка, тебе повезло, — ответил Атрыганьев и крикнул в буфет, чтобы "чистяки" подали ему чаю...
Корабельные офицеры жили замкнутой корпорацией, отгородясь от не посвященных в их тайны множеством старомодных традиций; между флотом и берегом был выстроен барьер мало кому понятной морской терминологии, которую офицеры осложнили еще и бытовым жаргоном: "Кронштадт" у них — жиденький чаек с сахаром, "адвокат" — чай крепкий с лимоном, "чистяки" — вестовые, "чернослив" — уголь, Петербургское Адмиралтейство — "шпиц", земля с океанами — просто

"шарик", "хомяк" — офицер, избегающий женщин. Наконец, адмирал Лесовский был просто "дядькой Степаном".

Разобраться трудно, но при желании всегда можно...

* * *

Шли Зондским проливом, оставив по траверзу вулкан Кракатау (сорок тысяч жителей голландской Батавии, привычные к его содроганиям, еще не ведали, что им осталось жить всего два года). "Всадник" и "Джигит" прошли на Дальний Восток раньше "Наездника", но в Маниле стало известно, что недавно здесь брал воду клипер "Разбойник" под командой Карла Шарло де Ливрона, и это возбудило в экипаже спортивную ревность:

— Хорошо бы нам догнать разбойников и перегнать!

Чайковский остудил горячие головы юных мичманов.

— Ничего не получится, — сказал он. — Шарло де Ливрон подобрал отчаянный экипаж. Даже в сильный ветер не убирают брамселей, катят с большим креном, черпая воду бортами. Что вы, господа? Разве за Шарло кто угонится?..

На Филиппинах повстречали и земляков. Серая толпа крестьян, парившихся в нагольных тулупах и валенках, бабы в суровых платках тянулись на кладбище Манилы — хоронить умерших на чужбине. Коковцев окликнул похоронную процессию:

— Земляки! Вы бы хоть валенки скинули...

Это были переселенцы из оскудевшей России, которых ожидала Россия дальневосточная, в дебрях Амуро-Уссурийской тайги народ брался поднять целину, бросить в нее сытное зерно.

— Да нам чиновники сказывали, бытто далече от Расеи холода ишо пуще! Вот и тащим на себе от самой Одесты...

Юность щедра: она транжирит время и расстояния, она не жалеет денег, и мичман Коковцев, раскрыв бумажник, одарил земляков деньгами, велел накупить фруктов для детворы.

— А отсюда до России, — объяснил он, — совсем уж близко: Гонконг, Формоза, Шанхай, Нагасаки, и... вы дома! Потерпите. Нет ли средь вас псковских кого? Сам-то я Порховского уезда, маменька у меня там в именьице... скучает, бедная!

"Наездник" снова распустил паруса. Чего только не передумается

юноше в океане с ноль-ноля до ноль-четырех. "Ах, маменька, маменька, отчего вы такая глупенькая?" Вспомнилось, как недавно навестил родительницу в ее захудалом порховском затишье. Счастливая, она возила Вовочку по сородичам и соседям — обязательно при шпаге, при треуголке и аксельбанте гардемарина. Напрасно он доказывал, что в будние дни к мундиру полагается кортик, маменька распалилась: 'Уважь мою гордость — не ножиком, а саблей!" И весь отпуск Коковцев стыдливо ежился под жадными взорами уездных барышень, с тоскою озиравших морское чудо-юдо... Накануне отплытия в Японию Коковцев сдал экзамен на чин мичмана, а невесту отыскал, как это ни странно, в лягушатнике прудов парголовского парка. Хорошенькая девушка, спасая на глубине щенка-спаниеля, сама начала тонуть, но бравый мичман вытянул на берег обоих -девицу за прическу, а щенка за ухо. После этого купания, заранее влюбленный, Коковцев появился в богатом доме на Кронверкском проспекте, где события развивались стремительно: спаниель при виде своего спасителя от счастья напустил в прихожей большую лужу, а Оленька дала на прощание поцеловать руку и обещала ждать — хоть всю жизнь... Эта волшебная сказка вдруг покрылась мутной водой, и мичман, абсолютно голый, но при сабле и эполетах, оказался на шканцах незнакомого корабля, наступив босыми ногами в центр круга с надписью: "Here Nelson fell" (Здесь пал Нельсон)!

— Вы спите? — пробудил его голос старшего офицера. — Между тем здесь следует опасаться клиперов из Кантона, которые носятся по морю, как настеганные, с дрыхнущими командами, а ветер задувает им бортовые и мачтовые огни.

— Извините, Петр Иванович, — очнулся от дремы Коковцев. — Я не сплю, просто кое-что вспомнилось.

На русских кораблях обращение в чинах презиралось, офицеры величали друг друга по имени-отчеству. Порывистый ветер завернул бороду Чайковского на его плечо, он сердито указал обтянуть грота-марсель и пробурчал:

— О чем вспоминать мичману, стоящему вахту?

— Да так... сущую ерунду.

— Эта ерунда, конечно, не удержалась: дала вам клятву?

— Да, Петр Иванович, я тоже не удержался... дал!

Крепко обругав извержения копоти из трубы, изгадившей белизну парусной романтики флота, Чайковский отправился в каюту — досыпать. В четыре часа ночи на мостик поднялся Атрыганьев, но Коковцев, сдав ему вахту, не спешил прильнуть к подушке. Минный офицер рассуждал:

— Иногда полезно разложить карту мира: все каналы и проливы, выступы суши и бухты с отличным грунтом украшены британскими флагами. А мы, несчастные, плаваем от Кронштадта до Камчатки, не имея даже угольных станций. И лишь в самом конце пути, когда до родины остается рукой подать, Япония открывает перед нами свои уютные гавани, не жалея для нас пресной воды, удобства доков, хорошего угля, сладкой хурмы и улыбок обаятельных женщин... Мне скучно в Европе, Вовочка, — сказал минер клипера, — я давно уже стал неисправимым поклонником Востока!

Звездное небо быстро пролетало над гудящими от напряжения мачтами: "Наездник" лихо поглощал пространство. Загадочная страна таилась за горизонтом, и слабые контуры неведомой жизни, как бы вырастающей из глубоких недр пробуждавшейся Азии, казалось, уже заколебались над многовековой бездной...

Высокий маяк Нагасаки, окруженный лесом утонченных пиний, послал в океан короткий, тревожащий душу проблеск.

Япония вступала в тринадцатый год "эпохи Мэйдзи".

* * *

Она уже восприняла от Европы железные дороги и оспопрививание, организацию почты и фотографирование преступников в фас и профиль, она одела военных в европейские мундиры. Нагасаки таился в глубине живописной бухты, заставленной кораблями. Над городом нависала гора, заросшая камфорными дубами и другими старыми деревьями, в их зелени виднелся храм Осува, во дворе которого японцы хранили бронзового коня Будды...

"Разбойник" был уже здесь. Де Ливрон окликнул:

— Наездники! Сколько шли от Кронштадта?

— Двести сорок три дня, — отвечали с клипера.

— Без аварии?

— Как по маслу...

Так вот она, эта непостижимая Япония: розовые кущи миндаля и белый цвет мандариновых рощиц.

— Чем пахнет? — вопросил Чайковский.

— Керосином, — быстро принюхался Эйлер.

— Да! Вон разгружается пароход из Одессы, привезший японцам бочки от нашего Нобеля... Салют наций — огонь!

Комендоры выбили из стволов звонкие стаканы, зарядили орудия снова — адмирал Лесовский, этот буйный "дядька Степан", уже выжидал с "Европы" своей порции уважения, как заядлый пьяница ждет в гостях рюмочки водки.

— Флагу адмирала... салют! — Затем Чайковский спо койно снял перчатки. — Поздравляю, господа: мы в Японии. Эй, на баке: стопора наложить. Эй, в плутонгах: от пушек отойти!.. Бог уж с ним, с этим вонючим керосином, — заключил он. — Но вы, молодежь, все-таки дышите глубже. Япония имеет особый аромат, и, кстати, волосы японских женщин таят в себе невыразимое благоухание этой удивительной страны...

...Четверть тысячелетия Японией управлял клан могучих сегунов из самурайского рода Токугава, а сам микадо, потомок солнечной богини Аматэрасу, наслаждался бессильным величием в вычурных садах Киото. Самоизоляция страны напоминала пожизненное заключение: одно поколение сменяло другое, а сёгунат не допускал общения с иностранцами. Японцам же, побывавшим в чужих краях, грозила смертная казнь по возвращении на родину. Островитяне были уверены, что все европейцы "варвары". Но морские бури не раз выносили японских рыбаков на чужие берега. Россия японцев крестила, они полностью растворялись в нашей разгульной жизни. Какова же была растерянность сёгуната в XVIII веке, когда стало известно, что в Сибири существует школа, в которой сами же японцы преподают русским свой язык... Между тем народ Японии никогда не был народом покорным. В 1867 году Токугава были вынуждены передать власть микадо Муцухито, еще мальчику, который из Киото переехал в город Эдо, сделав его столицей с новым названием -

Токио... Так начиналась бурная "эпоха Мэйдзи" (1867 -1912)! А сейчас с рейда "Наезднику" салютовали корабли многих стран, и лейтенант Атрыганьев обратил внимание мичманов на это забавное космополитическое соседство вымпелов — как результат политики открытых дверей:

— В газетах пишут, что капитализм нуждается в новых рынках сбыта. Как это понять — не знаю. Наверное, когда товар сильно подмочен и покрылся плесенью, королева Виктория дремлет уже вполглаза, обеспокоенная — кому бы продать свое барахло подороже? А тут открылась веселая лавочка в Японии...

Открывшись перед миром, японцы поначалу давали очень мало — зонтики и гравюры, веревки и циновки, изящные веера и легенды о преданных гейшах, умеющих любить с изощренной тонкостью. Но зато брали японцы

у своих нахальных "открывателей" чересчур много — секреты закалки бессемеровской стали и котлы системы Бельвилля, локомотивы фирмы Борзига и оптические линзы Цейса. С каждым годом Япония смелее вторгалась в международную жизнь, алчно перенимая все подряд, что попадалось на глаза, будь то пушечные затворы, изобретенные на заводах Армстронга, или исполнение капельмейстером Эккертом "Марша Бисмарка" на духовых инструментах. Казалось, островитяне действовали по принципу заядлых барахольщиков: вали все в одну кучу, потом разберемся...

С высоты марсов, закрепив паруса, матросы уже сбегали по вантам на палубу, как ловкие акробаты сыплются на манеж из-под купола цирка. Стало тихо. Коковцев расслышал стрекотание цикад на берегу, далекую музыку. Леня Эйлер спросил его:

— Тебе не кажется, что на этом берегу нас ожидает нечто странное? Такое, что никогда больше не повторится.

— Меня пленяет эта музыка, — ответил Коковцев.

— Играют японки, — пояснил Чайковский. — Очевидно, офицеры с наших крейсеров мотают последние деньги на иносских красавиц. Вы, — сказал он Коковцеву, — не туда смотрите: огни Иносы светят нам по левому борту. Когда-то была деревенька, а теперь стала пригородом Нагасаки...

В темнеющей зелени садов разгорались бумажные-фонарики. Атрыганьев спрыгнул на мостик с ходового "банкета":

— Вы не поверите! Когда я был в Нагасаки четыре года назад, нас окружили лодки — фунэ, с которых японцы торговали дочерьми, словно дешевой редиской. Теперь по указу микадо девиц разрешено продавать только на фабрики. Временное житейское счастье обретается в Японии по контракту. Этот обычай здесь никого не смущает, и вы, хомяки, не смущайтесь...

Офицеры покинули мостик, а Коковцев еще долго впитывал в себя запахи чужой, незнакомой земли. Большая противная крыса, волоча по палубе облысевший от старости хвост, протащила в люк сухарь, украденный у зазевавшегося матроса.

* * *

Мичман нехотя спустился в кают-компанию. На столе валялись огрызки ананасов, початые коробки манильских сигар. Между абажурами, раскачивая их, прыгали резвые обезьяны.

— О чем разговор, господа?

— Обсуждаем, какой завтра будет нагоняй от адмирала...

"Наездник" провинился, и даже очень. По флотскому положению , входя на рейд, клипер обязан "обрезать" корму флагмана, впритирку пройдя под его балконом, чтобы этим рискованным маневром засвидетельствовать особое почтение. Чем ближе пройдет, тем больше чести оказано адмиралу!

— Ладно, — поднялся Чайковский с дивана. — Утро вечера мудренее. Как-нибудь отбояримся. Пошли спать, господа. Клипер устал. Я устал. Мачты устали. Все мы устали...

Россия не открывала японских "дверей" пушками, ее отношения с заморской соседкой складывались иначе. Петербург не навязывал Токио унизительных контрактов, русские не глумились над чуждыми им обычаями. Попав же в общество вежливых людей, они и вели себя вежливо...

Раненько утром клипер окружили фунэ с торговцами безделушками, владельцами гостиниц и хозяйками ресторанов, но Чайковский, весело здороваясь со знакомыми японцами, просил их подгрести к "Наезднику" чуть попозже:

— У нас играют большой сбор — ждем своего адмирала... Экипаж выстроился на шканцах, горнисты исполнили сигнал "захождение", когда с вельбота на клипер поднялся эскадренный флагман — "дядька Степан", издавший первое рычание:

— Вы почему вчера не обрезали мне корму?

Ему объяснили: флагманская "Европа" зажалась между крейсерами "Азия" и "Африка", и кого-либо из трех они могли бы при маневре задеть бушпритом.

— А нам не хотелось позорить себя перед англичанами!

— Верно, — одобрил их Лесовский...

Этот грозный реликт былой розго-палочной эпохи -"дядька Степан" уже не калечил матросов, как раньше, допуская отныне лишь ловкие удары по носу пуговицей обшлага своего мундира. Оцарапав таким образом несколько носов в экипаже "Наездника", старец разматерил плохо обтянутые штаги и спустился в кают-компанию.

— Надо полагать, — сообщил он, — наши войска, чтобы не раздражать пекинских богдыханов, оставят Илийскую долину, уйгуры просятся в наше подданство, ибо маньчжуры вырезают под Кульджей все живое, вплоть до кошек. Боевая готовность эскадры остается в силе: кризис не миновал, и надо ожидать от Лондона новых каверз. Стационироваться будете в Нагасаки, а во Владивосток я посылаю клипер"Джигит"...

После адмирала кают-компанию заполнили японцы и японки, громко шелестя шелками одежд, они разложили свои товары, при виде которых глаза разбегались, и все хотелось купить немедленно: костяные веера, расписные ширмочки, пепельницы с плачущими лягушками. Атрыганьев брезгливо говорил:

— Все это дрова ! Прошу не тратить деньги на пустяки, паче того, в Иокогаме вещи большей подлинности и стоят намного дешевле. А фарфор без меня вообще не покупайте...

Первое впечатление от Нагасаки таково, будто все японцы давно ждали мичмана Коковцева, наконец-то он прибыл, и теперь толпа, расточавшая улыбки, безмерно счастлива его видеть. Японцы, казалось, несли в себе заряды легкой бодрости, женщины двигались быстрыми шажками, в руках мужчин энергично взлетали сложенные

зонтики, дети не отставали от взрослых. Второе впечатление от города -чистота и аккуратность, ровные мостовые, обилие цветов на клумбах и овощей на прилавках, всюду дымили жаровни, возле которых наспех закусывали прохожие. Третье впечатление — множество русских вывесок, рикши подвозили офицеров к ресторанам "Петербург" и "Владивосток", а для матросов круглосуточно работал дешевый "Кронштадт", в дверях которого дежурил опытный зазывала:

— Русика матросика, выпей водичка, закусай едишка...

Было странно, что в уличной сумятице японцы умудрялись двигаться, никого не толкая, всё улыбчиво-вежливые, а если где и слышался грубый окрик, то он принадлежал обязательно европейцу или американцу. Включившись в ритм движения японской толпы, Коковцев жадно поглощал в себя яркие краски незнакомой жизни, а молодой желудок, уставший от "консервятины", требовал сытного обеда. Но мичман побаивался первой встречи с японской кулинарией, потому и навестил ресторан "Россия", где, соответственно названию, все было на русский лад, а хозяин в жилетке сразу же подошел к Коковцеву:

— Осмелюсь услужить вашему высокородию?.. Назвался он Гордеем Ивановичем Пахомовым; со знанием дела расспросил, долго ли пришлось штилевать, не погиб ли кто в море, как здоровье минера Атрыганьева? В карточке меню блюда и вина были расписаны в семи колонках на семи языках (вплоть до испанского), а в первом ряду, подле японских иероглифов, заманчиво перечислялись аппетитные кулебяки с визигой, солянка с грибами, щи кислые со сметаной.

— У нас товар самый свежий, получаем из Одессы с пароходов... Газетку английскую не угодно ли посмотреть? Тоже свеженькая — из Гонконга. — Справившись о фамилии мичмана, Пахомов был крайне удивлен, — Вот те на! А капитан второго ранга Павел Семенович Коковцев кем вам доводится?

— Мой дядя. Недавно скончался в Ревеле.

— Добрый человек был, царствие ему небесное.

— Вы разве знали моего дядю Пашу?

— С него-то все и началось... Агашка! — кликнул Пахомов; явилась дородная бабища, завернутая в пестрое кимоно, но голова ее была по-русски повязана платком. — Агашка, ты в ноги кланяйся: вот

племяшек благодетеля нашего... А ведь я из порховских, как и вы, сударь! Урожден был в крепостных вашего дядюшки. Состоял при нем камердинером. Когда поплыл он в Японию, и меня прихватил ради услужения. На ту пору как раз выпала реформа для нас. Для невольных, значица. Это в шестьдесят первом годочке от рождества Христова... Помните?

— Да где же! Мне тогда три года исполнилось.

— Ну, вот! А мы в Хакодате плавали, там и присмотрел я кухарку у консула нашего... Агашку! Ее самую, — Пахомов указал на обширное тело супруги. — Пришел к Павлу Семенычу и — в ноги ему: невеста, мол, на примете имеется, держать меня в прежнем положенье не можете,так и отпускайте.

— А что дядя? — спросил Коковцев.

— "Дурак ты, — говорит, — пропадешь здеся, и никто не узнает". А я, как видите, не пропал. Любой скобарь мне теперь позавидует!

Владимир Коковцев вынул тяжелые (и неудобные для кошелька) мексиканские доллары, которыми платили жалованье офицерам на эскадре адмирала Лесовского. Сложил их горушкой, как оладьи на тарелке. Гордей Иванович искренне оскорбился:

— Э, нет! С вас, сударь, не возьму... Павел Семеныч, вечная ему память, в разлуку вечную двести рублев мне преподнес. "На, — сказал, — дуралей, на первое обзаведение". С его денежек и рестораном обзавелся. Не обижайте...

Он вышел проводить мичмана на улицу. Коковцев спросил его о гейшах — хотелось бы посмотреть их танцы.

— На што оне? — фыркнул Пахомов. — Гейши вам никак не понравятся. Скушно с ними, да и кормежка плохая. С ихнего-то чаю без сахара не набесишься. Вижу, вас иное тревожит. Девки для того есть, называются — мусумэ, и по-русски кумекают. Вам и надо такую, чтобы разговоры вести по-нашему...

Ночевать Коковцев вернулся на клипер.

— Ног не чую под собой, так набегался.

Чайковский раскладывал пасьянс.

— Набегались? На что же тогда существуют рикши?

— Стыдно мне, человеку, ездить на человеке.

— А этот несчастный рикша, благодаря вашей щепетильности, сегодня, может быть, остался без ужина.
— Об этом я как-то не думал, — сознался Коковцев.
— А вы подумайте... Между прочим, внешним видом японцев не обольщайтесь. Здесь вы не встретите людей в нищенских отрепьях, как это бывает в России, но Япония — классическая страна бедняков! Кстати, вы еще не побывали в Иносе? Так побывайте... Там есть такая Оя-сан, дама очень ловкая, и вам ее конторы не избежать. Оя-сан содержит в Иносе резерв японских девиц. Ей наверняка уже известны списки молодых офицеров клипера, дабы обеспечить своих "мусумушек" верным заработком, — Коковцев пылко протестовал, говоря, что не может любить по контракту. Чайковский в ответ хмыкнул:
— А вы, чудак такой, сначала подпишите контракт, потом можете и не любить. Кто вас просит об этом? Никто... Но будьте уж так любезны обеспечить бедную девушку верным доходом. А иначе — с чего ей жить? Вспомните того же рикшу, от услуг которого вы необдуманно отказались...
Кают-компания была заставлена цветами — их прислали на клипер добрые женщины Иносы. С берега вернулся и,мичман Эйлер:
— Здесь столько соблазнов, а среди японок множество красивых женщин. Но все они такие маленькие — как куклы!
Коковцев по-юношески стеснялся думать о женщинах откровенно. Чайковский, кажется, умышленно оберегал его всю дорогу до самой Японии, чтобы здесь, на виду Иносы, сдать прямо на руки маститой Оя-сан... Далее не его забота!

Устремляясь в будущее, Япония поспешно осваивала достижения Европы, но при этом японцы никогда и ни в чем не поступились в своих традициях. Иноса же вообще осталась частицей былой эпохи, а соседство великолепных доков, в которых рабочие клепали обшивку крейсеров, лишь усиливало поразительный контраст между двумя Япониями — старой и новой... Набережные купались в кущах глициний: между доков и мастерских фирмы "Мицубиси" виднелось здание русского военного госпиталя. Англичане в своих лоциях

предупреждали, что Иноса вроде русского сеттльмента, куда им, англичанам, лучше не заглядывать: они встретят тут холодный прием...

История не всегда плывет официальными каналами!

Что не сумел (или не мог?) сделать граф Путятин, прибывший в Японию со своим посольством на фрегате "Паллада", то довершил грозный тайфун 1858 года. Он разломал русский фрегат "Аскольд", и шестьсот человек экипажа, выброшенные на берег близ Нагасаки, нашли радушный приют при кумирне Госиндзи, а жители деревни Иносы стали лучшими друзьями моряков. С той поры осталось в Иносе кладбище моряков, с годами оно разрасталось все шире, японцы рачительно ухаживали за русскими могилами, как будто в них покоились их близкие родичи. Может быть, на улицах других городов улыбки на лицах японцев и были искусственными, явно фальшивыми, но в Иносе каждого русского человека жители встречали самой искренней улыбкой...

Эйлер ожидал у трапа дежурный вельбот. В статском костюме и при котелке, пухленький, розовощекий мичман выглядел иначе, становясь похожим на преуспевающего в жизни биржевого маклера. Он забавно покрутил в руке камышовую тросточку:

— Вова! Я все-таки навещу эту злодейку Оя-сан. Пятнадцать мексиканских долларов в месяц — не деньги, все равно расшвыряются, а тут... такая свобода нравов!

Старший офицер клипера подошел к Коковцеву:

— Вы чем-то озабочены, Владимир Васильевич?

"Наездник" только вчера получил почту из России.

— Маменька жалуется. Осталось восемь десятинок земли — курам на смех! — сказал мичман. — А вокруг осели деловые мужики, у которых даже огороды шире. Пишет маменька, что еще год-два, и растащат наше гнездо, а портреты моих предков подложат под ведерные самовары. Связей в обществе у меня никаких, в лучшем случае годам к сорока вытяну до кавторанга... Ну, вытяну! А что дальше?

— Дальше... Я бы на вашем месте вспомнил старика Державина: "Жизнь есть любви небесный дар! Устрой ее себе к покою, и вместе с чистою душою благослови судеб удар". Поняли?..

Коковцев понял. Близость Иносы, зажигавшей по вечерам разноцветные фонари, дразнила и соблазняла, как присутствие незнакомой женщины за стенкой, теплокровной и не твоей, но она живет рядом с тобою, она двигается, поет и дышит, смеется и танцует, — кому в такие мгновения не кажется, что эта женщина ожидает тебя, нарочно тебя волнуя?.. В один из дней Коковцев сам взялся за румпель вельбота.

— Навались, ребята! — скомандовал. — В Иносу...

В ухоженной роще росли сосны и пальмы, шевелился бамбук и зрели бананы. В этой благодати расположились домики, их передние стенки были раздвинуты — душно. В растворенных на улицу комнатах, облаченные в халаты, посиживали на циновках босоногие офицеры русской эскадры, лениво обмахиваясь веерами. Возле них хлопотали японские "мусумушки", и пусть жены были временными, как временна и стоянка в Нагасаки, но иллюзия подлинной семейственности не покидала эти забавные жилища, распахнутые настежь для всеобщего обозрения...

— Вовочка! Уж не ищешь ли ты дом со швейцаром в ливрее?

Это окликнул мичмана лейтенант Атрыганьев; его миниатюрная Мицу-Мицу встретила Коковцева чаркой водки завода г-жи Поповой, придвинула гостю тарелочку с ломтиками сырой кеты и, отступив, опустилась на колени в углу комнаты.

— Садись, — сказал Атрыганьев.

— Куда?

— На пол! Оя-сан на тебя обижена... слышал?

— На меня? За что?

— Невежливо с твоей стороны не визитировать эту даму, если даже "дядька Степан" целует ей ручки.

Мичман ответил, что не верит в счастье по контракту.

— Ты у нас умница! — похвалил его Атрыганьев. — Но я тебя умнее. Скажи, разве венчание в церкви не есть ли тоже подписание контракта, только не временного? Не все ли тебе равно, где соваться в петлю — в конторе Оя-сан или у нашего попа в церкви? В любом случае жених с невестой вступают в сделку! Только здесь, в Нагасаки, ты отдашь пятнадцать долларов — и все. А там, в России, платить

будешь всю жизнь...

Атрыганьев переговорил с Мицу-Мицу по-японски, и она вынесла бутыль со "смирновскою" водкой.

— Как поют наши матросы, "со смехом, братцы, я родился, наверно, с хохотом помру...". Давай выпьем за любовь! Оя-сан приберегает для тебя, хомяка, одинокую мусумэ из Нагой.

— Нагоя... что это значит? — не понял мичман.

— Только то, что самые красивые японки родом из Нагой. Чувствую, — добавил Атрыганьев, — что застрянем в Нагасаки надолго, так не будь каютным хомяком — срочно женись!

— А зачем мне это нужно? — отвечал Коковцев.

— Послушай, — заговорил минер. — Я ведь плавал до статочно. Видел фрески в спальнях Помпеи, бывал даже в банях Каракаллы, но, поверь, там нет ничего такого, что было бы неизвестно японкам, владеющим секретом тридцати четырех способов любви. — Нежинским огурчиком, надетым на вилку, Атрыганьев указал на стоявшую в углу Мицу-Мицу. — Ты глянь на эту скромнейшую японскую богиню... Какова?

Коковцев глянул, японка улыбнулась ему.

— Так вот, — заключил Атрыганьев, с хрустом, поедая огурчик, — все эти гордые и пресыщенные патрицианки Древнего Рима перед моей Мицу-Мицу выглядят жалкими недоучками. А ты еще осмеливаешься пренебрегать женщиной из Нагой!

Коковцев безо всякого аппетита дожевал кету:

— Но в Петербурге я же поклялся Оленьке...

— Все поклялись, — сказал Атрыганьев, морщась. — Но каждой невесте, даже обляпанной полтавским черноземом, известен в любви только один способ, а тут... Стоит ли долго раздумывать? Кстати эта Оленька живет на... На какой улице?

— На Кронверкском, — ответил мичман.

Атрыганьев, хохоча, покатился по циновкам.

— Извини. Но я бывал там. Каюсь... Этот статский советник считал меня женихом, своей дочери.

— Не может быть! — оторопел Коковцев.

— Пожалуйста, не переживай. Все женщины таковы...

Г-жа Попова и г-н Смирнов, эти знаменитые спирто-водочные фирмы, разом ополчились на невинность мичмана.

— Если так, я... Я сейчас же иду к Оя-сан!

Атрыганьев горячо одобрил его решение:

— Кстати, мне в ноль-четыре принимать у тебя вахту. Будь другом, выручи: если я малость задержусь, ты склянки две-три отбудь за меня на мостике.

— Конечно, — согласился Коковцев.

— Вот и спасибо. Потом, в море, расквитаемся...

* * *

Все было похоже на скромную гостиницу: в комнатах пустоватая простота, деревянные полы покрывали мягкие татами из камыша. Коковцев уселся перед низеньким столиком, не зная, куда девать ноги, затекающие от неудобства позы. Его окружили восемь юных японок, едва окрепших девочек-подростков. Чрезвычайное обилие косметики скрадывало их подлинные черты. Это были мусумэ из "резерва" конторы Оя-сан, под надзором которой они и жили. Коковцев часто благодарил, пока они расставляли перед ним крохотные чашечки с угощениями. Тут была рыба в тесте, приправленная соей, морские водоросли, мхи и корни, огурчики, крылышко утки, чуть присыпанное анисом, желе из овощей с яйцами и совершенно черный сосуд с подогретой сакэ. Угощая гостя, мусумэ наперебой щебетали, успев наговорить Коковцеву всяческих комплиментов, — ах, какой он красивый, ах, какой он умный, ах, как хорошо, что он навестил их сегодня, а то ведь они уже собирались сами искать с ним встречи! При этом девушки подливали ему сакэ, и теплая рисовая водка приводила мичмана в содрогание. После чего, усевшись рядком напротив, девушки сыграли для Коковцева что-то очень печальное на своих сямисэнах, похожих на мандолины, и тихонько удалились. Пустота. Никого...

Но тут бодро вошла миловидная японка лет сорока — сама Оя-сан; кимоно женщины украшала брошь с бриллиантом из "алмазного фонда" царствующей династии Романовых. Семь лет назад великий князь Алексей (сын царя Александра II) плавал до Владивостока на фрегате "Светлана"; навестив Нагасаки, он задержался в объятиях Оя-

сан, с чего и началась карьера этой мусумэ, богатеющей теперь на эксплуатации себе подобных. Дама держалась по-европейски свободно, широким жестом, перенятым ею от русских офицеров, она чокнулась с Коковцевым чашечкой сакэ, и бедного мичмана снова как следует передернуло. Потом женщина деловито спросила — какая из всех мусумэ понравилась ему больше.

— Они все хороши, — ответил мичман, — но я слышал, что у вас имеется девушка из Нагой.

Оя-сан со вкусом выговаривала русские слова:

— Если ты задумался об Окини-сан, голубчик, она полюбит тебя... вместе с домом! Но задаток не малый — двести долларов, голубчик. — О том, сколько из этой суммы она заберет для себя, об этом Оя-сан, конечно же, умолчала.

В планы мичмана никак не входило стать домовладельцем в Японии, но смирновская водка, разбавленная японской сакэ, и обида на Ольгу сделали его смельчаком. Он готов хоть сейчас платить за все в мексиканской валюте.

— Но сначала покажите мне красавицу из Нагой!

Оя-сан легонько хлопнула в ладоши, и Коковцев услышал за спиной неприятное шипение. Он обернулся: перед ним возникло костлявое чудовище с громадными оттопыренными ушами.

— Это натариус, — объяснила Оя-сан. — Он принес контракт на Окини, заранее составленный... Подписывайте его!

Глаза натариуса были добрыми, но шипел он так замечательно, что ему позавидовала бы любая гадюка.

— У нас в России, — сказал Коковцев, поднимаясь с татами, — не покупают кота в мешке...

Оя-сан сердито крикнула что-то по-японски. С громким треском раздвинулись бамбуковые ширмы — и Окини-сан опустилась на колени, застыв в глубоком поклоне, а за нею вразнобой качались сухие бамбуковые палки: так-так, так-так, так-так.

— Гомэн кудасай, — были первые слова женщины.

Она просила у них извинения за то, что явилась.

Окини-сан кланялась очень долго, и Коковцев сначала видел только

широкий пояс-оби, завязанный высоко на спине, пышным бантом, потом разглядел удивительно сложную прическу, в которой волосы были унизаны черепаховым гребнем и булавками из красных кораллов. Коковцев кинулся поднимать женщину с пола.

— Голубчик, — четко выговорила Окини-сан русское слово (которое в заведении Оя-сан, очевидно, заучивалось всеми мусумэ в числе самых необходимых слов).

Теперь мичман видел нежное матовое лицо с узкими блестящими глазами, а губы девушки, чтобы не казались большими, были подрисованы кармином только посередине Окини-сан была так хороша, что раздумывать далее не приходилось:

— Давайте сюда контракт... подпишу!

Бамбуковые палки перестали стучать, шипение прекратилось. Нотариус из под халата извлек чернильницу, протянул Коковцеву европейское перо, а не кисточку. Мичмана ознакомили с условиями контракта: подданная микадо, отзывающаяся на имя "Окини", поступает в его жены с содержанием в пятнадцать долларов за один месяц, а Кокоцу-сан обязуется предоставить ей помещение, стол, одежду и наемную прислугу с рикшей. Отсчитав серебро, мичман еще раз оглядел красавицу из Нагой:

— Но почему на месяц? Мой клипер еще никуда не уходит.

Нотариус отвечал ему на хорошем английском языке:

— К чему загадывать вперед? Мы, живущие вдали от вас, европейцев, не привыкли верить ни женщинам, ни пьяницам, ни морякам: женщина склонна обманывать, пьяница ничего не помнит, а моряк рано или поздно все равно потонет. Через один месяц я с удовольствием продолжу контракт.

— Ол райт, — согласился Коковцев...

Обитель семейного счастья оказалась вполне приличной: через мизерный ручеек был перекинут карликовый мостик, с которого мичман чуть не упал, в миниатюрном садике имелся маленький прудик, в нем крохотные рыбки виляли хвостиками. Коковцев и Окини-сан остались одни. Мичман извинился, что ему предстоит еще ночная вахта:

— А я чертовски много выпил и, прости, должен выспаться. Нет ли в этом домике чего-либо похожего на кровать?

Окини-сан придвинула к нему коротенькое бревнышко с валиком, ласково уговаривая положить на него голову.

— Забавно! А как зовется такая подушка?

— Макура, голубчик, это макура.

— Звучит вполне по-русски... макура, макура... Окини-сан уселась напротив него, поджав под себя ноги, всецело погрузилась в отсчет времени, сокращавшего их первое свидание. За четверть часа до полуночи, отрывая от макуры наболевший затылок, Коковцев уже не мог вспомнить, как это бревно называется. Он быстро собрался на вахту.

— Конечно, — благодарил он, — если бы не ты, я бы наверняка все проспал. А завтра пришлю вестового — пусть привезет подушки и одеяло. Однако где я сейчас достану фунэ, чтобы поспеть к вахте на свой клипер?

Оказывается, Окини-сан, пока он спал, уже наняла лодочника на весь месяц их контракта. Мало того, женщина проводила его до пристани и не покинула мичмана, пока фунэ не подгребла к корабельному трапу. Только тогда она попрощалась с ним, и с палубы корабля мичман застенчиво пронаблюдал, как в темноте рейда медленно растворяется белое пятно ее одежд. Издалека донесло певучий голос молодой женщины:

— Саёнара, голубчик! До-си-да-ня...

Чайковский с "манилой" в зубах гулял по шканцам.

— Теперь, — сказал он, — за все время стоянки в Нагасаки за вас я спокоен: еще не было случая, чтобы молодой офицер, взявший в жены японку, опоздал на вахту! Да и вам лучше, милейший: меньше будете шляться по ресторанам...

После четырех часов вахты Коковцев с нетерпением отсчитывал склянки: корабли эскадры синхронно отбили первую, вторую, третью. Атрыганьев соизволил явиться с берега на рассвете.

— Ладно, — отмахнулся он от упреков. — Уж ты прости, Вовочка: не был я на Кронверкском, никакой Оленьки и в глаза не видывал. Все выдумал нарочно, чтобы твои эполеты, чуть-чуть забрызганные

морем, потеряли блеск наивной гардемаринской святости. Вахту принял. Сейчас отходит вельбот...

Вестовой, помимо подушек, прихватил из офицерского буфета ложки, ножи и вилки. Качнув серьгой в ухе, он сказал:

— Вашбродь, а чем кушать будете... палками? Уж я ими ковырял, ковырял — все мимо рта просыпалось. Извиняйте нас!

День обещал быть жарким. Стенка дома была заранее раздвинута, в глубине комнаты, будто вписанная в тонкую рамочку, Окини-сан показалась мичману лучезарным идолом любви.

— Я тебя так жду... голубчик! — произнесла она.

Из широких рукавов кимоно выплеснуло две руки.

И нечаянно сложилась ласковая семейная жизнь.

Коковцев принадлежал к поколению, юность которого овеяли победы русского оружия, под громы Шипки и в блеске молнии Плевны, когда Россия несла свободу родственному народу Болгарии. Но зато юность омрачил Берлинский конгресс, унизивший достоинство России...

Лондон постоянно был озабочен: где только можно и любыми способами ослаблять могущество России, которая не боялась противостоять великобританской экспансии, ставшей уже глобальной. Переживаемый конфликт с Пекином тоже имел английскую подкладку: политики Уайтхолла натравливали китайцев на войну с Россией, на эскадре Лесовского уже поговаривали, что, очевидно, скоро предстоит плавание в Чифу, дабы забрать из Китая русского посланника и все посольство с его архивами.

— Бес их там разберет! — судачили в кают-компании "Наездника". — Ну, с моря-то, положим, мы на своих калибрах всех мандаринов раскатаем. А что, если они вломятся в наши пределы от Кульджи, где мы даже гарнизонов не держим?

Атрыганьев закрутил усы и расправил бакенбарды:

— Я, — начал он, — терпеть не могу английских газет и посему читаю их внимательно. "Таймс" обрадовал: Пекин обзавелся "китайским Бисмарком", правда, не железным, а ватным — Ли Хун-чжаном, а теперь якобы обнаружился "китайский Наполеон" по прозванию Цзо Цзунь-тань... Было бы жестоко с моей стороны требовать, господа,

чтобы вы запомнили эти имена, но всетаки я осмелюсь выделить их из нашей истории... Ленечка, а что вы там принесли с берега?

Эйлер радостно показал приобретенную вазу:

— Мне ее продали как редчайший фарфор "амори".

— Вы у нас молодцом! Если родственники просили вас купить у японцев макитру пошире, чтобы варить в ней вассер-суп на все знатное семейство фон Эйлеров, так я от души вас и поздравляю. Хотя вам продали фарфор из Кагосима, а он — лишь слабое подражание сацумскому... Ленечка, — мягко обратился минер к Эйлеру, — не стоит впадать в отчаяние. Поставьте свое помойное ведро на рояль, и будем считать, что у нас, слава богу, имеется и "амори"...

Согласно давней традиции флота, командир корабля не имел права посещать кают-компанию, чтобы, упаси бог, не вмешиваться в дела и разговоры подчиненных, иногда жестоко его критикующих, — здесь владычил старший офицер, а командир прозябал в одиночестве салона, всегда благодарный, если офицеры, сжалившись над ним, приглашали к своему столу.

Однажды его позвали и он строго предупредил:

— Господа, возможен такой вариант обстановки, что скоро эта уютная Иноса останется далеко за кормою... Наберитесь мужества покончить со своими делами на берегу, чтобы за нашим клипером потом никаких хвостов не тащилось. Ежели у кого неоплаченные счета в японских ресторанах, расплатитесь заранее. Есть ли у нас белье в стирке на берегу?

— Есть, и очень много, — ответил Чайковский.

— Поторопите прачек, чтобы стирали быстрее...

После таких разговоров Коковцев спешил на свидание с Окини-сан, и женщина, внешне ненавязчивая в любви, чутко откликалась на каждую его ласку. Эти незабываемые ночи Иносы, пронизанные шумами теплых ливней, казалось, пропитались словами любви, всегда ненасытной в молодости. Не было случая, чтобы японка не проводила Коковцева до корабельного трапа, а, вернувшись с клипера, мичман всегда заставал ее ожидающей встречи. Иногда казалось, что Окини-сан живет исключительно ради любви к нему.

— Я не знаю, как это тебе удается, — сказал однажды Коковцев, — но

ты, сама того не замечая, сделала все-все, чтобы я уже не мог обходиться без тебя. Это правда!

В одну из летних ночей мичмана сорвала с койки резкая качка. Коковцев выбрался из каюты, под ногами кружило холодную пену открытого моря. "Наездник", постукивая машиной, нес на себе все паруса, отчего его мачты потрескивали от напряжения.

На мостике ходовую вахту "заступил" Атрыганьев.

— Что стряслось, Геннадий Петрович? Или... война? Атрыганьев дернул шнур звонка в кают-компанию.

— Пока нет! Просто "дядька Степан", чтобы запутать англичан, перетасовывает эскадру, будто карты в колоде. Кажется, идем во Владивосток, чтобы сменить там "Джигита".

На мостик в белом фартуке взбежал вестовой:

— Звонили, вашбродь? Что прикажете?

— "Адвоката" мне. Покрепче! С ромом.

— Есть! Я мигом, вашбродь...

Сочный ветер путал мокрые фалы в руках сигнальщиков. Снова начиналась походная жизнь, в которой, согласно моряцкой поговорке, вольготно живется одним попам, котам и докторам (остальные расписаны по вахтам, загружены работами).

Коковцев придержал на трапе Чайковского:

— Когда же будем во Владивостоке?

— При таком-то ветре... скоро придем.

— А когда вернемся в Нагасаки?

— Отвыкайте задавать наивные вопросы...

Иноса разом и безнадежно отодвинулась за горизонт, меркнущий в отдалении, а море, казалось, без следа растворило в себе Окини-сан, застывшую в молчаливом ожидании. В зыбком тумане — словно размыло старинную акварель — едва проступили очертания скал Дажелета, сразу похолодало, а штурман вспомнил стишки:

Вплоть до острова Цусимы
Видишь летнюю картину.
Коль попался Дажелет,
Торопись надеть жилет.

Офицеры поспешили в шкиперскую за тужурками. Рано утром

открылись берега: зеленые массивы нетронутых чащоб, острые зубцы нелюдимых сопок, а где-то страшно далеко струился к небу тончайший дымок охотничьего костра.

— Россия! — воскликнул Коковцев.

— Вы угадали, — отозвался Чайковский. — Правда, отсюда до нее очень далеко, но вы правы: это тоже Россия...

Убрав паруса и подрабатывая винтом, втянулись в Золотой Рог; издали панорама Владивостока даже впечатляла: красный кирпич казарм, ряды причалов, угольные склады Маковского, разноцветные хибары обывателей и козьи выпасы среди огородов; возвышались здания прогимназии, штаба командира порта, Морского собрания и магазин фирмы Кунста и Альбертса. Все это — на фоне беспечального синего неба... Посланец Балтийского флота звончайше салютовал кораблям Сибирской флотилии. Коковцев взял бинокль. В окулярах возникла пустынная улица, по ней шла расфуфыренная дама под зонтиком, за нею маршировал бугай-матрос, неся под локтем корзину с бельем. С берега громко и радостно крикнул петух. Чайковский снял фуражку и, подавая пример молодежи, перекрестился:

— Поздравляю вас, господа: вот мы и дома...

Атрыганьев, первым побывав на берегу, ругался:

— Что за город такой! Отличный цейлонский ананас — две копейки. Соленый огурец — гривенник. Дохлая индейка стоит пятнадцать рублей, а сотню жирных таежных фазанов умоляют взять даром... Кто в таких ценах что- либо понимает?

После чистеньких японских улиц здесь даже главная (Светланская) выглядела проселочной дорогой, покрытой кочками, ухабами и лужами. С трудным бытом Владивостока мичман Коковцев соприкоснулся сразу же, когда командир послал раздобыть пресной воды для клипера. Следовало набрать четыре полных баркаса (для доставки воды шлюпку заранее как следуют обмыли изнутри с песком и мылом). А где взять? Прохожие обыватели советовали просить воду у знакомых.

— Но мои знакомые остались в Петербурге.

— Поспрашивайте тех, у кого колодцы имеются. А владельцы

колодцев руками махали:

— Кораблям воду лучше не давать! Опустят в колодец трубу и выкачивают насосом до дна, вместе с лягушками. А мы как?

На берегу копошились гарнизонные солдаты в белых рубахах, возводя бруствер для установки пушек. Коковцев спросил:

— Никак, ребята, вы мандаринов ждете?

— Плевать мы на них хотели, — отвечали солдаты. — У нас на базаре своих мандаринов не знаем куды девать. Но сказывали, будто англичанка-стерва на энти края позарилась. Вот и стараемся: пусть тока сунется, все бельма повышибаем!

Командир встретил мичмана вопросом: где вода? Коковцев пытался объяснить положение в городе, но получил ответ:

— Меня это не касается. Вода должна быть... Принарядившись, офицеры клипера беззаботной гурьбой отправились во владивостокское Морское собрание. На Светланской им встретились черные дроги: горожане хоронили инженера-самоубийцу. Провожавшие покойника объясняли:

— Здесь это бывает частенько! Не все выдерживают. Что вы хотите? Иногда ведь газеты четыре месяца не приходят...

В гардеробе, стоя перед зеркалом и уточняя на белобрысой голове прямоту идеального пробора, Эйлер сказал:

— Ты, Вовочка, не внимай Атрыганьеву с особым решпектом. Атрыганьев, мало того что барин — он еще и циник.

— Отчасти — да, я согласен, Леня. Но минер похож на рыцаря старинного и могучего ордена, вроде Маль тийского.

— Каста! — ответил Эйлер (проницательный). — Атрыганьев не понимает, как близка гибель его и ему подобных.

— Так ли это, Леня, а?

— Ты просто не слышал минера достаточно пьяным. А в пьяном состоянии он произносит страшные тосты.

В собрании мичман повстречал немало однокашников по Морскому корпусу, почти все они были с молоденькими женами.

— Что ты удивляешься? — говорили они. — Здесь нам разрешено вступать в брак, даже не справляясь о нашем реверсе{1}.

Их жены выглядели счастливыми, одеты они были по последней

парижской моде, и мало кто из офицеров раскаивался, что променял Балтику или Севастополь на эти дикие, но величавые края с грандиозным будущим.

— Дальний Восток, — посмеивались они, — это ведь фикция, придуманная еще дельцами Ост-Индской компании. Нам отсюда Дальним Востоком кажется уже Сан-Франциско или Патагония, а Ближний Восток становится для нас Дальним Западом. Здесь полная свобода слова, зато нет свободы печати из-за отсутствия самой печати... Ну, расскажи, какова погода в Нагасаки?

Сибирская флотилия ремонтироваться ходила в Японию, сибиряки все там знали, все видели своими глазами, но отношение к этой стране у них было несколько иное, более жесткое, нежели у стационирующихся в Нагасаки.

— У нас немало японцев, — говорили они. — Мы охотно пользуемся их услугами. А японки изумительные няни. Но... нам отсюда виднее! Совсем недавно японцам отданы Курильские острова, чтобы отвадить их от Сахалина, на котором наши дуралеи устроили каторгу вроде французской Кайенны. Японцы присвоили острова Рюкю, где одна только Окинава — прекрасная морская база! Наконец, они пытались забрать и Формозу, покрикивают на корейцев... Не случится ли так, что японцы разрушат равновесие Дальнего Востока, и без того шаткое.

Коковцев воспринял Японию в образе Окини-сан, а раскрытые вееры улыбчивых японок укрывали многие тайны.

— Не слишком ли вы подозрительны к любезным японцам?

— Только не к няням! Мы их любим, как любят все русские дети, зовущие их "тетя Този" или "тетя Саго". Но мы подозрительны к самураям. Своими претензиями они вынудят нас вступиться за Корею, а это уже рядышком с нами... Владивосток — не санитарный барак, который можно перетаскивать с места на место. Его поставили здесь — и он должен стоять вечно!

Коковцева отыскал мичман Эйлер:

— Атрыганьев уже затоплен коньяком до ватерлинии и сейчас произносит в буфете тосты... Хочешь послушать?

— В другой раз, — ответил Коковцев. Гарнизонный оркестр заиграл

вальс "Невозвратное время", и мичман пригласил на вальс даму в летах, но еще красивую — жену командира порта мадам Ванду Щецинскую, вступая с нею в круг, он спросил:

— Разве вам никогда не бывает здесь скучно? Женщина ответила, что здесь гораздо веселее, чем в Ковно, где она провела юность в монастыре урсулинок.

— Наверное, для полноты счастья нужен и... колодец?

Щецинская ослепила мичмана белым рядом зубов:

— Я-то, грешная, думала, вы позвали меня к вальсу ради взаимной симпатии, а вам, оказывается, нужна вода для котлов и для камбуза... Сколько вам ее надо? — спросила она.

— Четыре полных баркаса, мадам.

— До вас на рейде стоял клипер "Джигит", на котором мичмана были решительнее и водою быстро наполнились.

— Подскажите, каким образом?

— Четыре мичмана при полном параде сделали пред ложение четырем дурочкам, в домах которых были колодцы. Вычерпав всю воду, они сразу же снялись с якоря.

— Но каково чувствовали себя невесты?

— Прекрасно! Зареванные до обморока, они долго бегали по берегу, как угорелые кошки. Их сердца были разбиты, а колодцы вычерпаны...

Оркестр умолк. Коковцев проводил даму к ее мужу.

— Завтра, — указал тот, — идите на веслах в бухту Диомид и там накачивайтесь речной водой до самого планширя...

Было жаль покидать Владивосток. В последний раз посетив берег, Коковцев встретил на пристани старенького учителя.

— А где вы, сударь, такую тужурку купили? Коковцев тужурке своей не придавал значения.

— Да это, знаете, еще в Копенгагене, в лавке морских товаров... неподалеку от музея скульптора Торвальдсена.

— Живут же люди! — отозвался учитель, сгорбясь, — А я и позабыл о таком скульпторе... Очень трудно в наши края забраться, но сил не хватит отсюда выкарабкаться.

Коковцев долго пребывал под впечатлением этой грустной беседы. Он

понимал, что изнанка жизни во Владивостоке очень сложная и не скоро еще люди заживут в этих краях с полнокровной радостью бытия. "Наездник" держал три котла под парами, легко набирая узлы. Миновав скалу Дажелета, сдали тужурки в шкиперскую. Коковцеву опять выпала ночная вахта.

Сверясь со штурманской прокладкой, он сказал, что, очевидно, ровно в два часа ночи клипер выйдет на траверз Цусимы:

— Вас не будить, Петр Иванович?

— Остров как остров, — зевнул Чайковский. — Ничего примечательного. Глубины приличные. Зачем меня дергать?..

Цусима — без единого огонька, будто вымерла! — сонным призраком исчезла за кормою клипера. Ночная вода, отяжелев, нехотя расступалась перед таранным "шпироном" боевого клипера. И никто ведь не подозревал, что имя этих далеких островов — Цусима! — острое, как сабля самурая, болезненно вопьется в сердце каждого русского человека...

"Окини-сан, ждешь ли? О чем думаешь, нежная?"

* * *

Никто не сомневался, что уже завтра они окунутся в разморенную влажностью духоту нагасакской бухты. Но проливом Броутона, оставляя Корею по правому борту, вошли в бурное Желтое море, и только здесь известились от командира, что "Наездник" следует в порт Чифу, сохраняя полную боевую готовность.

— Очевидно, будем снимать с берега наше посольство.

— А как же Окини-сан? — вырвалось у Коковцева...

В штурманской рубке страдал на диване жестоко укачавшийся Леня Эйлер. Коковцев быстро листал календарь,

— Что ты? Или прохлопал день своего ангела?

— Ангела, — подавленно ответил Коковцев. — Поду май, завтра кончается срок моего контракта, и Окини-сан уже не моя!

Эйлера мучительно и долго выворачивало в ведро.

— Море не любит меня, — сказал он, брезгливо выти рая рот. — Извини... Но я крестил свою мусумушку в православную веру, и теперь ее опекает наш епископ Николай, а не эта пройдоха Оя-сан с брошкой вроде чайного блюдечка.

Страшный крен отбросил Коковцева к переборке, едва не расплющив о стенку, рядом качался, как роковой маятник, медный футляр ртутного барометра, показывавшего "Ясно".

— Все пропало! — отчаялся мичман.

Прежде захода в Чифу решили отстояться в Порт-Артуре, хотя китайцы могли "салютовать" клиперу прямой наводкой. На всякий случай, вне видимости берегов, опробовали работу плутонгов и действия комендоров. Бросили якоря на внешнем рейде, подальше от батарей, на клотик фок-мачты "Наездника" сразу уселась ворона.

— Не к добру, — решил командир клипера Коковцев робко постучался в каюту Чайковского:

— Петр Иванович, у меня тошно на душе: месяц контракта кончился, как удержать Окини — не придумаю. Оя-сан не станет держать ее даром и наверняка заставит переписать контракт. Тем более в Нагасаки вернулся холостой "Джигит"!

— Скорее всего, так и будет.

— Что же мне делать? — приуныл мичман, чуть не плача.

Чайковский обнял его:

— Милый вы мой! Никак, серьезно влюбились?

— Я уже не могу... не могу жить без нее!

— А не вы ли осуждали любовь по контракту? Ладно, в Чифу наш консул, поговорите с ним. А что там ворона? Еще сидит, падаль, на клотике?

— Сидит и каркает. Лучше бы пристрелить... Ворона сорвалась с мачты, когда клипер развернулся в море. Чифу, оттиснутый к воде мрачными скалами, показался гаже всего на свете. Коту все равно где спать, священнику тоже, но доктор просил не пускать матросов на берег. В первую же ночь стоянки "Наездник" был ослеплен блеском фонарей английского крейсера, положившего якоря на грунт Чифу невдалеке от клипера. Дул сильный ветер, по рейду гуляла тяжелая зыбь, на камбузе из котлов выплеснуло матросское варево. Для офицеров были открыты консервы "Pate de lievre" (паштет из зайца) американского производства. Геннадий Петрович Атрыганьев терпеливо выждал, когда офицеры наелись, потом сказал:

— От души поздравляю, господа! Уж если нельзя верить газетам, то

как же можно верить тому, что писано на этикетках? Американцы давно передушили всех кошек в Чикаго и Нью-Йорке, понаделали из них паштетов и теперь продают их в консервах наивным французам.
— Посещать берег он дружески отсоветовал. — В Чифу ничего любопытного. Пыль на улицах страшная.
Коковцев побывал в городе, дабы повидать консула, и тот, человек дела, сразу подсказал верное решение:
— Назовите фамилию дамы своего сердца, мы срочно переведем необходимую ей сумму для продления контракта.
Увы, Коковцев фамилии Окини-сан не ведал.
— Так-так, — поразмыслил консул. — А кого вы знаете в Нагасаки, помимо этой несчастной куртизанки?
— Гордея Ивановича Пахомова, у него там ресторан.
— Отлично! Вот пусть он вам и поможет...
На радостях Коковцев перевел в Нагасаки деньги за полгода вперед. Он вернулся на клипер, рассказывая, что в Чифу много винограду, а еще больше гробов, выставленных на продажу- таких красивых, что глаз не оторвать.
— Упаси нас бог! — суетился доктор. — Тут, что ни год, всякие эпидемии. Стоит ли рисковать ради свежих фруктов? Вы лучше скажите — что говорил вам консул о войне?
— Он сказал, что все зависит от того, чье давление в Пекине пересилит — или давление Уайтхолла, тогда война, или давление нашего Певческого моста{2}, тогда войны не будет...
По ночам британский крейсер бесцеремонно освещал клипер, словно проверяя — здесь ли русские, не снимают ли с берега свое посольство? Потом с моря подползли две низкие, как сковородки, расплывшиеся на воде "черепахи" китайских канонерок. На их мостиках, похожих на этажерки, согревались ханжой и чаем важные и толстые мандарины императрицы Цыси, облаченные в желтые халаты. Нервы у русских моряков были крепкие, но все же неприятно видеть, когда враг пошевеливает пушками, словно хирург пальцами, стараясь нащупать твое сердце. В этот день Чайковский позволил открыть шампанское.
Офицеры "Наездника" рассуждали о судьбах Китая.

Пытался сказать свое слово и Коковцев. Скорее для того, чтобы поддержать беседу, нежели для того, чтобы обнаружить свои познания.

Можно ли было осуждать юного мичмана за то, что все китайцы представлялись ему на одно лицо — и мандарины и кули? Он и в собственной-то стране не задумывался о социальных пропастях, разделявших его и, скажем, трюмных матросов, не говоря уже о непреодолимых барьерах между помещиками и крестьянами. А ведь образованный моряк не мог не знать, что вовсе не богдыханами, а простыми тружениками, китайским народом были выстроены еще в древности удивительные города, сделаны гениальные открытия...

Не понимал Коковцев и того, что он был слепым орудием своего класса, позарившегося на лакомый кусок, лежавший на Дальнем Востоке. Зарились на него империалисты и Англии, и Японии. Вот они-то в завоевательском раже действительно были на одну колодку.

Эйлер завел речь о чиновном сословии Китая:

— Мандарины ради получения должности обязаны написать литературное сочинение, в котором выше все го ценится красота слога. На мой взгляд, как бы ни относиться к писателям, но... Представьте, господа, если я вам составлю кабинет, в котором министерские портфели расхватали Достоевские и Тургеневы... Невозможно вообразить тот несусветный кавардак, который бы они устроили из нашей бедной России...

Заглушая разговоры, последовал доклад боцмана:

— "Разбойник" прется на рейд! Парусов не убрал, машинкой тарахтит — и прямо на нас, ажно глядеть-то страшно...

"Разбойник" всегда славился флотским шиком, потому все офицеры поспешили наверх. Карл Карлович де Ливрон уже нацелился пройти своим бортом впритирку к борту "Наездника". На британском крейсере и на китайских канонерках повысыпали на палубы толпы матросов.

Сближение двух кораблей грозило катастрофой!

Уже видны улыбки на лицах разбойников, а ветер свирепо раздувал бакенбарды на довольной физиономии де Ливрона. Командир "Наездника" в ужасе схватился за голову, крича:

— Шарло! Право руля... реверсируй машиной!

— Ученых не учат, — раздался ответ де Ливрона. Казалось, еще минута — и его рангоут сокрушит рангоут "Наездника"; калеча матросов, сверху рухнут обломки дерева, людей опутают узлы рваного такелажа. Чайковский, поставив ногу на ступень трапа, покуривал сигару. Его опытный глаз чутко реагировал на дистанцию.

— Красиво идет Шарло — можно позавидовать! — Два клипера сошлись уже так близко, что не надо было кричать, и Петр Иванович, не повышая голоса, спокойно передал де Ливрону: — Эй, если тебе так хочется, так целуй нас поскорее...

Расчет де Ливрона был ювелирным: блок на ноке грота-рея "Разбойника" звонко ударился в блок фока-рея "Наездника", будто два приятеля, радуясь встрече, чокнулись бокалами. Мимо пронесло громаду клипера, с которого крикнули:

— Never mind, Captain, all right!

Адмирал Лесовский нарочно перегнал лихого "Разбойника" в Чифу, чтобы поддержать "Наездника" в его одиночестве, и китайские канонерки, изгадив рейд клубами дыма, убрались в Вэйхайвэй. Англичане были явно поражены высоким маневренным мастерством русских, командир крейсера нанес офицерам клиперов краткие, вежливые визиты. Однако международной дружбы кораблей, какая обычно завязывается на пустынных рейдах, не возникло, да и откуда ей быть?..

Капитан второго ранга де Ливрон появился в кают-компаний "Наездника", широким жестом выставил шампанское:

— Если вы такие бедные, так вот вам за разбитый блок...

Его спрашивали — какие новости на эскадре?

— "Дядька Степан" ногу сломал. Во время шторма. Разлетелся, как всегда, по палубе и ногой под вантину — крак! Теперь флагманская "Европа" заляпана гипсом, словно больница. Но старик счастлив: его Клавдия Алексеевна облачилась в балахон Красного Креста, что дает ей право быть подле мужа на корабле. Очень милая и симпатичная особа...

Молодежь с "Наездника" не могла налюбоваться на кавторанга де Ливрона — это был человек смелый и дерзкий! Потомок французских аристократов, которые при Екатерине Великой спасались от гильотины

в России, он, наперекор истории, выписывал чересчур сложную циркуляцию. Внук роялистов, кавторанг превратился в ярого демократа, высказывая порой страшные вещи о неизбежности революции в России, но, как истый француз, перестрадавший катастрофу под Седаном, он не забывал лягнуть и Германию:

— Немцы утверждают, будто мы, скифы, владея мощью армии и флота, помогаем кайзеру душить стремление немцев к революции, и она бы непременно случилась в Германии, если бы не мы, русские вандалы, со своими гармошками и блинами, с балалайками и самоварами. Но помилуйте! — восклицал, де Ливрон. — Россия давит на свободу в Германии, она сдерживает всю эту сволочь во главе с Бисмарком и его генералами. Мы еще посмотрим, — угрожал Шарло, — кто после моей Франции начнет революцию раньше — отсталая Россия или передовая Германия?..

Больше месяца "Наездник" с "Разбойником" томились в Чифу, выжидая разрыва дипломатических отношений. Наконец, пощадив их, Лесовский пригнал "Забияку" на смену одному из клиперов — по жребию! На нейтральной палубе "Забияки" бросали жребий: "Наезднику" выпало счастье покинуть опостылевший рейд. Забрав от посольства в Пекине обширную почту для "дядьки Степана", клипер уже, снялся с якорей, когда вдруг вспомнили, что на берегу оставили белье в стирке — у китайских прачек. И хотя жаль было терять почти все исподнее и постельное, но желание убраться из Чифу оказалось сильнее:

— Черт с ними, с этими тряпками, наживем другие...

После быстрого бега по волнам перед ними открылась прекрасная панорама Нагасаки. "Наездник", словно гарцуя в манеже, четко обрезал корму флагманской "Европы" и подлетел к "Джигиту", сверкая покрашенными бортами:

— Эй, джигиты! Как дела в Нагасаки?

— Эскадра уходит в Иокогаму.

— А зачем — знаете?

— Нас желает видеть японский микадо Муцухито...

Разгадав нетерпение Коковцева, старший офицер сразу же отпустил его на берег, но мичман скоро вернулся на клипер, и по его лицу

Эйлер догадался, что случилась беда:

— Ты, кажется, опять в унынии?

— Окини-сан пропала... ее нигде нет.

Да, опустела Иноса, золотые рыбки в пруду перестали вилять золотыми хвостиками. А ресторатор Пахомов сам ничего не знал и вернул мичману деньги, полученные из Чифу:

— Поставьте крест на ней и не мучайтесь, уж чего- чего, а этого-то добра в Японии хватает...

Ленечка Эйлер не стал утешать Коковцева:

— Скажи чистякам, чтобы привели в порядок твой парад. Муцухито будем представляться в треуголках, при саблях...

Тронулись! Через Симоносекский пролив корабли проникли во внутреннее Японское море, прикрытое с океана обширным островом Сикоку; слева осталась Неприметная уютная Хиросима, справа колебались на воде огни Мацуяма; ночью двигались осторожно — в карнавальной пестроте фонарей джонок, во тьме слышались тягучие рыбацкие песни. Давно уже не доводилось видеть таких чудесных ландшафтов. Покрытые хвойными лесами, высились конусы погасших вулканов, в долинах росли пальмовые и бамбуковые рощи. Русских очень удивляло множество деревень и переизбыток людского населения. Всюду купались голопузые японские ребятишки, а молоденькие японки подплывали к бортам кораблей, протягивая зажатых в руках плещущих серебром рыбин.

— Тай, тай, русики! — кричали они с воды.

Это не было искаженное: "дай, дай", — японки дружелюбно предлагали русским рыбу (тай), только что выловленную их мужьями. Растрогавшись, лейтенант Атрыганьев сказал:

— Уж сколько я плаваю на Дальнем Востоке, а лучше Японии ничего нету. И как это замечательно, господа, что нас здесь любят, а страна эта близка нашей России...

Перед выходом в Тихий океан ненадолго зашли в Кобе, где восхищались водопадами, в шуме которых, на зеленых лужайках, ютились чайные домики с приветливыми обитателями. Атрыганьев не удержался и, взлягивая длинными ногами, показал, как пляшет

канкан мадмуазель Жужу из сада-буфф "Аркадия", чем очень позабавил японок. Отсюда, от Кобе, и до самой Нагой начинались провинции, славящиеся красотою женщин. Было очень жарко. Над мостиками натянули белые прохладные тенты. Чайковский сказал, что скоро будет видна Фудзияма. Минер Атрыганьев пытался развеять печаль мичмана Коковцева:

— Золотая иголка в стоге душистого сена... забудь ее!

— Разве могу я забыть Окини-сан?

— Но забыл же ты Ольгу в Петербурге!

— Мне уже не верится, — ответил мичман, — что в Петербург вернемся. Порою кажется, здесь и останемся навсегда...

Иокогама открылась к ночи видом Фудзиямы и большим пожаром (какие в японских городах, строенных из дерева, бамбука и бумаги, случались часто). Командир стал волноваться:

— Жаль бедных японцев... чем бы помочь им? Срочно собрали "палубную команду", приученную к схваткам с водой и с огнем. Коковцев возглавил эту деловую ватагу, до зубов вооруженную топорами, переносными помпами и рукавами шлангов с "пипками". Появление русских на пожаре японцы встретили радостным "банзай!". Забивая пламя водой из соседних прудов, матросы кулаками расшибали пылающие домишки, похожие на шкатулки, не давали огню перекинуться далее. Чумазые и довольные, вернулись на клипер глубокой ночью. Коковцев совсем не выспался, но его рано разбудило бренчание посуды, перемываемой вестовыми в офицерском буфете.

— Ехать так ехать, — сказал мичман, зевая... Поезда из Иокогамы в Токио отрывались от перрона каждые сорок минут, а шли они со свирепой скоростью, что даже удивляло. Всю дорогу офицеры простояли возле окон. Квадраты рисовых полей были оживлены фигурами согбенных крестьян, стоящих по колено в воде; над их тяжкою трудовой юдолью кружили журавлиные стаи. Русских удивляло отсутствие домашнего скота и сельской техники — японцы все делали своими руками, а широкие шляпы из соломы спасали их от прямых лучей солнца. Экспресс с гулом, наращивая скорость, проносился вдоль каналов, застроенных дачами столичных богачей и сановников императора. Токийский вокзал, на вид неказистый,

встретил гостей суматохой, свойственной всем столицам мира, только здесь было больше порядка и никто не зарился получить "чаевые". В этом году открылась обширная ярмарка в парке Уэно, офицеры отдали дань почтения бронзовым Буддам в деревянных храмах, покрытых нетленным лаком, надышались разных благовоний в кумирнях, закончив утомительный день на торговой Гинзе, где за гроши скупали всякую дребедень, посмеиваясь:

— Для подарков знакомым. Для них все сойдет.

На следующий день состоялся парад. Офицеры с эскадры Досовского заняли на плацу отведенное им место, выстроившись позади русского посла К.В. Струве и чиновников его посольства. Регулярные войска Японии они подвергли суровой критике за небрежный вид, за плохое оружие. Англичане, конечно же, не удержались и продали японцам свои палаши времен Ватерлоо, которые малорослые японцы волочили по земле. Наконец показалась карета в сопровождении уланов, неловко сидящих на лошадях, впереди с развернутым штандартом проскакал адъютант микадо... Струве обернулся к офицерам:

— Господа, вы же не дети — перестаньте шушукаться!

Принц Арисугава, взмахнув саблей, скомандовал оркестру играть гимн, в мелодии которого Ленечка Эйлер сразу уловил большое влияние парижских кафешантанов, о чем он тут же и сообщил офицерам...

Струве сердито прошипел ему:

— Наконец, вы, господа, ведете себя как мальчишки...

Императрица Харуко лишь выглянула из кареты, а сам Муцухито вышел на плац — маленький подвижный человек с оливковым лицом и внимательными глазами. Пересев на лошадь, накрытую травяным вальтрапом с золотыми пышными хризантемами, он неторопливо объехал войска, после чего солдаты, топоча вразброд, продефилировали перед ним в церемониальном марше. Офицеры опять подвергли критике все увиденное ими:

— Во, сено-солома... Разве же так русские солдаты ходят? Коли идут, так земля трещит! Далеко японцам до нас...

Микадо, не сказав никому ни слова, уже садился в карету, его адъютант подошел к офицерам с русских кораблей.

— Императорское величество, — сказал он, — интере суется: кто из вас, господа, помогал тушить пожар в Иокогаме?

— Это был я, — отозвался Коковцев, заробев.

Японец укрепил на его груди орден "Восходящего Солнца". Мичмана поздравили вице-адмирал Кавамура и военный министр Янамото, а посол Струве приподнял над головою цилиндр. Затем было объявлено, что Муцухито, выражая морякам России особое благоволение, разрешает им осмотреть военные базы в Овари и гавань Тобо, закрытые для других иностранцев...

"Наездник" снова окунулся в сверкание моря. Доверие, оказанное японцами, приятно щекотало русское самолюбие, а Чайковский по-стариковски брюзжал, что самураи ничего путного не покажут. Высадились в бухте Миа, возле города Нагоя; влияние Европы здесь сказывалось гораздо меньше, нежели в Токио или Нагасаки, но гостиница все же называлась "Отель дю Прогрэ" (хотя весь прогресс ограничивался наличием стульев, ножей и вилок). Спать пришлось опять-таки упираясь затылками в жесткие макуры. Утром офицеров навестили губернатор Намура и генерал Иби, оба в европейских фраках и при цилиндрах. Обещая ничего не скрывать от русских, они, напротив, не столько показывали им запретное, сколько утаивали его. Недоверчивый Чайковский бубнил:

— Я так и думал... что с них взять-то?

Зато Нагоя была чудесна! Город издревле соперничал с Киото в искусстве гейш, воспитанных на манерах "сирабёси", истоки которых терялись в XII веке, и русские офицеры охотно посетили уроки танцев девочек-майко, будущих куртизанок. Педагогический институт и гимназия поразили умопомрачительной чистотой. Студенты и гимназисты с особым почтением кланялись "Восходящему Солнцу" на груди мичмана Коковцева. Это дало повод Атрыганьеву заметить, что Вовочка, при всей его бедности, может здорово разбогатеть, ежели станет показываться на Нижегородской ярмарке купцам за деньги.

— Гафф! — оскорбился мичман...

Вечером губернатор Намура устроил для русских ужин. Прислуживали японки удивительной красоты, которых портила, как всегда, густая косметика. Меню было приличным: вареные устрицы с хреном,

каракатицы с морской капустой, апельсиновый мусс, квашеная редька, грибы с вареньем, молодые побеги бамбука в уксусе и сладчайшее рисовое тесто. По мнению офицеров: сыт не будешь, но с голоду не помрешь! Во время еды, усиленно помогая русскому пищеварению, восемь почтенных стариков в белых кимоно непрерывно стучали палками по восьми барабанам. Когда они ушли, Атрыганьев сказал:

— Наверное, сейчас нам покажут что-либо секретное, чего никто из европейцев не видел. Недаром же приказал сам микадо!

Японцы не подвели: одна из бумажных стен зала вдруг стала наполняться густым малиновым заревом и непонятным подозрительным шумом. Это явление развеселило шутников:

— Кажется, горим... не пожар ли? Мичману Коковцеву снова выпал случай отличиться перед японским микадо...

Присутствие в городе, из которого явилась Окини-сан, действовало на Коковцева угнетающе, он не был расположен к юмору и с мрачным видом послал шутников ко всем чертям. Стенка, за которой бушевал мнимый пожар, неожиданно исчезла. В глубокой галерее, освещенной красными фонариками, возникла волшебная пантомима. Колыша веера, гейши не столько танцевали, сколько переходили с места на место — мягкими кошачьими шажками, будто подкрадывались к добыче. А каждый их жест или поворот тела таил в себе богатую символику никому не понятных признаний и откровений...

Когда офицеры возвращались в "Отель дю Прогрэ", Чайковский сказал, что самураи ничего не показали.

— Позвольте! — хохотал Атрыганьев. — Но гейш-то они вам показали? Вам все еще мало?

— Ну их, — отвечал Чайковский. — Все они почти бес телесны, будто их вырезали ножницами из красивой бумаги. Зато вот, помню, в Алжире... Геннадий Петрович, были в Алжире?

— А как же! — грустно отозвался Атрыганьев. — Только там я и понял, как царице Савской удалось соблазнить царя Соломона, после чего старик и впал в библейскую мудрость.

Через день, заманивая русских подальше от доков и арсеналов, японцы отвезли их на образцовую бумагопрядильную мануфактуру,

губернатор Нагой с упоением хвастал, что Япония уже обогнала несколько ткацких фабрик в Англии:

— Мы ничего от вас не скрываем! Вы сейчас и сами убедитесь, что мы работаем быстрее, лучше, дешевле...

В грохоте ткацких станков, снующих локтями деревянных сочленений, в мути едкой удушливой пыли, ряд за рядом сгибались сотни японских женщин, все как одна обнаженные до пояса, их почти детские тела маслянисто блестели от капелек пота. Они, казалось, не видели ничего, кроме бегущего вдаль движения ниточной паутины... Офицерам флота, избалованным всякой экзотикой, было совсем нелюбопытно посещение этой сатанинской кухни; они вяло переговаривались между собою:

— Если правда, что японки из Нагой самые красивые, то их красоту и грацию японцы используют не совсем удачно.

— Да, эти Пенелопы быстро превратятся в старые мочалки, никакой Улисс не сыщет в них следов былой красоты.

Именно в этот момент Коковцев увидел Окини-сан...

Но она-то, конечно, не видела ничего, поглощенная бегом нескончаемой нити -длиною в целую жизнь. "Как быть?.."

Коковцев подошел к ней из-за спины, сказав:

— Это я! Вечером постарайся быть в "Отеле дю Прогрэ", я дам тебе билет на пароход в Нагасаки...

Только по тому, как вздрогнули ее плечи, мичман догадался, что Окини-сан плачет. Но мичман тут же заметил, что одинаково с нею содрогаются плечи и всех других работниц, безжалостно потрясаемые чудовищным ритмом новой Японии — Японии "эпохи Мэйдзи", в которой Страна Восходящего Солнца не будет иметь пощады — ни к самим себе, ученикам, ни к тем, кто был их учителями... И ничего больше самураи русским не показали! А когда эскадра Лесовского вернулась в Нагасаки, берега Японии долго трясло в затяжном шторме, с домов рвало крыши и ходили слухи, что море поглотило пять пассажирских пароходов. Коковцев не верил, что море будет безжалостно к нему и к его любви...

Буря, буря! Страшная буря...

С тех пор как в 1588 году пират Дрейк, встречая на борту корабля английскую королеву Елизавету (известную своим безобразием), сделал вид, что ослеплен ее красотой , а потому вынужден заслонить глаза ладонью, — с тех самых пор воинское приветствие стало традицией. Правда, на флоте "козырянием" не баловались — в тесноте отсеков или на мостике людям не до этого! Но зато возле наружного трапа, при встрече начальства, офицеры надолго застывали с рукою у козырька...

Адмирал Лесовский указал клиперу "Наездник" принять вице-адмирала Кавамура с дочерью-фрейлиной О-Мунэ-сан и посла Струве с женою; если японец пожелает видеть взрыв мины — не отказывайте ему! Прибытие высоких гостей совпало с вахтой Коковцева, и он очень долго не отрывал руки от фуражки, пока по трапу не втащили толстую Марью Николаевну, госпожу посланницу, которую не слишком-то деликатно подпихивали в "корму" фалрепные матросы, одетые в белые голландки с обрезанными рукавами. В кают-компании клипера Кавамура вел себя скромно и сердечно, удостаивая улыбкой даже чистяков, сервировавших стол для завтрака. Он не скрывал, что раньше был сторонником сёгуната Токугава:

— Я самый настоящий японский самурай, и таковым останусь, — произнес он без тени аффектации, как иные люди говорят о себе, что они блондины и перекрашиваться нет смысла...

После сильного шторма море еще не могло успокоиться: плоско, но тяжело гуляла океанская зыбь, которая иногда бывает хуже бури. "Наездник" бежал по волнам, красивая дочь Кавамуры укачалась и ушла наверх. Вцепившись в снасти, фрейлина застыла над бочкой с водой, служившей матросам для бросания в нее окурков. Струве просил вахтенного офицера пригласить ее в общество к моменту произнесения тоста за дружбу двух императоров — русского и японского. Не так-то легко было оторвать красавицу от бочки! Коковцев верно рассудил, что фрейлине сейчас не до политики. Он подхватил японку на руки и, балансируя на шаткой палубе, удачно спустился по трапу в жилые отсеки. Странное дело! От волос О-Мунэ-сан исходил привычный запах, напомнивший ему Окини-сан... Словно догадываясь, как ему сейчас трудно, фрейлина крепко обняла его за

шею. Бросаемый со своей ношей от борта к борту, Коковцев шел вдоль длинного офицерского коридора, из своей каюты его страдальчески окликнул пластом лежавший фон Эйлер:

— Вовочка, что за красивый мешок у тебя?

— Это не мешок — фрейлина.

— Куда же ты ее тащишь?

— На диван. И поставлю ей тазик...

Потом мичман вернулся в кают-компанию и сказал Кавамуре, что его дочь в адмиральском салоне, где ей обеспечен приличный комфорт. Этим он заслужил одобрительный оскал зубов старого самурая... "Наездник" сильно вздрогнул, вибрируя корпусом. Струве постучал лезвием ножа по пустому месту, ибо тарелка уехала от него на другой конец стола.

— Я хотел бы отразить следующий этап в истории наших симпатичных отношений с Японией, — разливался Кирилл Васильевич (которому с большим любо пытством внимала его жена), а тарелка, повинуясь зако нам качки, сама по себе вернулась к послу России, и Струве с опозданием постучал по ней ножиком.

Промокший до нитки, явился сверху лейтенант Атрыганьев:

— Честь имею доложить — мина к взрыву готова!

Кавамура поднялся из-за стола, и офицеры с уважением отметили, что боевой самурай отлично держится на палубе.

— Взрыв мины — это очень интересно для моей дочери! Завтра же она расскажет об этом случае императрице Харуко...

Чайковский на этот намек отреагировал мгновенно:

— Вахтенный офицер, прошу вас — распорядитесь...

Коковцев отделял фрейлину от дивана с таким же рвением, с каким недавно отрывал ее от бочки с окурками. Не надеясь, что она сведуща в языке английском (а сам беспомощный в японском), мичман бестолково решил объясняться по-русски:

— Я бы вас не тревожил, но ваш отец сказал, что вы любите взрывы. Я согласен ждать, но мина ждать не станет...

Миною с "Наездника" была взорвана прибрежная скала, но фрейлина, измученная качкой, даже не дрогнула, зато ее папаша был крайне внимателен ко всем действиям русских минеров. Струве желал

высадиться в ближайшей бухточке, дабы устроить пикник, но Кавамура указал поворачивать в гавань:

— Для моей дочери виденного вполне достаточно!

На прощание О-Мунэ-сан слабо пожала руку Коковцова, после чего сказала ему на хорошем французском языке:

— Я вам так обязана, господин мичман! Если будете в Петербурге, возможно, мы с вами еще не раз встретимся. Впрочем, — добавила она, потупив глаза, — я живу на даче в Тогицу, это всего лишь десять верст от Нагасаки... Ждать ли мне вас?

К мичману, растерянному от такого внимания фрейлины, вдруг подошел вице-адмирал Кавамура со свертком в руке:

— Вы встречали меня у трапа и ухаживали за моей дочерью. Я желаю выразить вам свою признательность. — Он развернул сверток, в нем оказался самурайский меч с рукоятью, обернутой в шкуру акулы, шершавую, как наждак. — Такой меч уже никогда не вырвется из руки! Он способен одинаково хорошо рассекать пополам стальные гвозди и тончайший женский волос, плава ющий на водной поверхности.

Коковцев отдал честь, как бы заслоняя глаза от яркого солнца. Ничто еще не было решено, да и решится все не так, как он думал. В кают-компании после отбытия гостей царил настоящий погром. Чайковский велел чистякам поскорее убрать осколки посуды, разбитой во время качки. Коковцев заглянул в лоцию: Тогицу лежала на берегу залива Омура.

— О-Мунэ-сан — прелесть, — искушал его Атрыганьев. — Даже очень хороша... На твоем месте я бы поехал в Тогицу!

Минер пригляделся и снял что-то с плеча мичмана:

— Откуда у тебя такой длинный женский волос?

Коковцев протянул руку:

— Дай! Сейчас я этот волос разрублю пополам...

Меч оказался бритвенной остроты. Потрепанный штормом клипер пришел в Нагасаки с большим опозданием, и снова зажглись фонари на террасах в иносском саду Окини-сан.

С тех пор как в 1588 году пират Дрейк, встречая на борту корабля

английскую королеву Елизавету (известную своим безобразием), сделал вид, что ослеплен ее красотой , а потому вынужден заслонить глаза ладонью, — с тех самых пор воинское приветствие стало традицией. Правда, на флоте "козырянием" не баловались — в тесноте отсеков или на мостике людям не до этого! Но зато возле наружного трапа, при встрече начальства, офицеры надолго застывали с рукою у козырька...

Адмирал Лесовский указал клиперу "Наездник" принять вице-адмирала Кавамура с дочерью-фрейлиной О-Мунэ-сан и посла Струве с женою; если японец пожелает видеть взрыв мины — не отказывайте ему! Прибытие высоких гостей совпало с вахтой Коковцева, и он очень долго не отрывал руки от фуражки, пока по трапу не втащили толстую Марью Николаевну, госпожу посланницу, которую не слишком-то деликатно подпихивали в "корму" фалрепные матросы, одетые в белые голландки с обрезанными рукавами. В кают-компании клипера Кавамура вел себя скромно и сердечно, удостаивая улыбкой даже чистяков, сервировавших стол для завтрака. Он не скрывал, что раньше был сторонником сёгуната Токугава:

— Я самый настоящий японский самурай, и таковым останусь, — произнес он без тени аффектации, как иные люди говорят о себе, что они блондины и перекрашиваться нет смысла...

После сильного шторма море еще не могло успокоиться: плоско, но тяжело гуляла океанская зыбь, которая иногда бывает хуже бури. "Наездник" бежал по волнам, красивая дочь Кавамуры укачалась и ушла наверх. Вцепившись в снасти, фрейлина застыла над бочкой с водой, служившей матросам для бросания в нее окурков. Струве просил вахтенного офицера пригласить ее в общество к моменту произнесения тоста за дружбу двух императоров — русского и японского. Не так-то легко было оторвать красавицу от бочки! Коковцев верно рассудил, что фрейлине сейчас не до политики. Он подхватил японку на руки и, балансируя на шаткой палубе, удачно спустился по трапу в жилые отсеки. Странное дело! От волос О-Мунэ-сан исходил привычный запах, напомнивший ему Окини-сан... Словно догадываясь, как ему сейчас трудно, фрейлина крепко обняла его за шею. Бросаемый со своей ношей от борта к борту, Коковцев шел вдоль

длинного офицерского коридора, из своей каюты его страдальчески окликнул пластом лежавший фон Эйлер:

— Вовочка, что за красивый мешок у тебя?

— Это не мешок — фрейлина.

— Куда же ты ее тащишь?

— На диван. И поставлю ей тазик...

Потом мичман вернулся в кают-компанию и сказал Кавамуре, что его дочь в адмиральском салоне, где ей обеспечен приличный комфорт. Этим он заслужил одобрительный оскал зубов старого самурая... "Наездник" сильно вздрогнул, вибрируя корпусом. Струве постучал лезвием ножа по пустому месту, ибо тарелка уехала от него на другой конец стола.

— Я хотел бы отразить следующий этап в истории наших симпатичных отношений с Японией, — разливался Кирилл Васильевич (которому с большим любо пытством внимала его жена), а тарелка, повинуясь зако нам качки, сама по себе вернулась к послу России, и Струве с опозданием постучал по ней ножиком.

Промокший до нитки, явился сверху лейтенант Атрыганьев:

— Честь имею доложить — мина к взрыву готова!

Кавамура поднялся из-за стола, и офицеры с уважением отметили, что боевой самурай отлично держится на палубе.

— Взрыв мины — это очень интересно для моей дочери! Завтра же она расскажет об этом случае императрице Харуко...

Чайковский на этот намек отреагировал мгновенно:

— Вахтенный офицер, прошу вас — распорядитесь...

Коковцев отделял фрейлину от дивана с таким же рвением, с каким недавно отрывал ее от бочки с окурками. Не надеясь, что она сведуща в языке английском (а сам беспомощный в японском), мичман бестолково решил объясняться по-русски:

— Я бы вас не тревожил, но ваш отец сказал, что вы любите взрывы. Я согласен ждать, но мина ждать не станет...

Миною с "Наездника" была взорвана прибрежная скала, но фрейлина, измученная качкой, даже не дрогнула, зато ее папаша был крайне внимателен ко всем действиям русских минеров. Струве желал высадиться в ближайшей бухточке, дабы устроить пикник, но

Кавамура указал поворачивать в гавань:

— Для моей дочери виденного вполне достаточно!

На прощание О-Мунэ-сан слабо пожала руку Коковцова, после чего сказала ему на хорошем французском языке:

— Я вам так обязана, господин мичман! Если будете в Петербурге, возможно, мы с вами еще не раз встретимся. Впрочем, — добавила она, потупив глаза, — я живу на даче в Тогицу, это всего лишь десять верст от Нагасаки... Ждать ли мне вас?

К мичману, растерянному от такого внимания фрейлины, вдруг подошел вице-адмирал Кавамура со свертком в руке:

— Вы встречали меня у трапа и ухаживали за моей дочерью. Я желаю выразить вам свою признательность. — Он развернул сверток, в нем оказался самурайский меч с рукоятью, обернутой в шкуру акулы, шершавую, как наждак. — Такой меч уже никогда не вырвется из руки! Он способен одинаково хорошо рассекать пополам стальные гвозди и тончайший женский волос, плава ющий на водной поверхности.

Коковцев отдал честь, как бы заслоняя глаза от яркого солнца. Ничто еще не было решено, да и решится все не так, как он думал. В кают-компании после отбытия гостей царил настоящий погром. Чайковский велел чистякам поскорее убрать осколки посуды, разбитой во время качки. Коковцев заглянул в лоцию: Тогицу лежала на берегу залива Омура.

— О-Мунэ-сан — прелесть, — искушал его Атрыганьев. — Даже очень хороша... На твоем месте я бы поехал в Тогицу!

Минер пригляделся и снял что-то с плеча мичмана:

— Откуда у тебя такой длинный женский волос?

Коковцев протянул руку:

— Дай! Сейчас я этот волос разрублю пополам...

Меч оказался бритвенной остроты. Потрепанный штормом клипер пришел в Нагасаки с большим опозданием, и снова зажглись фонари на террасах в иносском саду Окини-сан.

Признаться, никто на эскадре не ожидал, что тихая японка способна на такую верность: пока "Наездник" скитался по морям, она бежала из

Нагасаки, не желая ничем оскорбить своей любви. Только позже Коковцев узнал, что ткацкая фабрика в Нагое была сущей каторгой - женщин там избивали, а в морозные зимы, раздев донага и отняв обувь, работниц по два часа держали под открытым небом. Но это он узнал потом...

Окини-сан с нетерпением ожидала конца августа:

— Скоро будет праздник дзюгоя, и мы проведем его вместе. В этот день, голубчик, нам будет особенно хорошо... — Коковцев лишь смутно догадывался, что у этой женщины свой необозримый мир, никак не схожий с его мироощущением. Только теперь, после долгой разлуки, Окини-сан сделалась откровеннее. Она рассказала, что ее предки три столетия подряд были заняты одним постоянным делом: они жарили угрей на прода жу, подобно тому как в других семьях веками ковали мечи, плели татами или убирали мусор на улицах. Округлив узкие глаза, Окини-сан шептала мичману, как сложно иметь дело с коварными угрями:

— Множество злых духов сторожат их от беды, а мои предки, прежде чем жарить угрей, произносили массу заклинаний, оберегая себя и свои противни от всякого зла...

Вскоре стало ясно: пока в Петербурге дипломаты не договорились с Пекином, клиперу с Дальнего Востока не уйти — он превратился в "стационар". Но затянувшаяся стоянка расслабила офицеров: отстояв вахту, они спешили к своим "мусумушкам", многие из которых были уже беременны. Это никого в Иноссе не тревожило, тем более что офицеры зачастую брали японок с чужими детьми, неизменно уделяя им долю и своего "отцовского" участия.

Близился японский праздник дзюгоя. Ничего не зная о сути праздника, Коковцев ожидал чего-то необыкновенного. Атрыганьев поспешил разрушить очарованность мичмана:

— Дзюгоя — обычное календарное полнолуние, но японцы в эту ночь стихийно превращаются в лунатиков. Сам увидишь!

В одну из ночей Коковцев спросил Окини-сан, почему она не вышла замуж, как и все порядочные женщины? Лучше бы он и не спрашивал ее об этом.

— Обещай, что не прогонишь меня, если я расскажу тебе все... Я

родилась в году Тора, который повторяется каждые двенадцать лет. И все женщины моего года обречены на одиночество и презрение. Мужчины избегают нас, не желая с нами общаться. А если бы и нашелся муж, я бы доедала после него объедки, в гостях или в доме родителей мужа, пока он там пирует, я должна бы стоять под окнами и ждать его, как собака... хуже собаки!

— Отчего такая жестокость? — поразился Коковцев.

— Потому что мы приносим мужчинам несчастья, и я боюсь, что и тебе, голубчик, доставлю горе... Мне, рожденной в год Тора, можно быть только гейшей или работать на фабрике. Зато наш сын, если он родится в год Тора, это будет для него счастьем: мужчины Тора самые смелые, их все очень любят, и что они ни скажут — все становится законом для других...

Старая токугавская Япония еще держала Окини-сан в себе, и женщина, как заметил Коковцев, радовалась тому, что его не радовало, и огорчалась тем, чего он не понимал. В пятнадцатую ночь августа все огни в Нагасаки погасли — луна вступила в свои права. Окини-сан отворила дом для лунного света.

— Разве ты не видишь, как хорошо? — спросила она, — Я угощу тебя сладкими моти, мы будем есть прекрасное дзони...

Женщина создала на низенькой подставке великолепный натюрморт из цветов и фруктов, она обсыпала его зернами риса. А фоном для этой картины служило небо, и женщина просила сесть лицом к лунному свету, отчего Коковцев испытал странное волнение: женщина — ночь — луна — затишье — вечность...

Ему снова подумалось, что душевный мир японки гораздо богаче, нежели его мир. Тихо, почти шепотом, она спросила:

— Нас никто не слышит?

— Нет.

— А мы с тобой вместе?

-Да.

— И ты меня любишь?

— Да...

Удивительный праздник дзюгоя еще не закончился!

Желая подтянуть своих разболтавшихся офицеров, Лесовский выгнал эскадру в море на практические стрельбы. Коковцев по боевому расписанию руководил носовым плутонгом. Там возле пушек стояли кранцы (ящики), в которых хранились снаряды "первой подачи", заранее франтовато начищенные — на случай начальственных смотров. Дула орудий, чтобы в них не попала морская вода, были заткнуты особыми пробками. Хотя всем ясно, что перед стрельбой пробку надобно из дула вынуть, но в практике русского флота бывали прискорбные случаи, когда, торопясь с открытием огня, вынуть ее забывали.

— Вы об этом помните, — предупредил Чайковский.

— Есть! — обещал Коковцев...

Корабли расстреливали в море пирамиды артиллерийских щитов. "Наездник" тоже нащупал цель. Огонь! И с первого же выстрела, опережая в полете снаряд, с грохотом и дымом вылетела эта дурацкая пробка. Лесовский с флагмана запрашивал: "Чем стреляли?" Пришлось честно сознаться: "Пробкою". "Дядька Степан" распорядился оставить командира носового плутонга на всю неделю без берега. Чайковский бранил Коковцева:

— Вы еще смеете извиняться! Лучше скажите мне спасибо, что к дверям вашей каюты я не поставлю часового с ружьем, иначе даже в гальюн бегали бы под конвоем...

Эйлер сообщил Коковцеву, что "Наездника", кажется, оставят в Сибирской флотилии с базированием на Владивосток:

— Тогда я сразу же подаю в отставку. Я давно мечтаю учиться в парижской "Ecole Polytechnique", а здесь что?

Коковцев сказал, что останется на клипере:

— Тем более сибиряки ходят на докование в Нагасаки.

— А! Вот ты о чем. Но, послушай, — доказывал ему Эйлер, — нельзя же строить планы жизни, учитывая и эту японку. В конце концов, все мы небезгрешны. Но, вернувшись на Балтику, самой жизнью и наличием эполет мы осуждены создавать семейное счастье по общепринятым образцам. Разве не так?

— Может, и так, — пожал плечами Коковцев.

В кают-компании клипера иногда возникали разговоры о Японии: друг

она или затаенный враг? Мир уже испытал первые уколы японской агрессивности, но политики Европы, кажется, восприняли их как некую "пробу пера", сделанную самураями на лишней бумажке, которую впору выкинуть. Эйлер рассуждал:

— Пока японцы лишь удачно копируют окружающий мир. Но что станется с Японией, если она, как разогнавшийся паровоз, слетит со стандартных рельсов и помчится своим путем? Если Японии надо бояться, то... когда начинать бояться?

— Вот с этого дня, и не позже! — сказал старший офицер. — Кавамура еще способен воевать с китайцами и корейцами, но те адмиралы, с которыми нам, очевидно, придется еще сражаться на океанской волне, служат пока гардемаринами и мичманами...Вы, молодые люди, не верите мне? Жаль. Тонуть-то вам , а не мне. Я буду уже на пенсии, ходить по вечерам в кегельбан на Пятой линии Васильевского острова... Вот там можете и навестить меня тогда — на костылях!

Никто не пожелал развивать эту тему дальше, а Окини-сан была восхитительна, как никогда. Коковцев еще ни разу не застал ее врасплох, неряшливо одетой или непричесанной. Как она умудрялась постоянно быть в форме — непонятно, но, даже проснувшись средь ночи, мичман видел ее с аккуратной прической, лицо женщины казалось только что умытым, а глаза излучали радость... Осень была томительно-жаркой, на ночь раздвигали стенки дома прямо на рейд, и, лежа подле Окини-сан, мичман видел вспыхивающие клотики кораблей, огни Нагасаки, с неба струились отсветы дальних звезд...

— Ты не спишь, голубчик?

— Не спится.

— Хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Да.

— Но она очень смешная.

— Тем лучше.

Возле своих глаз он увидел ее блестящие глаза:

— Далеко на севере жил-был тануки...

— Кто жил? — не понял Коковцев.

— Тануки. Тануки жил очень хорошо. Он любил музыку, а животик у него был толстенький... как у меня! Когда наступали зимние вечера,

тануки стучал себе лапкой по животику, будто в барабанчик, и ты смотри, как у него это получалось. — Распахнув на себе кимоно, Окини-сан выбила дробь на своем животе. — Разве тебе не смешно? — спросила она.

— Очень. А что дальше? Пальчиком она провела по его губам:

— А сейчас ты начнешь смеяться, голубчик...

И он действительно смеялся над проделками японского звереныша-тануки, делового и хитрого. Сюжет этой сказки Коковцев помнил со слов деревенской няни, только ее героиней была хитрая русская лисичка с пышным хвостом. С этим он и заснул, преисполненный удивления. На его плече спала Окини-сан, которая в любой позе сохраняла сложную прическу "итагаэси". Отверженная, она знала, что в ее жизни будет много разных причесок. Но никогда не собрать ей волосы в купол "марумагэ", как это делают все замужние женщины. Ей доступно лишь то счастье, которое она дарит другим...

Ближе к зиме в Нагасаки усилилась влажность воздуха, отчего начал разлагаться порох в корабельных крюйт-камерах. А зима, по словам Чайковского, выпала очень суровой — по ночам термометры отмечали минус один градус. Однажды выпал и снег, русским было непривычно видеть под снегом хурму и хризантемы. Но японцев это не заботило: раскрыв над собой бумажные промасленные зонтики, они спешили по своим делам, на спинах курток рикш, ожидающих седоков, снег засыпал большие номера (какие носили и кучера в русских городах). Христианское рождество не волновало беспечную Окини-сан, поклонявшуюся, как язычница, травам и воде, цветам и камням, зато новый 1881 год она мечтала встретить с Коковцевым.

— Если клипер оставят на рейде. — обещал ей мичман.

Новогоднюю ночь Коковцев провел с Окини-сан.

Женщина спустила с потолка хибати-жаровню, подвешенную на цепочке, долго вслушивалась в бульканье кипящей воды. Коковцев не мешал ей, давно догадываясь, что эмоциональный мир Окини-сан не всегда доступен ему, и сейчас, наверное, женщине в бульканье воды открылась мелодия, ему неведомая. Плавным жестом руки Окини-сан потянулась к сямисэну:

У любимого дома —
бамбук и сосна.
Это значит —
у нас новый год.
Нам все это знакомо,
как и снег у окна.
Но глаза мои плачут,
зато сердце поет.
Ах, никак не пойму,
как возникла беда
в этом слове моем —
никогда,
никому...

— Если это новогодняя песня, то почему такая грустная?

— Наверное, потому, что грустная я! Близится год Тора, в котором я снова буду несчастна, делая несчаст ными других. Зато как счастлив будет мальчик, если он родится под знаком Тора — тигра... Ты ни о чем не догадался, голубчик?

— Прости. Нет.

— А разве ты виноват?

Она распахнула на себе кимоно и, обнажив живот, снова отбарабанила веселую музыку, как смышленый японский зверек тануки.

Ранней весной клипер "Наездник" ушел в Шанхай.

Китай пребывал в политическом оцепенении. Весь в прошлом, он имел лишь жалкое подобие министерства иностранных дел (цзунлиямынь), зато обладал министерством китайских церемонии, министерством пыток и наказаний. Мандарины до сих пор верили, что Поднебесная империя — пуп земли, им нечему учиться у европейцев, которых они искренне считали своими вассалами{3}. Они продолжали верить, что народы всего мира — лишь подданные богдыханов, случайно вышедшие из рабского повиновения. Мандарины не совсем-то понимали: почему эти "вассалы", вроде Франции или России, не сносят к воротам Пекина обильную дань? И уж совсем не могли

объяснить народу, с какой это стати вместо принесения даров европейцы грабят Китай через таможни, укладывают где хотят рельсы и грозятся переставить в Китае все вверх тормашками огнем своих канонерок. Но этот высокомерный, насквозь прогнивший Китай продолжал угнетать соседние малые народы, подвергая их самому беспощадному уничтожению.

В открытом море Чайковский объявил офицерам:

— Господа! Кульджинский кризис близится к концу. Россия принимает бегущих от резни уйгуров и дунган, отводя для их расселения наше плодородное Семиречье. Из цзунлиямыня обещали нашему государю не отрубать голов послам, которые вели переговоры в начале кризиса... Теперь, — заявил Чайковский, — назревает новый кризис, Англия не даст нам спать спокойно...

Дальневосточную Россию англичане держали в неусыпной морской блокаде, фиксируя любое перемещение кораблей под андреевским стягом. Чайковский указал штурману клипера менять курс на траверзе Окинавы. Постепенно зеленоватая вода сделалась грязно-желтой от мощного выноса речных вод Янцзы. Эйлер полюбопытствовал:

— Простите, но зачем мы суемся в Шанхай?

— Для отвода глаз... Ошвартуемся. Возьмем для приличия уголь и воду. Пообедаем в ресторане. Матросам дадим разгул, чтобы не настораживались англичане. Но если вас, офицеров, станут спрашивать о целях захода в Шанхай, отвечайте, что пришли за почтой для Струве от местных консулов...

Шанхай имел славу китайского Сан-Франциско, а британские крейсера уже торчали здесь, прилипнув бортами к набережной своего сеттльмента. Едва с клипера успели подать швартовы, как послышался цокот копыт. На набережной, обсаженной платанами, появилась кавалькада амазонок — все красивые, рыжие, длинноногие, хохочущие. Вульгарно подбоченясь, они гарцевали перед русским клипером, с вызовом поглядывая на господ офицеров; их тела непристойно облегали экзотические ливреи с эполетами, аксельбантами и золотыми пуговицами.

Атрыганьев был уже знаком с местными нравами:

— Американки. Берут страшно. Но, поднакопив на этом деле долларов

в Шанхае, уплывают к себе за океан, где каждая делает себе блестящую партию, а потому эту лейб-гвардию (Атрыганьев выразился грубее!) можно встретить на раутах в Белом доме у президента. С этими суками лучше не связываться... По себе знаю — хлещут виски, пока не свалятся...

Офицеры договаривались где провести вечер. Матросы собирались в дешевый "Космополитэн", славный на всем Востоке драками и убийствами, и Чайковский, задержав их на шканцах, строго велел, чтобы до еды руки мыли обязательно с мылом, чтобы следили за чистотой посуды.

— На вас станут кидаться размалеванные шанхайские шлюхи, но вы голов не теряйте. О водке, братцы, забудьте: здесь вам не Кронштадт! Пить разрешаю только ликеры и хересы. Полицию не задевать — в Шанхае полисменами индусы-сикхи, вы узнаете их по красным тюрбанам, а все они, и без того богом обиженные, очень хорошо относятся к нам, россиянам...

На берегу рикши хватали офицеров за рукава мундиров, крича по-русски: "Ехал-ехал!" Было два Шанхая в одном Шанхае — европейский и китайский. Офицеры, наняв рикш (в любой конец десять копеек), лишь краем глаза заглянули в китайскую жизнь. Истощенные, почти скелеты, в немыслимых отрепьях, трясущиеся от голода и опиума, — такими они увидели верноподданных императрицы Цыси. Ленечке Эйлеру стало дурно, когда он заметил, что на ржавом листе кровельной жести бедняки поджаривают крысу. Внешне казалось, что китайцы не ходят — они еле ползают, как сонные мухи. Многие сидели вдоль стен на корточках, бездумно глядя перед собой, а чаще лежали посреди мостовых — целыми семьями с детьми и собаками (у этих людей никогда не было даже крыши над головой).

Зато была и другая крайность: если китаец не умирал от голода и наркотиков, он обязательно лопался от жира, невыразимо толстый, как боров, и такой уже не топал своими ногами — его несли в паланкине, нарочито замедленно, чтобы все остальные могли рассмотреть, какой он важный, какие непомерно длинные отрастил он

себе ногти на пальцах и сколько в нем накоплено сала. Косы этих гнусных паразитов народа тащились за ними в уличной пыли, донельзя похожие на крысиные хвосты... Атрыганьев вспомнил знаменитое изречение Наполеона: "Китай спит. Пусть он спит и дальше. Не дай нам бог, если Китай проснется..."

Зато европейский Шанхай — гладкий асфальт тротуаров, комфортабельные отели, кафешантаны с раздеванием женщин, прекрасные универсальные магазины, в которых дешевые "скороделки" бисмарковской Германии соперничали с добротными викторианскими товарами. В тенистых парках чинно прогуливалась публика, беспечное веселье царило возле клубов и баров, работали лошадиные скачки и театры с заезжими из Европы кумирами, англичане посвящали вечерний досуг лаун-теннису, а немцы со своими увесистыми супругами совершали по дорожкам парков моцион на велосипедах. Русские офицеры навестили ресторан с вышколенной китайской прислугой в голубых фраках.

Коковцева удивило здесь европейское меню:

— Стоило плавать в Шанхай, чтобы сжевать подошву британского, бекона и запить его баварским "мюншенером".

Атрыганьев сказал, что китайцы могут подать ему окорок из жирного веселого щенка или филе из ласковой кисочки:

— Еще дадут рюмку фиолетового вина из печени гадюки, после которого мужчина начинает валить на землю телеграфные столбы. Но учти, Вовочка, что экзотика в британском сеттльменте стоит очень дорого.

Коковцев и Эйлер все-таки заказали для себя самое дешевое китайское блюдо — пельмени из енота с кунжутным маслом. Рядышком пировали офицеры английского монитора, плававшие по Янцзы, словно по родимой Темзе. Поглядывая на русских, "мониторщики" о чем-то переговорили, затем рыжий коммандэр с очень короткими рукавами мундира, из-под которых торчали манжеты с хрустальными запонками, встал и подошел к русским.

Четкий кивок головы, резкий щелк каблуков.

— Мы рады видеть вас в шанхайском обществе. Но почему ваш доблестный клипер не обрасопил реи крест- накрест и почему вы

явились без траурного крепа на кокардах, а веселитесь, ничем не выражая скорби верноподданных?

Коммандэр оставил на столе газету "Shanghai Courier", перелистав которую мичман Эйлер ужасно огорчился.

— Какая потеря! — горевал он. — Вот, внизу, петитом напечатано, что в Петербурге скончался композитор Мусоргский.

Все выразили недоумение: почему в знак траура по музыканту надо обрасопить реи и закрывать императорские кокарды крепом? Атрыганьев забрал газету у Эйлера, вникая в заголовки.

— Итак, господа, первого марта сего года в Санкт-Петербурге бомбою революционеров разорван император Александр II, на престол Российской империи заступил его сын Александр III, о котором Европе известно, что он смолоду страдает врожденным алкоголизмом. Ничего не выдумал: читаю, что написано!

— Так, — задумался Эйлер. — Неужели пророчества Шарло де Ливрона начинают сбываться?

— А если даже и так, — подхватил Атрыганьев, ни сколько не унывая, — офицерский долг повелевает нам провозгласить тост во здравие нового царя с его могучим алкоголизмом, врожденным или благоприобретенным — это уж не наше дело! Затем вернемся на клипер и обрасопим реи в знак траура по Мусоргскому, которого я однажды имел счастие лицезреть в питерском "Капернауме", в обществе знаменитого поэта графа Голенищева-Кутузова.

Чайковский встретил офицеров словами:

— Я все уже знаю. Это известие дает нашему клиперу отличный повод быстро убраться из Шанхая. А незамет ное исчезновение корабля из гавани есть признак высокой морской культуры. Запомните мой афоризм, госпо да! Но прежде нам следует дождаться возвращения команды.

К полуночи по набережной английского сеттльмента закачало белую волну рубах и клешей. Послышалась песня:

Что ты задаешься, Тонька из Кронштату?

Я тебя недаром же зову.

Я красивше стану в новеньком бушлату.

Мы в пивной назначим рандеву.

—Кажется, — издалека заметил Чайковский, — идут сами. Тащить никого не надобно, и на том спасибо великое...

Я такую кралю бусами украшу.

Станешь мармелад один жевать.

Обобьем батистом всю квартиру нашу.

Станем в коридоре танцевать...

Командир клипера желал обрасопить реи, но старший офицер отсоветовал посылать матросов по марсам и салингам:

— Ведь свалятся к чертям собачьим. Что вы? Как можно? Пожалеем ребят. Они же пьяные. Пусть отоспятся...

Экипаж очухался от угара шанхайского "Космополитэна" в открытом море. За один-то часок разгула — месяцы и годы каторжной житухи. Что делать? Человек не всегда выбирает судьбу сам — иногда судьба схватит тебя за глотку и тащит в самый темный угол жизни. В темный и жуткий, как матросский кубрик, где, прыгая с койки, можешь наступить босой ногою на визжащую от ужаса поганую крысу:

— А, зараза! Или тебе стрихнину мало?

Вылетали за борт чуть надкусанные бананы, матросы швырялись ананасами, а душа изнывала в тоске по кислой капусте.

Атрыганьев отвел от своего лица длинный хвост обезьяны, дремавшей на качавшемся абажуре кают-компании:

— Цезарь не брал с народа деньги за хлеб. В третьем веке римляне не платили государству за хлеб и вино, за соль и мясо, за орехи и масло. Викторианская Англия до такого барства еще не дошла. Но четыреста миллионов людей (вдумайтесь в эту цифру, господа!) уродуют себе позвоночники в колониях, чтобы гордый сэр, излечивающий сплин за партией бриджа, иди нежная костлявая мисс, озабоченная вопросами феминизма, никогда не заботились о хлебе насущном. У нас в России — да! — было крепостное право. Но мы, русские, никогда не имели колоний. И вот теперь я, русский дворянин, думаю...

— Вы закончили? — перебил минера Чайковский:

— Нет. Но я всегда готов выслушать вас.

— Благодарю. У меня краткое сообщение,.. Адмирал Лесовский указал нашим клиперам провести секретную экспедицию{4}. Будем искать

необитаемый остров или бухту для базирования кораблей, плывущих из России на Дальний Восток. Чем безлюднее место, найденное нами, тем лучше для нас и дипломатов. Мы не собираем ся никого колонизировать и даже вступать в сношения с туземцами — нам бы только завести склад угля, по ставить сарайчик для слесарной мастерской. А русский консул в Сингапуре уже закупил уголь для нашего клипера...

Тридцать лет назад писатель Гончаров, плывший, на "Палладе", застал в Сингапуре болотные джунгли, ленные тиграми. Теперь с берега посвечивали жерла британских батарей, а сами колонизаторы азартно играли в футбол (уже начинавший входить в моду). Атрыганьев, все на Востоке изведавший, говорил, что Сингапур городишко паршивенький, вроде азиатского Миргорода.

— И все дорого! Дешевы лишь ананасы в консервах. Но брать не советую: такие же ананасы у Елисеева на Невском двадцать копеек за банку, и не надо для этого мотаться в Сингапур...

Знаменитый Ботанический сад имел при входе доску с русской надписью: ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ НЕ РВАТЬ. Минера взбесило, что надпись сделана только на русском языке, и в ярости он нарвал цветов, обломал ветки с дикими плодами:

— Назло викторианцам! Почему они вдруг решили, что одни только мы, русские, способны быть варварами?..

В его вандализме была воя логика. Из сада поехали в ресторан при "Teutonic Club" (Тевтонском клубе). Ужинали при свечах до глубокой ночи. Давно загасли огни британских офисов и контор французов, но еще светились окна германского банка, на что обратил внимание один подвыпивший немец:

— Пусть они спят! Мы, немцы, продолжаем работать! Германия переполнена народом. Улицы наших городов кишат детьми. Немки рожают, как крольчихи. Скоро нам будет не повернуться. А потому именно мы должны победить в этой забавной игре...

Германия опоздала на пир колониального грабежа, теперь немцы наверстывали упущенное. На следующий день из казенных сумм офицеры закупили для всего экипажа пробковые шлемы, обтянутые полотном, с клапанами вентиляции на макушках. Очевидно, англичане

что-то уже пронюхали, ибо консул сказал, что тонна угля с тридцати шиллингов поднялась в цене до шестидесяти шиллингов; он советовал клиперу идти до угольных станций в Пенанге или в Малакке... Петр Иванович Чайковский был взбешен:

— Идиот! Пенанг с Малаккой тоже принадлежат англичанам, а Сингапур связан с ними телеграфом, и от шестидесяти шиллингов за тонну нам уже нигде не отвертеться. Volens-nolens, а засыпать бункера "черносливом" предстоит здесь...

Грузить уголь в этом адовом пекле — каторга, на которую колонизаторы нанимали негров или индусов, но русский флот всегда авралил своими силенками. Перетаскать с берега на своем горбу и ссыпать в узкие лазы бункеров, многие тонны угля, когда сверху тебя поливает раскаленное олово тропического солнца, — это, конечно, наказание господне. Острые зубья кусков угля, разрывая ткань мешков, жестоко терзали матросские спины. Черная слякоть забивала раскрытые рты.

— Пакли давай! — хрипели матросы, как удавленники. Комками пакли они забивали рты, Но через пять — десять минут выплевывали за борт черный комок, и снова — ругань:

— Пакли давай, мать вашу... Побольше пакли! Ендовы с вином стояли открыты, но к ним никто не подошел: кому охота пить в такую жару? Чайковский боялся — как бы не было смертных случаев. Но в лазарет легли только трое.

— Солнечный удар, — пояснил доктор. — Отлежатся...

Ночью тихо убрались из Сингапура. Индокитай с Филиппинами давно был разграничен между англичанами, французами, испанцами и голландцами. В штурманской рубке, раскладывая карты экзотических проливов, офицеры клипера рассуждали об английской морской политике — беспощадной! Нет, англичане никогда не боялись, что кто-то отнимет у них базы, но они всегда были обеспокоены, чтобы никто не завел себе таких же хороших баз. Потому британские крейсера дежурили на коммуникациях мира ничуть не хуже, чем полисмены на перекрестках Лондона. В этом русские моряки скоро убедились и сами: стоило "Наезднику" приткнуться к пустынному берегу и постоять на якоре хотя бы сутки, как будто из-под воды

являлся покрытый свинцовыми белилами крейсер, с которого их вежливо окрикивали:

— Не нужна ли помощь флота британской короны?

Мимо Явы плыли, словно мимо райского сада; правда, с берега иногда в клипер пускали отравленные стрелы, а по ночам не раз встречали пиратские джонки. Но в самых безлюдных местах обязательно находился англичанин (чиновник, врач, плантатор), спешивший к "Наезднику" с обычным вопросом — не нужно ли что передать в Сингапур с помощью британского телеграфа?

— Спасибо, не нуждаемся, — отвечали с клипера...

Море нехотя качало за бортом желтые скользкие волны. В безветрии часто хлопали паруса, среди кочегаров и машинистов участились обмороки. Изнуренные до предела, люди с ласкою поминали прохладную дождливую Балтику с ее невзгодами и ледоставами. На мостик поднялся растерянный механик и доложил, что старые запасы кардифа кончились, он открыл бункер, в который засыпали уголь, купленный в Сингапуре:

— Это не уголь! Нам, продали бенгальский камень...

Бенгальский камень по виду ничем не отличался от хорошего кардифа. "Наездник", словно загнанный рысак, сбавлял скорость. Не мытьем, так катаньем, англичане своего добились: в топках котлов угасало ревущее пламя, бенгальский камень не разгорался, забивая колосники шлаком, кочегары падали с ног от бессилия. Чайковский сказал на мостике, что это подлость.

— Диверсия! — ответил ему Атрыганьев. — Лучше всего добраться на парусах до голландцев или французов.

Брать уголь снова? Но для этого надо расчистить бункера от негодного "чернослива". Двойная работа! А вытаскивать бенгальский хлам через узкие лазы наружу — это примерно так же весело, как вязальной спицей выковыривать из бутыли пробку. В довершение всех бед разом обвисли паруса — штиль. Температура воды за бортом была близкой к сорока градусам.

В лазарете лежали уже двенадцать матросов.

Чайковский велел команде построиться на шканцах.

— Ребята, — сказал он, раздвоив бороду. — Другого выхода нет и не

будет берись за дело, выбрасывай "чернослив" в море. Пока же не задул ветер, спустим Каркас, пойдем на веслах... А вам, господа, — обратился он к мичманам, — несправедливо избегать общей доли. Вы еще недавно были гардемаринами, посему и прошу разделить с матросами их труды.

— Есть! — в один голос ответили юные офицеры... Баркас на десяти веслах выгребал впереди клипера, буксируя корабль за собою на скорости не больше одного узла, а Коковцев с Эйлером, натянув на голые тела черные робы, помогали матросам освобождать бункера от бенгальского камня.

— Кто его покупал? — хрипели матросы сквозь паклю. — Консул? У, с-сволочь! За шею бы его, гада, и — на рею!

— Чего там вешать? — возражали. — Под килем пропустить! Чтобы, пока тащим, его акулы до костей обкусали...

Один молодой матрос средь бела дня, на глазах всего экипажа, шлепнулся вниз головой за борт. Никаких следов не осталось — будто и не было человека.

— Только бульбочка пшикнула, — говорили матросы... Счастье, что повстречали совершенно случайно "Джигита", который обшаривал острова у берега голландской Суматры:

— Эй, наездники! Что с вами?

— Тащите нас, — отозвались гребцы с баркаса и мокрыми лбами разом упали на залитые свинцом вальки весел...

Кое-как дотянулись до голландской Батавии: после пережитого странно было видеть город со всеми благами цивилизации, Офицеры сразу же сняли номера в гостиницах, чтобы принять ванну, пообедать в ресторане и провести ночь на берегу. К столу им подали жареного павлина и рисовых птичек в красивых бумажных корзиночках. Все отметили удивительное радушие добрых и чутких яванцев и непомерную черствость голландских колонизаторов... Атрыганьев сказал:

— Точно такой же характер и у буров в Африке! На ночь офицеры расположились в лонгшезах, под сенью шелестящих пальмовых листьев.

Эйлер спросил Коковцева:

— Тебе не кажется, что мы вернулись с того света? Теперь я окончательно убедился, что, как бы я ни любил море, оно меня отвергает, как чужака, который забрался куда не надо. А помнишь, что говорил князь Багратион? Умные слова: каждый гусар — хвастун, но не каждый хвастун — гусар...

Коковцев не ответил: он уже спал. В городе лаяли. батавские собаки, но мичману снилось, будто он в порховской деревеньке и брешут под заборами лохматые Трезоры и Шарики...

* * *

Лесовский был обескуражен, когда все клипера вернулись в Нагасаки ни с чем, вице-адмирал не хотел даже верить:

— Неужели не нашли ни одного необитаемого острова?

— Их полно, необитаемых, но стоит бросить якоря в лагунах, как являются англичане, куда ни сунешься, везде "интересы британской короны", и если нет чиновника с телеграфом, то имеются британские плантации кокосов или манго.

— Видно, не судьба! — огорчился "дядька Степан". — Вам, господа, — обратился он персонально к офицерам "Наездника", — справедливость требует дать вполне за служенный отдых. Возвращаясь на клипер, офицеры недоумевали:

— Что значит отдых? Или сделают "стационарами" во Владивостоке, или погонят обратно на Балтику?..

Коковцев, поникши, признался Эйлеру, что получил письмо от матушки, давно ждавшее его у консула в Нагасаки: мужичьё все-таки выжило нищую дворянку из ее именьишка, она устроилась по чужой милости в Смольный институт.

— Классной дамой или надзирательницей?

— Стыдно сказать — кастеляншей ... Я думаю, мне лучше остаться на Дальнем Востоке, — сказал Коковцев.

Он просил Чайковского дать ему две недели, свободные от вахт и службы, желая провести время с Окини-сан в тихом уединении. Петр Иванович душевно посоветовал мичману:

— Езжайте на воды в Арима-Гучи, там один день жизни -два рубля на наши деньги, и, поверьте, совсем нет комаров...

Арима была наполнена журчанием ручьев. Влюбленные остановились

в сельской гостинице, заросшей мальвами, кусты чайных роз заглядывали в их окна. Всюду поскрипывали колеса водяных мельниц, высокие горы шумели сосновым лесом. Коковцева приятно удивляло радушие местных крестьян, которые, казалось, искренне радуются его любви к японской женщине.

Пребывание в Арима было наполнено щемящей тревогой, и Коковцев любил Окини-сан с обостренной страстью, а женщина вдруг стала очень требовательна в любви, словно она тоже ощутила близкую разлуку. В один из дней мичман смотрел, как Окини-сан шла через ручей по узкому мостику. В своем пестром кимоно, расшитом журавлями, с громадным бантом-оби на спине, женщина еще издали улыбалась ему, а в руке держала ветку цветущей магнолии, и была она в этот миг необыкновенно хороша! Сначала он залюбовался ею, потом его пронзила зловещая тоска. "Боже, — невольно содрогнулся Коковцев, — как же я могу жить без нее?..." Утром мичман пробудился чуть свет и, оставив дремлющую Окини-сан, отправился к источнику "Тайзан". Вокруг не было ни души, он разделся, с замиранием сердца погружаясь в воду, шипящую, как лимонад. Над ним медленно уплывали в сторону России облака. Коковцев не сразу заметил, когда на краю бассейна появилась Окини-сан. Он молчал, глядя на нее. Женщина (тоже молча) развязала на спине оби, и кимоно, струясь шелком вдоль плеч и бедер, плавно опустилось к ее ногам. Перешагнула через ворох одежды, она не торопилась к нему. Тихо рассмеявшись чему-то, с размаху бросилась в теплый искрящийся омут. Радуясь этому утру и счастию бытия, женщина устроила в бассейне веселую возню, брызгаясь в Коковцева водой, как шаловливая девочка; она то поддавалась его объятиям, то ускользала из его рук...

Коковцев привлек Окини-сан к себе, и она притихла.

— А как мне жить без тебя? — спросил он. Женщина прильнула к нему:

— А разве ты сможешь жить без меня? Твоя первая, а хочу быть и твоей последней... Послушай, что писал Оно-но Салаки:

Когда в столице, может быть, случайно
тебя вдруг спросят, как живу здесь я, -

ты будь спокоен:
как выси гор туманны,
туманно так же в сердце у меня...
Всегда такая чуткая к его настроениям, она сделала в этот день все, доступное женщине, чтобы развеять его мрачные мысли. А ночью на крыши Арима обрушился ливень с грозою — отголосок тайфуна, огибающего Японию; в краткие озарения молнией Коковцев видел лицо Окини-сан с закрытыми в счастье глазами... Над ними, любящими, с чудовищным грохотом разверзалось черное и страшное японское небо!
Через две недели они вернулись в Нагасаки.
— Рад вас видеть, — сказал Чайковский мичману. — Кажется, все складывается к лучшему: наш клипер воз вращается в Кронштадт, на этот раз пойдем Суэцким каналом — через Аден...
Навестив ресторан "Россия", мичман просил Пахомова не оставить вниманием Окини-сан, выложил пятьсот мексиканских долларов.
— Куда так много-то? — удивился земляк.
— Боюсь, что мало. Окини беременна.
— Плывите спокойно, — заверил его Пахомов. — А будете в порховских краях, уж вы за меня откланяйтесь нашим коровушкам, березкам да ромашечкам. Коковцевым я по гроб жизни обязан и все исполню в ажуре, за Окини-сан пригляжу...
На клипере боцмана уже готовили "прощальный" вымпел! Этот вымпел имел длину корабля плюс еще по сотне футов за каждый год заграничного плавания, а что-бы он при безветрии не тонул в море, на конце вымпела привязывались стеклянные поплавки.
Атрыганьев заметил отчаяние Коковцева:
— Японки очень ценят тонкость чувств и никогда не станут доводить их до грубых крайностей. Японка про щается без истерик и валерьянки, что не случается с нашими образованными дамами, страдающими напоказ перед публикой по проверенным рецептам... Завтра и сам убедишься в этом!
— Завтра? — ужаснулся Коковцев.
— Да. Завтра. Кливер уже поднят... Видишь?
Поднятый кливер означал, что корабль покончил с делами на берегу,

все счета и долги оплачены. Остающиеся на земле, увидев кливер, вправе предъявить "Наезднику" последние претензии. Но какие могут быть претензии к честным людям, которые простились с честными людьми!

Все слова остались на берегу, а теперь, когда якоря, источая зловоние грунтов, стали заползать в клюзы, осталось только махать рукою... "Наездник" разворачивался в тесноте бухты, рядом с ним плыло множество фунэ с японскими женщинами, державшими над собой зажженные фонарики, и Коковцев часто терял из виду фонарь, который высоко поднимала над своей идеальной прической милая, милая, милая... Окини-сан!

Матросы рядами стояли на тонких реях, торжественно проплывая под самыми облаками, живыми гроздьями они обвесили марсы и салинги. По давней традиции, матросы швыряли в море свои бескозырки, иные сбрасывали с высоты даже бушлаты.

— Ур-ра-а! — разносилось сверху. — Домой... в Россию!

Небо расцветилось тысячами хлопушек, которые, громко лопаясь, выбрасывали из себя струи ракет, золотых рыб и огненных драконов. Над ними струились бумажные змеи с фонариками.

Иноса прощалась с клипером "Наездник"!

— Ты видишь Окини-сан? — спросил Эйлер друга.

— Увы, я уже потерял ее в этой суматохе... Нагасаки потонул в вечерней дымке, а на теплой воде еще долго дрожали огни Иносы, потом и они померкли навсегда.

Берега незаметно растерло в дожде и тумане.

— Ну, вот и все! — сказал Коковцев. — Господи, где же еще я буду так счастлив?..

Из рощи высоких пиний мигнул на прощание маяк Нагасаки: клипер, подхваченный ветром, вползал на волну. Вода, как бы играючи, захлестнула палубу и легко исчезла в водостоках шпигатов. Чайковский с бородой, раздуваемой ветром, кричал:

— Кончать балаган! Пора наводить порядок... Владимир Васильевич, прописываю вам усиленные вахты, а заодно посидите со штурманом над прокладкой, это пойдет вам на пользу.

Дело есть дело. Штурман сказал, что мимо Цейлона повернуть к Адену не удастся — в это время года возле берегов Аравии задувают сильные муссоны, противные курсу, а потому клиперу надобно отклониться к южным тропикам.

— Спустимся до Кокосовых островов, оттуда к Сейшельским, потом, прижимаясь к Африке поймаем в паруса попутный пассат, который и вытащит нас прямо к Адену...

Кубрики матросов и каюты офицеров напоминали маленькие музеи восточных искусств, а плавание в тропиках превратило клипер в плавучий склад всяческой экзотики. Всюду прыгали обезьяны, истошно кричали попугаи; на вантах висли связки бананов, пучки ананасов, мешки с кокосами, сушились раковины и кораллы. Но сейчас мысли людей все чаще обращались к родине, уже начинавшей ждать их... Из России доходили нехорошие, саднящие душу слухи, будто в стране наступила пора глухой реакции, а новый царь Александр III "закручивает гайки".

Даже механик, обычно молчаливый, сказал за ужином:

— У меня вот вчера машинист Баранников тоже гайку на фланцах так закрутил, что резьбу сорвал... сволочь такая!

Атрыганьев сравнил Россию с кораблем, который, положив рули на борт, выписывает крутейшую циркуляцию, что всегда грозит кораблю опрокидыванием кверху килем. Внутри офицерской общины неизменно царствовала полная свобода слова, никак не допустимая в условиях пресноземноводного существования. Сама атмосфера кают-компаний располагала к тому, чтобы любой гардемарин мог открыто высказывать все, что думается. Понятие офицерской чести, нивелируя возрасты и ранги, служило отличной и надежной порукой тому, что из замкнутого мира ничто не вырвется наружу.

А теперь... Теперь Чайковский предупредил:

— Вернемся домой, и надо помалкивать... до получения пенсии! Кажется, настал исторический момент, когда пословицу: "Хлеб-соль ешь, а правду режь" — приходится заменять другою: "Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами"...

Японская ваза из фальшивого "амори", купленная по ошибке Эйлером, при сильном крене поехала по крышке рояля, и Атрыганьев едва

успел перехватить ее.

Он сказал:

— А вдруг эти дрова еще пригодятся?..

Аден был выжжен солнцем. Казалось, что и собака тут не выживет, но англичане жили и не тужили, ибо Аден держал на викторианском замке подступы к Суэцкому каналу. Здесь Коковцев, в дополнение к банке ванили, купил для маменьки банку аравийского "Мокко". Медленно втянулись в Красное море: на зубьях рифов торчали обломки разбитых кораблей, низко стелились мертвые берега. Лишь изредка по горизонту тянулась жиденькая ниточка верблюжьего каравана. Вот и Суэцкий канал: в долинах паслись стаи пеликанов, поблизости вилась линия рельсов. Вровень с клипером бежали по берегу арабчата, горланя по-русски: "Давай, давай, давай!" Один матрос бросил им с корабля пятак, но арабчата даже не остановились.

— Робу давай... робу! — требовали они настырно.

Матросы бросали за борт свои парусиновые голландки.

Суэцким каналом плыли с опаскою: власть в Каире захватили египетские офицеры, на берегу слышалась перестрелка. Никто не понял, отчего Атрыганьева охватил приступ тоски.

— Каир, Каир, — твердил он. — Неужели пройдем мимо?

Чайковский сказал, что задержка клипера в Египте сейчас нежелательна по мотивам политическим. Утром Коковцев проснулся от крика: "Европа, братцы! Гляди, уже и Мальта..." Первое, что увидели в Европе, опять-таки английские крейсера, шли они очень красиво, отбрасывая за корму клочья рваного дыма. Из Ла-Валетты вышел катер под флагом русского консула, с него передали пачку телеграмм, изучение которых всех озаботило:

— Нам следует спешно красить клипер для смотра на Большом рейде, а тут... таскайся на посылках, вроде извозчика!

Морское собрание Кронштадта просило закупить побольше марсалы с мадерой, Гвардейский экипаж требовал тридцать бочек хереса марки Lacryma Christi, Дворянское собрание Петербурга, не имевшее к флоту никакого отношения, слезно умоляло доставить для зимних балов испанской malaga. Кроме того, члены Адмиралтейств-совета тоже любили выпить, а каждый адмирал имел свой вкус. Закупка вин по

списку задержала клипер возле берегов Испании, в результате "Наездник" осел в воду на целый фут ниже ватерлинии. Но с начальством не спорят... Было уже начало августа, когда клипер вошел в Балтийское море, и все радостно умилились: в парусах шуршал серенький дождичек, на курсе разминулись с эстонской лайбой, загруженной серебристой салакой; по правому борту выплыли из тумана и снова пропали тонкие шпили ревельских башен и кирок.
Вечером клипер затрясло в лихорадке отдачи якорей на Большом рейде Кронштадта. Жестокая вибрация корпуса пробудила корабельного священника, отца Паисия: он поднялся на мостик и глазам своим не поверил:
— Никак, Кронштадт? Матерь ты моя, Пресвятая Богородица... А что вы хохочете, мичманы? — обиделся он. — Вам раньше казалось, что тяжело, а тяжелое-то сейчас и начнется. Свои всегда больней лупят. Райская жизнь кончилась.
Клипер поднял свои позывные. Мачта над штабом командира порта ответила флагами: СООБЩЕНИЕ С БЕРЕГОМ ЗАПРЕЩЕНО.
— Ничего интересного больше не будет, — сказал Атрыганьев и пошел прочь с мостика, на ходу злобно срывая тужурку.

Итак, интересное закончилось... На палубу клипера выбрался заспанный котище и, облизав себе хвост, долго взирал на Кронштадт — тот ли это город, где он бывал счастлив? Наверное, что-то очень родное и приятное опахнуло кота от помоек матросских казарм, а может, и вспомнились былые победы над кронштадтскими кошками! Не в силах более сносить монашеской романтики моря, он единым махом вспрыгнул на бушприт, издав в сторону города трагический вопль любовного призыва. Послушав, нет ли отклика, кот возобновил арию на усиленных тонах.
— Браво-брависсимо, — Сказал Атрыганьев, выходя из душевой с полотенцем. — Я великолепно понимаю наст роение кота. Но... удастся ли нам поспать в эту ночь?
Его мнение полностью совпадало с матросским.
— Во, зараза какая! — ругали они кота. — Ведь до утра глотку драть будет. За хвост бы его размотать — и за борт!

Кот продолжил арию, усиливая ее в crescendo, и тогда из каюты вылетел разъяренный Чайковский:

— Это невыносимо, наконец! Спустить вельбот на воду, подвахтенным на весла... Срочно доставить кота в Кронштадт!

Ему отвечали, что сделать это никак нельзя:

— Сообщение с берегом нам строго запрещено.

— Так это же — нам, а коту кто запретит?..

Непредвиденный эпизод с котом заразил всех бесшабашным весельем, Чайковский тоже поддался общему настроению:

— А что, господа? Не выпить ли нам малаги? Когда поднимали из трюма малагу, треснул бочонок мадеры. Каждый офицер понимал, что бочонок матросы разбили нарочно, но Петр Иванович (добрая душа!) решил не придираться:

— Ладно! Не одним же нам, господа, вина хочется... Была волшебная балтийская ночь, вдали догорали огни дач Ораниенбаума и Мартышкина, где-то совсем уже рядом жили их друзья и близкие родственники, тосковали по ним невесты. Ну, откуда же знать им, что они уже на рейде Кронштадта распивают бочонок превосходной малаги из Кадиса? Ленечка Эйлер, дурачась, схватил с рояля фальшивый "амори":

— Господа, кокнем его по случаю возвращения!

— Оставь дрова в покое , — указал ему Атрыганьев.

Доктор напомнил всем, что плавание длилось двадцать пять месяцев, и за такой долгий срок имели лишь одного покойника:

— Да и тот кинулся за борт по доброй воле... Господа, "Наездником" свершено беспримерное плавание в тропиках!

Атрыганьев все время порывался сказать тост, но его каждый раз удерживал старший офицер. Лейтенант клялся Чайковскому, что ни единого худого слова об Англии не скажет.

— Тем более — воздержитесь, — просил Чайковский...

Утром клипер напоминал винную ярмарку: подходили катера, забирали бочки с вином — кому малага, кому лакрима-кристи, кому мало, кому много, одному дешево, другому дорого. Матросы под шумок аврала разбили в трюме еще три бочки с испанским аликанте. Но пили с похвальным смирением — ни одного пьяного на корабле не

было... Чайковский потом велел:

— Прошу еще раз проверить состояние клипера, что бы "Наездник" сверкал, как новый пятак с Монетного двора...

Дальнее плавание на Восток и обратно, приравненное к условиям боевого, сулило офицерам немалые деньги. Через день казна выплатила их прямо на рейде — аккордно, и холостяцкая молодежь сразу ощутила себя богатой. Атрыганьев, не отягощенный узами Гименея, потрясал пачкою ассигнаций:

— Господа! Приглашаю всех в "Минерашки"- смотреть мадмуазель Жужу. Я видел ее последний раз перед отплытием в Японию. Она горько рыдала, когда судеб ный пристав выводил ее из зала, тряся перед публикой лифчиком и панталонами — как доказательством того, что в момент танца они были отделены от тела божест венной и несравненной Жужу...

Эйлер сказал Коковцеву, что "аккорд" кстати: можно ехать в Париж для экзаменов в "Ecole Polytechnique".

— А я, — ответил Коковцев, — наверное, совершил ошибку, что вернулся на Балтику, не оставшись на Востоке.

— Тебя на Кронверкском, помни, ждет Оленька.

— Не надо лепить гаффов, Ленечка...

С наружной вахты раздались свистки, катер доставил на клипер свору жандармов. Атрыганьев прищурил глаз:

— Я же говорил, что ничего интересного уже не будет! В кают-компании жандармы объявили, что клипер подлежит обыску — нет ли нелегальной литературы? Петр Иванович Чайковский с презрением к "бирюзовым" господам отвечал:

— Ищите! А я в чужих вещах не копался.

— Мы должны осмотреть и офицерские каюты.

— Если вам позволят господа офицеры...

— Я не позволю! — заявил Атрыганьев и врезал по щечину обезьяне, занявшей его любимое место в углу дивана. Усевшись он расправил бакенбарды. — Видите ли, я человек холостой и привез пикантные картинки не для вашего лицезрения.

Макака, запрыгнув на абажур, громко плакала.

— Я протестую тоже, — сказал Эйлер.

— Представьтесь нам, господин мичман.

— Леон Эгбертович фон Эйлер, честь имею!

Конструкция внутренних отсеков клипера была сложной, и жандармы боялись погружаться в узкие люки, ведущие в преисподнюю, без провожатого. Чайковский велел Коковцеву:

— Владимир Васильевич, проводите... гостей!

Матросы встретили жандармов с откровенной враждебностью. Коковцев встал у трапа, не желая участвовать в обыске. Жандармы перетряхнули койки, ощупали подушки. Им было явно не посебе в этом мрачном ущелье, пропитанном ароматами, дорогих вин и заморских фруктов, а вся эта экзотика заглушалась вонью крысиной падали из трюмов, в которых плескалась загнившая вода. Покидая клипер, старший жандарм откозырял офицерам:

— Вы напрасно обижаетесь на нас! Без этой формальности не может состояться императорский смотр, а следовательно, вам не видеть и берега... Всего доброго, господа!

После их отбытия над штабом порта взлетели флаги: ОБЩЕНИЕ С БЕРЕГОМ РАЗРЕШАЕТСЯ.

— Коту сейчас хорошо, — мудро изрек Атрыганьев. — В худшем случае его могут только кастрировать, но обыскивать его родимую помойку вряд ли кто рискнет... Вот так!

Вдали уже показалась придворная яхта "Царевна", Первым ступил на палубу клипера император Александр III, ражий бородатый дядька в белом мундире флотского офицера (при кортике). За ним шла императрица Мария Федоровна, узенькая в талии, вертлявая дама с очень красивыми глазами (при жемчужном ожерелье на шее). Следом их дети: наследник престола Николай, еще мальчик, и его сестра Ксения (оба в матросках). Поднялся по трапу разжиревший генерал-адмирал Алексей, и Коковцев сразу вспомнил брошку на кимоно Оя-сан в Иносе; за великим князем явился управляющий морским министерством адмирал Пещуров, а потом посыпались чины императорской свиты, статс-дамы и фрейлины... Чайковский был большой умница.

— Ваше величество, — сказал он после отдачи рапортов, — по флотскому обычаю не откажите в высочайшей милости!

Чистяк держал поднос с пузатою чаркой водки. Коковцев, стоя подле, слышал, как императрица шепнула мужу:

— Ах, Сашка! Ты обещал мне... тебе же нельзя...

— Одну-то всегда можно, — басом ответил царь. Словно подтверждая мнение шанхайской газеты, он выпил первую чарку с большим чувством, почти проникновенно, и было видно, что не прочь выпить еще. Горнисты сыграли сигнал к постановке парусов, что матросы исполнили с залихватской скоростью, через минуту ветер наполнил даже верхние брамсели. Все стояли внизу, задрав головы, невольно приходя в ужас при виде акробатических номеров, проделанных под куполом неба.

— Молодцы! — гаркнул царь. — Я восхищен. Даже в цирке Чинизелли я, клянусь, не видывал ничего подобного...

Обстановка сразу разрядилась, гости понемногу разбредались по кораблю, с интересом его оглядывая. Императрица выразила желание осмотреть каюты офицеров. Коковцеву было неудобно, когда Мария Федоровна с большим интересом, поднося к глазам лорнет, разглядывала фотографии Окини-сан, которые мичман оригинальным веером развесил над своим рабочим столом.

— Это моя знакомая, ваше величество, — сказал он.

Императрица в упор лорнировала смущенного мичмана:

— Я знаю, какие у вас бывают знакомые в Нагасаки... С детьми, конечно, все было проще: наследнику престола захотелось иметь обезьяну, а его сестре понравился попугай. Атрыганьев поймал попугая за хвост и подарил девочке:

— Ваше высочество, отныне этот "попка" вашего высочества.

Эйлер сообщил Коковцеву, что царь засел в штурманской рубке, где ему объясняют обратный маршрут с пассатами и муссонами, которые клипер удачно "поймал" парусами в океане.

— По отбытии государя следует давать салют в тридцать один выстрел... Вовочка, не забудь вынуть пробку.

— Что ты, Леня! Как можно?..

Среди разряженной публики кидался из стороны в сторону запаренный Чайковский, которого высокопоставленные гости буквально задергали. В отсеках сделалось жарко, офицеры

истомились в мундирах и треуголках, не снимая белой лайки перчаток, их парадные сабли, столь неудобные в тесноте, гремели ножнами по крутым трапам. Наконец в кают-компании появилась и Мария Федоровна, сразу воззрившись на дурацкую вазу фальшивого "амори".

— Боже, какая красота! — восхитилась она.

Атрыганьев всегда был отличным кавалером, и, подхватив вазу с рояля, он элегантно преподнес ее императрице:

— Кают-компания нашего славного клипера будет счастлива угодить вашему величеству этим дивным произведением, достойным занять место в любом евро пейском музее. Поверьте, я разбираюсь в японском фарфоре, и сам удивлен, что нам достался этот драго ценный фарфор древнейшей марки "амори"... Прошу!

— Мне, право, неудобно грабить господ-офицеров.

Но тут все офицеры стали взывать к ней хором:

— Просим! Умоляем ваше величество... не обижайте нас.

Коковцев глянул на Эйлера, который, пряча лицо за портьерой, переламывался от хохота, и этого было достаточно, чтобы Коковцева тоже охватил приступ смеха. Офицеры клипера едва сдерживали хохот, и только один Атрыганьев был неподражаем в своем велеречивом спокойствии. Минут на пять, не меньше, он занял внимание императрицы лекцией о качествах японского фарфора, а Мария Федоровна забрала вазу с собой:

— Благодарю. Я буду держать ее в своем кабинете...

Измотанный Чайковский перехватил на трапе Коковцева:

— Слава богу, государь всем доволен. Артиллерийского учения не будет, но при салюте не забудьте вынуть пробку.

— Петр Иванович, как можно забыть?..

Пора прощаться. Матросы и офицеры снова построились. Императрица, не расставаясь с вазой, что-то нашептала своему мужу, и Александр III отыскал взором Атрыганьева:

— Лейтенант, сколько лет вы в этом чине?

— Тринадцать, ваше императорское величество.

— А сколько имеете кампаний?

— Одних кругосветных три плавания, ваше величество.

— Почему же вы еще лейтенант?

Рука Атрыганьева задержалась у фаса треуголки:

— Ваше величество, все мы, мужчины, небезгрешны. Извините великодушно, что вынужден признаваться в присутствии вашей супруги. Но страсть к женщинам всегда губила мою карьеру!

Царю такая откровенность пришлась по душе:

— Поздравляю! Отныне вы — капитан второго ранга.

— Рад служить вашему величеству...

Эйлера опять стало коробить от хохота, и Коковцев, тоже готовый прыснуть смехом, судорожно прошептал:

— Леня... умоляю... не надо... потом...

В этот патетический момент царю явно чего-то не хватало. Александр III посмотрел на жену — невыразительно. Глянул на вестового с чаркой водки — выразительно. При этом он сделал жест, как бы поднимая стопку, но его пальцы были пусты, и он произнес слова, чтобы все сомнения разом отпали:

— Я желаю поднять чарку за бравую команду "Наездника", которая не устрашилась ни бурь, ни врагов, ни...

— Чистяк, чего разинулся? — внятно сказал Чай ковский.

Император охотнейшим образом снял чарку с подноса:

— За ваше здоровье пью, братцы!

— Ах, Сашка... — простонала императрица. Наблюдая за движениями кадыка, алчно ворочавше гося в бороде, пока царь сосал водку, матросы кричали:

— Урррра-а... урррра-а... урррра-а-а-а!..

Царь уже направился в сторону забортного трапа, за ним вереницей двигались остальные: императрица с "дровами", наследник престола с обезьяной, Ксения с "попкой", потом и все прочие... Чайковский, смахнув со лба пот, указал:

— Носовой плутонг, по местам — к салютации!

Коковцев первым делом спросил комендоров:

— Братцы, а пробку вынули?

— Так точно, — заверили его матросы.

Стрельба должна вестись пороховыми зарядами — громом и пламенем холостых выстрелов. Надо лишь выждать, чтобы придворная яхта

"Царевна" отошла от клипера подальше.

Этот момент наступил:

— Начать салютацию. Первая — огонь!

Пушка, присев на барбете и откатившись назад, изрыгнула смерч пламени, а по волнам Большого рейда, догоняя царя и его семейство, закувыркался... снаряд.

Это видели все. Это видели и на царской яхте.

Фугасный снаряд летел точно в "Царевну".

Потом зарылся в море и утонул. Наступила тишина...

На фалах царского корабля подняли флажный сигнал:

— Спрашивают: ЧЕМ СТРЕЛЯЛИ? — прочел сигнальщик.

Все растерялись, кроме Чайковского.

— На фалах! — зарычал он, раздваивая бородищу.

— Есть на фалах! — отреагировали сигнальщики.

— Ответить: СТРЕЛЯЛИ ПРОБКОЮ.

— Вы с ума сошли, — перепугался командир клипера.

— Лучше сойду с ума, но в тюрьму не сяду...

Спрыгнув с "банкета", Чайковский добежал до носового плутонга и, свирепея, поднес кулак к носу старшего комендора:

— А ты что? Или с тачкой по Сахалину захотел побегать?

Потом — Коковцеву (бледному как смерть):

— Держать фасон! Пробку — за борт!

Коковцев схватил пробку и утопил ее в море.

— Открыть кранцы, — догадался Чайковский.

В кранце первой подачи, чего и следовало ожидать, не хватало снаряда. Как случилось, что прежде заряда вложили в пушку боевой фугас, — выяснять было некогда.

— В крюйт-камерах! — позвал Чайковский "низы".

— Есть крюйт-камеры, — глухо отвечали из погребов.

— Фугасный на подачу.

— Есть подача... — отозвались в "низах".

Коковцева била дрожь, Дело подсудное: будет виноват старший офицер, сорвут погоны с мичмана, а в действиях комендоров усмотрят злодеяние. От "Царевны" уже отваливал катер, там сверкали мундиры свиты. Сейчас начнется допрос по всем правилам жандармской науки

— следовало спешить.

Петр Иванович, шагая между пушек, побуждал матросов:

— Торопись, братцы, чтобы кандалами потом не брякать...

Все делалось архимгновенно. На поданный из "низов" снаряд наводили "фасон" — кирпичной пылью и мелом, натирая фугас до солнечного блеска, чтобы он ничем не отличался от тех снарядов,что постоянно хранились в кранце первой подачи.

Матросы старались, работая как черти:

— Вашбродь, мы ж не махонькие, сами знаем, что по царям, как и по воробьям, из пушек никто палить не станет...

Горнисты снова исполнили "захождение", когда на палубу высыпало высокое начальство, а Пещуров был даже бледнее Коковцева. Вся свита царя, словно легавые по следу робкого зайца, кинулась следом за адмиралом прямо в носовой плутонг.

Сначала они решили взять наездников на арапа:

— Где пробка от салютовавшей пушки? Коковцев шагнул вперед (пан или пропал):

— Осмелюсь доложить, пробку вышибло при выст реле.

Пещуров не поверил, крикнув матросам:

— Раздрай кранцы первой подачи!

Мигом подлетели комендоры, распахивая дверцы железного ящика. А изнутри полыхнуло сиянием наяренной бронзы, что всегда приятно для адмиральского глаза. Улики выстрела были уничтожены. Пещуров начал орать на Коковцева:

— Как можно быть таким бестолковым? Вы же, собираясь распить бутылку вина, прежде вынимаете из нее пробку?

— Иногда вынимаем, — отвечал Коковцев.

— Иногда? — удивился Пещуров. — А почему же сей час, в такой высокоторжественный момент, не вынули ее из пушки?

— Извините. Растерялся. Виноват один я!

Весь гнев адмирал Пещуров обрушил на старшего офицера клипера:

— Почему неопытным мичманам доверяют плутонги? Но Чайковский был уже с большой бородой, он много чего повидал на белом свете, и на испуг его не возьмешь. На все окрики адмирала он отвечал сверхчетко, сверхкратко:

— Есть!.. Есть!.. Есть!..

Искаженное на русский лад "иес, сэр", превратившись в простецкое "есть", уже не раз выручало флот от неприятностей. Так случилось и сейчас. Пещуров переговорил со свитой царя.

— Составьте рапорт по всем правилам, — указал он...

Свита удалилась, а Чайковский отдал честь Коковцеву:

— Господин мичман, благодарю за рвение! Должен заметить, к вашему вящему удовольствию, что прицел вами был взят отлично: этот проклятый фугас кувыркал ся точно в борт императорской "Царевны"... Кто порол вашу милость последний раз?

Коковцев, очень мрачный, нехотя отвечал:

— Не помню — я ведь не злопамятный.

— Но я сохранюсь в вашей памяти... Пошли!

В каюте он отцепил саблю, бросил ее на постель. Зашвырнул треуголку в шкаф, потянул с пальцев лайку перчаток.

— Ладно, что так обошлось. Когда станете составлять рапорт о салюте пробкой , не забудьте, что одного фугаса в крюйт-камерах не хватает. Потому вы спишите его по ведомости как растраченный где-либо в море близ берегов Японии.

— Есть! Есть! Есть! — покорно соглашался Коковцев.

Чайковский внимательно оглядел мичмана:

— Это у нас здорово получилось! Весной Александра Второго угробили народовольцы, Желябов с Перовской, а в конце лета Александра Третьего убирали фугасом вы да я с бравыми комендорами... Самое же удивительное в этой истории, что вы рассчитали прицел подозрительно точно!

— Нечаянно всегда бывает точнее, — ответил Коковцев. — По себе знаю: если очень стараться, никогда в цель не попадешь...

Далее в действие пришел механизм круговой поруки: кубрик не выдаст кают-компанию, а кают-компания не выдаст кубрик. Скоро с Большого рейда клипер перегнали в Военный Угол, стали готовить для постановки в док. После дальнего плавания команде и офицерам полагался шестидесятидневный отпуск. "Наездник" осторожно вошел в док, а когда док осушили, все увидели днище корабля, с которого свисали длинные бороды водорослей, гроздьями присосались к нему

ракушки дальних морей. Настал час расставания. Пожилой матрос с бронзовой серьгой в ухе поднес старшему офицеру клипера икону Николы Морского, поверх которого, в святочном нимбе, сияла надпись: НАЕЗДНИКЪ.

— Ваше высокородь, — сказал матрос, — это на память вам от команды, извиняйте за скромность. Конешно, мы не святые, всяко бывалоча. Оно и правда, что пять бочек аликанты мы в трюмах за ваше здоровьице высосали. Но спасибо вам, Петр Иваныч, что, сколь ни плавали, никому кубаря по ноздрям не совали. А што до энтих матюгов касательно, так это шоб дисциплина не убыва ла. Мы ж не звери — все понимаем. Грамотные!

Тогда редко кто из офицеров получал подарки от матросов за гуманность. Чайковский растрогался, с его глаз сорвались слезы, он взял "Николу-Наездника", расцеловал матроса:

— Спасибо, Тимофеев, и вам, братцы, спасибо... Теперь разъедутся матросы по всяким там рязанским, курским и тамбовским деревням, при свете лучин станут рассказывать землякам, как ярко горели звезды в тропиках, о дивной стране Японии, где из шелка можно портянки наматывать, как плыли Суэцем и мимо Везувия, а какое вино пили... эх! По высоким сходням спускались на днище дока, и каждый матрос не забывал ласково тронуть усталое днище усталого корабля:

— Прощай, "Наездник": уж побегали мы с тобой по свету.

Матросы тащили на себе громадные парусиновые чемоданы, полные японских и китайских даров для заждавшихся Тонек и Марусек, а на чемоданах заранее сделаны броские девизы: МОРЯКЪ ТИХАВА ОКІЯНУ. Когда идет человек с таким чемоданом, балтийцы, сидящие за решетками крепостных казематов, с тоскою думают: "Повезло же людям... а когда нам повезет?"

— Отплавались, — надрывно вздохнул Атрыганьев.

Вестовые с Якорной площади уже подогнали пролетки, чтобы развезти офицеров с их багажом на пристань или по квартирам. Все перецеловались, старший офицер сказал мичманам:

— Господа, если что нужно, вы меня можете найти по вечерам в кегельбане Бернара на Пятой линии Васильевского острова...

Атрыганьев печально глянул на Вовочку Коковцева:

— Ах, Каир! Как жаль, что я не показал тебе Каира... Что ему дался этот Каир? Коковцев оставался в Кронштадте, сняв комнатенку в обширной квартире клепальщика с пароходного завода; пытаясь наладить уют, мичман украсил свое убогое жилье восточными безделушками. Хозяйка Глафира свет Ивановна весь день пекла и жарила, закармливая его всякими сдобами и творожниками, а ему было страшно одиноко. Вечерами Коковцев усаживался возле окна и подолгу смотрел, как вспыхивают клотики кораблей на рейде, а вдали загораются дачные огни Ораниенбаума и Стрельны, до боли похожие на огни Иносы, давно угасшие... Жить-то, конечно, надо. Но как жить?

Эйлер уже подал в отставку, а Коковцева еще долго мучило сознание, что "Наездник" затих в доке, пустой и мертвый, голодные крысы шуршат в его трюмах... Мичман лежал на перине, покуривая папиросу, в соседней комнате стучали ходики, жизнь представала перед ним бессодержательной, как глупый роман, в котором он ее полюбил, а она его не полюбила. Давно бы уже следовало навестить мать, но Коковцев все откладывал свидание с нею, угнетаемый чувством ложного стыда: он мичман, а она... кастелянша! Нехотя прифрантился, отложил в бумажник деньги, прихватил банки с "Мокко" и ванилью, рейсовым пароходиком приплыл в Петербург, высадившись напротив Летнего сада.

В громадном вестибюле Смольного института его задержал привратник, вызвал дежурную надзирательницу, учинившую мичману расспрос — кто он, откуда, нет ли у него иных причин для посещения института, помимо свидания с матерью?

— Поверьте, мадам, и быть их не может.

Идти пришлось долго. Коковцев, бряцая кортиком, едва поспевал за сухопарой и злющей, как ведьма, надзирательницей.

— Здесь вы спуститесь ниже, — указала она мичману.

Коковцев очутился в подвальных помещениях Смольного, следуя длинным коридором, отыскал склад постельного белья и здесь увидел состарившуюся маму.

— Вова... ты? — и она расплакалась.

Мать провела его в свою казенную комнату, где было чистенько и

убогонько, словно в келье. Второпях рассказывала сыну, что начальство ею довольно, у нее в хозяйстве полный порядок, но очень много хлопот с вороватыми прачками. В двери иногда заглядывали женщины в чепцах и белых фартуках.

— Как хорошо, что они тебя видели, — призналась мать. — Никто ведь не верит, что у меня сын — офицер флота. Думают, что я привираю. Ах, если б тебя могла видеть еще инспектриса! А то она даже не отвечает на мои поклоны...

Коковцеву было неуютно. За низким окном виднелись ноги прохожих. Чистота была какая-то больничная, вымученная, флоту не свойственная. Он сказал, что извозчик стоит за углом:

— Я не отпускал его, мама, поедем в "Квисисану"... За столиком кафе ему стало лучше. Он просил подать пирожные и фрукты, для себя заказал бордо.

— Вова, — забеспокоилась мать, — как ты можешь? Еще день на дворе, а ты уже пьешь вино?

— О чем ты, мамочка? Если бы тебе показать, как мы плыли из Кадиса на бочках с вином, ты бы ахнула... Жаль, что папа не дожил. Пусть бы он на меня посмотрел.

— У нас никого с тобой нет, — вдруг сказала мать. Это верно. С родственниками отношения не ла дились.

— Бог с ними со всеми! — сказал Коковцев. — Не имея никакой протекции, я должен надеяться на себя.Так даже лучше...

Маменька с бедняцкой аккуратностью откусывала от "эклера", косилась по сторонам — не смеются ли над нею, все ли она делает как надо, жалкая провинциалка? Коковцев отсчитал для нее деньги, сказал, что лейтенантом будет получать сто двадцать три рубля.

— На кота широко, а на собаку узко... Знаешь, у нас на флоте, принято жить, совсем не задумываясь о сбере жениях.

Мать спросила, когда же он станет лейтенантом?

— Ценз для этого мною уже выплаван. Маменька не совсем-то понимала, что такое "ценз", но ему лень было объяснять ей.

— О цензе расскажу потом. Наверное, мама, снова уйду в море. Вот вернулись, стали на якоря, и сразу будто опустилась заслонка перед носом — хлоп! Ощущение такое, словно угодил в мышеловку... Так и

живу. А ты сыта, мама?

— Да, сынок. — Мать с жалостью оставляла недоеден ные пирожные и недопитый кофе. — Ты куда сейчас, Вовочка?

— Наверное, в Кронштадт... Кстати, мамуля, извозчика я не отпустил, уже расплатился, он и довезет тебя до Смольного.

— Так жить — никаких денег не хватит, — сказала мать.

— Иначе нельзя. Я ведь офицер флота. Принадлежу флотской касте, которая имеет свои законы...

Коковцев навестил Эйлера, поселившегося в старинной просторной квартире родителей на фешенебельной Английской набережной. Бывший мичман разгуливал в удобном японском кимоно, его мать Эмма Францевна, еще моложавая корпулентная дама, вполне одобряла решение сына ехать учиться в Париж.

— Конечно, — говорила она, — германская профессура намного лучше, но если Леон желает непременно в Париж, я не возражаю: Париж — это все-таки солиднее Нагасаки, где вы шлялись бог знает по каким местам, так что до сих пор не можете опомниться.

Коковцеву стало смешно. Эйлер захохотал тоже.

— Вообще я считаю (и так считают все порядочные люди), что флотская служба способна только портить нравственность. Правда, — сказала Эмма Францевна, — "Ecole Polytechnique" — это не Морской корпус куда берут без разбора всяких оболтусов, с юности загрустивших о выпивке и женщинах. Леон штудирует сей час учебник в две тысячи страниц — сплошные интегралы. Но в мире формул наша фамилия говорит сама за себя!

Эйлер увлек Коковцева в свой кабинет. Через широкие окна барской квартиры вливалась прохлада Невы, по которой скользили белые пароходы, развозящие публику на острова, из зелени садов слышалась музыка Оффенбаха и Штрауса.

Эйлер ожесточенно всадил штопор в пробку бутыли:

— Шамбертен из запасов дедушки... Хорошо, что зашел. Я хотел с тобою поговорить. У меня пробоина в сердце. Давай пей. Я, как последний дурак, признался своей невесте, что в Иносе завел роман с "мусумушкой", и невеста, святая непорочная девушка, отвергла меня. На этом белая акация засохла, соловьи умолкли, а последний дачный

поезд ушел без меня.

Эйлер пылко пробежался пальцами по клавишам:

О, неверная! Где же вы, где же вы?..

Все прошло. Нас ничто не минует.

Но без вас жизнь печальна моя.

Кто ж теперь ваши руки целует?

И целует ли так их, как я?

- Не бесись, Ленечка, — утихомирил его Коковцев.

— На всякий случай. — ответил Эйлер, — ты будь умнее меня, и об Окини-сан афиш по заборам столицы не расклеивай.

— А я так и не был у Воротниковых.

— Это фамилия твоей Оленьки?

— Да.

Эйлер с размаху, спиною вперед, плюхнулся на диван.

— Воротниковы? Сначала наведи справку в Департа менте герольдии правительствующего сената: похоже, что предок твоей пассии шил-пошивал воротники из собачьего меха.

— Наверное, — не возражал Коковцев. — Но после все то, что было в Иносе, являться на Кронверкском мне очень неловко...

Ленечка пухленькой дланью растер румяный лоб:

— Наверное, затем и плаваем в Нагасаки, чтобы в России не ведали, что мы там вытворяем. Но я бы на твоем месте не мешкал. — Эйлер щедро дополнил бокалы из богемского стекла. — Смотри сам... Сейчас ты в самой завидной форме. Денег полные карманы. Выглядишь великолепно. Ценз выплаван! Это очень важно. К Новому году следует ожидать чинопроизводства... Это не она тебя — это ты ее осчастливишь!

— Я пока воздержусь... С моими замашками скоро будет, как у Салтыкова-Щедрина: "Баланцу подвели, фитанцу выдали, в лоро и ностро увековечили, а денежки — то-тю-тю, плакали-с!" Останется мне пятьдесят семь рублей мичманских.

— Но получишь лейтенанта!

— Сто двадцать три рубля. А молодую жену, volens-nolens, хоть раз в месяц надобно выводить на рейд светской жизни, чтобы ее все видели и чтобы она на всех поглазела...

Коковцев вернулся в Кронштадт ночным пароходом. В дороге размышлял: как легко живется по корабельному расписанию и как трудно составить для себя расписание жизни. "Что делать?"

На Финляндском вокзале он купил "Парголовский листок", напичканный дачными сплетнями; среди отдыхающих персон, внесших посильную лепту в создание купальных мостков, мичман обнаружил ценное указание: "Г-нъ В.С. ВОРОТНИКОВЪ — 30 коп." При сановном положении мог бы и рубля не пожалеть... Коковцев задумался, правильно ли он поступает, оказавшись в этом вагоне, который уже бежал мимо зелени Шуваловского парка. Дачную публику встречал на перроне духовой оркестр парголовской пожарной команды. Возле палисадника станции, кого-то поджидая, томился капитан первого ранга с золотым шнуром флигель-адъютантского аксельбанта; под его окладистой бородой расположилась гирлянда орденов — Георгия, Анны и двух Станиславов. Коковцев почтительно приветствовал каперанга, мучительно соображая: "Откуда я знаю этого человека?" Музыканты в сверкающих касках беспечно выдували на трубах "Невозвратное время", и мичман с тоскою припомнил вальс в Морском собрании Владивостока... "Напрасно я там не остался!"
Вот и дачная калитка, за нею склонились ветви жасмина, а спаниель умными человечьими глазами смотрел на мичмана.
— Ты разве не узнал меня, дружище? Или вырос и уже не помнишь, кто тащил тебя из пруда за длинное ухо...
Спаниель, мотая ушами, радостно взвизгнул, описывая круги вокруг Коковцева, словно клипер, обрезающий корму флагмана. Проявление собачьей радости было приятно:
— Ну, если ты узнал меня, надеюсь, узнает и твоя хозяйка...
Из сада слышались голоса, сухое щелканье деревянных шаров. Оленька была не одна. Партию в крокет она разыгрывала с тремя молодыми людьми. Это были: упитанный юноша в мундире лицеиста, бледная личность в сюртуке правоведа и долговязый ротмистр в пенсне, очень гордый от сознания,что он уже ротмистр. Все они уставились на мичмана.
Девушка застыла с молотком в опущенной руке.

Пауза в таких случаях недопустима. Коковцев сказал:

— Гомэн кудасай, как говорят японцы. Прошло всего два года, и ваш скиталец возвратился. Я не помешаю вам, господа?

Последний вопрос был произнесен с оттенком явного пренебрежения. Ольга растерялась, ее слова прозвучали наивно:

— Боже мой, но откуда же вы?

Крокет оставлен. Все потянулись к дому. Отец Ольги задерживался в столице, на даче Коковцева встретила мать:

— О-о, я вас и забыла... кажется, мичман?

— Но скоро лейтенант!

— Это много или мало?

— Для меня пока достаточно.

— Я в этом ничего не понимаю, — сказала дама, жеманничая. — В гражданских чинах проще: там одни советники. Коллежские, надворные, статские, действительные статские... Прожив с Виктором Сергеевичем бездну лет, я так и не выяснила: если он советник, то он советует или выслушивает советы от других... Скажите, откуда у вас такой очаровательный загар? Вы случайно не из Севастополя?

— Нет, Вера Федоровна, меня обжаривали в других местах, куда черноморцы, запертые Босфором, никогда не плавают.

География даму не интриговала.

— Ольга, — распорядилась она, — передай Фене, чтобы накрывала к чаю на веранде... Прошу всех к столу, господа.

Минуя зеркало, Коковцев отогнул жесткие от крахмала лиселя воротничка, торчавшие возле щек, словно острые крылья ласточки. Румян, пригож, строен, неотразим. Очень хорошо! Над столичными пригородами вечерело. Мохнатые мотыльки кружились над керосиновой лампой, из сада тянулись к веранде гроздья жасмина. Ольга, явно кокетничая, отломила три ветки. Коковцев пожелал составить для нее букет.

— Это ведь так просто! — сказал он. — Ветвь, обращенная к небу, означает стремление к возвышенному. Вторую склоняю как олицетворение земной любви. А средняя между ними- судьба человека... Так делала в Иносе одна моя знакомая японка.

Правовед стушевался сразу. Лицеист, кажется, тоже признал свое

поражение. И только один кавалерист еще не сдавался.

— А вот эти гейши! — сказал он с апломбом. — В полку говорили, что, закончив танец, они делают акробатичес кую стойку на голове... Вы, конечно, видели этот номер-прима?

Коковцев пожал плечами. Вера Федоровна сказала:

— Надеюсь, если они и вставали ногами кверху, то прежде перевязывали себя ниже колен, дабы не потерять пристойности.

— Мама, ну как тебе не стыдно! — вспыхнула Оленька.

— Есть вещи, о которых вообще не следует говорить.

— Не еле дует, — согласился Коковцев. — Но ошибочно думать, будто все японки обязательно гейши. Японские женщины имеют очень много обязанностей. Я, на пример, видел гейш всего лишь раза три-четыре. Очень скромные и милые женщины...

Он уловил на себе скользящий взгляд Ольги. Конечно, мичман заметно выигрывал подле правоведа, лицеиста и ротмистра. Из глубин веранды шумно вздохнула горничная Феня:

— Мне кум сказывал, будто япошки уж больно веж ливы. А у нас, как пойдешь на рынок, всю тебя растолкают.

— Да, — подтвердил Коковцев. — Я только один раз встретил японцев, ведущих себя грубо на улице. Это случилось в Кобе. Мое внимание привлекла хохочущая толпа. В середине этой толпы сжалась от стыда несчастная японская женщина.

— Что же она сделала дурного? — спросила Ольга.

— Ничего. Но ростом была чуть выше полутора мет ров. По японским канонам такой рост для женщины — уже безобразие...

Лишь единожды из потемок сада выступила легкая тень Окини-сан с улыбкой на застенчивых губах. Но рядом сидела Оленька — цветущая, источавшая здоровую свежесть тела, и мичман отогнал нечаянную тоску. От станции крикнул паровоз.

— Я, кажется, засиделся, — извинился Коковцев. Вера Федоровна не пожелала отпускать мичмана, пока ее дочь не предстанет в самом лучшем свете.

— Молодые люди давно ждут, когда ты споешь им. — Мать сама открыла рояль, указав дочери даже романс: — "Не верь, дитя, не верь напрасно..."

Назло матери, капризничая, Ольга отбарабанила вульгарного "чижика". Ее глаза встретились с глазами Коковцева.

— Хорошо, — сказала она. — Не верить так не верить...

В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.
Не верь, мой друг, когда в избытке горя
Я говорил, что разлюбил тебя.

Рояль звучал хорошо. Мотыльки бились о стекло лампы:

Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Мою свободу вновь тебе отдам,
И уж бегут с обратным шумом волны -
Издалека к родимым берегам...

Это была победа! Откланиваясь Вере Федоровне, мичман испытал удовольствие, когда вслед за ним поднялась и Ольга:

— Как быстро стемнело. Пожалуй, я провожу вас...

Они спустились с веранды в потемки сада. Между ними бежал спаниель, указывая едва заметную тропинку.

— А сколько комаров! — заметил Коковцев. — Однажды в Киото, когда я гулял в храмовом парке, они тоже облепили меня тучей. Но японский бонза что-то крикнул, и все комары разом исчезли. — У калитки он кивнул на освещенные окна веранды. — Эти вот... три идиота! Женихи?

— Да, — призналась Ольга. — Но вас они не должны тревожить. Ради бога, не надо: ведь вы лучше их...

Этой фразой она нечаянно призналась ему в любви.

— Я их всех разгоню, — торжествовал Коковцев.

— Стоит ли? — шепотом ответила Ольга. — Они исчезнут сами по себе, как те комары, которых испугал японский бонза.

Коковцев нагнулся и взял спаниеля за мягкую лапу:

— Я верю, что ты не мог разлюбить меня... Это правда?

— Правда, — сказала Оленька, смутившись.

Когда Коковцев обернулся, возле калитки еще белело смутное пятно ее платья. Это напомнило ему Окини-сан, кимоно которой тихо растворялось в потемках гавани Нагасаки.

— Саёнара! — крикнул он на прощание...

Трое кавалеров плелись в отдалении. До столицы ехали в одном вагоне, но Коковцев не подошел к ним. Каста есть каста. Пошли они все к чертям... сухопутная мелюзга!

Вспоминая вечер на даче, он мурлыкал в черное окно:

И уж бегут с обратным шумом волны —

Издалека к родимым беретам...

Коковцев был причислен к 4-му флотскому Экипажу, расквартированному в Кронштадте. Отпуск продолжался, и, не зная, куда деть свое время, мичман пришел в Морское собрание, уплатил вступительные взносы. Служитель спросил его:

— За пользование бильярдом будете платить?

— Спасибо. Но я не умею играть.

Ему вручили месячную программу лекций и концертов, просили ознакомиться с правилами Морского собрания:

— Как и на корабле, карты изгнаны. При дамах курить не положено до отбытия оных. Появляться на балах с девицами, не имеющими к флоту отношения, никак нельзя...

— Каста! С душевным трепетом мичман вступил в святая святых русского флота. Удобные теплые помещения, прекрасная библиотека со всеми зарубежными новинками. Здесь, в доме графа Миниха, еще в 1786 году адмирал Грейг впервые собрал при свечах офицеров, жаждущих разумного общения; технический прогресс продлевали лампы, масляные и керосиновые, а теперь в Собрании блекло светились, чуть потрескивая, газовые горелки. Старые матросы, украшенные шевронами за множество плаваний, служили дворецкими, швейцарами и полотерами. Говорили тихо, выслушивая офицеров с достойным почтением. Морское собрание в Кронштадте было клубом серьезным. Балы допускались не чаще двух раз в месяц; в буфете хранились лучшие вина мира, но выпивки не одобрялись. Офицеры имели право являться сюда с женами, а невесты попадали в Собрание после тщательной проверки их генеалогии и нравственности. Но зато с почетом принимались вдовы и дочери моряков, погибших в боях за отечество или утонувших при кораблекрушениях.

Коковцев проследовал к табльдоту. Под картинами кисти Лагорио, Айвазовского, Боголюбова и Ендогурова сидели заслуженные офицеры

флота; общительные между собой, давно дружные семьями, они не замечали мичмана, как великолепные бульдоги стараются не замечать ничтожных болонок. Коковцев и сам понимал свою незначительность перед людьми, ордена которых осияли еще бомбежки Севастополя, минные атаки катеров на турецкие корабли. В этом почтенном обществе мичману лучше не чирикать. Коковцев даже постеснялся просить к обеду рюмку водки, довольствуя себя молочным супом и отварной телятиной, а мусс из клубники завершил его пиршество ценою всего в тридцать пять копеек... За табльдотом рассуждали: нужно ли в морской войне будущего уповать на удар таранным шпироном в борт противника? Среди офицеров был и тот каперанг, которого Коковцев повстречал на перроне Парголова, и мичман заметил, что слова этого человека выслушиваются с почтением.

— Таран опасен и для нападающего, — доказывал он. — Ибо от сильного удара в корпус неприятеля команда свалится с ног, мачты, несомненно, обрушатся, котлы сорвутся с фундаментов, а пушки, откатившись назад, всмятку раздавят комендоров...

Откуда я знаю этого человека? — думал Коковцев, а офицеры согласились, что будущее за минным оружием. Коковцеву очень хотелось послушать разговоры, но сидеть, разинув рот над пустой тарелкой, он счел для себя неудобным и удалился в библиотеку, занимавшую весь первый этаж здания.

— Читать будете? — спросил его матрос-служитель.

— Что-нибудь почитаю.

— Тады извольте гривенник по таксе за газ.

— Возьми, братец, изволь...

По соседству с ним обложился книгами бородатый контр-адмирал с умными маленькими глазами, часто мигающими. Это был Константин Павлович Пилкин, царь и бог в жутком подводном царстве мин и торпед будущего. Отвлекшись от чтения, Пилкин курил папиросу, посматривая в окно на прохожих. Он сказал:

— У вас, мичман, такой ядреный загар, что за версту видно, где вы плавали. Ну-кась, представьтесь без стеснения.

Коковцев рассказал о себе все — вплоть до маменьки с ее простынями и наволочками в Смольном институте.

— А что вы взяли для чтения, Владимир Васильевич?

— "Флот нашего времени" Жюльена де ла Гравьера и "Война на море с помощью пара" Дугласа Говарда.

— Читаете свободно?

— Да, Константин Павлович.

Над головой мичмана с треском разгорелась газовая лампа. Пилкин похвалил выбор книг, заметив, что на смену пару уже является новый зверь — электричество, могучий двигатель мира.

— Пока мы сидим здесь при свете газовых горелок, этот зверюга начинает вращать колеса. Природа электричества пока не выяснена никем, но человек уже приручает его ходить в своей упряжке. Совсем недавно немцы запустили по рельсам первый электрический трамвай... Зверь забегал! Именно сейчас, — убеждал его Пилкин, — с ростом техники, вам, строевым офицерам флота, следует освободиться от ложной кастовости. Будущий офицер будущего флота -инженер! Не бойтесь этого слова. Оно никак не опорочит ваши новенькие эполеты... Скажите честно, вас никак не прельщает минное дело?

— Признаюсь, с артиллерией мне не везет.

— Тогда ступайте в Минные офицерские классы. У нас подобрана лучшая столичная профессура, да и каждый офицер, если он не дурак, выходит знающим специалистом минного дела, гальванного, электрического... Подумайте, мичман!

— Благодарю, Константин Павлович, я подумаю...

В смятении чувств, понимая всю важность этого разговора, Коковцев приехал в Петербург, навестив кегельбан на Пятой линии, где вечеряли старые офицеры флота. Чайковский разыгрывал "гамбургскую" (групповую) партию, и потому мичман не стал отвлекать его. Он дождался, когда Петр Иванович послал в желоб последний шар и натянул сюртук. Выслушав мичмана, Чайковский сказал, что минное дело — заманчиво и опасно.

— С артиллерией же у вас завязались чересчур странные, я бы сказал, отношения: то вы лупите пробкой по цели, то вдруг заколачиваете целый фугас в штандарт государя императора.

— Вижу и сам, что это — не моя стихия. Чайковский одобрил Минные классы, но предупредил:

— Не следует, однако, отрываться от моря. Если я поговорю с приятелями на Минном отряде, чтобы дали вам миноноску?
— Как дали? Мне? — обрадовался Коковцев, не смея верить.
— Вам. Двадцать четыре тонны водоизмещения. Десяток человек команды с боцманом. Узлов тринадцать дает машиной свободно. Базируются на Гельсингфорс и Дюнамюнде с частыми заходами в Ревель. Офицер один — вы! Берите и не раздумывайте...
Русский флот переживал трудные времена: офицеров много, а кораблей еще мало. Не имея вакансий, моряки старели на берегу, выхолащиваясь душевно. От этого не было продвижения по службе, ибо для успешной карьеры требовался ценз. Всегда помня об этом и зная, что за него никто не похлопочет, Коковцев ухватился за первую попавшуюся корабельную вакансию: бери, что есть, пока другие не взяли. Он навестил Пилкина.
— Я решил, ваше превосходительство! Но быть обязательным слушателем Минных офицерских классов подожду, ибо хочется продлевать ценз. Прошу зачислить меня в необязательные...
Из состава 4-го Экипажа мичман был переведен в 20-й флотский Экипаж, квартировавший в Финляндии для обслуживания миноносцев. Загруженный литературой и программами классов, он приехал в Гельсингфорс, где базировался Минный отряд, в штабе которого явно скучал капитан второго ранга Атрыганьев.
— Пошли, Вовочка, — сказал он так, будто они и не расставались; в гавани, борт к борту, качались узкие тела миноносок. — Вот они, полюбуйся: никаких деревяшек с калабашками — только железо и бронза. Страшные корабли. Недавно на одной миноноске котел взорвало, трое заживо сварились. Ну, как? — спросил Атрыганьев, распушив бакенбарды. — Согласен командовать такой чудесной кастрюлькой?
— С удовольствием, — отвечал Коковцев. Он стал командиром миноноски "Бекас".

Незабываем день посвящения в миноносники! Если офицеры с крейсеров носили золотые перстни с именами своих кораблей, а плававшие на броненосцах имели в ушах крохотные сережки с

жемчужинами, то миноносники гордились наручными браслетами из чистого золота, украшенными славянской вязью: МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ .

— Боже, как мне повезло! — радовался Коковцев... Соленые брызги, вылетавшие из-под форштевня, казались ему брызгами шампанского, откупоренного в его честь ради великого торжества жизни. Кто из флотской молодежи не завидовал тогда славе героев первых минных атак — Степану Макарову, Измаилу Зацаренному, Зиновию Рожественскому, Федору Дубасову и прочим!

Надвинулась осень, сырая и дождливая, секущая лицо ветром и снегом, а Коковцев гонял своего "Бекаса" в узостях финского побережья, обретая опыт вождения миноноски там, где другие корабли, более уважаемые и драгоценные, старались не плавать. Перед мичманом сразу же возникла дилемма: или "Бекас", или Ольга? Выбирать не приходилось: должность командира корабля, пусть даже маленького, всегда для офицера священна, а Ольга... Ольгу ему заменила бесшабашная компания офицеров-миноносников! Отчаянные ребята, ежедневно игравшие со смертью, скрипящие мокрой кожей штормовых тужурок, они ценили жизнь в копейку, а потому, вернувшись с моря, не щадили червонцев в разгулах. Излюбленным местом в Гельсингфорсе стал для них ресторан "Балканы", дрожавший от залихватского гимна 20-го Экипажа:

Нам, миноносникам, — вперед!
И что нам рифы, что туманы?
Приказ в машину — полный ход,
А денег полные карманы.

Спешим на самых острых галсах
В разрывах пламени и дыма.
Поправим перед смертью галстук
И выпьем за своих любимых.

Погибнем от чего угодно,
Но только б смерть не от тоски.

Нет панихиды похоронной,
Как нет и гробовой доски.

Что лучше пламенных минут,
Чем наша гибель в этой стуже?
И только женщины взгрустнут,
Слезу пролив тайком от мужа.

Но, даже мертвые, вперед
Стремимся мы в отсеках душных,
Живым останется почет,
А мертвым орденов не нужно...

Лежим на грунте, очень тихие,
А ведь ребята — хоть куда!
И нас от Балтики до Тихого
Качает мутная вода.

Зима прервала эту бравурную жизнь. Под Новый год офицеры всегда ожидали указа о наградах и чинопроизводствах. Коковцев получил эполеты лейтенанта. Одновременно с этим в управляющие морским министерством выдвинулся молодой адмирал Шестаков, заносчивый англоман, нелюбимый на флоте.

В молодости Шестаков умудрился вдребезги разбить на камнях клипер, которым командовал, и теперь адмирал любил рассказывать об этом случае, заканчивая свою новеллу обязательным нравоучением:

— Господа, вот как надо разбивать клипера!..

Морозное солнце освещало корабли в хрустком инее. Коковцеву было радостно "козырять" на улицах юным мичманам, женщины улыбались красивому лейтенанту из пышного меха, карьера складывалась отлично, программы и учебники Минных классов были молодецки заброшены, — это ли не жизнь? В феврале Коковцев ночным поездом выехал в Петербург, появился на Кронверкском. Кажется, madame Воротниковой он в чине лейтенанта понравился гораздо больше,

нежели ранее, когда был в мичманах.

— Я не служила во флоте, — сказала Вера Федоровна с ехидцей, — но, очевидно, у вас так принято — пропадать надолго...

На этот раз Коковцев осмелился явиться с подарками. Вере Федоровне он поднес сиреневую шаль из японского крепдешина, Виктору Сергеевичу подарил пепельницу из раковины, а перед Оленькой, вспыхнувшей от удовольствия, лейтенант раскрыл дивный черепаховый веер, расписанный голубыми ирисами. Наконец, тишком от родителей, он вручил ей красивое мыло, шепнув:

— Японское, оно очень долго сохраняет аромат хризантем...

Кажется, мичман Эйлер прав: лейтенант в отличной форме, и семейство Воротниковых сразу же оценило, какое сокровище прибило к порогу их чиновной квартиры. Коковцев был подвергнут перекрестному допросу — о родстве и имущественном положении. Это отчасти задело лейтенанта, который уже выяснил, что дед Виктора Сергеевича выслужил герб при Николае I, начиная карьеру с побегушек в канцелярии графа Канкрина, после чего министерство финансов сделалось наследственной "кормушкой" в роде Воротниковых... Приосанясь, лейтенант сказал:

— Коковцевы со времен Екатерины Великой служили на флоте, мой прадед Матвей Григорьевич был в Чесменской битве, потом увлекся изучением Африки, оставив после себя труды, и в научном мире его считают первым русским африканистом . Кстати уж, мой прадед был влюбчив, у него возник роман с чернокожей красавицей, он привез ее в Петербург, где она представлялась императрице... У нас в именьице долго хранился ее портрет!

Вера Федоровна сказала, что не понимает этой любви:

— Ни с чернокожими, ни с желтокожими...

Коковцеву и в голову не приходило, что его Окини-сан "желтокожая", и за домашним столом "белолицых" Воротниковых он ощутил некоторую уязвленность души. Виктор Сергеевич угощал его бенедиктином, столь модным тогда в кругу петербургских чиновников. Ольга восторженно смотрела на лейтенанта поверх раскрытого японского веера с голубыми ирисами, а ее мать повела дальновидную атаку на... Владивосток:

— Говорят, очень развратный город, и даже директрису тамошней женской прогимназии зовут "царицей ада". Вы были там?

Коковцев догадался, куда она клонит, и пояснил:

— На каждого мужчину во Владивостоке приходится лишь одна двадцать девятая часть женщины... До раз врата ли тут?

Разговор был ему неприятен, и он даже обрадовался, когда Воротников стал расспрашивать о видах на карьеру:

— Есть ли на флоте перспективы для продвижения?

— Их немало. Мое долгое отсутствие у вас объясняется именно тем, что я желал выплавать ценз...

Он объяснил, что цензом называется стаж плавания. Например, в чине лейтенанта он обязан пробыть двенадцать лет, но следующего Чина не получит, если пять лет из двенадцати не проведет в море. Воротниковы ловко выудили из Коковцева, что именьишко продано, мать служит ныне в Смольном институте. Виктор Сергеевич спросил:

— А простите, любезнейший, кем она служит?

— Она... кажется, классною дамой. Воротников оказался настырен, как прокурор:

— В каких классах? В младших или старших?

Коковцеву пришлось врать и изворачиваться:

— Честно говоря, я что-то и сам точно не знаю...

Возвращаясь от Воротниковых, он ругал не только себя: "Черт меня угораздил солгать им! Да провались вы все со своим допросом... не велики бояре! Может, и не бывать в этом доме?" Однако, прожив в столице полмесяца, он продолжал навещать Воротниковых. Наверное, его сочли за жениха, ибо он получил разрешение сидеть в комнате Ольги до семи вечера, но Коковцев осмотрительно не выражал никакой нежности.

В одно из свиданий Ольга расплакалась. Коковцев догадался о причине слез: своим появлением на даче в Парголове он вспугнул женихов, как комаров, но сам-то в женихи не слишком напрашивался.

— Вы разлюбили меня, — плакала Ольга чересчур громко. — А мама права: морякам никогда нельзя верить....

Это взбодрило Коковцева для бурных объяснений. Он стал пылко убеждать Ольгу, что его отношение к ней прекрасное, он всегда рад

ее видеть, что она удивительная девушка.
— Не верю, пока не поцелуете меня, — сказала Ольга.
Коковцев не замедлил исполнить ее просьбу.
Двери растворились — явилась Вера Федоровна.
— Будьте счастливы, дети мои, — прослезилась она. — Владимир Васильевич, я отдаю вам самое святое... Виктор, где же вы? — перешла она на французский. — Идите скорей сюда. Нашей Оленьке сейчас было сделано страстное предложение...
На улицах трещал морозище, для обогрева прохожих полыхали костры, возле них хлопали рукавицами замерзшие извозчики и дворники. Коковцев тоже постоял у костра, размышляя. К сожалению, в кегельбане Чайковского не было, он уехал из Питера в свое имение — болеть и умирать... С кем посоветоваться?
— Дофорсился... дурак! — сказал Коковцев сам себе.

Атрыганьев отыскался в отдельном кабинете "Балкан".
— Даже пить больше не могу, — сказал он. — Эта проклятая тщедушная Европа, черт бы ее побрал... хочу на Восток! Неизбежное случилось: Англия захватила Суэцкий канал, выставив оттуда французов, и это удар для меня. Сейчас "Таймс" откровенно пишет, что безопасность Англии возможна лишь в том случае, если ей будут принадлежать Тибет и Памир... Я уже перестал понимать, где предел викторианской наглости!
Коковцеву было сейчас не до Англии и ее каверз: он честно рассказал, как его сделали женихом.
— Я хочу взять свое слово обратно, — сообщил он.
Атрыганьев долго соображал:
— Ты был при кортике и погонах?
— Нет, при сабле и эполетах.
— Тогда надо жениться, — решил Атрыганьев. — В каждом деле существует священный ритуал. Не будь ты при параде, можно и отказаться. Но мы же — каста! А каждая каста имеет свои традиции, будь любезен им подчиняться. Офицер флота его императорского величества, застигнутый наедине с женщиной при сабле и эполетах, отвечает за все, что он там успел наболтать.

— Геннадий Петрович, а если я все-таки откажусь?

— Я первый стану говорить на Минном отряде, что лейтенант Коковцев обесчестил свой мундир и ему не место на флоте.

Вслед за этим Атрыганьев пожелал произнести тост.

— В другой раз, — отказался слушать его Коковцев...

Ближе к весне состоялась церемония обручения, потом суетная закупка нарядов в магазинах "Пассажа". В канун свадьбы Ольга призналась, что до него испытала лишь одну гимназическую страсть к тенору Мельникову, а Коковцев сказал, что гардемарином бегал в цирк Чинизелли, пылая к его дочери Эмме, вольтижировавшей в манеже. Оленька тут же предала фотографию тенора жестокому аутодафе над пламенем свечи.

— Очень хорошо, что мы объяснились, — сказала она. — Но я жажду экзекуции над этой гадкой наездницей из цирка.

Коковцев обещал уничтожить цирковую афишу, на которой легкокрылая Эмма Чинизелли в газовой юбочке пролетала через горящий обруч. Впрочем, это не помешало ему спрятать фотографии Окини-сан как можно дальше. Коковцев пошел под венец, невольно вспомнив давнее напутствие: "Жизнь есть любви небесный дар! Устрой ее себе к покою, и вместе с чистою душою благослови судеб удар..." Предупредить свою маменьку, что он выставил ее классной дамой, было стыдно, а маменька, подвыпив за свадебным столом, завела речь о том, что инспектриса Смольного института, госпожа Норова, как ни фырчит на нее, но придраться к порядку не может:

— У меня еще ни одна простыня не пропала, у меня такая аккуратность, что каждая тряпочка свое место знает...

Вера Федоровна стала называть зятя "Вольдемаром", а Ольга звала мужа "Владей"; Коковцев никому не перечил. После свадьбы лейтенант заметил, что в доме появилась новая горничная — ужасная мегера из лифляндских аккуратисток, именовавшая русский завтрак немецким "фриштыком". Он спросил:

— А куда же делась симпатичная Фенечка?

Фенечку, оказывается, уволили, ибо теща сочла неприличным держать молодую прислугу в доме, в котором появился офицер флота. Ольга сослалась на авторитет матери:

— Мама считает, что моряки опасны для женщин.
— Что за чушь! — фыркнул Коковцев. — Я никогда не был бабником... что мне эта Феня? Ах, как все это нехорошо...
Дом жены — полная чаша, будущее казалось праздничным, но Коковцеву отчасти было неловко ощущать себя в обстановке чиновного дома. Он даже не совсем понимал, к чему в большой зале белая мебель с позолотой, в гостиной — красного дерева, в столовой — дуб, в спальнях — палисандр, а паркеты в доме оливковые. "Тюлевые" занавески для окон покупались не в Гостином дворе — их заказывали по размерам окон в самом городе Тюле. После убожества мелкопоместной порховской усадебки, после строгих дортуаров Морского корпуса многое в этом доме казалось ему излишне стесняющим свободу. Особенно — родители жены! С тестем он мог бы еще поладить, но Ольга находилась под сильным влиянием матери, учившей доченьку не всегда тому, что может нравиться мужу. Коковцев почти физически явственно ощутил, что Воротниковы желали бы приладить его к своему дому, как притирают пробку к флакону дорогих духов. Первый семейный скандал возник из-за ерунды: лейтенант всегда пользовался коляской, щедро давая кучерам "на чай", на что Вера Федоровна и обратила однажды самое серьезное внимание:
— Могли бы ездить и на конке, дорогой Вольдемар.
— Но я лейтенант флота! — вспылил Коковцев. — И по чину обязан пользоваться извозчиком, а не конкой...
Ночью долго не мог уснуть, обуреваемый злостью.
— Чиновники служат только из-за денег, — сказал он Ольге, — а офицеры ради чести. Мы снимем пансион в Дуббельне, на Рижском штранде, будешь жить там на всем готовом, а я иногда стану гонять "Бекаса" к тебе... Не спорь, пожалуйста!

На корабле, оснащенном механизмами, матрос и офицер становились зубьями одной и той же шестеренки. Техники разрушала кастовость, и горе тому, кто не понимал сути этого процесса, требовавшего от офицеров жертв... Атрыганьев не пожелал жертвовать ничем.
— Я ухожу, Вовочка, — сказал он, — ибо мне претит подсчитывать

лошадиные силы в обществе вчерашнего студента из голодранцев. Поверь, в этом случае даже корабельный поп; отец Паисий с крестом на шее, и тот для меня ближе и роднее.

— Но это же глупо, — возразил Коковцев.

— Слышу гафф! — Атрыганьев, однако, не обиделся. — Я пойду на суда Добровольного флота{5}. Уж лучше перевозить солдат на Амур или таскать арестантов на Сахалин, нежели наблюдать распадение нашего ордена... Эти электрические аккумуляторы и гальваномашины до добра не доведут. Вслед за механиком из технологов в чине прапорщика, который рассядется, будто барин, на моем месте в кают-компании, в кубрики спустятся слесаря с заводов. А я не желаю ни пачкаться в извержениях машин, ни гасить на кораблях забас товки. Я ведь только офицер флота, но я не машинист и не городовой с перекрестка...

Летом Минный отряд перебазировался в Дюнамюнде, рижские поезда возили публику на песчаные штранды, унизанные пансионатами и курортами. Коковцев часто навещал Ольгу в Дуббельне за Майоренгофом, в курзале они слушали симфоническую музыку, прогуливались вдоль променада. Коковцев небрежно наблюдай, как комната жены заполняется коробками со шляпами последних фасонов, коллекция туфель и чулок быстро увеличивалась. Но Ольга и сама не скрывала, что покупки делает на деньги родителей. За этим признанием стояло: ты меня любишь тоже, но с твоих ста двадцати трех рублей по рижским магазинам не разбегаешься.

Был ли он счастлив в эти дни? Наверное...

Плескалось в камнях море, шумели сосны над дюнами, кричали чайки. Дни были наполнены медовым покоем, радостью насыщения любовью молодой женщины, доверчиво льнувшей к нему.

— Ты меня любишь... скажи! — часто просила Ольга.

— Конечно, — отвечал ей Коковцев.

Ранним поездом Коковцев вернулся в гавань Дюнамюнде, откуда ему предстояло выйти на Виндаву — через Ирбены — на своем "Бекасе".

— У нас все в сборе? — спросил он боцмана. — Тогда можно сразу отдавать швартовы, чего тут еще раздумывать!..

Рижский залив затянуло теплым одеялом тумана, вдали от берегов

сыпало мелким дождиком, но рулевой точно выдерживал курс — на Ирбены. Коковцев убедился, что все идет как надо, протиснулся в клетушку каюты, желая вздремнуть. А когда вернулся на мостик, туман сделался плотнее.

— Что-то мне перестало все это нравиться.

— И мне! — честно отвечал рулевой, зевая во всю ширь Тамбовской губернии. — Сколь жмем на десяти узлах, почти весь уголь спалили, пора бы в Ирбены сунуться, а тут — прорва.

Он снова зевнул. Коковцев перенял рукояти штурвала:

— Иди-ка лучше поспи. Я постою за тебя... Однако туман такой, будто мы попали в хорошую прачечную. Иди, иди...

Рулевой шагнул вниз, но с трапа его сорвало сильным ударом в днище миноноски. "Бекас" встал на дыбы, с хрустом рвало железо корпуса. Вода шумно ринулась в отсеки, и Коковцев (молодец!) не растерялся, крикнув в кочегарку:

— Трави пар... Из "низов" — все наверх! Быстро...

Лейтенант заткнул уши пальцами: свист выходящего в атмосферу пара казался нестерпимым. Стало видно, что "Бекас" застрял носом в черных замшелых камнях, за которыми перепуганная крестьянская девочка пасла свиней на зеленой лужайке.

— Малюточка! — позвал ее боцман. — Кудыть занесло нас?

— На Руну, — ответила девочка, в страхе убегая.

— Кажись, докатились, — сказал рулевой и, проведя ладонью по лицу, с кровью выплюнул на палубу передние зубы...

Ошибка в курсе была значительная. Коковцев зафиксировал в бортовом журнале обстоятельства катастрофы, не исправляя на карте прокладку, чтобы судейская коллегия разобралась сама. В числе судей был и кавторанг Шарло де Ливрон.

— В момент аварии кто стоял на руле? — спросил он.

— Я, — отвечал Коковцев, беря всю вину на себя...

Лейтенант был оправдан: виновата магнитная девиация! Корабельное железо столь сильно влияло на компас, что ошибка в курсе была неизбежна, а плавали еще по старинке, как на деревянных кораблях. "Бекас" был разворочен на камнях Руну основательно, о чем и доложили адмиралу Шестакову. Адмирал (по непонятной логике)

решил ставить Коковцева в пример другим:

— Господа, вот как надо разбивать миноноски!

Неожиданно Коковцев сделался на флоте известен; стоило ему появиться где-либо в обществе офицеров, как он слышал за своей спиною: "А-а, это тот самый Коковцев, что здорово умеет разбивать миноноски..." Владимир Васильевич вскоре сообразил, что повседневная рутина флотской жизни может засосать его: эти бесконечные ползания в шхерах, бессонные ночи на мостиках, мертвые дни стоянок, офицерские пирушки в ресторанах, где ума никак не прибавится, — а что же дальше? Как жить?..

Он появился в Кронштадте перед старым Пилкиным.

— Константин Павлович! Я все продумал и прощу ваше превосходительство из необязательных слушателей Минных офицерских классов перевести меня в слушатели обязательные.

Пилкин был очень доволен таким оборотом дела:

— Очень рад, что вы решили взяться за ум...

На пляже Коковцев завел разговор с женою: он решил учиться, потому ей предстоит вернуться на Кронверкский:

— Ты можешь навещать меня в Кронштадте по субботам.

Кстати, он выразил Ольге свое недоумение — почему она до сей поры не ощутила себя матерью? Ольга отвечала:

— Мама говорит, что в этом виноваты мужчины...

Лейтенант опять поселился в знакомой квартире мастера-клепальщика, добрейшая Глафира Ивановна снова пичкала его изделиями своей кухни. По утрам Коковцев, как примерный ученик, спешил в Минные классы. Отныне вся его жизнь озарилась новым светом — электрическим! Пар и броня уже застилали былую поэзию парусов. На флоте отживали век немало заслуженных адмиралов, видевших в машинах только источник грязи, какой в парусную эпоху флот не ведал. Но Коковцев сообразил, что цепляться за кастовость сугубо строевых офицеров -значило похоронить себя среди якорных цепей и рангоута, между малярными работами и приборками палуб. Конечно, это нужные знания, но за их пределами флот уже четко делил матросов и офицеров по специальностям... Электротоки

врывались в шумы моря!

Минные офицерские классы были тогда передовой школой технического опыта, вобрав в себя все самое лучшее из русской и зарубежной науки. Коковцев не сразу вошел в курс лекций: высшая математика, физика и химия, теория корабля и... подводных лодок! Профессор А.С. Степанов подсказал ему тему для диссертации: "Вторичные свинцовые электроэлементы французского физика Plante". Коковцев подружился с Васенькой Игнациусом, плававшим на фрегате "Светлана"; молодые лейтенанты дотемна пропадали в лабораториях, ставя опыты аккумуляторами Планте и Фора. Вскоре профессор Степанов выступил в Морском собрании Кронштадта перед офицерами Балтийского флота.

— Господа, — объявил он, — наш солидный журнал "Электричество" опубликовал статью об опытах английского физика Спенсера, но пусть нас радует, что наши юные лейтенанты, Коковцев с Игнациусом, до стигли тех же результатов с аккумуляторами, но гораздо раньше известного английского физика...

Первые аплодисменты в жизни — какое это счастье!

На финской вейке, до глаз закутанная в шубу, приехала в Кронштадт и Оленька, румяная от мороза. Расцеловала мужа:

— Меня послала мама — узнать, как ты живешь?

— Опять мама! — горько усмехнулся Коковцев...

Глафира Ивановна сразу же замесила тесто для создания пышек с изюмом. Радуясь встрече с женою, Коковцев взахлеб читал отрывки из диссертации, измучив Ольгу разными непонятностями. Зато как была счастлива она, когда вечером пошли на бал в Морское собрание — только тут, под оглушительные всплески музыки, в ослеплении мундиров и эполет, в пересверке бриллиантов на титулованных адмиральшах, Ольга вдруг осознала, какой волшебный мир ожидает ее в будущем, если...

— Если ты будешь меня слушаться, — шепнула она.

Коковцева радовало оживление Ольги, ее безобидное кокетство, с каким она танцевала, наконец, в ресторане Собрания к ним подсел крепко подвыпивший контр-адмирал Пилкин.

— Мадам, — сказал он, — я предрекаю вашему супругу скорую и

блистательную карьеру. Поверьте, так оно и будет...

Когда супруги вернулись домой, на квартиру судоремонтного мастера, Ольга, даже не сняв бального платья, опрокинулась на диван, блаженно улыбаясь, и, кажется, не замечала ни ободранных тусклых обоев на стенках комнаты, ни мокрых тряпок, подложенных под текущий от изморози подоконник, — молодая и красивая женщина, она была еще там, в этом сверкающем электричеством зале Морского собрания.

С отчетливым стуком упали на пол ее бальные туфельки.

— Владечка, иди ко мне, — позвала Ольга. — Я так счастлива сегодня... Ах, как бы я хотела быть адмиральшей!

— Ты и будешь ею, — отвечал Коковцев. — Но все-таки ответь: почему до сих пор ты не стала матерью?

— Боже мой! Ну откуда я что знаю, Владечка? Если тебя это так тревожит, спроси у моей мамы...

Минные офицерские классы поддерживали тогда научные связи с университетом. Коковцев не раз выезжал в столицу для консультаций с профессурой. Воротниковы, кажется, не совсем-то понимали его устремления. Им было бы, наверное, приятнее видеть зятя делающим карьеру под "шпицем", а не бегающим вприпрыжку на уроки, зажимая под локтем студенческие учебники. Диссертацию его опубликовали в "Известиях Минных офицерских классов", и Коковцев не находил себе места от счастья... Ну, скажите, какая дубина не дрогнет, увидев свое имя, свой труд в печати? Лейтенант шагал по Грейговской улице Кронштадта, не в силах сдержать улыбки, и нес журнал в руке, уверенный, все прохожие смотрят на него — вот, видите, идет сам автор! После этой научной публикации Владимир Васильевич удостоился почетного диплома члена "Русского Физико-Химического Общества при СПб. Императорском Университете".

— Ну, вы у меня молодцом, — похвалил его Пилкин. — А теперь нам предстоит поработать напоказ. Как выяснилось, Россия не имеет специалистов по электричеству, кроме... офицеров Минных классов! Государь император в мае будет короноваться в Москве, а устройство пышной иллюминации поручается нам.

С бригадою матросов-гальванеров Коковцев спешно перебрался в

первопрестольную. Он уже имел опыт электроосвещения казарм в Кронштадте, но теперь предстояло нечто грандиозное. Требовалось растянуть шестьдесят верст проводки и соединить три тысячи лампочек. Иностранные фирмы просили за иллюминацию Кремля миллион золотом — флот взялся за это дело из принципа: искусство ради искусства! В мировой практике еще не было подобных случаев, чтобы осветить такое гигантское сооружение, каковым являлся ансамбль Московского Кремля. Обычно цари при коронациях баловались "шкаликами" с фитилями, которые задувал на высоте ветер, а копоть от сальных плошек неудачно гримировала придворных красавиц. Коковцев не успел еще поставить генераторы, как архитекторы набросились на него с требованием: электромонтаж никак не должен испортить кремлевского силуэта. Возникла еще одна трудность — политическая: когда гальванеры с веселым гомоном разносили шнуры, опутывая Кремль электропаутиной проводки, царская фамилия испугалась — как бы эти шустрые ребята не взорвали их по всем правилам современной науки! Коковцев заявил жандармам, что не может работать спокойно, если под ногами путаются... посторонние. Колокольня Ивана Великого была выше любой корабельной мачты, а лесов вокруг храмов архитекторы возводить не разрешали. Матросы поневоле сделались альпинистами. С земли было страшно видеть, как, обвязавшись ниточками веревок, они букашками переползают через округлость храмового купола, тянут за собой арматуру. Но тысячи лампочек имели последовательное включение в сеть, отчего неисправность хоть одной лампочки гасила сразу всю иллюминацию... Матросы спустились с Ивана Великого:
— Мы свое дело сделали. Хотите проверить — пожалуйста!

Конечно, если бы Коковцев смолоду не побегал по реям и вантам, ставя паруса в штормах, вряд ли рискнул бы он забираться до самого креста Ивана Великого! На высоте он оценил подвиг матросов: купол храма покрывал скользкий иней, его обдувало свирепым, обжигающим ветром. Подтягиваясь на руках, лишенный всякой страховки, боясь смотреть на Москву, что лежала под ним как на ладони, Коковцев проверил работу матросов, выкинул вниз одну неисправную лампу,

достал из кармана целую и вставил ее в общую сеть иллюминации...
Смотреть вниз — жутко! Скорее бы на землю.
Наградою ему был орден Станислава третьей степени.

Только теперь, став российским кавалером, лейтенант не стыдился носить и японский орден "Восходящего Солнца". Впрочем, не раз попадал в неловкое положение. Станислава приходилось объяснять иллюминацией Ивана Великого, а "Восходящее Солнце" — тушением пожара в трущобах Иокогамы, — не слишком-то романтично все это выглядело, но что поделаешь?
Осенью 1883 года в Вене открылась Международная электротехническая выставка, куда Коковцев и выехал вместе с Ольгою (разочарованной дороговизною в магазинах), но в конце ноября телеграммой из-под "шпица" он был срочно отозван на родину. Поезд прямого сообщения "Вена — С.-Петербург" прошел через ночную Варшаву, не останавливаясь, мимо окон стремительно пронесло сверкание вокзальных огней, потом в купе снова хлынула тьма. Рано утром были уже в Режице.
Поезд разом окунулся в овсяные и льняные поля родины, мокнущие под заунывными дождями. Ольга открыла сонные глаза:
— Владечка, как хорошо мне с тобою... Ты заказал чаю?
Под "шпицем" решилась судьба: Коковцев был определен на должность флагманского офицера по электрогальванике и обслуживанию "самодвижущихся мин Уайтхэда" (так назывались тогда первые торпеды). Вскоре последовал номерной приказ о назначении лейтенанта на корабли Практической эскадры, стационировавшей в регионе Средиземного моря:
— Я, дорогая, телеграфирую тебе, когда ты сможешь на недельку выбраться ко мне — в Неаполь или в Афины...
Здесь, в Средиземном море, русские Практические эскадры издавна несли стационарную службу, как и в портах Дальнего Востока, наносили "визиты вежливости" дружественным странам, вели гидрографические работы, своей мощью противостояли недругам России. Политическая обстановка требовала присутствия русских в бассейне Средиземного моря: Англия обосновалась в Египте, а

эвентуальные враги России (Германия, Австро-Венгрия и Италия) объединились в могучем Тройственном союзе... Адмиралтейство умышленно послало к берегам Африки наилучший броненосец "Петр Великий", и он был действительно лучший в мире, этот массивный великан, облаченный в панцирь путиловской брони. А в кают-компании крейсера "Африка" часто слышались разговоры:

— Государство без флота подобно голосу певца за сценой: его выслушивают, но с ним никто не считается. Мы, офицеры кораблей, как никто другой, связаны политикой, и любое ее колебание отражается сначала на флоте, потом на армии, а затем уже газеты доносят вибрацию дипломатов до широкой публики.

— Сначала, — добавил Коковцев со смехом, — политика отражается на флоте, правда, но затем сразу же на наших женах.

— Само собой разумеется, — согласились с ним...

Пробыв на Практической эскадре почти целый год, Коковцев покинул ее в Неаполе, где нищие просили сольдо "на макароны" (как в России клянчат пятак "на водку"). Поездом он вернулся в Петербург, где стояла такая неслыханная жарища, что на булыжниках мостовых, казалось, можно испекать блины, как на сковородках. Коковцев, даже не заглянув на Кронверкский, сразу же поехал в Парголово. На перроне станции ему опять встретился тот самый офицер с бородой и орденами в чине капитана первого ранга. Очень приветливо каперанг сказал:

— Вторично и снова на том же месте, не так ли?

— А ваше лицо мне очень знакомо.

— Очевидно, по портретам... Степан Осипович Макаров, — представился каперанг. — А вы не с Практической? Как-то там поживает командир крейсера "Африка"?

Понятно, что Макаров спрашивал о Федоре Дубасове, и Коковцев не скрывал, что с Дубасовым никто из офицеров не мог ужиться, а когда "Африку" покинул и старший офицер, Коковцев его подменял, хотя с Дубасовым они как-то сошлись.

— У меня, наверное, покладистый характер.

Макаров спросил — где Коковцев служил на Балтике?

— На" Минном отряде.

— А ведь я им командовал! Вы какого Экипажа?

— Был Четвертого, теперь в Двадцатом.

— И я одно время служил в Четвертом... У вас здесь дача?

— Не моя — женина. Во Втором Парголове.

— Это неподалеку от дачи Стасовых?

— Почти рядом. Из моих окон видны Юкки.

— А я селюсь в Старожиловке, возле Шуваловского парка. При случае заходите. — К нему подошла дородная, очень нарядная дама вызывающей красоты, и Макаров протянул руку Коковцеву. — Извините, лейтенант. Кучер ждет... А это равнозначно флотскому докладу с вахты: "Катер у трапа!"

Общение с народными героями всегда лестно для самолюбия, и Коковцев радовался этому знакомству. Воротниковы же с некоторой иронией сообщили, что дача у Макарова — развалюха, а жена — мотовка, каких свет не видывал. Вера Федоровна сказала, что Макарова "окрутили" на Принцевых островах, его Капочка училась в иезуитском монастыре в Бельгии.

— Но от монашенки там капли не осталось! Одевается только у Дусэ и Редфрена, а сам Макаров — сущий мужик.

— Побольше бы нам таких... мужиков, — ответил Коковцев.

Оставшись наедине с Ольгой, он сладостно ее расцеловал. Жена ему понравилась — загорелая, стройная, ладная.

— Плавание было интересным, — говорил он, раскрывая чемоданы с подарками. — Шесть месяцев не видел берега! Законов на флоте нет, зато полно всяческих негласных традиций. Одна из них — старший офицер не просится на берег, ожидая, когда командир сам предложит ему прогулку. Но Федька Дубасов, горлопан такой, берега ни разу не предложил... Вот и сидел в каюте, будто клоп в щели!

Ночь была душной. Ольга спросила его:

— Если не спишь, так о чем думаешь, Владечка?

— О послужном списке. Считай сама: клипером на Дальний Восток, разбил "Бекаса" на Руну, затем Минные классы, иллюминация Кремля, минером на Практической, где подменял старшего офицера на "Африке". А ведь мне нет и тридцати лет!

— Ты у меня умница. Помни, что я хочу быть адмиральшей...

Вскоре из-под "шпица" сообщили: открылась вакансия командира уже не миноноски, а миноносца "Самопал", недавно построенного на заводе "Вулкан". Перед отбытием в Гельсингфорс, случайно заглянув в туалет жены, Коковцев обнаружил набор предохранительных средств парижской выделки.

Он обозлился. И даже накричал на Ольгу:

— Опять школа твоей мамочки! Полагая, что я развратник, она изгнала из дома Фенечку, но подавила в себе скромность, обучив тебя этим хитростям... Сейчас же все вон — на помойку!

После этой ссоры Ольга Викторовна очутилась в положении, какое в русской литературе было принято называть "интересным". По прошествии срока, определенного природой, она родила первенца — Георгия (Воротниковы звали мальчика Гогой). Коковцев понял, что этот ребенок не станет любимцем матери...

"Самопал" ретиво вспахивал крутую балтийскую волну. Зажав в углу рта папиросу, Коковцев колдовал над курсами, напевая:

Рвутся в цепях контрафорсы —
Это наш прощальный час.
От причалов Гельсингфорса
Провожали дамы нас...

Пусть читатель, мой современник, не думает, будто политические кризисы, волнующие его мирное бытие, ранее случались реже, нежели сейчас... Германия вдруг с небывалым ожесточением вломилась в Африку, колонизируя ее в Того и Камеруне, флот кайзера бросил якоря у берегов Новой Гвинеи, Франция воевала с Китаем из-за Вьетнама (Аннама), Англия деловито и торопливо прибрала к своим рукам Бирму.

Шел дележ мира. Точнее — грабеж его!

Русский флот учащенно маневрировал на морях, торопливо обстреливая полигоны Тронзунда и Бьёрке, чтобы иметь полную боевую готовность. Коковцев, пригнав "Самопал" в Ревель, забирал с береговых складов запасы для команды миноносца: солонину и сухари, пшено и горох, чечевицу и водку, на борт брали бочонок коньяку и ящик египетских папирос для офицеров. Тонкая сталь палубы мелко дрожала от перегрева машин... Теперь, в роли

командира, Коковцев уже на самом себе испытал всю горечь салонного отчуждения. Переступив морскую традицию, он, командир, сам же напросился обедать в кают-компании. Просто ему хотелось поговорить, и он — говорил:

— А смешно выглядит Япония, бегущая за Европой с такой завидной скоростью, что позади уже остались гэга и кимоно, догоняющие ее по воздуху... Но самое смешное, господа, уже стало оборачиваться кровавыми слезами для бедных корейцев!

Корейская королева Мин, женщина умная и энергичная, в какой уже раз просила Петербург взять Страну Утренней Свежести под свой протекторат, ибо на китайцев у нее надежды были слабые. Помимо японцев, в Корею лезли и нахальные американцы, без стыда и совести позволявшие себе грабить даже могилы корейских властелинов. Певческий мост испытывал чудовищные колебания: встать на защиту Кореи опасно, ибо за каждым движением России пристально следила Англия, не снимавшая руки с политического пульса.

— Благодарю, господа, что накормили, — сказал Ко ковцев, наговорившись; в открытых иллюминаторах голубино отсвечивала сизая балтийская свежесть; юные мичмана натягивали тужурки, отчаянно скрипящие; Коковцев занял свое место на мостике.

— Однако, — сказал он, — если верить питерским слухам, вопрос о строительстве железной дороги до Владивостока скоро решится. Именно сейчас, когда англичане укрепились в Египте и лезут в Персию, желательно, чтобы наши грузы для Дальнего Востока не зависели от прохождения через Суэцкий канал...

Было прохладное лето 1885 года — русский народ жил в тревоге: война с Англией казалась неизбежной! Наш солдат поднялся на вершины пограничной Кушки (где стоит на часах и поныне), и, конечно, политики Уайтхолла отреагировали на это моментально: британские крейсера снова замелькали на подходах к Владивостоку, их часто видели возле берегов забытой богом Камчатки.

Свежий упругий ветер летел навстречу миноносцу.

— Выходим на дистанцию залпа, — доложил минер.

— Залпируйте, — разрешил Коковцев.

Есть: попадание! Это привело его в благодушное состояние.

Завтра утром развернемся
Мы к погасшим маякам.
Далеко от Гельсингфорса
До прекрасных наших дам...

Поздней осенью Владимир Васильевич перегнал миноносец обратно в Гельсингфорс, где снимал удобную квартирку возле финского сената; здесь его поджидала Ольга, приехавшая недавно.

— А я измотан вконец, — сказал ей Коковцев.

Он с удовольствием погрузилсяяв удобное шведское кресло.

— Как прошли стрельбы, Владя? — спросила жена.

Коковцев молча протянул ей золотые часы. Щелкнул крышкою, на которой Ольга прочитала гравировку: "Лейтенанту В.В.Коковцеву за отличные минные стрельбы в Высочайшем Присутствии Их Императорских Величеств".

— Их? — удивилась Ольга Викторовна.

— Да. — Крышка часов захлопнулась. — Если и дальше пойдет все так, — сказал он, — я раньше срока получу капитана второго ранга.

Далее говорить ему было трудно: в кармане мундира, прожигая его до самого сердца, лежало письмо из Нагасаки от ресторатора Пахомова, сообщавшего, что мальчик, рожденный Окини-сан, подрастает, скоро надо думать о школе, цены в Японии сейчас бешеные, за обязательное учение дерут три шкуры, а бедная и одинокая Окини-сан живет крайне скудно...

Коковцев начал разговор издалека:

— Я встретил на эскадре Дубасова.

— Федора Васильевича?

— Да. Он вернулся из Нагасаки и...

Как ни было тяжело Коковцеву, он все-таки набрался мужества рассказать Ольге все об Окини-сан, не скрыл от жены и того, что в Японии остался мальчик — его сын.

— Прости. Но молчать об этом я тоже не могу...

Странно повела себя Ольга! Не успев огорчиться, она тут же взяла себя в руки, рассуждая с трезвой ясностью:

— Конечно, я всегда догадывалась, что тут не обо шлось одним цирком с попрыгуньей Эммой Чинизелли. Впрочем, ты поступил

правильно, что сказал мне об этом. Иноса настолько далека от меня, что мне порой кажется, будто ты любил эту женщину на планете, не доступной для моего понимания... Бог с тобою, я даже не ревную, — великодушно простила она.

Потом делю и сосредоточенно раскуривала дамскую папиросу "Сафо" с золотым наконечником и легла на кушетку.

— Ты хоть знаешь ли, как зовут твоего сына?

— Иитиро.

— Что значит Иитиро?

— Тигр... Эта женщина родилась в год Тора, но ее сын, по японским поверьям, должен быть счастлив в жизни, и его все должны бояться, как тигра, а несчастная мать утешится на старости лет счастием и могуществом своего сына...

— Тигр Владимирович Коковцев, — съязвила Ольга Викторовна. — Звучит совсем неплохо... Но сейчас я, поверь, обеспокоена только твоей порядочностью. Я сама недавно стала матерью, и я не хочу, чтобы по твоей вине эта несчастная, как ты объясняешь мне, оказалась на уличной панели...

Она сказала, чтобы он отсылал в Иносу денежный пансион, достаточный для того, чтобы не нуждалась Окини-сан и чтобы не нуждался ее "тигренок". Коковцев никак не ожидал такого благородства от жены, урожденной Воротниковой, в доме которых принято считать каждую копейку, и он, опустившись на колени, расцеловал ее руки:

— Спасибо, Оленька... Я так тебе благодарен.

Она показала привезенные из столицы новые платья:

— Я ведь надеялась, что мы куда-нибудь пойдем.

— Конечно! Если хочешь, навестим "Балканы".

— Надоело. Лучше в шведский "Кэмп", там уютнее.

У Коковцева стало легче на душе. В ресторане Ольга Викторовна охотно вальсировала с молодыми мичманами, которые за ней давно увивались, а сам Коковцев, командир "Самопала" и владелец этой женщины, выпил, кажется, лишнего. Он пел:

Господа, к чему нам нервы?

Жизнь на карту — полный ход.

В этих виках, в этих шхерах
Черт костей не соберет...
Его нога в замшевом ботинке, пошитом на заказ у ревельского сапожника, отбивала музыкальный такт, а на руке лейтенанта крутился золотой браслет с затейливой славянской вязью: МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ .

Время от времени японское посольство в Петербурге устраивало великолепные приемы. В числе приглашенных бывал и Коковцев с женою — как кавалер ордена "Восходящего Солнца". Распорядок церемонии японцы писали на листьях лотоса, которые аккуратно приклеивали на благоухающие дамские веера.
Ольга была обескуражена японским меню:
— Владя, подскажи, что мне просить из этого?
— Проси сушеную каракатицу с вареньем , это вкусно. Хорошо, что я еще не имею ордена "Двойного Дракона" от коварной и подлой Цыси, иначе твой выбор был бы еще затруднительнее...
Ни Коковцев, ни другие русские люди, бывавшие в Японии, не хотели верить, что эта страна может стать опасным врагом. Многие видели в Японии только красивую декорацию, еще не догадываясь, что за прелестными бамбуковыми ширмами, расписанными журавлями и вишнями, скрывается нечто, таящее угрозу другим народам. Яйца были уже разбиты — из них вылуплялись зловещие гарпии. И офицеры германского генштаба муштровали самурайскую армию. И капитаны британского флота тренировали в океанах экипажи японских броненосцев... Увлеченный беседою с секретарем шведского посольства, Коковцев не мешал жене кокетничать с молодым маркизом из французского атташата.
— Кто лучше всего выражает дух народа — мужчины или женщины? Если в Японии зеркалом ее души являются женщины, то мне не придется воевать с этой страной. У японцев есть даже поговорка: в улыбающееся лицо стрел из луков не выпускают...
Гости уже подвыпили, зал наполнялся общим говором.
— Гомэн кудасай, — вдруг коснулось слуха Коковцева. Он увидел перед собой изящную японку, сильно перетянутую в талии поясом-

оби. Удивителен был тонкий овал ее лица (Коковцев вспомнил, что такие лица в Японии называются "урид занэгао" — дынное семечко). Кланяясь, женщина спросила его:

— Вы разве не узнали меня, Кокоцу-сан?

— Напротив! Я даже помню ваше имя, О-Мунэ-сан... Это была дочь самурайского адмирала Кавамура.

— А это мой муж, — указала она без жеста, одними глазами, на группу японцев, стоявших поодаль (но кто из них был ее мужем, так и осталось невыясненным). — А почему вы тогда не навестили меня в Тогицу? — спросила бывшая фрейлина.

Коковцев игриво отвечал, что вся человеческая жизнь, очевидно, соткана из одних лишь утраченных возможностей.

— Но я безумно рад видеть вас здесь... Вы бы знали, как вы сейчас прелестны! Гораздо лучше, нежели тогда — на клипере "Наездник", когда в вашу честь была взорвана мина.

От волос японки исходил тонкий аромат. Это был запах цветов и фруктов Японии.

— Я ведь ждала вас тогда, — вздохнула О-Мунэ-сан... — Правда, песчаная дорога до Тогицу неудобна, но зато много красивых пейзажей. Вы могли бы взять носильщиков с паланкином...

Она как будто уговаривала его вернуться в Тогицу! Коковцев отыскал глазами Ольгу, которую вполне устраивало общество француза. Невольно он сделал для себя открытие: его жена хороша и нравится мужчинам. Переняв с подноса лакея бокалы с шампанским, Коковцев и О-Мунэ-сан тихо чокнулись. В этот момент их головы нечаянно соприкоснулись. Он снова ощутил дуновение ветра, летящего над мандариновыми рощами Нагасаки.

— Я жалею, что не приехал тогда в Тогицу, — шепнул он женщине. — Наверное, я многое потерял...

Из этого очарования его вывел вопрос О-Мунэ-сан:

— Кокоцу-сан, вы командуете большим кораблем?

Владимир Васильевич откровенно любовался японкой.

— Нет, маленьким... всего лишь миноносцем.

— О, я знаю, как это страшно и опасно для вас. Нет, я не забыла ту мину, которую вы взорвали для меня! Но почему она прыгала по

волнам, словно бешеная лягушка?

О-Мунэ-сан спрашивала его о метательных (инерционных) минах, внешне похожих на торпеды, зато не имевших двигателя. От этих мин русский флот давно не знал, как избавиться, и секрета они не составляли. Однако Коковцев все же ушел от прямого ответа, указав на французского маркиза, увлеченного его женой:

— Это как раз морской атташе Франции, он вам расскажет об этих "лягушках" со всеми подробностями... А я, увы, — сказал Коковцев, — я в этих делах ничего не понимаю!

Супруги покинули японское посольство далеко за полночь, возвращались домой на извозчике. В коляске возник разговор:

— Ну, как тебе понравился этот вечер?

— Очень, — ответила Ольга, не глядя на мужа. — Особенно понравился ты. Если б ты мог видеть себя со стороны...

— Не пойму, чем я успел -провиниться?

— Ты был похож на кота, учуявшего запах валерьянки.

— Перестань! О-Мунэ-сан моя давняя знакомая по Японии.

— Сколько их было там у тебя? Я должна покрывать твои же грехи, отрывая последний кусок у себя и нашего сына. И мне было противно видеть, как ты вешался на эту японку... Они ведь все у тебя несчастные -одна лишь я счастливая!

Коковцев решил молчать. Петербург спал в тишине белой ночи. Усталые лошади цокали копытами по торцам влажных мостовых. Супруги, оба сдержанные, вернулись домой. В постели Коковцев сделал робкую попытку обнять жену и получил от нее оплеуху, прозвучавшую в тишине квартиры чересчур громко.

— Убирайся со своими поцелуями! — сказала Ольга, включая свет и хватая папиросу. — Я ведь знаю, что, обнимая меня, ты станешь думать об этой японке... Не-на-ви-жу!

Коковцев удалился на кухню, открыл бутылку с коньяком, из чулана медхен-циммер выглянула сонная кухарка:

— Свят-свят, да што ж вы туточки делаете-то?

— Пью, как видишь.

— Ночью-то? Ольга Викторовна осерчать может.

— Не лезь не в свое дело...

Утром, невыспавшийся и раздраженный, Коковцев сел возле Тучкова моста на катер, который доставил его к миноносцу.

— По местам стоять — со швартов сниматься!

На мостике штурман спрашивал:

— У вас дурное настроение, Владимир Васильевич?

— Счастье так же относительно, как и понятие координат на прокладочных картах... К чертовой матери — сказал Коковцев, переставив ручку машинного телеграфа на "полный". — Только в море и чувствуешь себя человеком. Пошли, пошли...

Эта встреча с О-Мунэ-сан все в нем перевернула. Еще долго вспоминался запах волос — запах глициний и магнолий, зацветающих на зеленых террасах Нагасаки, это был аромат его былой, неповторимой любви. "Неужели все кончено?.."

Разве мог Коковцев предполагать, что не он вернется к Окини-сан — все будет гораздо сложнее: его вернут к ней !

Давно уже не было такой веселой зимы в Кронштадте. Город наполнили вдовушки и девицы, Морское собрание выписывало из Питера лучших певцов и музыкантов, гремели балы и маскарады, на масленицу форты пропитались блинным угаром, офицеры с дамами укатывали на вейках по льду залива до ночных ресторанов Сестрорецка, до утра гремящих бубнами цыганок и рыдающих проникновенными румынскими скрипками...

Уже появились первые полыньи, когда Ольга Викторовна родила второго сына, нареченного добрым именем — Никита.

— Больше детей у нас не будет, — твердо решила жена. Коковцев предчуял, что и этот ребенок не станет любимцем матери, как не стал и первенец Гога. На все лето он ушел к Тронгзунду, где успешно провел торпедные стрельбы, вернувшись в Кронштадт лишь под осень. На Грейговской улице его чуть не окатило грязью, выплеснувшей из-под коляски на дутых шинах, в которой сидела жена Дубасова.

— Вы получили письмо от Феди? — крикнула она.

— Нет, Александра Сергеевна, а что?

— Государь император очень недоволен, что наследник Ники связался с этой... Кшесинской. При дворе решили проветрить ему голову в

дальнем плавании до Японии, а мой Федя никак не найдет старшего офицера для "Владимира Мономаха".

— Что-то у меня... с легкими, — приврал Коковцев.

— Поправляйтесь! Федя говорил, что на "Владимире Мономахе", близ наследника, вы раньше срока станете кавторангом.

Стороною Коковцев пронюхал, что от Дубасова бежали куда глаза глядят уже три старших офицера, а теперь он стал уповать на "покладистого" лейтенанта Коковцева, который сразу сказал себе: basta! Отличный моряк, но махровый реакционер, Дубасов из гаваней Триеста, где околачивался его "Мономах", нажал потаенные пружины под "шпицем", и Коковцев получил чин капитана второго ранга. Но этим он Коковцева не соблазнил! Владимир Васильевич не скрывал от жены, что присутствие на фрегате наследника престола, склонного к выпивкам и безобразиям, никак не будет способствовать укреплению дисциплины.

— Но, подумай, какая карьера! — всплеснула руками жена.

— Моя карьера и без того складывается отлично.

— Тебе так повезло, — говорила Ольга. — Когда на следник Николай взойдет на престол, разве он забудет старшего офицера с "Владимира Мономаха"?.. Хотя бы ради наших детей!

— Э, — небрежно ответил Коковцев. — Ты говоришь о детях так, будто они, сиротки, сидят в неглиже по лавкам и рыдают от голода. На флоте полно всяких ситуаций не для женского понимания. Когда матрос является с берега пьяным, я ему вежливо говорю: "Ты, пес паршивый, где успел так надраться? Пшшшел в карцер!" И он меня уважает, А при наличии наследника спроси я матроса об этом, он мне на будущего царя пальцем станет показывать: "Им, значица, можно закладывать, а нам уже и нельзя... Это по какому такому праву?"

Ольга Викторовна уязвила мужа словами:

— Если бы "мы" не посылали еще и в Нагасаки, я бы об этом тебя не просила, ты сам хорошо это понимаешь...

— Хватит для меня гаффов! — обозлился Коковцев.

Вспышка семейного скандала продолжения не имела, ибо сияние новых эполет уже отразилось на новых туалетах жены. "В конце концов, — размышлял Коковцев, — чего ты беснуешься, моя прелесть?

Леня Эйлер прав: не ты меня, а я тебя осчастливил..." Ольга Викторовна вступала в возраст светской дамы. Беременности не испортили ее фигуры (чего она так боялась!). Коковцеву было приятно не отказывать ей в обновках, которые она шила у Дусэ и Редфрена, как и Капитолина Николаевна Макарова... В минуты отдыха или грусти Коковцеву вспоминалась Окини-сан, никогда не делавшая попыток к порабощению его, но так уж получалось, что Коковцев сам невольно подпадал под ее тихое очарование. Ольга же действовала по канонам тех российских женщин, что желают видеть мужа обязательно в раздавленном состоянии под своим каблуком — вроде гадкого червяка, и в этом она, конечно, следовала указаниям своей маменьки. Оторвать жену от тещи Коковцев никогда не пытался, но зато кавторанг частенько отрывал миноносцы от стенки гавани, чтобы в море обрести должный покой... Вскоре газеты донесли весть об ужасающем землетрясении в Японии: там провалилась огромная площадь, унося в небытие сразу несколько городов и восемьдесят тысяч жизней. Коковцев (тайком от жены) переслал для Окини-сан и сына Иитиро ощутимую сумму денег. Это был долг его совести!

Только теперь, досрочно выслужив кавторанга, Владимир Васильевич убедился, что мир не состоит из одних друзей — бывают еще и завистники. Впрочем, человек широкой души, он оправдывал эту зависть положением о цензе. Больше сорока процентов адмиралов и высших офицеров не имели корабельных вакансий, и хотя флот рос как на дрожжах, но Морской корпус ежегодно штамповал пачки новеньких мичманов, жадных до плаваний и всяческих удовольствий от пребывания за границей. Эта пикантная "безработица" вынуждала офицеров держаться что есть сил за борта кораблей, командиров было не оторвать от мостиков. А недавно закон о цензе еще более ужесточился. Не успевшие отбыть ценза в море стали вылетать в отставку... Коковцев пока что сидел на своих минах прочно, а новое положение о цензе давало плавающим хорошее материальное обеспечение их семьям, в случае же гибели мужей их жены получали большую пенсию.

Но Ольга Викторовна уже начинала тосковать:

— Ценз, ценз, ценз... А я совсем не вижу тебя!

На это у Коковцева был готов ответ:
— Ты хочешь быть адмиралыней в молодости?
— Хочу.
— Хочешь быть с титулом ея превосходительства?
— Какая же дура откажется?
— Тогда... терпи. А я буду плавать.
В один из дней Воротников по секрету сообщил зятю, что вопрос о строительстве Сибирской железнодорожной магистрали решен в верхах положительно. Русский рабочий, с удалью размахнувшись, уже забил первый костыль в первую шпалу. Грандиозные просторы обязывали русский народ мыслить в таких невероятных масштабах, какие не снились даже предприимчивым американцам. Но сразу же заволновались японские самураи. Вскоре майор Фукусима, военный атташе в Германии, верхом на лошади проехал за триста четыре дня из Берлина до Владивостока, на родине его встречали как триумфатора. Никто не обратил внимания, что Фукусима двигался вдоль будущей трассы Великого Сибирского пути... Увы, майор Фукусима не был спортсменом — он был шпионом японского генштаба. В это сумбурное и шаткое время Россия начала сближение с Францией.

Униженная поражением под Седаном, эта чудесная жизнестойкая Франция видела в России естественного защитника свобод, добытых ею на баррикадах. Монархическая Россия, подозрительная к барабанному бою Берлина, через голову кайзера, оснащенную железным шлемом-фельдграу, протянула руку республиканскдй подруге, и Александр III, крякнув, вынужден был снять шапку, чтобы выслушать революционную "Марсельезу", зовущую граждан к оружию. Летом 1891 года Кронштадт встречал французскую эскадру адмирала Жерве; плохо зная русские фарватеры, французы выкатились килями на мель, с которой любезные хозяева сдергивали будущих союзников мощью портовых буксиров. Не знаю, что там думали в эти дни дипломаты, но флотским дамам гости задали немало хлопот: портнихи работали круглосуточно! Это и понятно: одно дело — муж, другое дело — французы. Ольга Викторовна не отставала от других дам, и

Коковцев даже упрекнул ее:

— Оставь мне хоть рубль на извозчика... умоляю!

Морское собрание Кронштадта осветилось огнями, чествуя веселых и приятных гостей. Банкетный стол на пятьсот персон ломился от яств, громадный зал не мог вместить публики, которую рассаживали даже в аванзалах. Парадная лестница благоухала тропическими растениями, столы утопали в аромате цветов, художник Каразин расписал карточки меню, на которых русская баба в кокошнике обнимала француженку во фригийском колпаке. Оркестром в этот день дирижировал Главач, а капеллою детских голосов управлял знаменитый Агренев-Славянский. Стоило французам показаться на лестнице, сразу грянула увертюра из оперы Глинки "Жизнь за царя", после чего был исполнен марш "Salut a la France". Флотские дамы ужасно волновались: все ли сшито как надо? Обратит ли адмирал Жерве внимание на их наряды.

Но следовало загладить и посадку эскадры на мель.

— Я, — сказал Жерве, — нисколько не жалею, что дорога в Кронштадт оказалась с препятствиями. Тем сильнее станет наша дружба, которой так пылко желает вся Франция...

Дамы заулыбались. После жаркого лакеи салютовали из бутылок с игривым французским шампанским.

— А где же водка? — удивился Жерве.

— Подать водки! — скомандовали адмиралы непререкаемо, как привыкли отдавать приказы в плутонги: "Подать снаряды!"

Главач распушил усы и, не сводя глаз с Жерве, берущего с подноса бочок индейки, покрыл шум застолья бравурными звуками "Марсельезы", услышав которую народ, стоявший на улицах, начал кричать "ура". Все разом поднялись с мест.

— Viva la France! — произносили русские офицеры.

— Viva la Russie! — вторили им офицеры французские...

Так уж случилось, что, опережая потуги дипломатов с Кэ д'Орсе и Певческого моста, русско-французский альянс начали создавать моряки России и Франции. Всем запомнился день отплытия эскадры, последние слова адмирала Жерве:

— Русские друзья! Ждем всех вас в нашем Тулоне...

Два года Коковцев отслужил флагманским минером (флагмином) на

крейсерах второго и первого рангов, побывал в Италии, на Мадере, в Америке и в Палестине. За время его отсутствия Виктор Сергеевич, ездивший в полтавское поместье, погиб в железнодорожной катастрофе. Вернувшись домой, кавторанг застал Веру Федоровну поникшей и растерянной. Умерла и мать Коковцева, не дождавшись сына с моря. Две смерти подряд подрасстроили бюджет семьи, но теща, как видно, не собиралась делиться доходами со своих черноземных десятин.

— А, бог с ними! — говорил Коковцев, отмахиваясь...

Русская эскадра адмирала Авелана отправилась в Тулон, чтобы закрепить союзное торжество. Владимир Васильевич знал, что французы — народ экспансивный, но даже он растерялся, когда толпы горожан ринулись на русские корабли, женщины целовали всех подряд без разбора, хоть адмирала, хоть кочегара, матери протягивали русским матросам своих младенцев:

— Ради него! Седану не повториться...

— Франция спасена! Да здравствует великая Россия!

Это была политика не та, о которой глаголят дипломаты на конгрессах, а политика сердца. Военные оркестры гремели маршем "Кронштадт — Тулон"; ухали литавры и завывали геликоны:

Кронштадт -Тулон!

Тулон — Кронштадт!

Мы победим в борьбе неравной,

Кронштадт — Тулон!

Тулон — Кронштадт!

Вперед, вперед, флоты и армии...

Никто не сомневался, что война с Германией неизбежна.

Каждый русский матрос получил на руку массивный браслет из чистого золота с надписью: НЕВЕСТАМ РОССИИ — ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦИИ. Делегация офицеров с эскадры Авелана отъехала в Париж, где ее принял президент республики. В числе прочих Коковцев тоже стал кавалером Почетного легиона, к этому времени он уже имел орден Владимира и Анну второй степени. Флагмина любезно пригласили на маневры французского флота. В кают-компании французского крейсера "Латуш-Тревилль" кавторанг освоился очень

быстро, найдя общий язык с хозяевами. Коковцева удивило лишь одно обстоятельство: стоило раздаться звучанию "Марсельезы", лица офицеров застывали как мертвые. На вопрос — почему они так реагируют на свой гимн, аристократ де Буггенвиль ответил: "Нас под эти аккорды еще недавно расстреливали..." За столом вино употреблялось умеренно, зато открыто стояли большие кувшины с шампанским, которое даже матросы пили, как в России мужики хлещут из бочек квас. В штурманской рубке Коковцев заметил, что карты разбиты на пронумерованные квадраты.

— Что это значит? — обратился он к штурману.

— Для удобства. Передавать многоцифровые координаты всегда сложно, бывают ошибки сигнальщиков в цифрах, что может привести к трагическим неувязкам. А здесь все просто: из квадрата тридцать восьмого перехожу в квадрат шестнадцатый. Один взгляд на карту — и все сразу видно. Никакой путаницы!

Об этом способе квадратирования карт Коковцев послал донесение под "шпиц", а там хорошее дело адмиралы торжественно погребли в своих архивах. Впрочем, в развитии минного оружия ничего нового Коковцев не обнаружил. На маневрах присутствовали и офицеры флота королевы Виктории, от них он получил приглашение посетить Ла-маншскую эскадру... У англичан было много такого, чему можно позавидовать. Особенно восхищали отличные мореходные качества кораблей и мастерство командиров. В самую теснотищу гаваней англичане влетали на полном ходу как угорелые, не боясь выброса на камни или столкновения. Но распорядок их дня напоминал дикую оргию кухарки, помешавшейся на чистоте. Матросы драили сибирлетом (каменными брусками) не только палубы, но скоблили им даже... пушки. Коковцев уже слышал, что в минном оружии Англия плетется в самом хвосте других флотов мира. Он выразил по этому поводу свое недоумение и получил надменный ответ:

— Зачем нам обороняться минами, если со времен Нельсона мы знаем одну формулу боя — наступать, подавлять, преследовать. А мина — оружие слабейшего против сильнейшего...

Владимир Васильевич, гость вежливый, не стал утверждать, что такая прямолинейная тактика есть отрыжка былой славы Трафальгара, а

календари уже готовы открыть XX век... Зато вот пить англичане умели! Пробовали свалить и Коковцева, но он, парень еще крепкий, не только дошел до каюты своими ногами, но даже догадался перед сном снять брюки... Практические стрельбы англичане именовали "нужной заразой". Содрогания кораблей на залпах калечили арматуру, гасили в отсеках лампы, механизмы сдвигались с фундаментов, текли фланцы на трубах, в стыках корпуса появлялась "слеза", — у всех ведь так! Но англичане, оберегая чистоту от "заразы", стреляли скверно. Это правда, что, много плавая, они подавляли мир своей корабельной мощью, но мощь их калибров практически равнялась нулю. Немцы — вот это были мастера: им плевать, что летят стекла и кусками отскакивает от бортов защитная пробка, прильнув к прицелам, они садят и садят по щитам с дальних дистанций, а корабли у Михелей на диво прочные, выносливые. Французы шарахаются из одной крайности в другую, а теперь они стали союзниками России; это значит, что все ошибки в развитии их флота механически будут перениматься и русскими верфями, за что всем нам предстоит расплачиваться в сражениях — кровью, ожогами, ампутациями...

Вернувшись в Петербург, Коковцев сделал в Адмиралтействе подробный доклад о виденном, закончив его словами:

— Я был крайне придирчив в своей критике и знаю, очевидно, недостатки нашего флота. Но у меня создалось впечатление, что российский флот все-таки иногда опережает иные флоты...

Нет, он не хотел льстить адмиралам — так и было!

Его любимый первенец Гога уже бегал по утрам в гимназию, мальчик музицировал на рояле, рисовал кораблики. Как быстро летит окаянное время, черт бы его побрал!

А теперь, читатель, обратимся к событиям, которые отразились на русской истории, определив будущую трагедию Дальнего Востока. Но прежде разложим перед собой карту...

В глубине Желтого моря — Печилийский залив. Входящие в него будто заглядывают в пасть Великого китайского дракона, смыкающего над кораблями челюсти полуостровов. Слева Шаньдунский — с городами Чифу, Вэйхайвэй и Циндао, справа — Ляодунский и Квантунский, на

острие которого торчит острый клык Порт-Артура! С кораблей, плывущих в Печилийском заливе, можно видеть, как в Желтое море обрушивается Великая Китайская стена; форты гавани Дагу стерегут подходы к Пекину, до которого отсюда всего шестьдесят миль... Где-то в этих унылейших краях и родился Конфуций!

Япония решила не ждать, пока русские протянут рельсы до причалов Владивостока, — их эскадра уже входила в Печилийский залив. Нападение свершилось без объявления войны Китаю, отчего политики мира пришли в небывалое замешательство. Военные никак не ожидали побед Японии: "Что может сделать страна, лишь тридцать лет назад сбросившая кольчуги и панцири, а лук со стрелами заменившая магазинными винтовками!"

Сразу же выявилась поразительная энергия капитана первого ранга Хэйхатиро Того, командира крейсера "Нанива". Международные связи русских моряков были весьма обширны, среди офицеров нашлось немало людей, которые не раз даже выпивали в компании Того, никогда не склонного к аскетизму. На основании их слов Адмиралтейство составило сводку. Того с пятнадцати лет плавал гардемарином на английском флоте, сдал экзамен на мичмана, неоднократно посещал маневры Ла-маншской эскадры. Из британского опыта Того не стал хватать все, что плохо лежит, а тщательно отбирал лишь дельное, сразу отбрасывая все лишнее, консервативное, мешающее. Сводка завершалась фактом: Того — большой приятель английского капитана Гэлсуорси, который служит ныне инструктором китайского флота...

Летом 1894 года Гэлсуорси вышел из гавани Дагу, чтобы доставить в Корею громадный десант китайских солдат. Когда на крейсере "Нанива" расчехлили пушки, Гэлсуорси крикнул:

— Не дури, Того! Мы же приятели, а войны нет.

— Прыгай за борт, пока не поздно, — отвечал Того.

Гэлсуорси поднял над собой английский флаг, но эта уловка не спасла его: Того в куски разорвал китайские транспорта, вытащив из воды лишь одного человека — своего приятеля.

— Не сердись! — сказал Того, поднося ему виски. — Вы же сами учили меня, что главный принцип Нельсона — наступать...

Трескучие японские митральезы без жалости перебили в воде всех китайцев, цеплявшихся за обломки. Никто ранее не знал Того, а теперь газеты мира заполнило это краткое выразительное имя. Японские десанты уже топали через Корею, когда Токио довело до сведения держав, что Япония находится в состоянии войны с Китаем. Дипломатия Европы и Америки понесла первое поражение от нахальной дипломатии самураев. А в бою под Пхеньяном японцам "помогли" сами же полководцы Цыси: накурившись опиума, эти жалкие вояки, убоясь решающей битвы, вдохнули в свои гортани тончайшие золотые пластинки, похожие на ленты фольги; после самоубийства генералов солдаты разбежались — кто куда. Спасибо и англичанам! Они продали Китаю ржавые стволы от ружей (без прикладов), с курками где-то сверху, и потому китаец стрелял, дергая веревку, получая при этом боксерский удар стволом прямо в область солнечного сплетения. Военные наблюдатели Европы в один голос отмечали абсолютное презрение к смерти японских солдат и матросов, которые, казалось, лишены понимания разницы между жизнью и смертью. Правда, вековая вера в холодное оружие ослабляла их огневую мощь. Пехота сидела буквально по уши в кучах расстрелянных гильз — японцы гнались не за точностью огня, а лишь бессмысленно увеличивали количество выстрелов...

Мир затаил дыхание, когда в устье реки Ялуцзян, отделявшей Корею от Маньчжурии, встретились два флота — китайский с японским. Броненосцы флота Цыси были отличного качества (Китай заказывал их на верфях Германии и Англии). Морских специалистов Европы тревожил неизбежный вопрос: что тактически нового скажут сейчас японцы с китайцами? Китайский адмирал Тинг пытался превратить бой в абордажную "свалку", но все решила артиллерия японской эскадры, способная в одну минуту выбрасывать ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЮ ТОНН металла и взрывчатых веществ... Японская пехота вдруг задержала победный марш на Маньчжурию, с дороги на Мукден она резко отвернула на юг, стремительно захватывая Ляодунский плацдарм. Денно и нощно стучали телеграфы столиц; петербуржцы читали в газетах, что "китайцы бегут, оставляя после себя немало луков со стрелами и разных дреколий, просто палок, а пушки Круппа до того

заржавели, что японцы не в силах отворить даже их замков". Все это время английская эскадра гонялась по волнам за эскадрой японской, обеспокоенная — как бы Того сгоряча не сунулся к ним в Шанхай или в Гонконг (другое их сейчас не тревожило). В ноябре японцы вломились в улицы Порт-Артура, штыками уничтожив все население города, оставив в живых только тридцать шесть человек. Самурайский маршал Нодзу тогда же объявил:

— Их убьем тоже, когда они выроют могилы для трупов...

В море ходила крутая волна, свирепствовал мороз. Того дождался ночи. Его крейсер "Нанива" прокрался на рейд Вэйхайвэя, где собрались остатки китайского флота, и открыл огонь с двух бортов сразу, погубив массу китайцев, совершенно беспомощных в корабельных отсеках. Но эта морозная ночь дорого обошлась и японцам: когда "Нанива" вернулся с моря, на его палубах возле пушек выросли ледяные столбы, внутри которых застыли матросы. На мостике — тоже столбы: в них уснули японские офицеры. Качалась в ночи громада крейсера, и вместе с ним качались страшные ледяные статуи. Вот и пробил час славы нового самурайского флотоводца!

Британский крейсер "Severn" доставил письмо Того китайскому флотоводцу Тингу: "Дружба, существовавшая между нами раньше, — писал он, — также горяча, как и прежде. Но посторонним зрителям истина виднее..." Того предлагал Тингу сдаться, а Китаю советовал брать пример с Японии, вступившей на путь обновления, культурного и научного: "Если вы отвергнете этот путь, вам не избежать гибели..." Японская армия окружила Вэйхайвэй с берега, гавань с моря запирал японский флот. Мачты погибших броненосцев торчали из воды. Но силы эскадры Цыси были еще значительны: они не сдавались, хотя каждый день осады стоил Китаю сотен жизней детей и женщин города. О них никто не думал, они не имели даже рисинки во рту, их раны никто не лечил. Одиннадцать миноносцев Цыси пытались прорвать блокаду — японцы перетопили их, словно котят. Наконец японский снаряд разворотил мостики флагманского броненосца "Чин-Ю-Ен", и тогда китайские матросы опустились на колени, умоляя своего адмирала не сопротивляться далее... Тинг не стал удушать себя золотой фольгой — он отравился опиумом.

Вэйхайвэй пал! Японцы взяли не только главную базу флота Цыси, но и остатки ее флота. Мертвому Тингу крейсер "Нанива" отдал положенное число салютных залпов (в этом случае Того пожелал остаться культурным европейцем). Япония победила Китай в самом его чувствительном месте — в Печилийском заливе, а теперь она могла брать Пекин голыми руками. Эта война наглядно выявила растущую мощь японского милитаризма, она же до самых корней обнажила перед миром бессилие самого Китая и полное ничтожество его правителей...

В разгар этих событий умер Александр III, престол занял император Николай II

Коковцев провел зиму на Черном море, а весною, когда Китай взмолился о мире, он оказался в Одессе. На бульваре у Ланжерона его внимание привлек полураздетый босяк, лежавший на земле, закрытый листом английской газеты "Standard". Коковцев почуял в босяке что-то очень родное и отвел газету от его лица... Это был — конечно же! — неотразимый и великолепный, как всегда, Атрыганьев.

— Не советую обольщаться, — заговорил он так напористо, будто продолжая только что прерванный разговор. — Редакция этой газеты советует кайзеру Вильгельму учиться мудрости у его бабушки, королевы Виктории, а не соваться в Африку ради мнимой дружбы с бурами, после чего кайзер возмущенно заявил, что отныне бабушки у него нету... А ты читал ли лорда Дунмора?

— Нет, — расхохотался Коковцев.

Атрыганьев в клочья разодрал английскую газету.

— Великая английская литература сумела разжалобить читателей описанием жизни несчастных сироток! Но в политике Англия сделала сиротами миллионы людей, и ведь ни одна сволочь в Лондоне не пролила по ним даже слезинки...

Странно было видеть капитана второго ранга в образе босяка, и Коковцев спросил — почему он оказался на самом дне жизни?

Атрыганьев ответил, что на дно жизни не опускался.

— Просто у меня не стало приличной одежды.

— Я дам денег, Геннадий Петрович, приоденься.

— Прежде я пообедаю. А вечером поужинаем?

— Есть! Только учти: я уезжаю ночным поездом... Они встретились в ресторане. Коковцеву не терпелось услышать от Атрыганьева историю его грехопадения.

— Я ходил через Суэц, — начал он. — Груз обычный: солдаты для Амура, переселенцы в Сучан, где наши геологи докопались до угля, и тысячи арестантов для Сахалина... Кстати, вот тебе неразгаданная тайна: все преступные женщины, как правило, носят имя Екатерины, какую ни спроси — все Катьки... Конечно, — взгрустнул Атрыганьев, — в условиях тропического плавания, как и сам знаешь, всегда возникают знойные романы.

— С кем? — спросил Коковцев.

Атрыганьев пояснил, что самые приятные дамы на свете — это те, которые пошли на каторгу за мужеубийство.

— Так они же в тюрьмах! За решетками.

— В том-то и дело, что страсть ломает все преграды. А женщина-преступница, как и женщина-монахиня, таит в себе особую пикантную прелесть. Я сделал открытие, что труба вентиляции из арестантских трюмов проходит через ванную моего салона. Для начала я про пустил через трубу визжащую от страха корабельную кошку. Ну, а там, где пролезла кошка, там всегда про лезет и женщина... даже рубенсовских размеров!

Атрыганьев замолчал, смакуя вино. Потом спросил:

— Что новенького на Балтике?

— Появился новый миноносец "Сокол".

— Котлы?

— Ярроу.

— Сколько выжимаете?

— Двадцать восемь.

— Приличная скорость. Поздравляю...

Коковцев ответил: теперь торпеды стало на залпах отбрасывать за корму, где их мотает винтами и они тонут.

— Я состою в комиссии, которая этим и занимается.

— А кто еще там в комиссии?

— Пилкин, Витгефт, Вирениус и я. Повысились скорости — и сразу

возникла нужда в переделках торпедных аппаратов.

— Удалось? — спросил Атрыганьев.

— Толчок на залпе сшибает с ног. Но испытания прошли удачно. На заводе Лесснера! Там очень толковые инженеры.

— А как ты, Вовочка, оказался у Ланжерона?

— Черноморцы просили помочь освоить новые приборы торпедной стрельбы. Вот и шлялся на Тендру, которая служит для них полигоном, как для нас, балтийцев, Тронгзунд или Бьёрка...

Коковцев спросил Атрыганьева, где он ночует.

— По ночам я падаю в канаву, вроде оловянного солдатика из сказки Андерсена, и течением Морфея меня уносит под волшебный мост, где живет мудрая крыса, которая каждый раз спрашивает меня, чтобы я предъявил ей свой паспорт... Впрочем, — спохватился Атрыганьев, — еще не все потеряно! Я ведь могу продаться в капитаны на Каспий к Нобелю: у него там полно железных лоханок, в которых он перекачивает керосин из Баку до Астрахани, а потом эту жидкость раскупают всякие бабки, и даже юная гимназисточка из Саратова не может обойтись без керосиновой лампы при изучении божественного Декамерона...

Атрыганьеву явно не хотелось возвращаться к истории на "Добровольце", которую не терпелось услышать Коковцеву.

— Ладно, — наконец-то уступил он. — Так и быть, расскажу. В последнем плавании мне попалась обворожительная арестантка с фигурой такой идеальной, будто эта стерва наяву ожила с полотен Боттичелли. Вечерами она пролезала ко мне в салон, утром я пропихивал ее через трубу обратно в арестантское отделение. Так и длился этот роман, преисполненный нега и волшебного очарования, пока не пришли в Сингапур... Кстати, а Ленечка Эйлер еще не вернулся из Парижа, загруженный мешками с формулами и чемоданами с интегралами?

— Будь любезен, Геннадий Петрович, не отвлекайся.

— Хорошо. Итак, в Сингапуре эта сволочь, достойная любви даже самого великого Аретино, протащила ко мне в салон через огнедышащую трубу вентиляции трех громил-рецидивистов, оказавшихся изворотливее ящериц. В салоне они из моего гардероба

приоделись франтами, будто собрались фланировать по Дерибасовской, и бежали с корабля в город, насыщенный дивными восточными благоуханиями. Но один злодей не придумал ничего лучшего, как облачить свое каторжное естество в мой великолепный мундир капитана второго ранга с эполетами и при всех регалиях. В таком непотребном виде он и был изловлен английской колониальной полицией. А дальше вмешалось начальство Добровольного флота... Конечно, подобного афронта мне простить не могли!

Атрыганьев был похож на бродячего артиста, дававшего свой последний концерт. Где начало и где конец этому человеку? Коковцев нечаянно вспомнил давний разговор на клипере "Наездник" и спросил — была ли в его жизни романтическая акация с жасмином, был ли свой лирический полустанок? Атрыганьев, внезапно помрачнев, взял Коковцева за руку и просил его нащупать под бакенбардами глубокий ножевой шрам.

— Слушай! Это случилось на Крите... в самый разгар греко-турецкой резни. О боже, что там делалось! А я тогда состоял гардемарином на эскадре адмирала Бутакова. Мне было всего шестнадцать лет. Я видел, как башибузуки разорвали на юной гречанке платье и стали над ней измываться. Поверь, что это была первая женщина в моей жизни, которую я видел обнаженной. Я, конечно, выхватил кортик и ринулся на абордаж! Спасибо матросам — иначе б мне не жить. Драка была подлинно кровавая. Но мы вырвали несчастную из лап живодеров и, завернув ее в шлюпочный парус, привезли на фрегат. Потом всю ночь матросы шили для нее платье. Можешь догадаться — из чего шили?

— Не знаю, — сказал Коковцев.

— Из сигнальных флагов. Они же большие, как простыни. Изо всего славянского алфавита нам хватило трех первых букв "аз", "буки", "веди". И когда красавица оделась, на ней можно было прочесть три сигнала по военно-морскому своду: "Нет. Не надо. Согласия не даю", "Быстро сниматься с якоря", "Ваш курс ведет к опасности". К этому бесподобному платью я своими руками пришил пуговицы с гардемаринского мундира.

— А что же дальше? — спросил Коковцев.

Глаза Атрыганьева жалобно смотрели на него:

— Дальше был роман, который продолжается и поныне. Сейчас эта гречанка живет в Каире, где я не однажды бывал, никогда не забывая послать ей корзину живых цветов. Потому и расстроился, когда "Наездник" прошел мимо Каира... Помнишь, там шла отчаянная пальба — восстали египетские офицеры!

Коковцеву стало безумно жаль этого человека:

— Наверное, эта гречанка очень любит тебя?

Атрыганьев предложил ему выпить как следует:

— Именно за то, что она очень любит своего мужа...

"Слипинг-кар" (спальный вагон) был почти пустынен; Владимир Васильевич не стал чаевничать, сразу улегся на ночь. Утром на вокзале в Харькове кавторанг купил в киоске ворох свежих газет. Вот и новость! Императрица Цыси вернула опальному Ли Хун-чжану знаки прежней милости — желтую кофту и большое павлинье перо, в котором насчитывалось три радужных "очка"; она поручила своему "Бисмарку" добыть мир для разгромлённого Китая... Коковцов вышел в коридор вагона, чтобы выкурить папиросу подле открытого окна; земля Украины купалась в белом цветении вишневых садов, и ему невольно вспомнилось расцветание японской сакуры. Возле кавторанга задержался сосед по купе — скромный провинциальный учитель.

— Вы морской офицер и, наверное, знаете больше нашего, — сказал он Коковцеву. — Не означает ли эта японо-китайская война пролог следующей войны — русско-японской ?

— Не думаю! — ответил Коковцев. — Того способен разгромить флот мандаринов, но Япония еще не имеет такой морской мощи, чтобы противостоять силам нашей эскадры на Дальнем Востоке. О чем тут говорить, если мы, русские, стационируемся непосредственно в Нагасаки, а Нагасаки, сударь, это ведь под самым боком Сасебо, где и сидит премудрый Того...

За техническую разработку новых торпедных аппаратов (с "совком", мешавшим торпеде уклоняться при выбросе в сторону) он, по возвращении в Петербург, получил тысячу рублей наградных денег. Столица была освещена ярким весенним солнцем, звонко чирикали

воробьи, на Невском девушки продавали фиалки.
Ольга встретила мужа восторженно:
— Боже, как я истосковалась по тебе... Владечка!
...Это было время, когда Аляску уже встряхнуло азартом "золотой лихородки", когда в Афинах готовились возродить из древности Олимпийские игры, но внимание России было устремлено на японский город Симоносеки, где должны состояться переговоры о мире; все русские люди удивлялись тому, как быстро и ловко маленькая Япония расправилась с гигантским Китаем. Столичные дворники, тоже (поверьте!) читавшие газеты, прозвали китайскую императрицу не совсем-то уважительно, вроде паршивой собачонки: Цыська!

И — таково было ее первоначальное имя. Теперь и называлась иначе: Цы-Си-Дуань-Ю-Кан-И-Чжао-Юй-Чжуан-Чэн-Чфу-Гун-Цин-Сян-Чун-Си... Впрочем, ради экономии бумаги, я не буду выписывать титул до конца. Тем более время от времени Цыси прибавляла к своему имени еще два иероглифа, что давало ей право сразу в два раза увеличивать свои доходы. Жестокая и неукротимая в страстях, дышавшая то нежностью, то ненавистью, Цыси полвека манипулировала властью богдыханов, как хотела. Богдыханы сидели перед нею на низеньких табуреточках, а Цыси восседала на троне под опахалом из павлиньих перьев, и, будучи дамой сердитой, лупила богдыханов палкой по головам, а их жен топила в колодцах, словно неугодных щенят. В углах ее дворца постоянно кого-то мучали, казнили, калечили, уничтожали. С дряблыми брылями желтых сальных щек, слушая вопли наказуемых, Цыси безобразно ковыляла по дворам "Запретного Города", с трудом переставляя ноги, изуродованные с детства. Такова была "китайская Клеопатра", Антонием которой считался Ли Хун-чжан, бывший одним из ее многочисленных фаворитов... В придворном кругу Цыси сложилось мнение: Китай проиграл войну с пушками и ружьями, но он победил бы Японию, стреляя только из луков. Цыси была умнее своих мандаринов: она сначала хотела отрубить голову Ли Хун-чжану именно за то, что он купил плохое европейское вооружение. А теперь старуха не могла найти никого в Китае, кроме Ли Хун-чжана, который бы смог добыть мир. "Китайский Бисмарк" работал в дипломатии не

только взятками, но и путем стравливания одной державы с другой, чтобы погреть руки над пламенем чужих пожаров. Ли Хун-чжан сказал старой бабе-яге вещие слова: "Японцы никого так не боятся, как русских тигров. Если мы сделаем уступки России за счет Китая, мы свяжем Японию войной с Россией, а такой войны давно хотят Англия и Америка, чтобы ослабить и русских и японцев..." В Симоносеки его встретил маркиз Хиробуми Ито (Япония уже обзавелась европейской титулатурой принцев, виконтов, графов и баронов); поначалу маркиз вообще не желал разговаривать с китайцами, выжидая, пока японская армия не захватит Формозу (Тайвань) и Пескадорские острова (Пэнхуледао). Когда японцы там утвердились, Ито сказал, что в расчет контрибуций Китай должен им двести миллионов таэлей, но дело не в бухгалтерии: "Мы имеем право на Маньчжурию, мы сохраняем свое влияние в Сеуле, мы забираем у вас Ляодунский-Квантунский полуостров с крепостью Порт-Артур, мы берем Чифу и Вэйхайвэй..." Благовоспитанная буржуазная дипломатия Европы получала от самураев урок неприкрытой наглости. Ли Хун-чжан отвечал, что на такие требования Китай согласиться не может. Вечером в спальню к нему ворвался молодой японец, выстреливший в посла из револьвера. "Я, — заявил он в оправдание, — не могу терпеть этого грубого китайца, который своим упрямством причинил печаль моему великому микадо!" Японцы обрезали провода в китайском посольстве; раненный в лицо Ли Хун-чжан общался с Пекином через европейские телеграфы. Хитрый политик, он понимал, что Китаю с Японией не справиться, но если Китай уступит Японии в ее наглых требованиях, Европа не смирится, чтобы Япония стала равноправным партнером по расхищению Китая. Мало того! Россия не позволит японским армиям стоять на подступах к Владивостоку. Разложив все это по полочкам, Ли Хун-чжан со смирением конфуцианца подписал Симоносекский договор.

А ведь старая лиса не ошиблась! Сразу возникла невообразимая коалиция России, Германии и Франции, требовавших от Японии, чтобы она "не имела рогов выше лба". Русская эскадра, собранная на рейде Чифу, подавляла японский флот своей мощью, ее присутствие заставило японцев отказаться от завоеваний в Печилийском заливе.

"Мы победили, — рассуждали в Токио, — и мы же оскорблены!" Самураи, ставшие редакторами газет, приучали японцев к мысли, что сначала надо расправиться с Россией, затем покорить и всю Азию. В эти дни беседка в саду русского посольства, в которой жены дипломатов привыкли распивать со своими детьми вечерний чай, была забросана камнями с улицы.

Оскал самурайского лица делался все ужаснее!

Страна Восходящего Солнца уже истерзала до крови свою мирную соседку — Страну Утренней Свежести... Королева Мин, женщина энергичная, продолжала ориентировать политику Кореи на сближение с Россией. Не в силах отличить королеву от ее придворных дам, одинаково одетых и одинаково причесанных, самураи вырезали всех женщин во дворце Сеула, потом стали расшвыривать теплые трупы — кто здесь Мин? Найдя королеву, японцы с радостными воплями изрубили Мин в мелкие куски, останки облили керосином и сожгли. "Во всех наших унижениях, — доказывала самурайская пропаганда рядовым японцам, — виновата больше всех стран Россия, пусть она убирается прочь из-под крыши Азии... Нам необходим весь Сахалин, вся Камчатка, все Курилы и даже Чукотка, хотя, говорят, там и очень холодно..."

Ли Хун-чжан выехал в Москву на коронацию Николая II, за ним свита тащила роскошный гроб — на случай его нечаянной смерти. Под глазом "китайского Бисмарка" некрасивой бульбой нависала самурайская пуля, так и не вырезанная хирургами. Здесь, в Москве, Ли Хун-чжан принял от Витте взятку в три миллиона золотом, обещая сдать в аренду России весь Квантунский полуостров заодно с Порт-Артуром. Россия обрела право проложить рельсы через Маньчжурию, чтобы у причалов Желтого моря закончить Сибирскую магистраль новой стратегической трассой — КВЖД (Китайско-Восточной железной дорогой). Но русской экспансии на Дальнем Востоке противостояла оперативная и наглая японская агрессия.

Скромный провинциальный учитель оказался намного прозорливее Коковцева: политическая увертюра к русско-японской войне уже прозвучала. Полыхающий пламенем занавес скоро взовьется над унылыми сопками Маньчжурии, над нерушимыми бастионами Порт-

Артура, над волнами — там, на траверзе Цусимы...

Нечаянно возник откровенный супружеский разговор.

— Владечка, — сказала как-то Ольга Викторовна, — не странно ли, что с годами я люблю тебя больше и больше. Знаешь ли, чем ты мне безумно и постоянно нравишься?

— Занятно. Чем?

— До сих пор ты остался... мичманом. Я уже мать двух детей, а ты... Нет, ты совсем не изменился: мальчишка!

— Неужели?

— Не обижайся. В этом доме, если говорить до конца откровенно, есть только один серьезный человек — это я.

— Ну и ладно, — не стал возражать Коковцев...

Гога подрос, и он отвел первенца в Морской корпус; задержавшись перед памятником Крузенштерну, отец внушал сыну, что по выходе в мичмана, согласно доброй традиции корпуса, гардемарины обязаны натянуть на бронзу памятника... тельняшку!

— Так делал я, так сделаешь и ты, запомни это.

Вакансий было всего сорок пять, а в зале собралось около полутысячи подростков с родителями, притихшими от волнения. Многие кандидаты уже прошли все гимназии и училища, отовсюду изгоняемые за тихие успехи и громкое поведение, их нещадно пороли родители, их секли инспектора, драли за уши гувернеры. Осталась последняя надежда на Морской корпус, чтобы флот добросовестно отшлифовал эти алмазы до состояния бриллиантов. Для Георгия-Гоги никаких осложнений с приемом в касту избранных не возникло: Коковцевы издавна служили России на морях, так какие же тут могут быть разговоры? Конечно, приняли... Пришло время готовить для гимназии и Никиту.

— Быстренько полетело времечко, — вздыхал Коковцев...

Год назад Вера Федоровна заявила, что она больше не хозяйка в своем доме, и гордо удалилась в свое полтавское поместье, где ее слабое сердце храбро атаковал отставной гусар, неискоренимые привычки которого быстро спровадили дворянку в могилу. Коковцевы остались одни. Это позволило Владимиру Васильевичу упорядочить свои финансы. Первым делом он продал остатки полтавских

черноземов, никак не желая связывать свою карьеру с долей помещика. Служба на Минном отряде давно требовала обзавестись семейным "гнездом" и в Гельсингфорсе; дома финской столицы строились тогда на деньги частных лиц, которые распределяли квартиры по жеребьевке. Финны строили добротно и быстро. Коковцев очень скоро получил ключи от квартиры... Капитан второго ранга стал наводить порядок и в обиталище на Кронверкском проспекте.

— Когда я сажусь за стол, — заявил он Ольге, — я хочу видеть симпатичную молодую горничную в кружевном фартучке, а не эту костлявую ведьму с ее дурацкими "фриштыками". Будь любезна, напиши в контору по найму прислуги...

Все эти годы Коковцев не порывал связей с Минными офицерскими классами, а недавно опубликовал статью о конденсировании блуждающих токов Фуко в обмотках подводных электрокабелей, за что получил диплом "Почетного члена РТО" (Русского технического общества). Радуясь отсутствию жены, Коковцев созвал на новоселье сослуживцев по Минному отряду. Была белая балтийская ночь, Гельсингфорс видел первые сны. Пристроясь на диванах, после выпивки и закусок, мино-носники говорили о первых успехах корабельного радио, уже входившего в быт флота. Не посвященным в их заботы эти разговоры были бы неинтересны: офицеры обсуждали последние труды электротехников Мерлинга и Тверитинова, Верховского и Эрквардта. Молодое электричество уже воздвигло горы научных монографий, но недавно Германия застучала на весь мир первым двигателем внутреннего сгорания инженера Дизеля... Было уже четыре часа утра, когда Коковцев разлил остатки вина по бокалам:

— Господа, прошу по кораблям. Один часочек сна, после чего извольте бриться, дабы к подъему флага всем быть в полном порядке. Дивизиону — в море... Ну, допьем!

Люди были здоровые, бессонная ночь никак не отразилась на них. Пробежав с дивизионом до мыса Тахкуна, Владимир Васильевич развернул миноносцы на свет разгоравшихся маяков. Миноносцы — узкие веретена! — вонзились в хлесткую балтийскую волну, вымотавшую все души наизнанку. За ужином, толпясь в тесноте

буфета, офицеры в мокрых тужурках наспех проглатывали рюмку коньяку, закусывая шведским ассорти с тостами. Коковцев провел миноносцы Густавсверкским проливом, еще издали, из зелени Брунс-парка, ему подмигнули ярко освещенные окна его новой гельсингфорсской квартиры:

— Кажется, господа, холостяцкая жизнь кончилась. Моя жена вернулась из Петербурга... увы, увы!

Ольга Викторовна встретила его чересчур строго:

— Ну, конечно! — говорила она, указывая на стол, заставленный бутылками и бокалами. — Кого ты пытаешься обмануть, Владя? Я ведь вижу, что у тебя опять были женщины. Теперь-то я знаю, ради чего ты завел эту квартиру в Гельсингфорсе... Ты становишься невыносим! — вспылила она. — Я несчастное создание: сначала этот проклятый ценз, а теперь, когда ты достиг высокого положения на флоте, у тебя начались бесконечные гулянки и пьянки... Не забывай, что тебе уже сорок лет, а я еще не дождалась, чтобы ты стал адмиралом.

— Не преувеличивай: мне сорока еще нету.

— Нет, так скоро будет. Мог бы и успокоиться...

Коковцев сам убирал со стола посуду. Конечно, во время заходов в Ревель или в Ригу у него иногда возникали краткие, но очень бурные романы с женщинами, вешавшимися ему на шею, однако эти дамы не оставляли рубцов на сердце. Он сказал:

— Как мне объяснить тебе, что не было никаких женщин! Были хорошие друзья... Ну, выпили. Ну, поболтали.

— У тебя все хорошие. Со всеми готов ты выпить, со всеми готов болтать. — Ольга резким жестом извлекла из ридикюля визитную карточку, отпечатанную на трех языках: русском, немецком, французском. — Это прислал тебе на Кронверкский старый приятель по клиперу — фон Эйлер, он просит зайти.

— И зайдем. Кстати, Леня тебе понравится...

Появясь в столице, он прежде позвонил ему по телефону:

— Леня, прости, что все эти годы не искал тебя. А я, представь, живу сумасшедшей жизнью. Выросли уже два оболтуса, хорошо, что нет третьего. Я — в море, Ольга отвыкла от меня...

Он спросил Эйлера, как сложилась жизнь после окончания "Ecole

Polytechnique"? Эйлер растолковал, что служил инженером у Крезо, пришлось поработать на кайзера в Гамбурге, кое-что освоил на верфях Армстронга в Глазго и Ныо-Касле. А сейчас он увлечен идеями адмирала Макарова.

— Меня волнует мысль о непотопляемости кораблей...

Коковцев ответил, что как не существует бессмертия в жизни, так же невозможно добиться и вечности кораблей.

— Как пускали пузыри, так и будем пускать, Ленечка.

— Чудак! На что же водонепроницаемые переборки? Теперь я занят трюмными системами. С одного борта отсасываю воду, с другого всасываю... Корабли должны быть непотопляемы!

Эйлер предупредил, что вернулся из Парижа с женой.

— Настоящей француженкой! Вова, она — прелесть.

— А как зовут эту прелесть?

— Ивоной.

— Ленечка, тебе повезло! Такое красивое имя...

Перед сном Коковцевы навестили детскую, где спал их второй сын Никита, и, любуясь мальчиком, они банально спорили, на кого он больше похож? Неожиданно Ольга решила:

— Уж его-то по министерству финансов...

— Пятаки считать? Он же не Воротников, а Коковцев...

В постели Ольга разгладила волосы мужа:

— Владька, никак, ты лысеешь? Но тебе еще чин каперанга и потом контр-адмирала... О, боже! — размечталась она. — Тюник сейчас выходит из моды. А я, став адмиральшей, сошью себе казакин с горностаевым мехом. Владечка, ты спишь?

— Слушаю.

— А когда поедем отдыхать в Биарриц?

— Скоро... в Порт-Артур, — сонно отвечал Коковцев.

...Окини-сан переступала во второй возраст любви.

Ольга Викторовна — тоже!

Нынче не принято писать сентиментальных романов. Заранее предвижу упреки критиков: ведь не бедная карамзинская Лиза утопилась с горя в лирическом пруду, а с грохотом опрокинулась в

бездну целая эскадра, опозоренная поражением.

Где море, сжатое скалами,
Рекой торжественной течет,
Под знойно-южными волнами,
Изнеможен, почил наш флот.

Морское собрание Кронштадта осветилось огнями, чествуя веселых и приятных гостей. Банкетный стол на пятьсот персон ломился от яств, громадный зал не мог вместить публики, которую рассаживали даже в аванзалах. Парадная лестница благоухала тропическими растениями, столы утопали в аромате цветов, художник Каразин расписал карточки меню, на которых русская баба в кокошнике обнимала француженку во фригийском колпаке. Оркестром в этот день дирижировал Главач, а капеллою детских голосов управлял знаменитый Агренев-Славянский. Стоили французам показаться на лестнице, сразу грянула увертюра из оперы Глинки "Жизнь за царя", после чего был исполнен марш "Salut a la France", Флотские дамы ужасно волновались: все ли сшито как надо? Обратит ли адмирал Жерве внимание на их наряды.

Одно время считали, что русские корабли оказались "самотопами", а теперь признано, что передовые броненосцы эскадры были не виноваты: гореть и переворачиваться их заставляла не наша русская безграмотность, а точные законы физики, применимые ко всем флотам мира, включая и русский флот.

Раньше писали, что морские офицеры были способны только напиваться и лупцевать матросов, а теперь пишут, что офицерский корпус эскадры был составлен из грамотных специалистов, верных своему долгу патриотов, многие из которых в советское время заняли научные кафедры в институтах, создавали новые корабли и умерли в почете и признании их заслуг.

Не раз толковали, что матросы шли на убой, гонимые, как скотина, буквально из-под палки, но в битве при Цусиме весь коллектив русской эскадры сражался, не щадя жизни, преподав миру еще один внушительный образец массового героизма и самоотверженности, издавна присущих русскому воинству...

Если это так, почему же мы тогда потерпели поражение?

В.И. Ленин в статье "Падение Порт-Артура" приоткрыл над этой

трагедией занавес. "Прогрессивная, передовая Азия, — писал он, — нанесла непоправимый удар отсталой и реакционной Европе..."

Иногда полезно вспомнить и слова главного виновника нашего поражения при Цусиме, вице-адмирала Хэйхатиро Того; сразу же после битвы, еще не остывший после нее, он, триумфатор, дал интервью газете "The Japan Times":

"Неприятельский флот не оказался ниже нашего по своим качествам (!), и следует признать, что русские офицеры и все матросские экипажи сражались за свое отечество с величайшей энергией (!). То, что наш японский флот одержал победу, объясняется только незримым духом императорских предков, а не какой-либо человеческой мощью..."

Оставим духов в покое. Ныне былые страсти улеглись, а кривизна мнений выпрямилась. Теперь историки сошлись в едином мнении: любая эскадра (будь она хоть английской), попав в условия, в каких находилась эскадра России, все равно была обречена на поражение . Об этом хорошо знали плывущие на смерть наши деды и прадеды, читатель. "Ах, знали? — спросите вы меня. — Так зачем они плыли, если знали?"

Но это уже вопрос воинской чести...

К кому обращены эти вопросы?

Конечно, не к рядовому, который всегда был истинным героем русского флота. Он не мог нести ответственности за тех, кто командовал им.

В своей знаменитой статье, посвященной разгрому России на Дальнем Востоке, Ленин писал: "Авантюристскими бывают не только правительства цезарей, но и правительства законнейших монархов старейших династий... Самодержавие именно по-авантюристски бросило народ в нелепую и позорную войну. Война вскрыла все его язвы, обнаружила всю его гнилость, показала полную разъединенность его с народом... Война оказалась грозным судом".

Народу, в состав которого, естественно, входили русские моряки, предстояло вынести свой приговор царизму. И он — придет время — вынесет его.

За дымом тонущих русских кораблей поднималось зарево революции.

Случилось то, чего более всего боялось самодержавие: "Несчастный исход войны равносилен победе "внутреннего врага".

Ленин это видел тогда. Многие участники русско-японской войны поймут это после.

Но автор пишет не историческое исследование, а роман о жизни одной семьи. Коковцева, как и других, подхватил вихрь. Одних этот вихрь сделал прокурорами царизма. Таких, как Коковцев, вверг в скорбь о поруганной чести.

Что ж, каждому свое...

Я никогда, сознаюсь, не бывал в Нагасаки! Хотя извещен, как было там раньше и как там теперь. Не забудем, что на этот город без жалости и какой-либо военной необходимости была сброшена американцами атомная бомба. Но известно трудолюбие японского народа Теплые огни пригорода — Иносы — и поныне светят плывущим кораблям. Сейчас в Нагасаки многое изменилось с той поры, когда на засыпающий рейд ворвался, опуская паруса, русский клипер "Наездник".

А напротив Иносы, уже на другом берегу бухты, шумит праздничный сад Дэдзима, и на выступе суши возвышается дивная скульптура, обращенная опять-таки к морю. Она поставлена тут — как олицетворение японской женщины, полюбившей иностранца, и теперь, верная своей любви, она вечно ожидает того, с кем ее разлучили океаны, политика, распри, несчастья. Украшенная высокой старинной прической, она вытянутой рукой показывает своему ребенку на корабли, плывущие из дальних стран в Нагасаки.

Она еще ждет. Но... дождется ли?

Ей ли, покинутой, не помнить стихов Ки-но Тосисада:

Хоть знаю я: сегодня мы простились.

А завтра я опять приду к тебе.

Но все-таки...

Как будто ночь спустилась.

Росинки слез дрожат на рукаве.

Итак, я продолжаю свой сентиментальный роман!

Возраст второй.
Расстрел аргонавтов

И я поэт, в Японии рожденный,
В стране твоих врагов, на дальнем берегу,
Я, горестною вестью потрясенный,
Сдержать порыва скорби не могу...
Ты плыл вперед с решимостью железной
В бой за Россию, доблестный моряк,
Высоко реял над ревущей бездной
На мачте гордый адмиральский флаг.
Исикава Такубоку

Был день как день, обычный день. Коковцев вернулся домой. Из гостиной доносились звуки давно расхлябанного рояля, а молодые голоса распевали с задором:
Прощай! Корабль взмахнул крылом,
Зовет труба моей дружины...
Клянуся сердцем и мечом —
Иль на щите, иль со щитом!
Коковцев бережно прислонил саблю в углу прихожей.
— У нас Гога? — спросил он жену, целуя ее.
— Да, со своими товарищами из корпуса...
Ольга Викторовна выглядела смущенно.
— Мне стыдно! — вдруг сказала она. — Сын кадет, скоро станет гардемарином, а его глупая мамочка опять будет иметь большущий живот... Какой позор!
Сто битв, сто рек, сто городов
О имени твоем узнают,
На ста языках сто певцов
И запоют и заиграют...
Клянуся сердцем и мечом —
Иль на щите, иль со щитом!
Роды предстояли трудные. Ольга Викторовна заранее легла в клинику Отта, ребенок не хотел покидать утробы, пришлось извлекать его на

свет Божий щипцами. Осенние дожди, тусклые и шуршащие, окутывали Петербург туманной прелестью.

Коковцев принес в палату к жене корзину цветов.

Ольга Викторовна, лежа в постели, кормила младенца.

— У меня так много молока, что он захлебывается. Мы назовем его Игорем... Смотри, как он радуется жизни! Это действительно мой последний ребенок, и я выкормлю его сама...

Коковцев правильно рассудил, что Игорь станет любимцем матери... Он родился осенью 1897 года, когда германская эскадра вломилась в китайский порт Циндао, — кайзер словно подстрекал Николая II на захваты в Маньчжурии, — чтобы, связав Россию делами дальневосточными, самому остаться в роли европейского деспота. Англия открыто натравливала мир на Россию, подталкивая японцев на войну с русскими. Из Владивостока приехал Николай Оттович Эссен, авторитетный офицер флота. Он решил подлечить в столице гастрит и рассказывал Коковцеву, что после войны Японии с Китаем в Нагасаки появился памятник: на пьедестале водрузит трофейное ядро, слепленное чуть ли не из глины, в морских префектурах понатыкали неуклюжие обелиски, на верху которых рылами к небу торчком стоят боевые торпеды. Адмирал Того назначен префектом Сасебо, сейчас всю энергию он направил на модернизацию флота, лично вникая в проекты боевых кораблей, добиваясь повышенной мощи залпа и высокой скорости.

— Можно считать, что Того на проливы у Цусимы повесил замок. В Сасебо он соорудил чудесную причальную линию, кораблям удобно брать уголь и накачиваться водой.

— Но ведь нас не гонят из Японии, — сказал Коковцев.

— Пока нет. Эскадра под брейд-вымпелом Дубасова торчит в Нагасаки, но стоило ей бросить якоря, как на рейд сразу же влетела английская эскадра адмирала Бульера и тоже стала на якорь... Теперь, — сказал Эссен, — важно одно: кто скорее войдет в Порт-Артур — мы или англичане?..

Коковцев встретился с Макаровым в Мраморном дворце на заседании Географического общества, где адмирал выступал с докладом: "К Северному полюсу — напролом". В перерыве он сказал, что отъезжает

в Нью-Касл, где на верфях Армстронга будет закладываться ледокол "Ермак". На дела в Печилийском заливе Макаров смотрел глазами разумного патриота России:

— Без Порт-Артура нам, русским, на Дальнем Востоке нечего делать, ибо Владивосток — порт замерзающий и в случае нападения японцев нашим крейсерам не выбраться изо льда.

— Но ваш ледокол "Ермак"... — намекнул Коковцев.

— Я строю его исключительно для научных целей. Великая Сибирская магистраль уже протянулась до Омска (одновременно укладывались рельсы и со стороны Владивостока). Над сказочным Петербургом мели синие вихри, запуржило дворцы и монументы. А в далеком Нагасаки все цвело и благоухали глицинии. Эскадра Дубасова держала котлы на подогреве, но подле нее подымливала эскадра Бульера. В нагасакском Bowling-Club офицеры русского флота резались в бридж с офицерами флота британского. Корректные, вежливые и лишь настороженные взгляды выдавали всеобщее напряжение...

Была ранняя весна, когда однажды утром на русской эскадре проснулись и увидели опустевший рейд: ночью англичане незаметно убрались. Дубасов срочно повел корабли в Порт-Артур. Но вчерашние партнеры по бриджу уже стояли там. Дубасов подобрал самые грубые слова, чтобы расшевелить столичных дипломатов. На Певческом мосту нашли самые изощренные выражения, чтобы Уайт-холл ощутил привкус пороховой гари. После русского ультиматума крейсера Альбиона, жалобно подвывая сиренами, будто их очень обидели, покинули Порт-Артур. Но адмирал Бульер, держа флаг на броненосце "Центурион", тут же пересек Печилийский залив и с ходу захватил китайский порт Вэйхайвэй...

Расстановка сил в этом регионе закончилась! Так весною 1898 года наш флот оказался в Порт-Артуре, полностью разрушенном японцами. В городе застали лишь китайскую полицию с дубьем и бедноту-кули в жалких отрепьях. Всех женщин заранее вывезли в Чифу, ибо Цыси распустила слух, будто каждый русский матрос задался целью похитить по две китаянки. Порт-Артур получил статус города-крепости. Но моментально явились рослые, очень вежливые японцы, открывшие в Порт-Артуре парикмахерскую; это были офицеры

самурайского флота, которые искусно брили и опрыскивали вежеталем головы русских офицеров. Прошу не сомневаться: они хорошо разбирались в делах русской эскадры, панорама которой во всем великолепии открывалась перед ними из окон фешенебельной парикмахерской.

Летом Гога вернулся из кадетского плавания вокруг Европы, переполненный впечатлениями, и Коковцев подарил ему велосипед. Первенец вырастай общительным, разудалым, пригожим, однажды за столом — при матери! — он уже осмелился допустить "гафф" по отношению к женщинам, за что папа-минер, имея характер взрывчатый, тут же залепил ему полновесную затрещину.

Это никак не испортило их отношений. Готовясь к экзамену по истории флотов мира, Гога просил отца подсказать яркий пример доблести и мужества. Коковцев охотно поведал сыну о подвиге французского капитана Дюпти-Туара:

— Англичане разбили его "Топпаш", разрушив мачты и пушки, а сам Дюпти-Туар превратился в обрубок человека. Ядрами ему оторвало сначала одну ногу, потом вторую, затем и руку. Матросы бросили туловище в кадку с пшеничными отрубями, которые сразу намокли от крови. Но благородный Дюпти-Туар продолжал управлять боем, и последние его слова были: "Взорвать этот чертов кузов, но не сдаваться!" Он заслужил похвалу Нельсона, сказавшего: "Этот француз дрался, как бешеная собака, и дрался бы дальше, если бы мы не свалили его в яму". А ты, — заключил Коковцев рассказ, — должен помнить свято: русский флот никогда не опозорил славного андреевского стяга.

— Я помню, — ответил сын. — "Погибаю, но не сдаюсь!"

Вечером Коковцев с женою решили навестить Эйле ров на Английской набережной. В коляске жена спро сила:

— Владя, ты чем-то озабочен, а чем?

— Я устал. Каждая война приносит новые заботы...

Он не притворялся: любой военный конфликт, возникни он хоть на задворках мира, всегда привлекает обостренное внимание специалистов. Сейчас завершилась война Соединенных Штатов и

Испании -война двух флотов. Американцы в двух сражениях уничтожили морское могущество Испании, лишив испанских королей их последних колониальных "кормушек" — Кубы и Филиппинских островов. В результате Испания была вычеркнута из списка великих морских держав, а Штаты, к удивлению многих, сразу превратились в великую морскую державу...

Эйлеры ждали их на балконе, Леня крикнул:

— Наконец-то! Как мы рады вас видеть!..

Родители Эйлера переселились в прусские поместья близ Тильзита, Леня остался хозяином в обширной, старомодной квартире. По-русски троекратно облобызал он друга юности, подтолкнув к нему смущенную Ивону, которая сразу поразила Коковцева громадными лучезарными глазами. Леня расшаркался перед Ольгой Викторовной, а Коковцев сказал, что чиниться не надо:

— К чему? Мы же старые друзья. Будем проще... Дамы прошли в туалетную, чтобы присмотреться одна к другой, заодно поправить прически, а толстенький Эйлер (уже с брюшком) ретиво хлопотал у роскошно накрытого стола:

— Прислугу я отпустил, чтобы не мешала. Вовочка, знай, что я вернулся из Европы богатым человеком... Ей-ей!

— А не думал остаться в Европе?

— Как можно? Россия — моя отчизна, и, накопив опыта на верфях Европы, я обязан передать его в русскую копилку... Отвечай сразу: что ты собираешься пить?

Коковцев впал в дурашливое настроение:

— Плавсостав флота имперского хлещет все, кроме олифы и керосина. Впрочем, если уж ты взялся за бордо, так не открывай его с таким трепетом, будто это кора бельные кингстоны.

Эйлер от души хохотал, радуясь встрече:

— О, не дай Бог нам касаться кингстонов...

В гостиной растворили окна, теплый ветер с Невы раздувал кисейные занавески, издалека слышалась музыка... Жизнь была чертовски хороша! Владимир Васильевич провозгласил первый тост за прекрасных дам. Эйлер думал не о дамах — его интересовало, каков был процент попаданий у американцев.

— Я не знаю, как при Кавите на Филиппинах, но в сражении у Сант-Яго на Кубе янки имели полтора процента.

— А испанцы?

— Ни одного попадания с их стороны не зафиксировано.

— Не может быть. Ты шутишь, Вова!

— Сущая правда. Испанский адмирал Сервера (мне очень жаль этого человека!) велел подать командам перед боем вино. За эти бутылки с вином испанцы жестоко и поплатились...

Ивона говорила по-русски ужасно, коверкая слова до безобразия, но все же говорила. Коковцев перешел на французский.

— Как вам нравится наша сумбурная русская жизнь?

— Все хорошо, кроме блинов, — отвечала женщина. — Не могу привыкнуть еще к соленым огурцам и к паюсной икре.

Эйлер, быстро охмелев, рисовал на салфетке схему трюмных систем, развивая свои теории, он ссылался на авторитет Макарова.

— Ленечка, — отвечал Коковцев, — ты стараешься научно обосновать причины, по которым мне придется тонуть. Но когда я стану булькать пузырями, мне, поверь, будет уже не до того, чтобы думать — научно я погибаю или безграмотно.

— Невежа, ты ничего не понял! — возражал Эйлер. — Если не веришь мне, спроси парголовского соседа, Степана Осипыча Макарова... Кстати, известно ли тебе, что Макаров не только флотоводец — он автор и фантастического романа!

— Впервые слышу.

— А ты почитай. В своем романе Макаров высказал, по сути дела, гениальное пророчество о будущей войне на море... Это так страшно, Вовочка, это так ужасно!

Ивона сказала мужу, чтобы он доппель-кюммель больше не пил.

— Нет, я выпью! — разбушевался Леня, хмельной...

Коковцев совершил быструю "рокировку" среди бутылок.

— Леня, — сказал он, — почтим отсутствие доппель- кюммеля минутой молчания. Ты меня уже очаровал волшебными тайнами трюмов, а твоя жена очаровала меня своей бесподобною красотой и грацией. Я хотел бы сказать...

— Нам пора домой, — строго произнесла Ольга.

— Так уж сразу?

— У нас дети, — еще строже отвечала она.

Спорить было нельзя. В прихожей Леня с пьяным упрямством настаивал, чтобы Коковцев расцеловал Ивону, как свою жену, без стеснения. Ольга Викторовна истерзала свои перчатки. Садясь в коляску, Владимир Васильевич сказал ей:

— Леня такой милый и забавный, правда?

— Но ты, кажется, приехал сюда не ради Лени... Я ведь видела, как ты впивался в эту француженку!

— О чем говоришь, Оля? Я не понимаю тебя.

— Зато я все хорошо понимаю... Ладно. Оставим этот дурацкий разговор. Думаю, нам не следует бывать у Эйлеров и по иным причинам. У нас давно сложилось свое общество, а Леон Эгбертович воспитан иначе, нежели люди нашего круга.

— Прости! Леня не просто Эйлер, он фон Эйлер, и, поверь, что вести себя он умеет лучше нас с тобою. Он не виноват, что я затопил его трюмы крепкой брыкаловкой.

— Владя, что за выражение! — возмутилась Ольга.

— Отличное! Брыкаловкой зовут на флоте коньяк...

Ольга Викторовна жестоко высмеяла Ивону, карикатурно представив ее платье. И вдруг стала жалеть Леню Эйлера:

— Конечно, выбор его неудачен, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя на тебя она и произвел сильное впечатление.

— Перестань! — взмолился Коковцев. — Если Ивона и пожелает прицепить к своему подолу собачий хвост, так это нас не касается. Она парижанка — из особой породы женщин...

Ехали молча. Ревнивая Ольга не выдержала:

— Теперь я вижу, зачем тебе нужна горничная, непременно молодая, симпатичная и в кружевном фартучке.

— Кстати, ты нашла такую?

— Именно такую, какая тебе надобна. Утешься!

— Ну, спасибо... выручили, — засмеялся Коковцев.

Игорь усердно ломал игрушки, а Никита бегал в гимназию. Глядя на своих детей, Коковцев никак не мог представить японского сына

Иитиро (а ведь ему, наверное, уже девятнадцать лет). Денег в Нагасаки он больше не отсылал — после того как Эссен сообщил, что Окини-сан разбогатела, занимая в Иносе примерно такое положение, какое раньше имела Оя-сан... В один из дней Коковцев сообщил жене, что в правительстве готовится важное политическое решение, о сути которого он может пока только догадываться:

— Очевидно, гонке вооружения придет конец. Если не поняла, растолкую. Эсминец годен на десять — пятнадцать лет службы. Но пока его собирают на стапелях, его успевают обогнать другие и при спуске на воду он уже считается устаревшим. Надо спешно закладывать другой. Такая чехарда и называется "гонкой". А если бы мужики и бабы узнали, что мы, выстрелив из пятидюймовки, посылаем в Эвклидово пространство сразу пятьдесят пять рублей, они бы сказали, что профуканы пять дойных коров...

Ольга Викторовна приняла эту "гонку" на свой счет:

— Ты хочешь сказать, что мое последнее платье от Дусэ — как твои три выстрела из пятидюймовки? Но я не виновата, что портнихи посходили с ума и берут страшно дорого...

В эти дни появилась новая горничная Глаша, быстро вошедшая во вкусы их семейства; чистоплотная и привлекательная толстушка, она ловко прислуживала господам, а вечерами запиралась в медхен-циммер, распевая наедине под гитару:

Грек из Одессы и поляк из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал -
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал.
Где же они, в какой новой богине
Ищут теперь идеалов своих?
Вы, только вы, и верны ей поныне,
пара гнедых,
пара гнедых...

Ольга Викторовна поначалу вела себя настороженно, когда в их дом ворвалась свежая хлопотунья-резвушка, но скоро успокоилась. Владимир Васильевич в общении с Глашей допускал лишь корректное похлопывание горничной по румяной щечке:

— Все хорошеешь? Не пора ли замуж?

— Дотерплю до следующего века, — отвечала Глаша.

— Смотри! Тебе ведь не долго осталось ждать...

Было хмурое утро, по окнам барабанил дождь. Коковцев ночевал дома. Явилась Глаша с подносом в руках:

— Доброе утречко, господа! Несу вам "мокко".

Коковцев приоткрыл один глаз.

— Таких, как ты, — сказал он горничной, — надо бы брать на флот. Чтобы ты заведовала кранцем "первой подачи".

Нехотя он сунул ноги в мягкие шлепанцы:

— Оля, меня сегодня вызывают к Дикову... Адмирал Диков, был главным минным инспектором флота. Сообразительный видный старик, он выглядел молодцевато. Коковцев застал его за изучением сводок погоды.

— К метеорологии я отношусь примерно с таким же решпектом, как к хиромантии или к черной магии. А вы?

Коковцев ответил, что доля шарлатанства в этой "лавочке" всегда ощутима. Впрочем, на Балтике сильно штормит.

— Надо выйти в море, — сказал Диков. — А мы, — вдруг произнес он, — допустили ошибку. Россия, кажется, здорово сглупила, гарантируя Китаю заем для оплаты контрибуций Японии. Тем самым мы, русские, обеспечили самураям мощный финансовый источник для развития их флота. И вот вам результат: Того закладывает серию броненосцев, которые по контракту дают восемнадцать узлов... Как вам это нравится?

— Совсем не нравится. Но, если верить газетам, Гаагская мирная конференция, созванная по почину России, приструнит и японцев. Наверное, контроль над вооружением нужен.

— Наше дело — готовиться к войне. Стоит нам превратиться в пацифистов, и завтра же от нашего бедного козлика останутся только рожки да ножки. — Затем адмирал сообщил, что сейчас в Петербурге военно-морским атташе Японии состоит капитан-лейтенант Хиросо. — Он желает видеть наши минные стрельбы.

Коковцев ответил, что секреты военной техники утаить так же невозможно, как и удержать воду в решете:

— Но, очевидно, их все-таки следует утаивать. Диков по диагонали пересек свой обширный ка бинет:

— Нет смысла скрывать то, чем японцы владеют уже в достаточной степени. Скажите, вас устроит выход в субботу? Тогда у мостика Лебяжьей канавки будет ждать катер.

— Есть! — отвечал Коковцев.

Хиросо, помимо русского, свободно владел английским, немецким, французским, китайским и корейским языками. Он недавно был переведен на берега Невы из Берлина.

— А раньше? — спросил его Коковцев.

— Плавал... как и все.

Было что-то подкупающее в этом рослом человеке, мало похожем на японца, с небольшой русой бородкой и усами. Дул сильный ветер. Коковцев извинился, что опаздывает катер:

— А вам, наверное, холодно?

— Нет, к северу я уже привык.

Коковцев вспомнил сказку Окини-сан: жил да был на севере забавный зверек тануки, развлекавший себя хлопаньем лапками по сытому животику. Он спросил — где сейчас О-Мунэ-сан, бывшая при посольстве в Петербурге.

— Кажется, ее мужа отозвали в Японию...

Катер подали. Напротив Горного института их ожидал миноносец, который сразу же, выбрасывая клочья дыма, окунулся в белую заваруху моря. Мимо проплыли огни Кронштадта. Коковцев, поднимаясь на мостик, повесил на шею свисток, чтобы сигнализировать о поворотах, а матросы втихомолку посмеивались:

— Нацепил! Будто городовой али дворник...

Навстречу двигался германский транспорт, спешащий к мучным лабазам русской столицы. Хиросо заметил пулеметы и сказал:

— У нас митральезы тоже заменяют пулеметами...

Измотанные качкой, весь переход до Тронгзунда они посвятили специальным вопросам (причем, если Коковцев что-то утаивал от японца, Хиросо, словно разоблачая его, подробно докладывал, как это дело налажено на их флоте). Очевидно, атташе хорошо разбирался в минном оружии, и, когда миноносец стал раскладывать по траверзам

торпедные залпы, лицо Хиросо осталось невозмутимо. Коковцев решил про себя, что адмирал Диков, наверное, прав: японцы знают уже не меньше русских. Но вот засветились огни Гельсингфорса, и кавторанг сказал:

— А не поужинать ли нам вместе...

Очень быстро они перешли на приятельский тон. Через Скатгуден прошагали на гельсингфорсскую эспланаду. Коковцев повел Хиросо в ресторан, где его хорошо знала шведская прислуга, из каминов приятно дышало ласкающим теплом.

— Froken, var god, — сказал Коковцев официанткам, приглашая Хиросо к столу, и японец недоверчиво огля дел зал, заполненный публикой. — Что будем пить? — спросил Коковцев.

Хиросо пожелал к вину еще и крепкой водки.

— Пусть она напомнит мне о сакэ... А знаешь, — сказал он, выпив, — когда я был в Шанхае, меня вытолкали прочь из английского ресторана, потому что я... желтый!

— Здесь не вытолкнут. Наоборот, если начнешь падать, тебя еще поддержат. Поверь, русские меньше всего думают, какова шкура у человека -лишь бы человек был хороший.

Он просил Хиросо говорить по-японски, желая проверить себя — не забылось ли понимание чужой речи?

— Ведь у меня был роман... с японкой.

— А у меня сейчас! С русской. Очень приятная дама, но боюсь, что она приставлена ко мне вашими жандармами.

— Такое тоже бывает, — засмеялся Коковцев...

Он заметил, что водка с вином сорвали Хиросо со стопоров, и решил "открыть свое лицо". Со времени арендования Порт-Артура японцы стали выживать русские корабли из Нагасаки, нарочно медлили с ремонтом, а уголь давали самый негодный — английский, в брикетах: от него появляются конъюнктивит глаз и экзема на коже. Сказав все это, он спросил Хиросо в упор:

— Зачем вы так рьяно лезете в Китай и Корею? Хиросо резким жестом сорвал с груди салфетку.

— Почему, — спросил он, — вам, европейцам, можно заводить базы и сеттльменты в Китае, а почему вы возражаете, если мы тоже желаем

иметь все это? Если ты откровенен в своем вопросе, буду откровенен и я в своем ответе... Когда мы взяли Порт-Артур, вы за ставили нас покинуть его. Но тут же забрали его для себя! Мы добыли его кровью своих солдат и матросов, а вы через взятку Ли Хун-чжану... Так?

Ответ Коковцева прозвучал в академическом тоне:

— Но, взяв Порт-Артур, ваша Квантунская армия не застряла бы там, она пошла бы и далее, а в конечном итоге штыки вашей армии блеснули бы на окраинах Владивостока... Так?

Хиросо хладнокровно затолкал салфетку за воротник.

— В истории народов, — сказал он, — иногда самые ничтожные поводы приводят к серьезным последствиям. Голландцы, повысив цены на перец, не могли предвидеть, что погоня англичан за дешевым перцем приведет их к завоеванию Индии. Я согласен, что ваше правительство, арендуя Порт-Артур, тоже не могло предугадать, каковы будут последствия...

...Хиросо пробыл военно-морским атташе в Петербурге до 1901 года, после чего был отозван на флот в Японию.

Россия спешно стелила рельсы через тайгу и болота к Великому океану. До начала XX века оставались считанные месяцы, когда Англия открыла огонь в Южной Африке — началась война с бурами, и русские люди с большим чувством запели:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,

Ты вся горишь в огне...

Интеллигентная Россия перелистывала ветхие альманахи, изданные на стыке 1799 — 1800 годов, чтобы отыскать в них ситуации, схожие с 1899 — 1900 годами. Как это ни странно, люди, встречая XIX век, уповали на то, что он станет веком разума и безмятежного спокойствия. Но роковою нотой вонзались в розовые облака стрелы-строки Шиллера, который приветствовал рождение уходящего сейчас века словами: "Где приют для мира уготован? Где найдет свободу человек? Старый век грозой ознаменован, и в крови родился новый век". В эти дни историк Ключевский закончил предновогоднюю лекцию так: "Пролог XX века — это пороховой арсенал, а эпилог его — барак Красного Креста!" По всей великой стране, утонувшей в

снежных сугробах, отстучали ходики в избах крестьян, откуковали кукушки в мещанских домиках на окраинах городов, хрипло и сдавленно отзвенели бронзою напольные часы в дворянских усадьбах — век XX вступил в свои права. Пулеметы расставлены, колючая проволока растянута. Дети, рожденные в эту ночь, будут баловаться картинками броненосцев, спешащих в Цусиму, они вырастут в огне мировой и гражданской войн, им стоять насмерть в 1941 году...

Были первые дни января, за окнами квартиры на Кронверкском солнечно сыпало морозной изморозью, всегда столь приятной для русского глаза. Коковцев проснулся в чудесном настроении, какого давно не бывало, возвращаясь из ванной, он игриво шлепнул Глашу полотенцем:

— Двадцатый век настал! Готовься срочно замуж.

— А я вам не эсминец, чтобы все срочно, — отвечала горничная. — Это вы там у себя на флоте командуйте...

Ольга Викторовна еще нежилась в постели, когда квартиру огласил телефонный звонок. Она окликнула мужа из спальни:

— Владечка, кто там в такую рань?

— Из-под "шпица"! От самого Тыртова...

Монархическая Россия еще не могла избавиться от династического генерал-адмирала великого князя Алексея; управляющим морским министерством был в то время адмирал Тыртов. Ольга, накинув халат, вышла к столу.

— Это свинство! — сказала она, намазывая маслом горячие гренки. — Все-таки не просто Новый год, когда бывают чинопроизводства, наступил новый век — хотя бы ради этого могли дать тебе чин капитана. Ты больше других плавал!

— С колокольни виднее, — утешил ее Коковцев.

В передней ему услужала Глаша:

— Кашне. Треуголка. Сабля. Я вам подам шинель.

Напряжение нервов все-таки прорвалось:

— Сколько раз талдычить тебе, любезная, что шинель бывает в пехоте. Мы же, офицеры флота, носим форменное пальто...

Тыртов ожидал его, стоя посредине громадного ковра.

— Разговор для вас неприятный, — предупредил он.

Коковцев подтянулся, замер навытяжку. Только указательный палец, нервно дергаясь, отбивал дробь по эфесу сабли. Тыртов сказал, что пришло время послужить на берегу:

— Вы уже много лет на ходу или на подогреве. Ценз достаточный! Между тем флот имеет офицеров, годами ждущих корабельных вакансий. У меня списки переполнены людьми, которые отвыкли от моря, а кавторанги согласны командовать хоть землечерпалками... Пора и честь знать! — заключил Тыртов.

Для Коковцева это был удар. Он отдал флоту лучшие годы своей жизни, не жалея сил для развития минного оружия, но сейчас его ретивость одернули. Тыртов понял его состояние:

— Вас охотно берет к себе в штаб вице-адмирал Макаров...

Степан Осипович занимал высокий пост военного губернатора Кронштадта и командира Кронштадтского порта. Служить под личным руководством этого человека Коковцев счел за честь для себя. Он сразу же согласился:

— Надеюсь, я останусь флагмином при штабе?

— Иначе и быть не может, — отвечал ему Тыртов.

Минный отряд устроил ему пышные проводы - с шампанским и речами, Владимир Васильевич провозгласил тост:

— Я был счастлив служить с вами, господа, и уношу в своем сердце любовь к вам и к нашим миноносцам. Если броненосцы приравнивают к боевым слонам, а крейсера к легавым, которых пускают по следу крупного зверя, мы, миноносники, похожи на скорпионов, готовых смертельно ужалить противника. Выпьем за наши будущие победы. Гимн, господа... гимн!

В едином движении сдвинулись бокалы:

Погибнем от чего угодно,
Но только б смерть не от тоски.
Нет панихиды похоронной,
Как нет и гробовой доски.
Но, даже мертвые, вперед
Стремимся мы в отсеках душных.
Живым останется почет,
А мертвым орденов не нужно.

Коковцев получил казенную квартиру в Кронштадте. Он решил прочесть "фантастический роман" адмирала Макарова!

Фантастика была слишком реальна. "Весь мир, — начинал Макаров, — был как громом поражен неожиданным известием о появлении грозного броненосного флота, принадлежащего какому-то государству, о существовании которого никто не знал". Где-то далеко в океане укрылась неизвестная страна с талантливым народом древней культуры. Наконец ему надоело жить в самоизоляции, он решил сбросить с себя покрывало тайны и "смело положить свой меч на весы равновесия всего мира". Макаров писал, что этот загадочный народ уже давно наблюдал за политикой европейцев, а "вечные интриги и притязания англичан окончательно вывели островитян из терпения, и одним взмахом меча они надеялись рассечь все дипломатические узлы, чтобы переместить центр политического равновесия на Тихий океан..." Коковцев позвонил Эйлеру по телефону:

— Леня, но ведь Макаров пишет конкретно о Японии!

— Ага, ты понял? — обрадовался Эйлер. — А дочитал ли до момента, когда островитяне разгромили все флоты мира? Потому что они изучили недостатки наших закос нелых флотов и создали свой флот — идеальный... Читай дальше.

Макаров писал, что непотопляемость — падчерица ' морского дела, флоты Европы пренебрегают ею, все внимание и деньги вкладывая в броню и пушки. Теоретически каждый корабль непотопляем, ибо разделен на самостоятельные отсеки, при заполнении водой лишь части их корабль обязан существовать! Но практически они тонут от любой дырки в борту. Почему?.. Только восторженный Ленечка Эйлер мог назвать статью Макарова романом. Какой там роман? Это же призыв к действию. Это пророчество о гибели...

— Вова, ты дочитал до конца? — спрашивал Эйлер.

— Нет.

— А жаль...

Коковцеву что-то мешало дочитать "роман", а что — не мог понять. Санки с морского льда вынесли его на кронштадтский берег. На

балконе здания командира порта -подзорная труба на штативе, чтобы Макаров мог озирать всю эскадру, прямо из своего кабинета выискивая промахи в корабельной службе. В приемной теснилась притихшая очередь матросов и рабочих Пароходного завода. Кавторанг подошел к адъютанту Шульцу:

— Я прибыл представиться адмиралу.

В кабинет двинулся старый матрос Иван Хренков, неся на подносе кофе. Из дверей высунулась бородища Макарова:

— Владимир Васильевич, входите... — Он сразу заговорил круто и напористо, будто возражая кому-то. — Думаете, я на месте? Нет. Меня пошлют туда , где я нужен, когда наши дела станут плохи. А пока меня держат за этим столом, как собаку на привязи. Мое место там — на Дальнем Востоке...

Коковцев спросил, чем ему сейчас заниматься.

— Отправляйтесь в Четвертый экипаж, проверьте в библиотеке, что читают матросы. Это первое. Второе: в том же Экипаже, чтобы далеко не ездить, разденьте матросов догола и переставьте их на весы. Тощих и пузатых в три шеи гоните к врачам, пусть выясняют, отчего такая ненормальность, для флота неугодная... Желаю успеха. А вечером прошу ужинать ко мне.

С шести часов утра на ногах, Макаров неистово трудился в поте лица, принимая доклады, выслушивая дураков и умников, выезжая в порт, посещал корабли, все замечая, все перетрогав, оправдывая неудобную для него славу "беспокойного адмирала". В пять часов он возвращался домой и сорок пять минут спал как убитый. Пообедав в кругу семьи, запирался в кабинете с библиотекой, куда имел доступ только его вестовой. Макаров писал острыми, как штыки, карандашами, отбрасывая затупленные в сторону. Тихим голосом называл он Хренкову книги, которые надо подать, номера папок, которые следовало открыть. В восемь часов опять был свободен для службы, вызывал начальников, драил их, распекал, вставлял им "фитили" и подпаливал их снизу, требуя служебного рвения. К десяти вечера отправлялся в Морское собрание, где слушал лекции или сам читал их. Вернувшись домой, Степан Осипович писал новое или редактировал ранее написанное. В половине двенадцатого ночи,

прихлебывая чай из стакана, диктовал машинистке письма друзьям, а гостиная уже наполнялась близкими ему людьми... Макаров разбудил дремавшего в кресле Коковцева.

— Вот как вас разморило! Разве не проголодались?

За столом адмирала — мужская компания, ни одной женщины, а прислуживали матросы. Со вкусом выпивалась анисовка, двигались бороды и усы моряков, заку-сывающих редькой и грибками... Ровно в час ночи адмирал поднимался:

— Господа, завтра у нас новый служебный день!

Служить с Макаровым было очень утомительно, но зато интересно. Незаметно прошло жаркое лето. На Амуре творилось что-то ужасное! Вырезав наши погран-посты, войска Цыси форсировали Амур. В речных станицах остались дети и старики — все мужчины и женщины взялись за оружие. Пассажирские пароходы, наспех закрывшись листами котельного железа, превратились в самодельные канонерки. Китайцы навек запомнили имя одной из них — "Селенга": вся как решето, в команде убитые и раненые, но она огнем своих пушек гнала с русского берега непрошеных гостей. Доблестная "Селенга" и положила начало славной Амурской флотилии... Из этого нападения следовало делать скорые и решительные выводы! Коковцев нашел время изучить материалы, английские и австрийские, опубликовав статью о развитии канонерской мощи Амура. За основу амурской канонерки он взял канонерки, плававшие у англичан по Нилу, у австрийцев по Дунаю...

— Это интересно, — похвалил его работу Макаров. — Пошлите-ка статью в Сормово... там народ очень сообразительный.

В кабинете Макарова висел плакат: "ПОМНИ ВОЙНУ!"

Коковцев больше не появлялся в доме Эйлеров с женою: "Опять раскритикует — не так едят и пьют, не так одеваются". Леня, человек тактичный, все понял и потому не стал допытываться — где же, мол, Ольга? Втроем было хорошо. Но кавторанг иногда пугался мысли, что Ивона нравится ему больше, чем надо бы...

Однажды (это случилось в начале лета) Коковцев в пустой квартире застал печально-одинокую Ивону:

— Гомэн кудасай! А где наш трюмач?

— На испытаниях нового крейсера — в Ревеле. Коковцев смотрел на Ивону. Ивона смотрела на него. — Жаль, что у меня нет сейчас под рукой миноносца.

— А зачем он нужен? — спросила женщина.

Коковцев показал ключи от квартиры в Гельсинг форсе:

— До счастья шесть часов приличного хода...

Ивона попросила его не терять головы. Коковцев, смутившись, предложил ей прогулку на острова, и, судя по тому, с каким удовольствием женщина засуетилась, догадался, что она рада приглашению. Фиолетовый муслин облегал ее фигуру, из-под широкой шляпы блеснули озорные глаза:

— У меня условие — чтобы Леон ничего не знал!

Коковцев условие принял, но вскользь заметил:

— Однако мы с тобой далеко не дети, чтобы нам бояться грозных родителей... Ты готова?

Величавым жестом, словно завершая свое торжество, Ивона до локтей натянула длинные перчатки и щелкнула кнопками.

— Так? — спросила она, повернувшись перед ним.

— Так, — ответил Коковцев, оглядев ее...

В этот вечер они катались по Стрелке. Подле Ивоны кавторанг ощутил себя молодо, будто вернулся в беззаботную мичманскую эпоху. Он спросил, где бы она хотела поужинать? Ивона удивила его, назвав скромный ресторан Балашова в Летнем саду, который обычно посещался чиновниками среднего делового пошиба.

— Водить такую женщину, как ты, под зонтики к Балашову — это все равно что бриллиант оправлять в деревяшку.

— А мы с Леоном ели там вкусное мороженое.

— Вы... простаки! — засмеялся Коковцев.

У Кюба (бывший ресторан Бореля) играл румынский оркестр, а знаменитый скрипач Долеско на цыпочках, будто вор, подкрадывался к дамам, и в сердце каждой оставлял своей музыкой глубокую рану. Коковцев догадался, что в Париже, наверное, Ивона ограничивала себя уличными кафе. Она кому-то вдруг кивнула в зале и покраснела, шепнув:

— Вот и все! Меня узнали. Там сидит коллега Леона с Балтийского завода, он бывал у нас дома.

— Успокойся! Никто не станет звать полицию для составления протокола о твоих похождениях...

Он заказал легкомысленный ужин с клубникой и ананасами, его память увлекло в тропические моря, когда он был молод. Воспоминания прервало явление из отдельного кабинета пьяного кавторанга Коломейцева.

Коломейцев нежно спел для Ивоны:

В мире нет прекрасней радости,

Кроме ваших чистых слез,

Я восточные вам сладости

Из далеких стран привез...

— Ты пришел на "Буйном"? А где стоишь?

— У стенки Франко-Русского.

— Котлы холодные?

— На подогреве. А тебе куда надо? Я готов. Всегда... Коковцев многозначительно посмотрел на Ивону.

— Нет, — сказала она.

— Так на чем меня прервал этот нищий конферансье?

— Ты начал рассказ о втором открытии Америки.

— Да! Это было удивительное зрелище. Я тогда плавал на "Минине", входившем в международную эскадру для встречи каравеллы "Santa Maria". Испанцы сделали точную копию корабля, на котором Колумб открыл Америку. Представь же всеобщий восторг, когда с океана приплыла "Santa Maria". Как и четыреста лет назад. День в день, час в час! Командовал каравеллой адмирал Сервера, что ныне морской министр Испании. Америка сделала его кумиром дня, Сервера носили по улицам на руках, будто сам великий Колумб восстал из праха. А через шесть лет, у берегов Кубы, разгромив испанскую эскадру, янки вытащили из воды израненного, рыдающего от позора человека. Это был их почетный гость — адмирал Сервера!

Ивона вращала бокал, как ребенок игрушку:

— А где же конец истории?

— Тебе еще мало трагедий?

— Я люблю смешные концы...

Во втором часу ночи ехали по пустынным улицам. На Английской набережной Коковцев проводил Ивону до парадной лестницы.

Потом вернулся на Кронверкский, ему открыла двери Глаша в одной сорочке, босоногая, быстро юркнувшая в свою медхен-циммер. В темноте супружеской спальни он хотел улечься бесшумно, ящерицей нырнув под одеяло.

— И где ты был? — спросила Ольга, включая свет.

Коковцеву показалось, будто мостик его миноносца в ночной темени ослепил луч прожектора с крейсера.

— Случайно повстречал Эссена. Заболтались. Прости.

— Николай Оттович разве не в Порт-Артуре?

— Был! Но его там обкормили германским маргарином... Мучается бедняга, — вдруг пожалел он Эссена. — Вот и опять прикатил в Питер, чтобы подлечить хронический гастрит.

— И чем же, если не секрет, вы его лечили?

— Брыкаловкой со всякими примесями.

Ольга погасила лампу, произнеся во мраке ночи:

— Вы напрасно беситесь, господа! Гастрит — болезнь серьезная. Скажи Николаю Оттовичу, чтобы не относился к ней так небрежно. Кстати, и тебе не грех подумать о своем здоровье. Отвернись! Не могу слышать запах... брыкаловки!

Больше всего на свете вице-адмирал Макаров любил цветы!

Это была его слабость, трогательная и наивная. Ни жену, ни дам к своим цветам он решительно не подпускал:

— Дуры-бабы обязательно что-нибудь испортят... Раблезианский язык Макарова непередаваем! Коковцев застал его сегодня в дурном настроении.

— Слышали? Англичане отказывают в угле нашим кораблям. Стоит зайти к ним, как в порту возникает забастовка. Они провоцируют их нарочно, дабы парализовать наш флот...

Степан Осипович любил шумные мужские застолья, мог немало выпить и не хмелеть, женщины льнули к нему, и адмирал сам любил их общество. Это был живой и удивительно веселый человек, которому

ничто человеческое не чуждо. Однако неудачное супружество сделало его ироничным по отношению к светским дамам, а о жене лучше было его не спрашивать.

— Моя Капочка блистает... талией! — говорил он. — Зато в невестах была скромницей, на мои ордена глаз не смела поднять, при ней слова "яйца" не скажи, следовало называть их "куриными фруктами"... Уж ладно, если бы я взял графиню Кампо де Сципион-Кассини, а то ведь Якимовскую! Я вот сын боцмана, сам гальюны драил, мне и притворяться не надо...

Коковцеву вдвойне было неловко и даже больно видеть, как этот заслуженный флотоводец, вроде обнищавшего мичмана, вынужден иногда в карете объезжать своих приятелей и просить у них двадцать пять рублей в долг до получения жалованья:

— Иначе завтра в доме нечего будет жрать...

Четвертную просил адмирал, известный во всем мире, хорошо обеспеченный, имеющий казенный дом, собственный выезд и свою яхту! Капитолина Николаевна не хотела понять, в какое глупое положение ставит она мужа своим транжирством. Но самое страшное, что подрастающую Дину, любимицу адмирала, она сделала такой же беспардонной мотовкой. В один из дней Макаров выложил на стол кусок угля:

— А вот и наш... из Сучанских копей!

— Боевой ли? — осмотрел уголь Коковцев.

— К счастью! Близок к кардифу. Испытан в топках фрегата "Память Азова". Дал отличные результаты. Плотность. Чистота сгорания. Бездьшность. И большая экономичность... Боевой! — повторил он радостно. — Не пойдем на поклон к англичанам... В этом году, — продолжил он, — мы не будем соседями по даче. Летом я уйду на "Ермаке" к устью Енисея. Возможно, предстоит зимовка во льдах. Вас не зову. Экипаж прежний.

Он подарил Коковцеву свою книгу ""Ермак" во льдах", размашисто начертав на титуле: "My ship is my home".

— Мой корабль — мой дом, а в море всегда мы дома...

"Ермак" возвратился на родину только осенью, его корпус отлично выдержал невероятные сжатия льдов, а машины ледокола работали,

как сердце здорового человека. Но в этих сжатиях началось сжатие сердца адмирала Макарова; вернувшись, он рассказывал, что пришлось отказаться от вина, папирос и кофе. Его огорчало, что ледовая обстановка оказалась слишком суровой, исполнить все планы не удалось, зато он таранил ледяные поля к Земле Франца-Иосифа, заглянув в такие гиблые места, где Арктика уже заменяет понятие "север"... Николай II распорядился; "Ограничить деятельность ледокола "Ермак" проводкою судов в портах Балтийского моря".

Повалил мокрый снег. Макаров долго стоял у окна.

— Вот как легко у нас посадить человека на кол! Впрочем, вернемся к исполнению прямых служебных обязанностей...

Он, как и "Ермак", начал ломать лед равнодушия к делам Дальнего Востока, настаивая на усилении Порт-Артурской эскадры. Скоро в морских кругах стали поговаривать, что адмирал Вирениус начинает готовить эскадру, в которую войдут броненосец "Ослябя", крейсер "Аврора" и миноносцы.

— Это все, что мне удалось выцарапать, — сказал Макаров; занятый делами флота, он не забывал следить и за событиями в мире. — Боюсь, что в Лондоне именно сейчас, будут крайне податливы к японцам, которые с подозрительной спешностью загружают английские верфи заказами...

— Степан Осипович не ошибся в своих предположениях: Япония заключила союз с Англией. На офицеров русского флота этот внезапный англо-японский альянс произвел сильное впечатление.

— Ясно, что он направлен против России. Но, господа, удивляет, с каким восторгом его восприняли и в Берлине и в Вашингтоне. Мы, кажется, опять вкатываемся в вакуум политической изоляции, и только одни французы еще с нами!

— А чего Вирениус ждет? Надо скорее уводить эскадру.

— Лед держит. Крепкий лед. Морозы!

— А на что же "Ермак"? Сейчас надобно отправлять на Дальний Восток эскадру за эскадрой... Черноморскую тоже.

— Но ее через Босфор не пропустят турки.

— Босфор! О, как надоело жить со сдавленным горлом.

— А мне приятель с владивостокских крейсеров пишет, что там живут

весело и никто о войне не думает...
Коковцев, расстроенный признался Макарову:
— По натуре я, вы сами знаете, чистокровный европеец, но жизнь каким-то дьявольским образом все время поворачивает меня лицом к Дальнему Востоку, и когда эта карусель кончится — не знаю.
— Боюсь, что никогда, — ответил Степан Осипович. — Я провел на Дальнем Востоке юность, плавал там гораз до больше вашего. В тех краях русские дела намечены пока жалким пунктиром, ничего основательного не сделано. Сейчас особенно я ощущаю необходимость своего присутствия в Порт-Артуре...
Коковцев знал, что Макаров живет уже в 1923 году, когда русский флот обретет — по его планам — небывалую мощь.
— Хочу не умереть до этого года, — говорил он.
Очень немногие тогда его понимали...

Коковцев переступил через сорокалетие. Годы не угнетали его, а крутизна корабельных трапов не тяготила. Кавторанг умел спать почти сутки, но, когда требовала служба, мог вообще обходиться без отдыха. Любил изысканные обеды в лучших ресторанах, но умел насытиться и сухарем. А прослышав однажды, что адмирал Рейценштейн упал на маневрах с трапа, Владимир Васильевич долго и взахлеб хохотал:
— С трапа? Для моряка это так же постыдно, как если бы кот свалился с лавки или гусар выпал из седла...
Возраст никак не отразился на его внешности. Коковцев выглядел видным, интересным мужчиной, и на улицах городов ему было лестно внимание женщин, с удовольствием озиравших его крепкую молодцеватую стать, свежее обветренное лицо с ослепительной улыбкой, — так что Ольга Викторовна ревновала его не напрасно! Жил он исключительно на жалованье, а положение обязывало ко многому. Теперь у него три квартиры (в Петербурге, в Гельсингфорсе и Кронштадте) да еще дача в Парголове, требующая ухода... Приходилось поддерживать общение с людьми, нужными или совсем не нужными (но зато нравившимися Ольге Викторовне), а одни только счета из винных погребов "Никольс и Плинке" приводили его в тихое содрогание...

Был обычный мирный день в дворянской семье Коковцевых. Чинно и благородно супруги обедали, а горничная Глаша услужала господам. Ольга Викторовна неожиданно сказала:

— Можешь полюбоваться на ее фигуру.

— А в чем дело?

— Ты посмотри и все поймешь...

Только сейчас Коковцев заметил приподнятый живот горничной, украшенный накрахмаленным фартучком с кружевами.

— Глаша, что это значит? — спросил кавторанг.

— То самое и значит...

— Я не могу на нее жаловаться, — снова заговорила Ольга, — она не шлялась по бульварам и не торчала в подворотнях. Все произошло дома — в этой квартире. Твой любимец Гога решил срочно продолжить славный и древний род дворян Коковцевых.

Коковцев перестал есть суп:

— Глаша, это... Георгий Владимирович?

— Да, — созналась горничная.

— С абортом уже опоздали, — произнесла Ольга Викторовна. — Но я не стану держать в своем доме эту псину.

Глаша вдруг запустила подносом в стену:

— А вот рожу и плакать не стану! Меня любой и с дитем возьмет. Уж если хотите, так я скажу... Гога ваш ни при чем тут! Сама на него вешалась — сама за все и отвечу!

Ольга Викторовна строжайше указала Глаше:

— Сейчас же подними поднос и убирайся в медхен-циммер. А как у вас будет с Гогою дальше, это уж мне решать.

— А может, и мне? — с вызовом ответила Глаша.

Коковцеву сделалось тяжело. Он по себе знал, какую страшную силу может иметь женщина, и если Глаша сумела покорить сына, то эта цепкая плотская память останется на всю жизнь несмываемой, как глубокая японская татуировка. Подавленный внутренним признанием своей слабости (и потому сразу же начиная оправдывать слабость и сына), Коковцев не находил нужных слов. Ясным и чистым голосом жена сказала:

— Все это результат женской распущенности...

— Прекрати, — тихо велел ей Коковцев.

— Почему ты кричишь на меня? — вышла из-за стола Ольга. — Ты кричи на нее! Кричи на сына! Кричи на своих матросов!

Глаша подняла поднос.

— Жаркое подавать? — спросила она, неожиданно улыбнувшись, будто скандал в доме Коковцевых доставил ей удовольствие.

Ольга Викторовна нехотя вернулась за стол.

— Подавай! Но с Гогой продолжения у тебя не будет. Уж я сама позабочусь об этом, миленькая.

— А куда он денется., от меня? — хмыкнула Глаша.

— Глаша, — сказал Коковцев, — ты сейчас лучше молчи...

В субботу из корпуса вернулся цветущий Гога.

— Гардемаринов отпустили сегодня раньше, — сообщил он.

— Вот и отлично, — ответил отец, — Значит, у тебя хватит времени, чтобы иногда побыть и с родителями.

Лицо сына сделалось настороженным.

— А что здесь произошло? — спросил он.

— Ни-че-го.

— Но, папа, ты это сказал... таким тоном...

— Я всегда, ты знаешь, говорю таким тоном.

В комнате Гоги воцарилась долгая тишина.

Ольга Викторовна в раздражении сказала мужу:

— Наблудил и притих. Ты разве еще не говорил с ним?

— О чем мне говорить с этим балбесом?

— Сам знаешь, что следует ему сказать.

Коковцев был очень далек от семейной дипломатии:

— Зачем же я, как попугай, стану повторять сыну то, что ему наверняка успела доложить сама же Глашенька?

— Но она представила ему все в ином свете.

— Свет на всех один: я дед, ты бабка... успокойся.

— А это мы еще посмотрим, — последовал ответ. Среди ночи она растолкала спящего мужа:

— Скрипнула дверь... Гога опять у нее.

Коковцеву совсем не хотелось просыпаться:

— А что я, по-твоему, должен делать в таком случае? Ну, скрипнула

дверь. Так что? У нас все двери скрипят.

Ольга Викторовна жалко расплакалась:

— Так же нельзя... пойми, что нельзя так!

Коковцев спустил ноги с постели и задумался:

— Чего ты от меня требуешь? Чтобы я тащил сына за волосы? Я не стану унижать ни себя, ни его. Я мог бы сделать это в одном лишь случае: если бы Гога насиловал Глашу... Но если она для него первая женщина, так она для него свята!

Ольга Викторовна, продолжая плакать, стала раскуривать папиросу, роняя на ковер спичку за спичкой:

— Я ее завтра же выгоню... не могу так больше!

— Выгонишь? Беременную?

— Черт с ней и с ее щенком, который родится.

— Не груби. Утром я поговорю с ними. Ложись и спи...

Утром Коковцев пришел к Глаше на кухню.

— Нельзя ли вам этот роман прекратить?

Сказал и сам понял, что ляпнул глупость.

Глаша сделала ему большие удивленные глаза:

— Владимир Васильевич, а почему вы меня об этом спрашиваете? Разве я хожу в комнату к вашему Гоге? Нет, он сам бегает ко мне в медхен-циммер. Вот вы ему и внушайте...

Что ж, вполне логично. Коковцев навестил сына.

— Кого ты читаешь? — спросил он.

— Максима Горького. Рассказы его. О босяках.

— И как?

— Да ничего. Страшно...

— А тебе, сукину сыну, не страшно, что мать твоя заливается слезами, а Глашу ты сделал навек несчастной?

Два коковцевских характера соприкоснулись. Гога величаво отряхнул пепел с папиросы и закинул ногу на ногу.

— Глаша об этом ничего не говорила, — ответил он.

— Не понимать ли так, что ты сделал ее счастливой?

— Спроси у нее сам, — отозвался Гога.

Коковцев как-то по-новому взглянул на сына. Перед ним сидел красивый здоровущий нахал в матросской рубахе, на рукаве —

шевроны за отличные успехи в учебе, на левом плече кованный из бронзы эполетик будущего офицера.

— Папочка, если хочешь дать мне по морде, то дай!

— Поздно... — вздохнул Коковцев.

В этот день, разгорячась, он выпорол второго сына Никиту, схватил лупцевать и младшего — Игоря:

— Будете слушаться? Будете? Будете?

— Оставь Игоречка в покое, — велела ему жена.

— Ну да! Это же твой любимчик. Как я не сообразил?

— Пусть так. Но дери своего любимца — первенького...

Со скандалом он ушел из дома. Его потом видели на островах, где он катался с обворожительной Ивоной фон Эйлер. Ольга Викторовна не ошиблась: гастрит — болезнь серьезная!

Эскадра Вирениуса через Гибралтар уже вошла в Средиземное море, направляясь к Мальте для докового ремонта. Британский флот проводил большие маневры в Канале; русский атташе из Лондона докладывал, что в боевых порядках англичан вдруг резко выявилось значение быстроходных кораблей, которые пытались охватить голову колонны...

— Это значит, — горько усмехнулся Макаров, — что меня, кажется, опять обворовали. Уже половину из того, что я придумал на благо нашего российского флота, используют на иностранных флотах, выдавая за собственное изобретение...

Скоро в морской практике мира родилось странное выражение: "поставить палочку на Т (crossing the "Т")". Если кильватерную линию представить в виде длинной вертикали, то охват головы противника как бы проводит сверху короткую черту, образуя букву "Т". Теперь следовало ожидать, как японцы, неизменно бдительные, отреагируют на crossing the "Т"...

В конце декабря 1902 года Коковцев (за отличие и усердие) получил следующий чин — капитана первого ранга; по случаю повышения он в группе офицеров флота представлялся в Зимнем дворце императору. Каждому из "пожалованных" Николай II счел своим долгом сказать приятные слова или задать вопросы, на которые совсем нетрудно

ответить. Наконец дошла очередь и до Коковцева...

— Владимир Васильевич, — точно назвал его царь, — у меня в тюремном ведомстве долго служил Владимир Николаевич Коковцев, ставший теперь товарищем министра финансов, не ваш ли это ближайший родственник?

Рука вскинулась к золотой кокарде треуголки.

— Никак нет, ваше величество, — был ответ. — Наш род происходит из Бежецкой Пятины, а тюремно-финансовый Коковцев из дворян, кажется, Ярославской губернии.

Николай II внимательно выслушал. Кивнул.

— А я до сих глубоко сожалею, что не привелось плавать с вами на "Владимире Мономахе". Но я вас помню.

Коковцев отвечал царю как положено:

— Счастлив сохраниться в памяти вашего величества!

— Может, у вас есть личные просьбы ко мне?

Владимир Васильевич вспомнил о семейном скандале:

— Есть!

— Прошу, — любезно склонился к нему император.

— Мой сын Георгий заканчивает корпус гардемарином с отличными оценками в учебе, но... Как и все молодые люди, он отчасти шалопай. Не могли бы вы указать высочайше, дабы его досрочно выпустили из корпуса на эскадру контр-адмирала Виренiуса? Молодой человек нуждается в дальнем плавании, чтобы не избаловаться на берегу среди различных соблазнов.

— С удовольствием я исполню вашу просьбу...

Царь не был пустомелей: вскоре же последовал высочайший приказ — гардемарина Г.В. Коковцева выпустить мичманом на эскадру Виренiуса с назначением в экипаж "Ослябя". Все произошло настолько четко и стремительно, что даже не Гога, а сам отец был растерян. Коковцев увидел сына уже с билетом на венский экспресс в кармане. Владимир Васильевич не желал видеть слез жены, ему хотелось избежать семейных сцен, в которые непременно вмешалась бы и Глаша, а потому ресторан Варшавского вокзала стал местом их свидания перед разлукой. Каперанг подарил сыну спасательный жилет типа "дельфин". При этом он сказал сыну:

— Извини! Я бы не желал тебе когда-либо пользоваться этой резиновой штукой, но... море есть море. Возьми.

Гога с веселым смехом отверг подарок:

— Я ведь еще не забыл доблестного Дюпти-Туара! — Он долго наблюдал за оживлением публики в суете вокзального ресторана. — Папа, — сказал Гога, — я все понимаю, но в этом случае с Глашей я тебя не понял. Мама мне все рассказала! О твоем давнем романе в Нагасаки с японкой и то, что у тебя в Японии остался сын от нее. А ведь он мой единокровный брат... Прости, папа, я не помню, как его зовут!

Коковцеву стало тошно. Он просил подать коньяк.

— Если ты считаешь себя таким взрослым и разумным, что смеешь осуждать своего отца за его мимолетное увлечение юности, тогда... Ну что ж! Давай, тогда выпьем... Салют!

— Салют, папа. Но я бы не хотел никого обижать.

Владимир Васильевич догадался, о чем говорит Гога.

— Глаша не должна тебя беспокоить, — заверил он сына. — Если ей что-либо понадобится, я помогу ей сам...

Экспресс оторвался от перрона, будто большой корабль от родного причала. Коковцев вернулся домой.

— Глаша, — сказал он горничной, — Гога скоро будет в Триесте, потом на Мальте... Он велел тебе кланяться.

Девушка спрятала лицо в сливочных кружевах передника, ее живот обозначился сейчас особенно выпукло.

— Слишком жестоко! — всхлипнула она. — Бог накажет всех вас за это... и за меня и за него. Конечно, виновата буду я. Но... любила Гогу, это уж правда. Он хороший, хороший...

Она убежала к себе, чтобы дать волю слезам. Утром ее уже не было в квартире на Кронверкском — Глаша ушла от них...

Был самый гадостный день в биографии Коковцева. Жена спросила — кто командует эскадрой Средиземного моря:

— Вильгельм Карлович Витгефт?

— Нет. Вирениус Андрей Андреевич.

— Я их всегда путаю. А какие у тебя с ним отношения?

— Если ты рассчитываешь, что я стану просить Вирениуса за нашего

сына, ты глубоко ошибаешься, дорогая. Не стану!

— А куда идет эскадра Вирениуса?

— Куда и все. На Дальний Восток — в Порт-Артур, где и войдет в состав Первой Тихоокеанской эскадры...

Ольга Викторовна иногда умела быть и жестокой:

— Слава Богу, что не в Нагасаки, — съязвила она...

Вскоре от Гоги пришла открытка с видом Везувия.

— Читай сама, — сказал Коковцев жене.

Гога издалека информировал родителей:

В Италии красоты напоказ
И черных глаз большой запас.
А мы, российские валеты,
Ушли из доков Ла-Валетты.

Трясется больше всех Вирениус,
Не признанный на флоте гениус.
На станции Шарко-Ослаби
Дрожит сигнал моей "Осляби".

На курсе деловито-скоро,
Лежит прекрасная "Аврора".
Сейчас идем торчать в Джибути,
Все остальное — тутти-фрутти.

Всегда почтительный ваш сын,
Еще вчера гардемарин.
Целую маму с папой в щечки,
На этом ставлю жирно точку.

— Объясни, что все это значит? — спросила жена.

— Как же не понять такой ерунды? Вирениус дал эскадре погулять в Италии, потом задоковались на Мальте для ремонта, но англичане из доков их бессовестно выгнали. Вирениус боится дипломатических осложнений. "Шарко-Ослаби" — система радиосвязи на броненосце

"Ослябя". Сейчас эскадра через Суэц перетянется в Джибути, остальное мелочи — "тутти-фрутти"... Ольга, я удивлен твоей бестолковости.

Утром он долго возился с новыми запонками.

— Помоги же мне наконец, — взмолился он.

Ольга вдевала запонки в манжеты и приникла к нему:

— Что происходит с нами, Владечка?

— Не понимаю, о чем ты спрашиваешь?

— Но я люблю тебя. Я никогда еще так не любила...

— Ради Бога! К чему весь этот пафос?

— А к тому, мой Владечка, чтобы ты больше не бывал на Английской набережной... я ведь уже догадываюсь...

— Глупости. У меня с Ивоною приятельские отношения.

— Ах, милый! Это не я, а ты говоришь глупости...

Красное море Макаров называл "мерзким аппендиксом", через который трудно проталкивать корабли. Если прошли через Суэц, все равно жди, что застрянут в Баб-эль-Мандебском проливе — в Джибути (у французов) или в Адене (у англичан). Так случится и с эскадрой Виренуса... Макаров сказал:

— На кой бес им там жариться? Сейчас надо форсировать машинами, чтобы скорее укреплять эскадры в Порт-Артуре...

Срезав орхидею, он бережным жестом протянул ее Коковцеву:

— Передайте от меня Ольге Викторовне...

Коковцев, опечаленный, передал орхидею жене:

— Оленька, это тебе от нашего адмирала.

— Боже, какое очарование! — восхитилась супруга. За столом, очень скучным, Коковцев сказал ей:

— Меня не покидает ощущение, что мы с тобой допустили подлость не только по отношению к Глаше, но и к нашему сыну Гоге тоже... Поверь, мне очень и очень больно!

Унылая пустота царила в квартире на Кронверкском. Никита, уже взрослый мальчик, как-то притих, перечитывая собрание дедовской беллетристики. Игорь тоже замолк. Ольга и сама как женщина понимала, что случилось непоправимое.

— Владечка, не надо мне ничего говорить. Ты сам видишь, что я места себе не нахожу... Мне порой кажется, что, вернись сейчас Гога и Глаша, я взяла бы их ребенка, все бы им простила... В конце-то концов, с кем греха не бывает.

Это был не ответ ему — это был, скорее, вопрос.

— Да, — сказал Коковцев, — наверное, со всеми так и бывает. Но исправить уже ничего нельзя...

Эйлер залучил его к себе, и Коковцев был благодарен Ивоне за то, что не единым словом или жестом она не выдала своих чувств к нему, оставаясь пленительно-ровной (впрочем, как всегда). В разговоре ему вспомнился Атрыганьев:

— Леня, не знаешь ли, где сейчас Геннадий Петрович?

Эйлер сказал, что Атрыганьев последнее время плавал на танкерах у Нобеля, а потом судился в Астрахани.

— Судился? За что? Честнейший человек.

— Сначала он похитил изящную персиянку, бежав с нею в Дербент, а это вскрылось. Затем из лабазов Астрахани выкрал толстенную замужнюю купчиху и бежал с нею уже дальше — в Персию, но это тоже вскрылось. А сейчас, я слышал, Геннадий Петрович вникает в Библию.

— Но при чем здесь Библия? — ужаснулся Коковцев.

— Когда черт стареет, он делается монахом...

Эйлер сказал, что на минутку покинет юс, надобно проследить за лакеем — правильно ли он варит глинтвейн? Коковцев упорным взглядом вызвал на себя ответный взор Ивоны.

— Что-то у нас с тобою все не так. Лучше бы мы были до конца грешны перед этим хорошим человеком...

На столе появился горячий глинтвейн.

— Так на чем мы остановились? — спросил Эйлер.

— Я уже решил для себя, что, случись война, и я в Петербурге не останусь.

— Я тоже, — уверенно откликнулся Эйлер.

— А как же я... одна? — удивилась Ивона.

В 1903 году начальником Главного Морского штаба назначили контр-

адмирала Зиновия Петровича Рожественского, с которым Коковцев не раз соприкасался по службе, искренно и безоговорочно уважая этого человека, имевшего сильный характер и большую организаторскую волю. "Первый лорд" российского Адмиралтейства был фигурою достаточно цельной, ретивой и, кажется, мало зависимой от прихотей двора! Коковцева роднило с Рожественским еще и то, что Зиновий Петрович не принадлежал к числу врагов Макарова, напротив, он всегда был внимателен к его рассуждениям, будучи, как и Макаров, убежденным сторонником боя в кильватерных колоннах, но до расстановки "палочки над "Т"", увы, кажется, еще не дорос...

Коковцев отдыхал на даче в Парголове, в тишине и безделье, когда флотский курьер оповестил его, чтобы завтра он предстал пред ясные очи Рожественского. Изленившись на даче, Владимир Васильевич нехотя облачился в парадный белый мундир — поехал. В дачном поезде он страдал от жары, а вахта в Адмиралтействе сказала, что "первый лорд" сейчас проезжает на лошади по бульвару — ради моциона.

— А, кстати, вам повезло: вот и он сам...

Зиновий Петрович спрыгнул с седла.

— Моряк на лошади хуже собаки на заборе, — сказал он, приветствуя Коковцева. — Однако нам, морякам, иногда тоже полезно вытряхнуть из своих ушей соленую воду.

Его рослая импозантная фигура привлекала внимание публики (особенно дам!), ради чего, кажется, Рожественский и гарцевал по бульвару. Они вступили в прохладную сень Адмиралтейства. Мимо полотен Айвазовского, мимо носовых наяд кораблей былой славы поднимались по ласкающему взор мрамору торжественных лестниц, беседуя вполне откровенно.

— Япония, — говорил Рожественский, — выполнила программу развития флота раньше нас. Ей удалось в три раза увеличить свой флот... в три! Но против наших двенадцати броненосцев она способна выставить на батальную линию огня только шесть своих броненосцев. Эта детская арифметика в какой-то степени меня утешает.

— Но у Того, — отвечал Коковцев, — броненосцы самые новейшие, скоростные, а мы с новейшими запаздываем.

В кабинете был сервирован на золоте и серебре чай... с сухарями, какие едят матросы! Коковцев уже привык ко всяким причудам начальства и охотно придвинул к себе сухарь.

— К нам в Питер прибывает японская делегация, желающая ознакомиться с работой судостроительных верфей. Вас и буду просить показать японцам, какие мы мастера! Чем больше мы запугаем их нашей мощью, тем выгоднее для нас.

Коковцев не соглашался: Россия, пусть лапотная и сермяжная, имела на стапелях новейшие броненосцы, которые в некоторых качествах преобладали над иностранными, и демонстрировать их заведомым врагам... не глупо ли?

— Ведь в игре никто не открывает своих карт.

— А мы разве шулеры? — ответил Рожественский.

— Что же я должен показывать японцам?

— Все! — разрешил Зиновий Петрович. — Согласен, что без секретности нельзя. Но излишняя таинственность — абсурд, как и другая крайность ее — беспечность. Что вы так возмущены? Открывая перед японцами забрала своих боевых шлемов, мы тем самым показываем, что нисколько их не боимся.

— Нет ли фатальной ошибки в этом решении?

— Я фаталист, но... Это и есть мое решение. Ошибок не допускаю. Прошу исполнить все, как я сказал.

— Есть! — Коковцев оставил свой сухарь недоеденным...

Петербургские заводы, исполнявшие заказы флота (Путиловский, Балтийский, Франко-Русский, Невский и Канонерский), имели немало производственных секретов, до которых японцы и были допущены. В результате решения Адмиралтейства, желавшего запугать японцев ускоренною работой верфей, японцы, нисколько не испугавшись, сразу же выяснили, в какой стадии строительства находятся лучшие русские броненосцы типа "Бородино", точно рассчитав время их боевой готовности после спуска на воду. А сама поездка по Великой Сибирской магистрали (туда и обратно) дала самураям богатейший материал для сбора сведении о пропускной способности железной дороги, перерезанной тогда озером Байкал — с паромным еще сообщением... Убедившись в том, что Россия и ее флот к войне не

готовы , японцы заметно усилили политическое напряжение на оси "Токио — Петербург", и без того шаткой. Колебания этой оси покачнули устои Певческого моста, но сначала, как это и водится, напряжение отразилось на делах флота...

— Я чертовски устал, — сказал Коковцев жене.

Осенние дожди зарядили над Петербургом, они обстучали подоконники, ливни с грохотом низвергались на мостовые по трубам, Нева взбурлила под окнами дворцов и трущоб на окраинах столицы.

Коковцев ощутил доверчивую робость жены.

— Я теперь жалею, что у нас нет четвертого сына.

— Но у нас их и так трое, Оленька.

— Одного с нами уже нет. Владечка, я тебя очень прошу, — взмолилась она, — сделай так, чтоб Глаша вернулась к нам... Я, поверь, согласна приютить ее. Вместе с ребенком. Пусть живет. Я посажу ее за тот стол, за которым сижу сама. И пусть наш внук будет с нами... Ладно?

Коковцев вернулся вечером, не стал ужинать:

— Я набегался как собака по всяким участкам полиции, был даже в Департаменте полиции, но Глафира Рябова уже не значится в числе лиц, проживающих в Санкт-Петербурге...

А зима выдалась очень морозной, снег был на диво пушистый, радостный. В декабре адмирал Макаров сообщил Коковцеву, что война с Японией, кажется, дело решенное:

— Сейчас в наших верхах трясогузы и рукосуи решают вопрос: не лучше ли нам самим напасть на Японию, нежели ожидать нападения японцев? Тысячу лет стоит мать-Россия и почему не дрогнула от глупостей — не понимаю. Впрочем, — резко заключил Макаров, — у иезуитов на этот счет имеется циничное, но верное указание: чем гаже, тем лучше! Верю, что в 1923 году русские люди будут все-таки умнее нынешних.

— Надеюсь, — вежливо согласился Коковцев...

О, если бы он мог увидеть себя в 1923 году!

Зимний дворец (обычно мертвый) засверкал множеством огней, начались торжественные балы с приглашенными по рангам. Первый

бал открылся для знати и высших чинов империи 12 января. Коковцев по своему служебному положению попал в список лишь "третьей очереди" — на 26-е число. Но, желая хоть как-то оживить Ольгу от уныния, каперанг приложил все старания, используя свои связи, чтобы посетить Зимний дворец во "второй очереди" — 19 января 1904 года. Это ему удалось, и он радовался восхищению Ольги новым платьем, жемчужным ожерельем от Обюссона и прекрасными бальными перчатками, выписанными из Парижа специально для этого бала.

Ольга Викторовна (слишком уж женщина!) снова похорошела. Ей было приятно побывать в этом мире статс-дам и фрейлин, облаченных в старомодные "робы" времен Екатерины II, окунуться в блаженное сияние люстр и музыку придворных оркестров. Ольге явно польстило, когда после чопорного полонеза адмирал Рожественский пригласил ее на вальс. Коковцев, пока они танцевали, проследовал в боковую галерею дворца, где были накрыты столы для угощения, и начал пить дармовое шампанское. Было десять часов вечера, когда он вернулся в зал, так и не отыскав Ольги во всеобщем кружении пар, но зато встретил адмирала Макарова, в скромном удалении застывшего возле колонны. Капитан первого ранга спросил адмирала:

— А где ваша Капитолина Николаевна?

— Там же, где и ваша Ольга Викторовна... Бог с ними! Лучше понаблюдаем за японским послом Курино — вон, голубчик, о чем-то перешептывается с коллегами. Смотрите, — сказал Макаров, — кажется, важный момент истории наступил...

Владимир Васильевич издали пронаблюдал, как секретарь японского посольства, быстро лавируя среди танцующих, вручил послу Курино телеграмму, прочтя которую, посол (в плотном окружении сладко улыбавшейся свиты) медленно, явно стараясь не привлекать к себе внимания, тронулся к выходу из зала.

— Что бы это значило, Степан Осипович?

— Сами видите, что остаться для ужина самураи не пожелали. Даю голову на отсечение, что чемоданы давно упакованы, сейчас Курино прямо с бала отъедет на Финляндский вокзал, чтобы завтра быть в Швеции... А мы с вами, — невесело рассмеялся Макаров, — от ужина

конечно же, не откажемся, паче того, у меня сегодня дома — хоть шаром покати!

Ольга Викторовна, запыхавшаяся от танцев, сама отыскала мужа.

— Владечка, как я тебе благодарна...

— А что успел нашептать на ушко Зиновий Петрович?

— Мои прекрасные глаза покорили его.

— Это пошлость. А — серьезное?

— Только то, что Япония маленькая, а Россия большая.

— Скажи, какая новость! Сразу видно, что Рожественский не забыл, чему учили его в гимназии.

Бурные всплески музыки мешали им разговаривать.

— Зиновий Петрович отзывался о тебе в самых лестных выражениях. Он считает тебя превосходным минером...

— Да что ты? — отшучивался Коковцев.

— Да. Именно у тебя большое будущее. Такие, как ты, Владечка, еще будут командовать флотами. — Она обернулась к мужу всей статью, лицом, улыбкой, губами. — Владечка, неужели я доживу до этого дня?

— Я не доживу, — ответил Коковцев. — Но для твоего дамского понимания сказанного Рожественским вполне достаточно. И все-таки я добавлю (а в мазурке можешь передать Зиновию Петровичу), что Китай по своим размерам тоже был гораздо больше японского желудка. Однако...

— Однако ты, кажется, выпил лишнее.

— За тебя! И за своего адмирала. Не пора ли домой?..

Утром следующего дня Петербург был встревожен: Япония прервала дипломатические отношения с Россией. Газеты сразу отбили барабанную дробь, в мещанской публике уже слышались глупейшие разговоры: "Да мы этих япошек шапками закидаем... У япошки тонки ножки, у макаки мелки вошки!" Но в штабе Кронштадта хранилось строгое деловое напряжение -без болтовни, без умственных выкрутас, без фантастики. Макаров был очень далек от шапкозакидательства:

— Дислокация наших кораблей меня уже настораживает... "Варяг" и "Кореец" в порту Чемульпо, "Маньчжур" на чистке котлов в Шанхае, а часть миноносцев застряла в Чифу и Циндао — у немцев. Вчера я отправил под "шпиц" предупреждение, чтобы броненосцы загнали во

внутренний бассейн Порт-Артура, ибо, случись минная атака, и мы дорого заплатим за эту ошибку! Того — умный и не упустит случая ослабить нашу эскадру, чтобы сразу лишить Россию преобладания в броненосцах: тогда он, а не мы, станет хозяином на театре...

В ночь с 26 на 27 января пророчество Макарова сбылось: японские миноносцы, подкравшись с моря, выпустили торпеды в русские корабли, подорвав на внешнем рейде Порт-Артура два эскадренных броненосца — "Ретвизан" с "Цесаревичем" и крейсер "Паллада"; лишь после этого Первая Тихоокеанская эскадра перетащилась во внутренний бассейн гавани Порт-Артура... Макаров признал:

— Того уже начал побеждать! А дураков бьют...

— Как? — слышались всюду возмущенные голоса. — Напасть, даже не оповестив нотой о состоянии войны! Это же чистый разбой на большой дороге! Боже, какое вероломство! Одни пираты нападают без предупреждения...

Храмы столицы наполнились возгласами молебнов "о даровании победы над супостатом". Степан Осипович говорил:

— Глупая у нас публика! Японцы напали вероломно — согласен. Но разве напали неожиданно? Нет, простите. Война готовилась не вчера, о ней судачили, как хотели, давно, и мы уже имели пример японского нападения на Китай. Свой удачный опыт они повторили и в Порт-Артуре... Чего же тут дивиться мнимой внезапности? Но мне хотелось бы знать: кто будет третьим глупцом, который, разинув рот, подвергнется разбою японцев по такому же точно шаблону?

...История любит жестоко мстить всем тем, кто забывает историю! Через тридцать семь лет, 7 декабря 1941 года, японцы в клочья разнесли мощнейшую эскадру США в гаванях Пирл-Харбора, успешно повторив тот опыт, который был извлечен ими из войны с Китаем, из минных атак талантливого адмирала Того на русскую эскадру в Порт-Артуре.

Поздним вечером Коковцевы возвращались из гостей. Ольга Викторовна была в пышной шубе из канадских опоссумов, которая скрадывала ее фигуру, она держала в муфте свои зябкие, миниатюрные руки. Швейцар отворил им двери, жена переступала по

лестнице через одну ступеньку.

Бережно. Неторопливо. Чересчур грациозно. Профиль ее лица был удивительно прекрасен.

— Порой я тебя ненавижу, — вдруг резко сказала она.

— В чем же я виноват? — оторопел Коковцев.

— Владечка, я ведь все знаю... Я знаю даже и то, что близких отношений с мадам Эйлер у тебя еще нет. Только не надо притворяться. И не унижай себя ложью.

— Пойми, что Леня — мой старый приятель...

Он отстал от нее на три ступеньки. Она обернулась.

— Но при чем здесь он? — ответила Ольга. — Я достаточно понятлива и понимаю, ради кого ты бываешь у Эйлеров.

Он поклялся, что с Ивоною ничего нет. Нет. Нет!

— Но это ведь всегда может случиться. Пойдем.

— Пошли. Но почему ты решила так?

— Потому что я сама женщина...

В передней он принял с ее плеч шубу. Ему хотелось уйти от неприятного разговора. Коковцев сказал:

— Эскадру Вирениуса, кажется, отзывают обратно.

— Значит, скоро я увижу Гогу?

— Увидишь...

Ее материнскую радость легко понять! Но не так отнесся к возвращению Вирениуса на Балтику адмирал Макаров, пославший энергичный протест против этого решнения. "Считаю, — писал он, — безусловно необходимым, чтобы отряд судов (Вирениуса) следовал на Дальний Восток..." Ему суждено погибнуть, так и не узнав, что в архивах Адмиралтейства его рапорт был погребен с такой резолюцией: "ШТАБ. Не исполнять. Отряд (Вирениуса) по Высочайшему повелению уже возвращается обратно". Иначе говоря, в этой стратегической ошибке повинен сам император... Стиран Осипович, пребывая в угрюмом настроении, ознакомил Коковцева с телеграммой консула из Сингапура: оказывается, через Малаккский пролив на больших скоростях проследовали недавно два японских крейсера "Ниссин" и "Касуга", оперативно закупленные в Аргентине.

— Просчетов уже достаточно! Сейчас во Владивосток назначают

адмирала Скрыдлова, который, очевидно, позавидовал "урожаю" Куропаткина и тоже поехал по святой Руси давать гастроли с молебнами, выклянчивая иконы у безобидного населения. А меня отправляют в Порт-Артур... Я забираю пять вагонов с инструментами и материалами для ремонта подорванных броненосцев. Со мною едут, помимо штаба, рабочие Путиловского и Франко-Русского заводов. Прошу вас, Владимир Васильевич, сопровождать меня до Москвы, чтобы в дороге продолжить разбор штабных бумаг по делам Кронштадта...

Коковцев объявил жене, что через день-два вернется:

— Собери меня. Я возьму не больше портфеля.

Ольга Викторовна поняла эту разлуку на свой лад:

— Надеюсь, ты не станешь навещать Эйлеров?

— Если не веришь, сама и посади меня в поезд. Кстати, на вокзале соберется весь столичный beaumonde, так что у тебя есть лишний повод показать свою новую шляпу...

Ольга Викторовна подошла к зеркалу. Именно в этот миг произошло что-то очень важное.

— Владечка, — тихо позвала его жена, — ты живешь со мной столько лет, а до сих пор не осознал любви моей.

— Объясни, что последнее время с тобой происходит?

Из глубины громадного трюмо, словно из бездонной пропасти, на него смотрели глаза — глаза любящей женщины.

— Ты ничего не понял, Владечка, — вздохнула она с напряжением. — Не понял даже того, что я уже начинаю страдать ...

В газетах об отъезде Макарова не сообщалось. Однако весь перрон Николаевского вокзала был заполнен публикой. Возле вагонов экспресса царила почти праздничная суматоха, дамы блистали мехами и улыбками, слышался французский говор, счастливый смех и возгласы радости. Степан Осипович выделялся среди провожавших монументальным спокойствием и уверенной статью, лентой ордена Георгия в петлице адмиральского пальто с барашковым воротником. Коковцев оставил Ольгу щебетать со знакомыми ей дамами, сам же протиснулся через толпу к начальнику макаровского штаба — контр-адмиралу Моласу. Он спросил Михаила Павловича, какие новости?

На своих же минах подорвался минзаг "Енисей", масса убитых, а кавторанг Степанов застрелился на мостике.

— Как же это могло случиться?

— Не учли разворота корабля при сильном течении. Вот их и затащило на свое же минное поле.

— Понимаю Степанова: допустить такую ошибку...

Возле Макарова стояли его дети: любимица адмирала — Дина, уже взрослая барышня, и сын Вадим — кадет Морского корпуса. Среди провожавших был генерал-адмирал — великий князь Алексей, который предложил Макарову выпить по случаю отъезда. Макаров отказался. - Ваше высочество, — желчно произнес он, — вы же знаете, что я люблю мужские компании и не дурак выпить. Но сейчас возбуждения нервов не требуется, ибо мои нервы достаточно возбуждены нашими военными неудачами...

В морозном воздухе, под куполом вокзала, прозвучал удар гонга. Контр-адмирал Молас крикнул в толпу провожавших:

— Якоря подняты! Отбывающих прошу по вагонам...

В штабном салоне Капитолина Николаевна прощалась с мужем. Владимиру Васильевичу было неловко слышать, как адмирал внушал своей Капочке прописные истины: "Тебе, как и Диночке, совсем неприлично наряжаться в пух и перья. Я еду без копейки в кармане, а тебе оставляю пять с половиной тысяч. Подозреваю, что первым делом ты пожелаешь обновить свои туалеты, а у нас уже было немало случаев, когда мы сидели без обеда, Пойми, что сейчас, когда ко мне приковано внимание всего русского общества, тебе, моей жене, стыдно ходить расфуфыренной, и люди в народе верно решат, что для тебя война — это только повод для блистания в свете".

Наконец-то перрон с его суматохой остался позади. Вагон за вагоном потянуло в сумерки — как в бездну...

— Теперь за работу, — сказал Макаров, сбрасывая пальто.

Проходы между купе были завалены книгами по Дальнему Востоку, свертками карт дальневосточных морей. Макаров, прихлебывая крепкий "адвокат", уже вникал в дела Порт-Артура. Очевидец пишет: "В пути он беспрерывно работал, диктуя чинам своего штаба различные инструкции, приказы и прочее, чтобы с первого же дня по

прибытии в Артур все знали, кому что делать". Всю ночь напропалую стучал "ремингтон", на котором печатал приказы кавторанг Васильев, бывший командир ледокола "Ермак", а ныне флаг-капитан адмирала; из его растрепанной бороды смешно торчала тонкая папироска... Накурено было нещадно! Коковцев, как и все, не спал всю ночь, помогая штабу в оформлении сдаточных документов по Кронштадту, которые ему следовало вернуть обратно в Адмиралтейство.

Мерно вздрагивали вагоны. За окнами просветлело.

— Успеете сделать все до Москвы? — спросил Макаров. - А то, если не успеете, махнем по рельсам и дальше.

— Может, прямо до Порт-Артура?

— Нет уж! Ваш опыт пригодится еще на Балтике... Было раннее, очень морозное утро, когда экспресс домчал до Первопрестольной, но Макаров даже не вышел на перрон, чтобы размяться. Коковцев, загрузив портфель, обошел вагон, прощаясь со всеми. Степан Осипович душевно обнял его.

— Ну! — сказал он. — Я ведь не Куропаткин и потому не зову вас в Токио, чтобы шелковыми веревками вязать японского микадо. Даст Бог, и мы еще повидаемся за чаркой! Вот тогда выпьем и закусим чем-нибудь солененьким...

Коковцев имел обратный билет на поезд, отходивший около полудня. Он позавтракал на вокзале блинами с паюсной икрой, ему очень хотелось спать. Гуляя по Москве, каперанг прошел в Кремль, глянул на Ивана Великого и даже не поверил, что в молодости забирался на такую высотищу без всякой страховки. Да, крепкие были руки. И еще крепче были нервы.

С душевным огорчением Коковцев признался себе, что сейчас уже не рискнул бы забраться на такую высоту!

Ранним утром Коковцев вернулся домой. Ольга Викторовна выдала свою тоску в первых же словах:

— Владечка, а где сейчас эскадра Вирениуса?..

Вскоре место Степана Осиповича в Кронштадте занял его злостный недоброжелатель — адмирал Бирилев, и, естественно, он стал сокрушать все макаровские порядки. Досталось за компанию и

Коковцеву: его вымели из штаба в Береговой экипаж, что Коковцев воспринял как личное оскорбление. К счастью, контрадмирал Рожественский уже начинал формирование Второй Тихоокеанской эскадры для отправления ее на Дальний Восток (а Порт-Артурская эскадра, под командованием Макарова, именовалась Первой Тихоокеанской эскадрой).

Коковцев повидался с Зиновием Петровичем.

— Должность флагмина, — сказал ему флагман, — уже занята. Не советую отказываться от положения флаг-капитана моего походного штаба. Вы будете допущены до всех моих секретов. Для начала прошу проверить подготовку минных кондукторов...

Далеко от родины адмирал Макаров уже сражался с противником, заманивая его ради дуэли главных калибров, но Того явно уклонялся от боя, сберегая свой силы.

В последний день марта Макаров, держа свой флаг на броненосце "Петропавловск", повел эскадру из гавани Порт-Артура в сражение... Никто в столице еще ничего не знал, а Коковцев вернулся домой только глубокой ночью.

— Владя, на тебе лица нет... Что случилось?

— Да, Оленька, случилось: "Петропавловск" наскочил на букет мин. Погреба сдетонировали. Сразу рвануло и котлы. Броненосец держался на воде одну-две минуты. Винты еще вращались. А когда люди бросились из отсеков наверх, их встретила лавина бурного пла мени... Все кончено!

— А как же... Степан Осипыч?

— Подцепили из воды пальто. Вот и все. Всплыл еще труп флаг-капитана Васильева. Но уже ни контр-адмирала Моласа, ни художника Верещагина... все-все на грунте.

Только теперь, когда Макарова не стало, Владимир Васильевич дочитал его "фантастический роман". Макаров писал: "Сила взрыва была такова, что орудия сбросило со станков, летели мачты и шлюпки. Сдвинутые котлы оборвали все паропроводы. Пар и горячая вода бросились в кочегарки и машины, задушили там все, что было живого. Затем огромная масса воды хлынула... ничто уже не задерживало страшного потока, и броненосец быстро погрузился в воду".

— Наверное, так и было, — сказал Коковцев.

Он отложил "Морской сборник" от 1887 года, в котором Макаров, как провидец, представил картину гибели "Петропавловска", а воображение автора верно обрисовывало ситуацию собственной гибели. Аналогия была тем более поразительной, что время умирания корабля в "романе" точно совпадало с теми долями минуты, что были отпущены самому адмиралу Макарову после взрыва минного букета и детонации погребов.

— Прямо мистика какая-то, — ужасался Коковцев; Ольга плакала, жалея овдовевшую Капитолину Никола евну. — За нее ты не волнуйся: она даже из панихиды театр устроит...

Его отвлекло известие: Кронштадт не может снабдить эскадру двадцатью процентами снарядов сверх нормы, что полагалось по штатам для боевых действий. Рожественский справедливо ставил вопрос: как ему проводить практические стрельбы? Бирилев заверял флагмана, что недостающие боеприпасы он вышлет транспортом "Иртыш" к берегам Мадагаскара.

— А если не вышлет? — сомневался Коковцев.

Эскадра уже собиралась на рейде Кронштадта, корабельные оркестры поспешно разучивали "Марш Рожественского":

Эс-кадра! Эс-кадра!

Выходим мы на смертный бой.

Про-щайте! Про-щайте!

Не все вернемся мы домой...

Было странно видеть Ленечку Эйлера в мундире штабс-капитана Корпуса корабельных инженеров. Рожественский приманил его службою на флагманском броненосце "Князь Суворов".

— Трюмные системы, — говорил Эйлер, — чересчур сложные, народ еще не успел их освоить как следует. Вот я и согласился: где мои системы, там и я со своими системами...

Когда он спал — непонятно. Сутками не вылезал из корабельной утробы, ковыряясь в путанице клапанов, кингстонов, фланцев; потомок великого математика, Эйлер имел теперь руки мастерового — в ссадинах и кровоподтеках, едва отмытые от грязи, масел и красок. "Таблицы непотопляемости кораблей" профессора А.Н.Крылова стали

его настольной книгой. Эйлер помешался на разговорах о метацентрической остойчивости корабля, о выпрямлении кренов и дифферентов.

— Не верю я в это дело: тонули и тонуть будем! — заявил Коковцев, сказавший, что более полагается на талант Рожественского. — Конечно, нас не ждет веселый пикник! Но Зиновий Петрович дерзостно возвращает нас ко временам аргонавтов. В конце пути, даст Бог, острижем руно с золотого барана.

Эйлер соглашался: пройти восемнадцать тысяч миль без отдыха, без наличия собственных баз, дважды погружаясь в тропическое пекло, — да, это задача, вполне достойная аргонавтов.

— Но в моем представлении, — сказал он, — Рожественский все же карьерист... Конечно, не тот, что лебезит и шаркает ножкой. Кажется, что под внешней грубостью выражений он затаивает ту правду-матку, которая лично ему выгодна!

В этот день они чуть было не поссорились.

— Если ты, Леня, не веришь в своего флагмана, так скажи, на кой черт залезаешь ты в наши вонючие трюмы?

— Но я же офицер русского флота... это дело чести!

За Большим рейдом Кронштадта, пронизанным сеткой теплых дождей, в панораму Маркизовой лужи вписывались новейшие и лучшие броненосцы России, флагманом которых был "Князь Суворов". Не все ладилось на эскадре. Старые корабли нуждались в ремонте, новым требовалась доработка машин, проверочные испытания на ходу, обкатка орудийных башен и — стрельбы, стрельбы, стрельбы... Снарядов для этого не было!

— Все будет у Мадагаскара, — обещал Бирилев.

Кронштадтский рейд сильно обмелел, броненосцы вязли днищами в грунтах, Бибишка (как прозвали Бири-лева на флоте) старался изо всех сил поскорее спровадить эскадру в Ревель, а потом в Либаву, Коковцев, презирая Бирилева, именовал его маляром — за то, что адмирал был автором книги о малярно-покрасочных работах. "На большее этот дуралей и не способен..." Коковцев молился теперь на иного бога! Не только он, но и многие офицеры невольно подпадали под влияние популярной личности Рожественского, умевшего покорять

людей непререкаемым тоном отрывистых речей, громадной силой волевого убеждения и размахом предстоящей операции. Тишком поговаривали, что Зиновий Петрович сам же и навязал Николаю II этот поход аргонавтов за тридевять земель. Коковцев был рад, что командиром "Суворова" стал его приятель — капитан первого ранга Игнациус. Миновали те блаженные времена, когда они, юные лейтенантики, упоенно аккумулировали электротоки в батареях Планке. Теперь перед Коковцевым предстал желчный скептик, с бородой и множеством орденов, безо всяких надежд на лучшее. Он сказал Коковцеву, что каждый броненосец типа "Бородино" обошелся государству в ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ рублей, а один лишь залп одной только башни броненосца высаживает в небеса ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ рублей.

— Что же касается меня лично, — добавил Игнациус, — то я уверен в своей гибели. Но охотно иду на смерть, ибо в соленой воде лежать гигиеничнее, нежели валяться в земле, просверленной червями... Я уже ни во что не верю!

Коковцева даже передернуло. Он выразил надежду на то, что Аргентина продаст России четыре, а Чили -два крейсера для укрепления эскадры Рожественского.

— Экзотика для гимназисток! — высмеял его Игнациус. — У меня иные новости: англичане отдали Вэйхайвэй под стоянку японских кораблей, а это — как раз напротив Порт-Артура...

Вечером в каюту Коковцева, размещенную в корме броненосца, близ салона флагмана эскадры, заявился Леня Эйлер и сказал, что в Ревель прикатила Ивона, она купила собачонку по имени Жако, которая вчера и прокусила ему палец:

— Ивона остановилась в номерах Нольде.

— Это где? — спросил Коковцев рассеянно:

— На Рыцарской. Там уютно. Может, навестим ее?

— Извини, некогда, — отказался Коковцев...

Летом 1904 года, пользуясь тем, что руки России связаны войною, Англия вторглась в Тибет: скорострельные пушки Виккерса легко разгромили толпы наивных монахов-лам и кочевых пастухов этой

труднодоступной, но очень слабой страны... Ходил анекдот, будто в английских газетах давали с русско-японского фронта такую информацию: "Вчера на рассвете японские солдаты с бравыми возгласами: "Хэйка бен-зай!" (что означает: "Да здравствует микадо!") бросились в атаку на русские позиции. Русские солдаты со свирепым воплем: "Опять-туихмать!" (что тоже означает: "Да здравствует император!") успешно отбили японскую атаку". Эйлер сказал:

— Но все-таки мы атаку отбили...

После гибели Макарова Первой Тихоокеанской эскадрой стал командовать контр-адмирал Витгефт. А дальневосточный наместник Алексеев ("Евгений-гений", по выражению Куропаткина) улизнул из Порт-Артура в Мукден, оставив крепость на попечение генерала Стесселя и его жены. Того уже десантировал армию маршала Куроки на сухопутье, квантунский плацдарм оказался под угрозой, японцы блокировали Порт-Артур с моря и с суши. Началась изнурительная битва, в которой, что ни день, писалась кровью новая страница русской отваги и бездарности царизма...

Ночным поездом Коковцев вернулся из Ревеля.

— Я измучилась в ожидании... Ну, где же Гога?

— Эскадра Вирениуса уже на подходе. — Коковцев объяснил Ольге, что "Ослябя" и крейсера идут хорошо, эсминцы тоже, но их задерживают номерные миноносцы, которые плохо выносят встречную волну. — В машинах частые аварии, вентиляцию заплескивает волной, духотища, а кочегары валятся с ног...

— Как хорошо, что наш Гога не попал на миноносцы!

— Ты забыла, дорогая, с чего я начинал...

Гога вернулся ночью, всполошив весь дом, — загорелый, веселый, бодрый. С порога он почуял, что Глаши в доме нет, но спрашивать о ней родителей не пожелал. Мичман привез подарки: отцу — бельгийский браунинг, покрытый никелем, матери — пористый арабский графин, способный в жаркие дни хранить воду прохладной, а младших братьев одарил всякой заграничной ерундой.

Ольга Викторовна второпях шепнула мужу:

— Это ты ... Когда я увидела Гогу, мне показалось, что не мой сын вернулся из Джибути, а ты, Владечка, снова приплыл ко мне из

Японии... О, как он похож на тебя — на молодого!

На молодом и чистом лице мичмана — красные, будто выжженные глаза, и мать спросила — что с ними случилось?

— Конъюнктивит, мамочка. Как у всех! Англичане скупили в портах весь кардиф, чтобы нам не досталось. Пришлось от самой Бизерты шлепать на какой-то дряни. Сгорание в топках паршивое, над палубой "Осляби" несло горячие вихри искр...

За столом Гога с удовольствием уплетал все, что подсовывала ему материнская щедрая рука. Владимир Васильевич спросил сына — как ему понравилось в Джибути?

— Хуже, чем в Порт-Саиде! Днем на улицах — ни души. К вечеру выползают. Сонные. Шантаны работают до утра. Возле туземных лавок сидят на привязи, как собаки, черные пантеры. Купцы просят покупателей не бояться, ибо, по их мнению, пантерам мясо европейцев не нравится. На базарах полно безногих и безруких сомалийцев. Это ныряльщики за пенсами туристов. Донырялись, пока акула не отхарчила от них.

— Надеюсь, ты был умницей и не купался там?

— Напротив, мамочка, я даже играл на волнах с акулами. Это не мешает для полноты жизненных ощущений. Ради этого я даже гладил пантер по загривкам, а они доверчиво терлись об мои ноги, как домашние киски, просящие сметанки...

Гога сказал, что ему, очевидно, уготована должность башенного начальника на "Осляби" — в носовой башне.

— А вам не встречались "Ниссин" и "Касуга"?

— Те, что закуплены японцами у Аргентины? — Гога глянул на отца исподлобья. — В гавани Порт-Саида мы стояли рядом с этими крейсерами... "Ниссин" прилип к нашей корме, а "Касуга" бросил якоря как раз по носу "Осляби".

Коковцев резко отодвинул стул, поднялся:

— А куда же смотрел ваш Вирениус? Или не догадал ся разбить их борта тараном — вроде бы случайно, а потом они до конца войны пусть и торчат в Египте!

— Вирениус не мог этого сделать. Хотя крейсера шли под японскими флагами, но их экипажи были набраны из безработных итальянцев...

Кого таранить? Этих несчастных? Все было гораздо сложнее, папа, нежели вам из Питера кажется... ты знай: "Ниссин" и "Касуга" пришли в Порт-Саид под конвоем броненосного английского крейсера с мощным вооружением, орудия которого держали "Ослябю" на прицеле...

Ольга Викторовна потом спрашивала мужа:

— Как ты думаешь, почему он не спросил о Глаше?

— Потому что знал — тебе ответить ему нечего...

Он договорился с женой, что она приедет в Ревель, куда и сам выехал вместе с сыном. Эйлер интересовался -заметил ли Гога, как были покрашены японские крейсера?

— Они были... грязно-серые. И сливались с горизонтом.

— Вот именно, что они сливались с горизонтом. А у нас по старинке: борта черним, как сапоги ваксой, трубы желтые... — Настроение у Эйлера было не ахти какое. — Если послушать разговоры на эскадре, можно подумать, что все мы идем давиться на собственных галстуках. Я понимаю и матросов! Многим, особенно взятым из запаса, тошненько. Верят ли они в успех? Сомневаюсь... Японцы, что ни говори, на Дальнем Востоке у себя дома, близ своей метрополии, а мы ведем войну по тонкой ниточке Сибирской магистрали...

Младший флагман эскадры, контр-адмирал Фелькерзам, держал флаг на "Осляби", и Коковцев однажды слышал, как Рожественский говорил кому-то:

— Бедный Дмитрий Густавович! Боюсь, не доплывет...

В экипажах кораблей больных было много. Даже скоротечной чахоткой, которая убьет их сразу же, как только эскадра проникнет во влажную духотищу тропиков. Но люди шли! Флагманский штурман Филип-повский, добрейший старикан, давно уже кормился едино лишь перетертою пищей.

— Со мною все ясно, — посмеивался он. — У меня рак желудка. Если не берутся вылечить врачи, так, надеюсь, вылечат самураи: одним снарядом — бац! И нет ни меня, ни рака...

Куропаткин твердил в приказах по армии: "Настало давно желанное время идти навстречу врагу и заставить японцев повиноваться нашей

воле", после чего подписывал приказ об очередном отступлении. Журналистам он объяснял:

— Терпение, терпение и еще раз терпение...

Куроки буквально "выдавил" русские войска с Квантунского плацдарма, и только на юге его, вся в сотрясении канонады, геройски сражалась крепость Порт-Артура. Был конец июля, когда адмирал Витгефт стронул Первую Тихоокеанскую эскадру с рейда, подняв над броненосцем "Цесаревич" сигнал: К БОЮ. ИМПЕРАТОР ПОВЕЛЕВАЕТ СЛЕДОВАТЬ НА ВЛАДИВОСТОК. Навстречу выплывали главные силы японского флота под командою Того, который пытался охватить голову русской колонны, но Витгефт умело выводил эскадру из-под удара. Бой в Желтом море складывался не так уж плохо для русских и не так уж хорошо для японцев. Но война иногда бывает игрой в лотерею. Японский снаряд разорвался над мостиком "Цесаревича", сразу убив Витгефта и весь его штаб. Командир броненосца, сам искалеченный, вел флагман дальше. Второй снаряд убил всех на мостике, включая и командира, а громада броненосца, потерявшего управление, покатилась влево. Идущие за флагманом корабли, не зная о гибели командования, покорно следовали за "Цесаревичем", подразумевая, что Витгефт этой циркуляцией путает японские карты. И вся эскадра (вся!) легла в повороте — тоже влево. Бой завершился тем, что большая часть кораблей вернулась обратно в Порт-Артур, остальные сумели прорваться в порты Китая, где и были интернированы...

Известие об этой битве аукнулось в салоне Рожест-венского, где он собрал флаг-капитанов и флаг-офицеров. Присутствовали флагарты, флагмины, флагштуры, флаг-врач и флаг-интендант. Адмирал возвышался надо всеми.

— По свидетельству англичан, — сказал он, — Того уже топтал свою фуражку на мостике броненосца "Миказа", считая себя пораженным, когда "Цесаревич" вышел из строя, и тогда Того надел фуражку на голову. Газеты врут: Вильгельм Карлович не просто убит — его разорвало, как тряпку, от него осталась одна нога с ботинком. В результате, господа, эскадра снова блокирована в Порт-Артуре, а Того обеспечил для себя господство на море... Останемся же тверды в несчастье!

Балтийский флот служил панихиды по убиенным на эскадре Витгефта. Солнечные зайчики отраженные от воды через иллюминаторы, весело бегали по переборкам адмиральского салона. Клапье де Колонг, первый флаг-капитан Второй Тихоокеанской эскадры, вкрадчиво спросил Рожественского:

— Ваше превосходительство, после того что случилось с Первой эскадрой, есть ли смысл отправляться Второй?

Смысла не было! Взирая пасмурно, флагман ответил:

— До нашего прихода Порт-Артур будет держаться...

Броненосцы днем и ночью наполнял адский грохот: рабочие заколачивали в их борта дополнительные заклепки, в переборках сверлили отверстия, через которые электрики протягивали кабели, машинисты тянули проводку магистралей. "Суворов" еще не обрел жилого (корабельного!) аромата, в отсеках разило формалиновой дезинфекцией, красками и сулемой, которой санитары обмывали помещения. Ольга Викторовна приехав в Ревель, навестила мужа на корабле и ужаснулась:

— Владя, как ты можешь жить в этом аду?

— Не могу. Но жить все равно надо. Ничего, при выкну... Вчера купил два ящика консервов Малышева, из которых можно сварить щи с мясом и гречневую кашу с маслом. Сейчас-то еще хорошо, а в море, уж я знаю, зубами нащелкаемся...

— Я хотела бы видеть Гогу, это можно?

Коковцев показал ей "Ослябю", дымившего на рейде:

— Гогу следует искать по вечерам в варьете "Дю-Норд" на Колесной улице... Кутит и гуляет. Если и далее будет так продолжаться, я попрошу Фелькерзама, чтобы списал его на плавучую мастерскую "Камчатка", на которой вместе с нами плывут питерские судоремонтники. Там он успокоится.

— Ты бы поговорил с ним... помягче.

— О чем говорить с этим жизнерадостным оболтусом!

Настала поздняя осень, секущая лицо острыми холодными дождями. Порт-Артур держался, и это всех бодрило. Престиж Рожественского был укреплен в эти дни присвоением ему чина вице-адмирала. Сентябрь уже был на исходе, корабли по мере готовности переходили

из Ревеля в Либаву, где в полном составе собиралась Вторая Тихоокеанская эскадра.

— Мы простимся в Ревеле? — спросил Коковцев жену.

— А можно я поездом поеду за вами в Либаву?..

Либава была переполнена приезжими: женами, сестрами, невестами и родителями моряков, уходящих на самый край света. Круглосуточно работали рестораны и цукерни, офицеры и матросы оставляли в них все до последней копейки. Тога растратился вконец и последние дни скромно провел с родителями.

— Что тебе, мамочка, привезти из Японии? — спросил он.

— Привези целую голову, две руки и две ноги, а больше мне от тебя никаких подарков и не нужно, дорогой мой...

По окнам гостиницы хлестало мокрым снегом; далеко на рейде светились огни эскадры, снежную кутерьму рассекали яркие вспышки сигнальных фонарей Табулевича и Ратьера. Агентура предупреждала, что нападение японских миноносцев, построенных в Англии, не исключено даже в Либаве, а потому корабли, качаясь на резкой волне, окружали свои борта противоминными сетями. Было скучно. Гога полировал свои ногти с таким тщанием, будто от этого зависела вся его карьера.

— "Сисой Великий" вчера потерял якорь, — говорил он. — Весь день ползал по рейду с кошками, якоря не нашел, зато подцепил с грунта утопленницу. Откуда она там взялась?.. Я, папа, не понимаю — зачем мы взяли старого "Сисоя"? Новые броненосцы дают по восемнадцати узлов, а эта рухлядь едва выжмет из машин, дай Боже, четырнадцать.

Коковцев с отчаянием в голосе признался сыну:

— Четырнадцать, но даст их наверняка! А вот новейшие... На "Бородино" эксцентрики греются уже на двенадцати, а "Орел"?.. Он вообще не успел пройти испытаний на мерной миле, и сколько узлов выжмет — никому еще не известно.

— Вас послушай, — сказала Ольга Викторовна, — так лучше бы вы, миленькие, сидели дома и никуда не высовывались...

Гога спросил отца — а что думает Рожественский?

— Не твое дело, — отвечал отец. — А я вот думаю что в восемь утра "Ослябя" начнет сниматься, и тебе... пора.

— Как? — всем телом напряглась Ольга. — Уже?
— Да, мамочка. Давай простимся...
Он оставил ее в слезах. Коковцев натягивал пальто.
— И ты? — припала к мужу Ольга Викторовна. — Владечка, только сохрани мне сына... умоляю тебя!
Владимир Васильевич погладил ее по голове:
— Фелькерзам с утра поведет старые броненосцы, после него тронется "Аврора" за транспортами, а мы в полдень. Успокойся: мир наступит раньше, нежели мы будем у Мадагаскара...
Других слов он не нашел (да, кажется, и не искал их).
Было еще темно, когда эскадра пробудилась ради свершения молебна в ознаменование будущей победы. В промозглом воздухе отсыревших отсеков звучало молитвенно:
— Болярину Зиновию и дружине его здравия и спасания на водах и во всем благого поспешения, на враги же болярина Зиновия и дружины его — победы и а-а-о-о-о-одоления супостата!
— Репетиция панихиды. — шепнул Игнациус Коковцеву.

Рассвет был тусклый, цепенящий. Матросы задирали воротники бушлатов, офицеры грели руки в карманах тужурок. Тяжелые броненосцы утюжили своими железными брюхами жидкие рейдовые грунты, их мощные винты взбивали пакостные илы, как вертушки взбивают пышные кремы для торжественных тортов на именины...
Жутко! Но всюду хохочут:
— Никак не отпускает нас Либава, хоть ты тресни!
— А погодка-то — как раз для прогулки на кладбище.
— Да еще пятница сегодня, господа! К несчастью...
Коковцев с небывалой болью вспоминал последние слова Ольги. Наконец на мостик "Суворова" поднялся вице-адмирал. Желая как можно скорее эшелонировать эскадру в дорогу, он рассыпал над рейдом выговоры кораблям. Дело простое:
позывные "Осляби", выстрел — выговор,
позывные "Донского", выстрел — выговор,
позывные "Камчатки", выстрел — выговор...
Получив по выговору, корабли медленно растворялись в тусклой

мороси непогодья. Прощай, матушка-Россия, вернемся ли? Коковцев начал креститься, к нему подошел Эйлер:

— Не хочу думать, чем это кончится для нас, но для России, надо полагать, все еще только начинается.

— Леня, и без тебя тошно! Хоть сегодня не каркай...

Из гавани, нагоняя броненосец, выскочил либавский буксир под флагом порта. На его корме толпились родственники моряков, и Коковцев издалека расслышал напутствие жены:

— Владечка! Счастливого пути вам всем...

Коковцев разглядел на буксире Ивону с собачкой.

— Это и есть Жако? — спросил он Эйлера.

— Да. Песик скрасит ее одиночество.

— Возможно, — согласился Коковцев...

Покинув родные берега 2 октября 1904 года, эскадра Рожественского обогнула Африку и, выдержав шторм небывалой мощности, пересекла меридиан Петербурга в Южном полушарии; а 16 декабря увидела перед собой зеленые берега Мадагаскара... Рожественский задал вопрос:

— Хочу точно знать — где отряд Фелькерзама? Фелькерзам еще в Танжере подчинил себе корабли с малой осадкой, которые вел Суэцким каналом, а рандеву с ним было заранее обусловлено возле берегов Мадагаскара.

— Ваше превосходительство, — доложил Коковцев флагману, — Токио произвело внушительный нажим на Францию, и французы, при всей их любезности, определяют для нас глухую стоянку в Носи-Бе, для чего эскадре предстоит удлинить маршрут еще на шестьсот миль...

Адмирала было не узнать. За два с половиной месяца пути он, еще недавно глядевший орлом, превратился в изможденного старика. Перемена была столь разительна, что даже Коковцев, ежедневно с ним общавшийся, поражался его внезапной дряхлости. Впрочем, в таком возрасте нельзя по десять суток не сходить с мостика, лишь урывками задремывая в кресле штурмана. Рожественский уже не говорил — он кричал:

— Так куда же, черт побери, провалился Фелькерзам?

— Фелькерзам ведет свой отряд в Носи-Бе.

— Хорошо. Пошлите буксир "Русь" до телеграфа в Таматаве, чтобы прояснить обстановку в мире и... в Порт-Артуре.

— Есть! Хоронить умерших прикажете в море? — Оставьте их в банях... погребем в Носи-Бе.

Уже зашитые в парусину, мертвецы хранились на полках в корабельных банях. Все помыслы адмирала — о транспорте "Иртыш", который должен доставить на эскадру те злополучные двадцать процентов снарядов сверх штата — для практических стрельб.

— А где "Иртыш"? — тревожился Рожественский. — Адмиралтейство молчит. Но должны там понять, что без проведения, практических стрельб боевая значимость эскадры равносильна нулю... Наконец, что вы едите, Владимир Васильевич?

— Консервы Малышева, — отвечал Коковцев.

— Вот! А матросы судят справедливо, что из ананасов с кокосами щей да каши не сваришь... Мне нужен "Иртыш". Мне нужен Фелькерзам со своим отрядом. Порт-Артур держится. Он обязан устоять до появления моей эскадры. Но даже малую задержку на Мадагаскаре считаю стратегически недопустимой и политически вредной для нашего состояния.

А за белой полосой пляжей, окантованных лентами прибоя, стояла плотная стенка тропических джунглей, наполненных райской тишиной и диковинными ароматами. Полураздетые и босые матросы с голодным блеском в глазах глядели на незнакомые кущи чужестранных лесов. Температура в кочегарках броненосцев поднималась до пятидесяти пяти градусов по Цельсию, машинисты, отстояв вахту, выдавливались из люков, как скользкие мокрые черви, и ложились на палубу в обморочном состоянии... Слева — Африка, справа — Индийский океан! Но им было уже не до экзотики.

Флаг-капитан Клапье де Калонг доложил адмиралу:

— Радиостанция французов передала для сведения: японские крейсера недавно были у Мозамбика, искали нас...

Рожественский остался невозмутим. Всю дорогу от Либавы немногословный, флагман лишь у берегов Мадагаскара раскрыл перед штабом ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ задачу его эскадры. Все выглядело логично: деблокировать Порт-Артур и, объединясь с Первой

Тихоокеанской эскадрой, мощью двух эскадр обрушить на японский флот сокрушающий удар, после чего следовало утвердить свое господство на море . В этом случае, доказывал Рожественский, японская армия будет отрезана от метрополии и сама по себе растает в кровопролитных боях, не имея подвоза припасов и подкреплений.

— Все это вполне пригодный материал для исполнения, но он годен лишь при условии, если Порт-Артур выдержит осаду до нашего прихода, — сказал флагман в конце речи. — Прежде мы подождем, что привезет буксир "Русь" из Таматаве!

Буксир доставил страшную новость: ПОРТ-АРТУР ПАЛ. Офицер, сделавший об этом доклад адмиралу, после рапорта рухнул в обморок. Позже из французских газет узнали, что Сгессель самовольно, игнорируя мнение военного совета крепости, сдал Порт-Артур японцам, которые отпустили Сгесселя на родину со всем имуществом и, конечно, с его женою. Французы подчеркивали неблагородство этой супружеской четы, которая, не забыв даже оконные гардины, оставила в Японии свою собаку, и она теперь воет... Ситуация разом изменилась. "Надо возвращаться, — идея прорыва во Владивосток основана главным образом на счастье, на удаче, а удача-то как раз была на стороне японцев" — таково было мнение одного из офицеров походного штаба эскадры.

Но слышались и другие голоса:

— Вернуться домой? А с какими глазами? Чтобы родина сочла нас трусами? Нет уж, господа, лучше пропадать ...

Эскадра плыла в Носи-Бе; подле "Суворова" держался "Александр III", команда которого целиком набрана из Гвардейского экипажа, с высокою дисциплиной и чистоплотностью (даже непонятно, почему Зиновий Петрович не сделал этот броненосец своим флагманом). На кораблях работали церкви и походные сберкассы, куда матросы вносили свои гроши ради сбережения.

— Пивную бы нам ишо! — говорили. — Дас закусками...

За время перехода вокруг Европы и Африки, в частых угольных бункеровках матросы эскадры износились и оборвались так, что их стыдно было отпускать на берег — на потеху иностранцам. Еще в Либаве Бибишка обещал новую обувь, но так и не дал, теперь

экипажи сделались форменными босяками. А каково машинным командам, которые приплясывали на рифленой стали дрожащих площадок, раскаленных будто противни! Кто бы мог поверить, что на эскадре повадились расплетать старые тросы, из их прядей матросы плели для себя... лапти. Сказать, что голодали, — нельзя, но и сыты редко бывали. Адмирал большую часть дня проводил за столом, лично вникая в нужды баталерок, прачечных и камбузов.

На "Эсперансе" — рефрижераторе, следовавшем за эскадрою с запасами мяса, скисли холодильники, а бочки с солониною в тропической жаре раздуло, словно нарывы, из них текла бурая зловонная жижа. Рожественский распорядился все содержимое холодильников побросать в море, и семьсот тонн гнилого мяса алчно раздергали небрезгливые акулы.

Флагман затребовал у Петербурга разрешения следовать на Дальний Восток никак не позже 1 января. Из-под "шпица" ему отбили категорический приказ: оставаться на Мадагаскаре до прибытия вспомогательных крейсеров, наскоро переделанных из грузовых пароходов. Одновременно Петербург известил Рожественского, что ради усиления Второй Тихоокеанской эскадры в море уже вышла Третья Тихоокеанская эскадра под флагом контр-адмирала Небогатова... Рожественский мрачнел все больше.

— Мало мне обузы от пароходов, — говорил он, — так мне еще подсовывают никудышный балласт. Наше положение сейчас могло бы спасти только прибытие сюда всего Черноморского флота! Но разве турки пропустят его через Босфор?

В последние дни 1904 года эскадра Рожественского вошла в ярко-лазурную лагуну Носи-Бе, где ее ожидали корабли отряда Фелькерзама, который снова перенес флаг с "Сисоя Великого" на полюбившийся ему броненосец "Ослябя". Вместе с флагом на "Ослябю" перенесли и больного Фелькерзама. На кораблях соловьями распелись боцманские серебряные дудки.

— Которые тута хворые, теих с врачами велено адмиралом пущать до берега, штобы попаслись на травке...

Зиновий Петрович решил повидаться с Фелькерзамом, любезно пригласив с собою на "Ослябю" и Коковцева.

— Дмитрий Густавович, — начал он разговор, — Небогатов со своим хламом будет хватать нас за пятки, его антикварное старье лишь помешает нашему прорыву на Владивосток, который и без того потребует от нас немало крови... Это не подкрепление, а лишний камень на шею! Срочное движение вперед — последний шанс. Я снимаю эскадру первого января. Предельный срок. Нельзя ждать... ждать больше нельзя! Все.

— Зиновий, ты уйдешь, а... Небогатов?

— Да кому он нужен здесь? Пошел он к чертовой матери!

Фелькерзам утопал в глубоком кресле салона.

— Крейсерам необходим ремонт. Две недели.

— Димочка, — сказал флагман старший флагману младшему, — мы знаем один другого не первый год. Выслушай меня. Того под Порт-Артуром уже так раскатал свою артиллерию, что снаряды в его пушках болтаются, как нога младенца в валенке взрослого человека. Ему, конечно, потребуется замена орудийных стволов и безусловная чистка засоленных котлов. Мы сейчас форсируем машинами через Индийский океан, не жалея отставших и аварийных, — только вперед на прорыв! Это единственная гарантия хоть какого-либо успеха в нынешней ситуации.

— Зиновий, — отвечал Фелькерзам, — о чем ты хлопочешь? Любое движение эскадры на Восток — еще один шаг к гибели. Не о себе же думаю — о других. Не хватит ли авантюр?

— Возвращаться? — спросил Рожественский.

— Да...

Рожественский резко повернулся к флаг-капитану:

— Оставьте нас одних. Можете повидать сына...

Коковцев не видел Гогу после бункеровки в Дакаре.

— В твои годы, — сказал он сыну в каюте, — я проходил этим же путем, но тогда, сознаюсь, жара переносилась легче.

— Есть банка пива. Еще с Дакара. Хочешь, папа?

— Дай. У меня сердце колотится от духоты. Помню, что под брамселями мы давали одиннадцать узлов...

— Ха! А сейчас, в век пара и электричества, эскадра ползает хуже черепахи — пять — семь узлов.

— Скажи спасибо адмиралу, что щадил броненосцы на экономичном режиме хода, иначе мы бы не вылезали из поломок в машинах. Или не знаешь, как Бибишка формировал эскадру, желая поскорее выпихнуть нас из Либавы?... Негодяй!

— Он и выпихнул, папа. Но в Ревеле нам поставили оптические прицелы, не обучив с ними работать, а на мостике торчит дальномер Барра и Струда, который дает не дистанцию до цели, а точно показывает цену на дрова... Кто виноват, папа?

Коковцев не успел ответить: раздались свистки вахты от забортного трапа — Рожественский уже садился на катер, но тайну своей беседы с Фелькерзамом он никому не выдал. Однако в нем что-то переменилось, он сказал Коковцеву:

— Если мало было жертв, согласен жертвовать и далее. Дмитрий Густавович по-своему тоже прав...

Кажется, он запросил Петербург о возвращении эскадры на Балтику. Суровой директивой на этот раз его одернул сам император Николай II, конкретно указавший, что эскадре надобно завладеть "господством на морском театре".

— Теперь хотя бы все ясно. Его величество настоятельно требует соединения с небогатовской эскадрой... Я подожду "Иртыш" с боеприпасами, чтобы провести учебные стрельбы. Если не научились палить на Тронгзундском рейде, так устроим, на потеху мальгашам, цирк у берегов Мадагаскара...

Открылся 1905 год; для японцев он был 36-м годом "эпохи Мэйдзи" или 2565-м годом с восшествия на престол первого микадо — для нас он стал годом Первой русской революции.

Бурные тропические ливни обмывали раскаленные борта броненосцев. По утрам корабельные оркестры начинали день исполнением "Марсельезы" — в честь Франции, приютившей их, а после "Боже, царя храни!" начинали орать боцмана:

— Ходи босиком! Вино наверх! В палубах прибраться!

По вечерам музыканты провожали заходящее солнце грустной мелодией: "Коль славен наш Господь". Дисциплина ухудшалась. То на одном, то на другом корабле звонко выстреливала пушка, на фок-

мачту взлетал гюйс — это означало: открывается судебное заседание. Но адмирал разумно не утвердил ни одного смертного приговора:

— Зачем казнить людей, идущих на смерть? В этом случае любая конфирмация выглядит комедией. Все равно я обязан исполнить пункт Морского устава, со гласно которому, при встрече с противником, даже висельники выдергиваются из петли, чтобы занять свое место на боевых постах...

Носи-Бе, Носи-Бе! Глаза не могли вобрать полностью эту красоту первозданного мира — с вулканами, покрытыми цветами ванили, с пальмами, что шумят над морем, с непередаваемо яркою красотою женщин, многие из которых были королевами племен. Врач с крейсера "Аврора" записал в дневнике: "Женщины сложены прекрасно: высокая грудь, стройная талия, походка гордая; золотые украшения — серьги в ушах и в носу, на руках и ногах красавиц масса серебряных браслетов... Костюмы классические: тонкие хламиды самых пестрых цветов, в которые женщины очень искусно драпируются". Но и в этом "раю" люди продолжали умирать от изнурения. Покойников покрывали листьями пальм и лианами, их забрасывали не виданными на Руси цветами тропиков. Команды выстраивались во фронт, дежурный миноносец с мертвецами на борту спешил вдоль линии кораблей, потом — команда:

— Расходись! Матросам петь песни и веселиться...

Рожественский, явно раздавленный той массой ответственности, которую он сам же и взвалил на себя, старел все больше. Поник, сгорбился, поседел. Но, старея, адмирал начинал звереть, и, если раньше для общения с матросами ему хватало сакраментальных слов, взятых из летописи заборов, то теперь он саморучно колотил матросов по зубам. Это факт! Офицеры сторонились его, гордеца, между салоном флагмана и кают-компаниями вырастало зияние пропасти. Офицеры считали за честь бойкотировать указания штаба Рожественского, а матросы, которым сам черт не брат, плохо подчинялись офицерам. Тоже факт! Никакие угрозы ареста уже не действовали.

— Сам посадишь — сам и выпустишь! — с небывалой дерзостью говорили они офицерам. — Чего ты меня пуга ешь и сам пугаешься?

Ведь нам с тобой едино под одной бронюшкою подыхать! Вот кады пузырями забулькаем, тады и потолкуем...

В глубине бухты Носи-Бе — чистенький, беленький городишко, с полсотни французов, больше тысячи местных жителей. Здесь губернатор и клуб, хороший рынок под куполом, магазины парижской галантереи и парфюмерии, кафе и кабачки, игорные дома, а вокруг города бамбуковые хижины, в которых найдешь радушный приют и уникальную чистоту. Мужчин на улицах не видать — одни женщины, никому ничего не предлагавшие, но никому ни в чем и не отказывающие. Свобода нравов поразительная! Офицеры с утра пораньше бесцельно шлялись в липкой духоте улиц, обедали в "Cafe de Paris"; на их кошельки, раздутые от золота, уже слетались международные аферисты, а еще больше авантюристок, выдававших себя за парижских этуалей. Молоденькие мичмана забавлялись купанием в лагунах среди крокодилов, стонавших от аппетита, или играли в лаун-теннис с дочками местного губернатора. А матросы, если не сидели за пивом по кабачкам, часами волынились на солнцепеке перед почтой, дабы отправить в далекую Россию сбереженные от выпивки деньжата. Очередь двигалась нестерпимо медленно, солнце жарило сверху нещадно, снизу тебя подпекал раскаленный песок, слышалась брань:

— Чего они тянут? Или сдохли?..

Из иностранных газет офицеры уже знали о событиях в России, но старались скрыть от низов правду о революции. Английский наблюдатель Ричард Хоу отметил тогда же: "Даже у многих ревностных офицеров эскадры оказались поколебленными чувства преданности императорской семье. Наиболее радикальные элементы в экипажах организовали ячейки, которые с тех пор поддерживали между собой постоянные контакты... Первый мятеж вспыхнул на борту крейсера "Адмирал Нахимов"!

В эти дни Гога навестил отца на "Суворове".

— Папа, — сказал он, свободно усаживаясь в кресло-вертушку, — ты слышал, что командир "Урала" кавторанг Истомин указал господам офицерам не осуждать действия правительства, за что лейтенант Кикин и набил ему морду... при всех !

— Кикин по суду лишен эполет и орденов с исключением из службы

навечно. Но Зиновий Петрович заменил этот жестокий приговор четырехмесячным арестом в каюте с приставлением к его дверям часового с карабином... Ну и что?

— А разве бунт на "Адмирале Нахимове" не зеркальное отражение всего того, что происходит в России? На эскадре немало матросов, умеющих читать по-фран цузски, и теперь все команды извещены о том, что царь-батюшка девятого января расстрелял демонстрацию рабочих... вполне ведь мирную, папа!

— Нас это не касается. У нас свои задачи.

— Но скрывать и далее от низов новости из России — не значит ли еще более усугублять недоверие матросов к нам, офицерам? Ты разве не можешь подсказать адмиралу, чтобы не делал из революции тайн мадридского двора?

— Зиновий Петрович занят более важными делами. Я не стану отвлекать его всякой газетной ерундой.

— Не ошибаешься ли ты, папа, в своем небрежении к революции? Ведь случись она, и российский флот великолепно исполнит хором не только "Марсельезу", но для всех тугоухих он способен пропеть и кровавую "Карманьолу"!

На грот-стеньге "Суворова" трепещет флаг адмирала. Оркестры в какой уже раз репетируют "Марш Рожественского":

Эс-кадра! Эс-кадра!

Выходим мы на смертный бой...

— Слышишь? — спросил Коковцев сына. — Вот это и есть главная тема наших хористов... Давай поговорим о другом. Меня возмущает твое поведение. Мне неприятно, что ты завел шуры-муры с мальгашской королевой племени Самарива, и я не понимаю, какие у тебя могут быть с ней отношения?

— Только королевские... — отвечал Гога.

Коковцев щелкнул крышкою именных часов, украшенных по золоту вязью: "Лейтенанту В. В. Коковцеву за отличные стрельбы в Высочайшем присутствии Их..." и так далее.

— Уже шестой час! Убирайся вон на "Ослябю"...

В шесть часов вечера всем быть на кораблях — таков приказ адмирала. Вот и валят с берега шумливыми толпами, на катерах и

шлюпках, на туземных катамаранах, кто трезвый, кто не совсем пьяный, но обязательно с зеленью или со зверьем... Очевидно, человек так уж устроен, что, даже идя на верную гибель, он продолжает любить все живое. На палубу крейсера "Аврора" втаскивают строптивого крокодила, потом, держа его за лапы и разъятые челюсти, торжественно окунают в офицерскую ванну. На "Ослябе" приручили лемура: с салфеткою на шее он сидел на диване кают-компании, поедая из банки сардины — его любимое блюдо. Офицеры заводили в каютах хамелеонов, которые гневно раздувались, меняя окраску. На "Изумруде" милый барашек терся об ноги вахтенных, нежно блея о вкусной травке. На эсминце "Грозном" держали под роялем ядовитую кобру, которую офицеры спаивали коньяком до умопомрачения, отчего гадина постоянно дрыхла, в дымину пьяная и потому (в отличие от пьяных людей) — совсем неопасная. И только на броненосном крейсере "Дмитрий Донской" никакого зверя заводить не стали. А на все попреки в жадности крейсерская братва отвечала:

— Да на кой хрен сдались нам энти облизьяны да хады ползучие, ежели мы от клопов и тараканов не знаем, как избавиться... Пожрать не дают, паскуды, сами в рот залезают!

Очевидец писал: "Экое горе, и спать-то страшно: из одного угла крокодил ползет, в другом удав свернулся калачиком, встанешь с койки — и со всех ног летишь носом в палубу, споткнувшись о громадную черепаху, жующую край твоего одеяла... там хрюкают во мраке лемуры, здесь хамелеоны шипят на тебя. Господи, и куда ж это мы заехали?"

Да, заехали очень далеко — прямо в рай!

А по соседству с раем находился и ад...

Япония вдруг перестала засыпать Францию протестами по поводу задержки русской эскадры возле берегов Мадагаскара. Сначала этому радовались, потом стали подозревать:

— С чего бы это? Наверное, задержка выгодна Того, который имеет время, чтобы обновить изношенную артиллерию...

Рассуждавшие так были недалеки от истины, но сама истина оказалась

потом более ужасна Рожественский надеялся, что после падения Порт-Артура эскадру отзовут обратно. В этом случае он остался бы в истории России как превосходный флотоводец, отвернувший от битвы по приказу свыше. Но царь энергично толкал его далее на Восток, а Рожественский не видел выхода из того тупика, в который не сам ли он и загнал себя ради карьеры? Жене своей он писал искренно: "Ума не приложу, как выкрутиться.., всякая задержка здесь гибельна, дает японцам делать широкие приготовления. А мы попадем в период ураганов, которые могут истребить половину эскадры безо всякого участия японцев... Несчастный флот !

Коковцев во время стоянки в Носи-Бе редко встречался даже с Эйлером: владения трюмного инженера располагались в катакомбах днища, а ему, флаг-капитану, приходилось порхать по трапам между салоном адмирала и мостиками броненосца. Эйлер задыхался в каюте — в исподнем, босой.

— Вовочка, когда же будет обувь, а?

Над его койкою — фотография Ивоны, жмурившей глаза. Коковцев ответил, что "Иртыш" уже осточертело ждать:

— Там обувь и провизия. Но главное — боеприпасы.

— Выпить хочешь?

— В такую-то жарищу? Свалимся.

— Нам ли сейчас думать о драгоценном здоровье... Вот и закуска — бананчик. Французские колонизаторы сплошь меркантильная сволочь: за один ананас, который и свинья жрать не станет, готовы спустить с тебя последние штаны...

Далее он заговорил об угле. Эскадра платила за него от девяноста до ста десяти шиллингов за тонну. Это значило, что пуд угля обходился русской казне от шестидесяти семи до восьмидесяти двух копеек.

— Дороже, чем за пуд ржи! — подсчитал Леня Эйлер. — Но при этом мы получаем не бездымный кардиф, необходимый для боя, а китайские и австралийские угли, которые засоряют топки котлов и дают такие облака черного дыма, что сразу же нас размаскировывают... Того увидит нас издалека!

Коковцова беспокоило сейчас совсем другое:

— Фелькерзам уже не встает, а Рожественский волочит левую ногу,

словно паралитик...

В ответ Леня протянул ему телеграмму агентства "Гавас": "Японцы взяли 50 000 пленных, Мукден пал, Владивосток под угрозой японского нападения, Рожественский умер".

— А мы идем во Владивосток? В лаптях из ворса канатов и с комками пакли в зубах? Если идем, то — когда?

— Пойми, нас задерживает приход "Иртыша"... "Иртыш" не являлся, и Рожественский на свой страх и риск решил все-таки провести учебные стрельбы, регламентировав расход снарядов не более двадцати процентов от общего запаса в погребах. С мостика "Суворова" штабисты свысока поглядывали на старые корабли. Но именно эти "старики", имевшие экипажи с большим опытом, показали прекрасное маневрирование и четкую организацию стрельбы. Особенно отличились броненосец "Ослябя" и крейсер "Аврора", которые с первых залпов разнесли все целевые щиты. Зато новейшие броненосцы — это главная-то мощь эскадры! — выбивались из строя, а стреляли негодно. Сразу после стрельб Рожественский слег в постель; поговаривали, что он заболел, огорченный приказом царя объединиться с эскадрою Небогатова, и уже якобы запросил отставку по болезни... Ежедневно работали водолазы, сбивая с килей броненосцев ракушку, стараясь оборвать с бортов водоросли, и Коковцев доложил, что узла полтора от этого выиграем.

— Один бес! — мрачно отвечал ему Рожественский. — Ставь нас хоть на докование, Того будет иметь в запасе три узла...

Наконец-то появился в Носи-Бе долгожданный "Иртыш". Транспорт доставил "босякам" двенадцать тысяч пар сапог, но зато не привез главного — боезапаса для битвы с японской эскадрой! Выяснилось, что "шпиц" премудро рассудил отправить снаряды по рельсам... во Владивосток. Это известие могло свести с ума: ведь до Владивостока предстояло еще прорываться — с боем! Капитан "Иртыша" только разводил руками:

— У меня полны трюмы капусты и солонины... "Огромный процент бочонков капусты и солонины, — сообщал очевидец, — при вскрытии давали мощные взрывы, сопровождавшиеся обильным извержением зловонных газов, и содержимое их приходилось поспешно бросать за

борт". Рожественский, не вставая с постели, собрал совещание флагманов.

— Преступление! — выразился адмирал. — Мы не со бирались учиться стрелять во Владивостоке, боезапас нужен был нам здесь, ради прорыва именно во Владивосток... Проведя же практические стрельбы, мы еще до боя (!) потеряли два снаряда из десяти имевшихся. Пополнение погребов не получено. Одна капуста и вонища! Готовьтесь к угольной бункеровке...

Он попросил Коковцева остаться с ним наедине:

— Вчера мичман Георгий Коковцев с "Осляби" оскорбил лично меня. После вечерних склянок бранд вахта задержала катер, на котором ваш сын навещал медсестру Обольянинову на госпитальном судне "Орел". Посаженный мною под арест, он бравировал дерзостью. С мадам Обольяниновой проще: я отправлю ее в Россию с письмом к мужу, дабы он осудил ее недостойное поведение... А как быть с вашим сыном?

Коковцев живо представил свой позор, если его любимый сын будет списан с эскадры. Мало того, Обольянинова наверняка уедет в компании с Гогой, и что они там еще накуролесят по дороге — потом сами жалеть будут! Он просил позволения разобраться с сыном келейно — без свидетелей.

Без свидетелей он надавал Гоге хлестких пощечин:

— Из-за тебя, негодяи, должна пострадать замужняя дама, которую выкидывают с эскадры, как. последнюю шлюху из пивной. Сначала ты напаскудничал с Глашей, теперь опорочил честь замужней женщины... столбовой дворянки!

Гога у раковины ополоснул горевшее лицо забортной водой. Резким жестом он сорвал с вешалки полотенце:

— Глашу ты помянул некстати! Если уж кто и виноват перед ней, так это ты... и мама! Я ведь молчал, когда пришел из Джибути. Но догадывался, что вы, благородные родители, попросту выгнали ее из дома... именно как шлюху из пивной!

— Мы не выгоняли. Но, возможно, она и заслу живала того. А ты связался с бабой, силуэт которой способен закрыть горизонт на шестнадцать румбов... Что отвечу я адмиралу?

Гога зашвырнул полотенце в угол:

— Скажи, что мичман Коковцев плевать на него хотел! Прощай, папа... больше я видеть тебя не желаю!

— Я тоже!

Коковцев снова предстал перед Рожественским:

— Мой непутевый сын просит вашего снисхождения. Осмелюсь обратить внимание на то, что, командуя носовой башней броненосца "Ослябя", мичман Коковцев стрелял отлично.

— Хорошо. Я его прощаю, — ответил флагман... Снова бункеровка. Люди на эскадре почуяли, что решение адмиралом принято, и работали с удвоенной лихостью, не боясь вывихов, переломов, ранений и смертей, всегда неизбежных при угольных погрузках. Даже обер-офицеры, убеленные сединой, уподобясь матросам, не гнушались подставлять свои спины под мешки с брикетным углем. В отсеках было не повернуться. Уголь лежал всюду, даже в узких проходах между каютами, он вытеснил людей из кубриков, заставив команды спать под открытым небом, уголь покрывал батарейные палубы, уголь хрустел в каше, от угля люди чесались по ночам, как шелудивые собаки. Рожественский приказал бункероваться немного выше предельной нормы, отчего корабли осели намного ниже ватерлиний. Эйлер сказал Коковцеву, что океан не прощает таких перегрузок, метацентры кораблей критически изменились:

— При волнении это грозит кое-кому опрокидонтом.

— Не первый раз. Леня! Пока обошлось...

3 марта Коковцев был разбужен звонками. Он поспешил в салон адмирала с вопросом — неужели Небогатов на подходе?

— Мне он не нужен, — отвечал Рожественский, волоча ногу по коврам. — Напротив, мы... удираем от Небогатова ! Если он сыщет мою эскадру в океане, приму. Не найдет — не надо.

Тронулись! Два французских эсминца провожали эскадру, наигрывая оркестрами "Марсельезу", потом отстали, засыпанные искрами шлака, вылетавшего из труб броненосцев. Миновав рифы и узости, эскадра обогнула Мадагаскар с норда — впереди распахнулся океан. Армада двигалась в двух кильватерных колоннах. К вечеру на палубах зажгли пиронафтовые фонари, в синеющих сумерках возникло видение

плывущего города. С мостиков казалось, будто в океане кто-то осветил великолепный проспект, и сигнальщики удивлялись даже:
— Светло, как на Невском! Только Марусек не видать...
Опустилась удушливая неспокойная ночь. Южные созвездия смотрели на аргонавтов чужими, азиатскими, глазами.

Рожественский никого из подчиненных в свой внутренний мир не допускал; Коковцеву было лишь известно, что он счастливо женат, у него одна дочь, он имеет казенную квартиру в Петербурге и пожизненную пенсию в шестьсот тридцать рублей, полученную за подвиги в войне за освобождение Болгарии... В одну из лунных ночей, посреди Индийского океана, в трепетном мигании созвездий, Зиновий Петрович разнежился в удобном лонгшезе и тихонько, чтобы не слышали сигнальщики, вдруг заговорил о своей молодости.
— Помню, я был лейтенантом, в Одессе у меня завелся хороший приятель, преподававший словесность в частной гимназии полковника Хотовицкого. Я в ту пору командовал миноносцем. Мы с этим учителем, веселые и молодые, иногда брали корзину с вином и фруктами, до утра уходили далеко в море. Это были волшебные ночи... — Он замолк, а Коковцев тактично ему не мешал. — Я забыл вас предупредить, — сказал адмирал, — что моего приятеля звали Андреем Ивановичем Желябовым! Для меня дружба с этим человеком прошла, к счастью, без ущерба для карьеры. Но иногда я с душевным содроганием думаю — ах, судьба! Какие странный зигзаги выписывает она порою... Один из нас повис в петле как государственный преступник, а другой ведет эскадру в Индийском океане, как доверенная особа из свиты Его Императорского Величества...
Коковцев, выждав деликатную паузу, спросил адмирала — каким проливом пойдет эскадра? Начинался восход солнца, и его лучи предательски высветили помаду, втертую в морщины розового лица флотоводца. Он ответил с пожиманием плеч:
— Каким проливом? Я и сам пока что не знаю...
"В самом деле, — думал Коковцев, — куда он тащит нас?" Об этом рассуждали и офицеры в кают-компаниях:
— Английский адмирал Фримэнтль сделал в печати заявление, что,

будь он на месте Рожественского, он бы повел эскадру вокруг Австралии, огибая ее с южной стороны.

— Чепуха! Мы развалимся по дороге, как старые телеги. Лучше следовать через Зондский пролив между Явой и Суматрой.

— Простите, коллега, но Япония заранее послала Голландии энергичный протест, чтобы мы не входили в ее воды.

— Тогда остается пролив Малаккский?

— О нем и думать нельзя: у Сингапура нас не пропустят англичане. Того уже сторожит нашу эскадру в проливах.

— А не вернуться ли нам в Либаву? Ха-ха-ха...

За двадцать три дня пути было пять бункеровок в открытом океане, экипажи проделали эту каторжную работу без ропота, почти вдохновенно. Вдали от берегов, где не надо бояться шпионов, Рожественский вдруг объявил, что эскадра пойдет Малаккским проливом — под самым носом англичан. При вхождении в пролив корабли, маскируясь от наблюдения, осветились синими огнями. Слева тянуло ароматами Азии, справа темнели берега Суматры с запахами пряностей. Случайный пароход, ослепленный прожектором с крейсера "Жемчуг", быстро юркнул в ночную темень, словно испуганная ящерица в тень. На мостике "Суворова" разом заговорили сигнальщики:

— Во, зараза паршивая! Завтра же растрезвонит по всему свету, что мы ползем мимо Сингапура.

— А где же Того, братцы? Неужто задрых в Сасебо?

Сингапур эскадра проходила в торжественном молчании средь бела дня — назло англичанам! Город просверкал им издали, весь в зелени, словно курорт, но два британских крейсера, отлично видимые с моря, уже подымливали из труб, готовые сорваться по следам русской армады.

— Сейчас они Того разбудят, — решил Игнациус. Рожественский высился на мостике своего флагмана, выделяясь среди людей своей могучей осанкой и надменным взором громовержца. Что думалось ему сейчас? — К повороту! — скомандовал он... Форштевни броненосцев раздвинули перед собой волны уже не Индийского, а Тихого океана. Южно-Китайское море нехотя выстилалось под тяжкими килями. Коки

нещадно резали на палубах кур и потрошили свиней, взятых на Мадагаскаре, корабельные рефрижераторы напичкали мясом — подкормиться для боя. До этого капусту заменяли корнями маниока, вместо гречки варили рис, а макароны, по мнению флаг-интенданта, способны заменить кашу... Возле пушек, расставив ноги пошире, качались вахтенные комендоры; полусонные офицеры с надувными резиновыми подушками бродили по палубам и мостикам, отыскивая местечко, где бы можно было прикорнуть на ветерке, вне каютной духоты. Утром Рожественский собрал в салоне совещание.

— Первый номер в рулетку нами выигран, — сказал адмирал. — Мы избежали встречи с Того в Малаккском проливе, но мы не можем избежать встречи с эскадрою Небогатова...

Коковцев высказал то, что мучило его эти дни:

— Небогатов не навязывается нам в гости — он идет с нами в сражение, и лишать его этого удовольствия не следует... Хотя бы ради его полного боевого комплекта в погребах!

— Я не враг Небогатову, — пояснил Рожественский, — но я не выношу те археологические ископаемые, кото рые он тащит, запакостив полмира дымом доисторического происхождения. Какая нам польза от его броненосцев береговой обороны?

Игнациус, человек желчный, сказал, что думал, резко:

— Россия увлечена революцией, и если мы собрались говорить откровенно, то следует от фантастики наших решений перейти к деловым разговорам о заключении мира с японцами.

— Не ради мира я вел эскадру, — сказал Рожественский.

— А я не имел в виду ваше превосходительство, — язвительно отвечал Игнациус. — Но в Зимнем дворце должны бы и почесаться, пока нам, как говорят матросы, не сделали "крантик".

В утренней дымке пронесло силуэт четырехтрубного английского крейсера. Не успели опомниться от не ожиданности, как вдали, словно мазнули по горизонту акварельной кисточкой, показался второй британский крейсер.

— "Жемчуг" — на пересечку! — приказал флагман.

Англичане подняли издевательский сигнал: "Не различаю вашего флага. Прошу разрешения не салютовать". Все они различали через

оптику, но салютовать не хотели. Это было международное оскорбление, презентованное лично адмиралу Рожественскому. Русскую эскадру вдруг начал огибать по кругу и третий британский крейсер.

— Воронье... уже слетаются на наши кости!

Это ругались матросы. Игнациус опустил бинокль:

— Броненосный "Крэсси" — ходок отличный! Радиотелеграфисты улавливали из эфира внятную работу британских станций, и ни у кого на эскадре не возникало сомнений, что эти радиоимпульсы сейчас перехватывали японцы на аппаратах германской фирмы "Телефункен". Рожественский спокойным тоном просил Филипповского приготовить карты:

— От Гонконга до Владивостока! А вы, — обратился он к Коковцеву, — запросите все корабли эскадры, чтобы по точному обмеру бункеров доложили о количестве остатков угля...

К вечеру на "Осляби" приспустили до середины кормовой флаг, на мачту взлетел крест флага молитвенного: по своду он означал, что на борту броненосца появился покойник.

— Уж не Фелькерзам ли отдал концы? — обеспокоился адмирал. — Ну-ка, дайте семафор на "Ослябю": КТО УМЕР. ВОПРОС.

"Ослябя" дал ответ: "Лейтенант Гедеонов. Разрыв сердца". Рожественский отозвал Коковцева подальше от матросов:

— Смотайтесь катером до "Осляби", договоритесь с командиром Бэром, чтобы в случае смерти Фелькерзама спрятал его труп подальше, никому не объявляя о смерти моего младшего флагмана, пусть Бэр даст мне условный сигнал.

— Какой? — спросил Коковцев.

— Допустим, так: СЛОМАЛАСЬ ШЛЮПБАЛКА...

Корабельные сны — не береговые: усталый мозг продолжает фиксировать сипение пара в магистралях, чмоканье питательных донок, беготню по трапам, звонки с вахты и тяжкие удары железных дверей и люков. Коковцев проснулся от грохота цепей, убегавших в глубину моря за якорями. Эскадра вошла в бухту Камранг, расположенную к северу от Сайгона; слева зеленела земля Аннама (Вьетнама), колонизированного Францией.

— Владимир Васильевич, — повелел Рожественский, — вы ведь кавалер ордена Legion d'honneur, вам и пред стоит переговорить с французским адмиралом Жонкьером...

Жонкьер, милейший человек, сообщил Коковцеву, что за неделю до прихода эскадры японские крейсера Того обрыскали побережья Тонкина, Аннама, Камбоджи и Сиама, беззастенчиво заглядывая в каждую "дырку" этих захолустий.

— Впрочем, — добавил Жонкьер, — вы наши союзники, и я, верный союзному долгу, буду закрывать глаза на ваше пребывание в водах Аннама до поры, пока не поднимется шум о нарушении Францией условий декларации о нейтралитете.

— Благодарю и за это, — откланялся ему Коковцев.

В лесу разгуливали павлины, противно кричащие, а по ночам, пугая вахтенных, с берега грозно порыкивали тигры, зловеще стонали какие-то диковинные существа. Матросы говорили:

— Ой, до чего ж здесь паршиво! Хоть бы пришел Небогатов, и делу конец. Хуже того, что есть, уже не будет...

Зачем, спрашивается, Того иметь разведку, если разведку вела за японцев Англия, уже давно опутавшая Дальний Восток кабелями своих телеграфов. От наблюдения англичан не укрылась якорная стоянка русской эскадры; Токио, известись о ней, выразил Парижу протест, который поддержали, конечно же, и политики Уайтхолла...

Жонкьер, появясь на палубе "Суворова", заявил:

— Париж требует от меня, чтобы я настоятельно просил вашу эскадру покинуть территориальные воды Франции...

Весь апрель блуждали возле берегов Аннама, корабли едва шевелили воду винтами, давали от силы два-три узла, чтобы не транжирить напрасно запасов топлива. В ночных тренировках по отражению минных атак прожекторы, ощупывая горизонт, иногда освещали края облаков, отчего присутствие эскадры становилось видимо за шестьдесят миль. На рассвете 25 апреля флагман назначил в разведку крейсера "Рион", "Жемчуг" и "Изумруд", чтобы они отыскали следы пребывания Того или же обнаружили контакт с кораблями Третьей Тихоокеанской эскадры. Крейсера вернулись через день, не отыскав

ни Того, ни Небогатова: океан был пустынен, как заброшенное кладбище. Вдруг, не веря своим ушам, радиотелеграфисты выудили из какофонии эфира переговоры "Владимира Мономаха" с "Николаем I", флагманским броненосцем Небогатова. Рожественский сразу же развернул свою эскадру на эти далекие голоса. Из белесой мглы океана сначала выступили пышные букеты дымов, затем мачты и трубы старых броненосцев России... Наблюдая за их появлением, Зиновий Петрович заметил с некоторым сарказмом:

— Того не верил, что я рискну пройти мимо Сингапура, и его крейсера напрасно дежурили в воротах Зондского пролива. Допустив промах, он не мог пове рить, что Небогатов совершит глупость, вторично после нас пройдя Малаккским проливом. Того, как верный Трезор, опять-таки напрасно караулил его возле берегов Голландской Батавии... Забавный анекдот, господа!

При встрече эскадр было так много слез радости и криков восторга, будто на перепутье жизни после долгой разлуки встретились счастливые родственники. В пять часов дня Небогатов поднялся по трапу на борт "Суворова". В свите флаг-капитанов Коковцев сопровождал флотоводцев до салона в корме, невольно прислушиваясь к их милой перебранке.

— Вы очень быстро нагоняли меня, — заметил Ро- жественский. — Я никак не ожидал такой прыти от вашей рухляди.

Небогатов, упитанный и флегматичный, сказал:

— А вы убегали от меня с такой поспешностью, словно не хотели долгов отдавать. Между прочим, я ведь не знал, где ваша эскадра. Сам Господь Бог натолкнул меня на вас!

— Николай Иваныч, этот бог называется радио...

Вечером в раздевалке офицерской бани Коковцев разговорился с Эйлером, который с усмешкой спросил его:

— Столковались ли наши Монтекки и Капулетти?

— Небогатов выбрался от Зиновия, словно морж из проруби, фыркая оглушительно... Зиновий погнал его дальше в Дайотт, где он сначала забункеруется, а потом можно и в путь!

— Я слышал, Фелькерзам плох, правда? — Эйлер сидел на скамье, царапая пальцами жирную грудь, покрытую расчесами и тропической

сыпью. — А если Фелькерзам вылетит в мешке за борт, кто заменит тогда убитого Рожественского?

— Не спеши, Леня! Его еще не убили...

28 апреля Рожественский издал приказ, который лучше бы и не читать! Поздравляя команды с прибытием эскадры Небогатова, он каждый абзац начинял страхом, как патрон начиняют порохом: "У японцев больше быстроходных судов... У японцев гораздо больше миноносцев... У японцев важные преимущества перед нами... Японцы беспредельно преданы родине и престолу... Но и мы клялись перед Престолом Всевышнего..."

И вот настал великий день — 1 мая 1905 года!

Россия отмечала его маевками, улицы городов заполнили демонстрации революционной молодежи, на окраинах ревели бастующие заводы, рабочие дрались с полицией, лилась кровь. Именно в этот день Рожественский указал служить молебны с водосвятием, а священника броненосца "Суворов" одернул:

— Только покороче, отец Палладий: пора в море!

Первый день уверенно держались на девяти узлах, без аварий и простоев, транспорта тащили на буксирах миноносцы. Македонский, старший офицер "Суворова", все удивлялся:

— Почему Зиновий так и не созвал военного совета? Даже младшие флагманы не извещены о тактике пред стоящего боя... Господа, но ведь в наше время даже в ресторан с дамою никто не ходит без четкого плана!

— Прём на рожон, — сказал лейтенант Кржижановский.

— Игра в рулетку, — добавил лейтенант Богданов.

— А не продуемся? — спросил мичман Кульнев.

Игнациусу пришлось вмешаться, чтобы разговор не перешел в открытую брань по адресу адмирала. К ночи транспорта прятались внутри боевой эскадры. Корабли тушили топовые огни на мачтах, а гакабортные фонари светили вполнакала. Переговоры велись клотиковыми "мигалками". И только госпитальные суда, с женщинами в командах, оснащенные лечебными кабинетами, операционными и аптеками, несли на себе полное освещение, отчего над ними постоянно струилось до небес волшебное мирное зарево. В небе ярко

отпечатался Южный Крест, но уже завиднелась Большая Медведица, напомнив морякам о милой покинутой родине. От Петербурга до этих мест было уже семь часов разницы во времени по долготе, и Коковцев ночью живо представил себе квартиру на Кронверкском проспекте, залитую утренней свежестью; Ольга в халате, чуть позевывая, делает бутерброд для Игоря; Никита, наверное, марширует из дортуаров Морского корпуса в классы по навигации, а старший сын...

Старший здесь, он рядом, по траверзу — на "Осляби"!

Вровень с "Суворовым", загребая носом толщу океанской воды, нерушимо и тяжко проплывал "Ослябя". В эту первомайскую ночь Коковцев вложил в бумажник фотографии жены, уже недоступной, и своих детей, очень далеких от него.

Руку привычно облегал браслет: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ.

...Я, читатель, не рискну описывать всю полноту сражения при Цусиме, желая показать лишь те события, которые могли войти в кругозор одного героя, и этим я, конечно, сужаю подлинную картину боя до самых критических крайностей.

Корабельные сберкассы уже вывесили объявления: вкладчиков просим забрать свои деньги! Было достаточно жарко...

В кают-компании "Суворова" офицеры прикончили ящики с пивом, купленным в Ван-Фонге с немецкого углевоза. Эскадра миновала Формозу и Филиппины, но еще никто не знал, куда поведет ее Рожественский. Это неведение главного вопроса порождало массу соображений. Среди офицеров имелось немало сторонников обойти Японию даже с восточной ее стороны.

— На худой конец, — утверждалиони, — можно обогнуть и Сахалин, чтобы прошмыгнуть Татарским проливом.

— Ого! Через Федькин огород до Парижу?..

Коковцеву эти разговоры прискучили:

— У нас есть наикратчайший путь: мимо Цусимы...

Днем флагман пытался эволюционировать, но корабли Небогатова маневрировали скверно, и Зиновий Петрович, не стыдясь сигнальщиков, обложил коллегу матом, сказав: "Из всех видов построений Николаю Иванычу удается пока один — куча..." С мая

адмирал хотел догрузить корабли углем с транспортов, заранее оповестив эскадру, что это будет последний аврал перед боем. Но появилась резкая качка, бункеровку пришлось отложить. Справа по борту сгинули острова Лиу-Киу, южнее остались острова Миу-Киу, принадлежащие микадо. Сыпал неприятный дождик, барометры предсказывали понижение температуры. После пребывания в тропиках люди недомогали: кашель, ломота в костях, судороги в мышцах. Флагманский врач настаивал, чтобы команды облачились в сукно. Ночью горизонт пронзало росчерками молний. Термометры показывали плюс двенадцать. Санитары таскали по кубрикам касторку, хинин и аспирин для заболевших матросов. Классные специалисты и кондукторы (кроме машинистов и кочегаров) прицепили к поясам заряженные револьверы. Утром врачи гнали офицеров обратно по каютам, чтобы надели походные тужурки:

— Как вы можете в кителях? Вы же простудитесь...

Туманное утро началось последней бункеровкой. Корабли поглощали в разъятые прорвы бункеров свой хлеб насущный — уголь! Главная забота: как бы распихать его по отсекам побольше, а где выспаться — об этом старались не думать. Дождь прибил на палубах черную пылищу, она тут же превратилась в черную слякоть. Как бы люди ни стремились к чистоте, все равно разносили ногами эту грязь по жилым отсекам, рубкам, трапам и мостикам. Усталые матросы отмахивались:

— Вот сделают нам крантик — и враз отмоемся...

Перегруженные углем, броненосцы настолько осели своими брюхами, что издали напоминали плоские мониторы. Эйлер стал доказывать Коковцеву, что, утопив броневые пояса, корабли оставили снаружи только незащищенные борта:

— Теперь это даже не броненосцы, а корабли какой- то еще никому неведомой в мире классификации.

— Сам вижу, — огрызнулся Коковцев. — Но ты пойми, что надо выдержать бой и добраться до Владивостока...

Их перебранку пресек истошный вопль сигнальщика:

— "Ослябя" несет сигнал: СЛОМАЛАСЬ ШЛЮП БАЛКА.

Итак, Фелькерзама не стало! Но флаг покойника продолжало трепать ветром на грот-стеньге "Осляби" -Рожественский пожелал скрыть эту

смерть от экипажей. Втиснутый в запаянный свинцовый гроб, младший флагман лежал под судовыми иконами, отныне его уже ничего не касалось... 12 мая адмирал отпустил в Шанхай все транспорта, оставив при эскадре лишь три быстроходных. На боевых кораблях сооружали ограждения от осколков, составленные из противоминных сетей, из баррикад матросских коек, свернутых в крепкие плотные коконы. Среди офицеров не утихали споры: какой путь изберет Рожественский мимо Цусимы — пойдет ли он вдоль берегов Кореи проливом Броутона или проливом Корейским у берегов японских?

Флагманский штурман Филипповский сказал:

— Идти надо у берегов Японии, ибо пролив Броутона сужается к северу, а Корейский расширяется, как воронка, что и выгодно нам для развертывания к бою...

Тактически это верно! Броненосцы погружались в океан по самые носовые башни, потом их форштевни возносило кверху, с покатых палуб схлестывало за борт пенные каскады свирепой воды. Качало. В офицерском буфете звенела посуда. Все удивлялись, что эскадра едва тащилась на пяти узлах. Чем это вызвано? Нашлись умники, подсчитавшие, что на такой скорости соприкосновение с Того у Цусимы возможно 13 мая — в пятницу. Старший офицер Македонский высмеял эти расчеты:

— Господа, внесите поправку на суеверие! Зиновий Петрович нарочно убавил обороты винтов, замедлив эскадренный ход, чтобы ни в коем случае не сражаться тринадцатого числа, да еще в пятницу... Встреча с эскадрою Того может произойти не раньше четырнадца того мая — в субботу!

Рожественский не покидал штурманской рубки "Суворова"; полеживая на диване с папиросой в зубах, флагман читал на английском языке Блаватскую — о фокусах индийской магии.

— Добрый вечер, — сказал он Коковцеву. — Что там?

— Пока все тихо. Японцев в эфире не слыхать.

— А вам не кажется, милейший Владимир Василь евич, что от самой Формозы японцы нашей эскадры не могли видеть?

— Согласен. Визуального соприкосновения не было. Но зато нас под хвостом усердно обнюхивали англичане...

Однако догадка Рожественского (чисто интуитивная) оказалась верной: 12 и 13 мая адмирал Того ничего не знал о координатах русской эскадры. Его броненосные силы, бесцельно пожиравшие массы угля и тонны смазочных масел, горы рассыпчатого риса и цистерны крепкой сакэ, торчали у берегов Кореи, готовые по первому сигналу сорваться с якорей...

Настала ночь. Игнациусу не спалось. Он позвал Коковцева в командирский салон, обвешанный циновками и обложенный коврами. За чаем он сказал, что перед смертью принял ванну.

— Ты надоел мне с этим! К чему думать о смерти?

Игнациус капнул себе на бороду вареньем с ложечки.

— Мы же — флагманский броненосец, пойми ты, Володя. Значит, все первые и самые крупные шишки полетят в нашу голову. Как бы то ни было, — сказал Игнациус, вытирая бороду салфеткою, — а мы обязаны спасти адмирала. Небогатов не обладает таким авторитетом, как наш Зиновий... В случае беды флагмана должны снимать с "Суворова" миноносцы "Бедовый" или" Быстрый" — какой раньше подскочит, тот и снимет!

— О чем ты? — отвечал Коковцев. — У нас двенадцать в броне, у Того двенадцать... игра будет равная.

— Не забывай, что в запасе у Того два-три узла лишку...

Ночь. Непроницаемая. Молчащая. Жуткая.

В этой ночи броненосцы тащили под своими килями громадные "бороды" тропических водорослей, волочившихся за ними, что тоже снижало эскадренную скорость. У японцев же таких "бород" не было: они заранее прошли чистку в доках Сасебо; сколько положено дать узлов, столько и дадут — без помех!

Эскадра приближалась к Цусиме в составе тридцати восьми вымпелов, из которых только тридцать имели боевое значение, остальные: транспорта, буксиры, плавучая мастерская, два госпиталя. "Искровой телеграф", как тогда называли радиоаппараты, принимал обрывки депеш на японском языке. "Урал", обладавший самой мощной радиостанцией, запрашивал разрешения адмирала — глушить работу радиостанций противника. Но Рожественский в этом случае оказался

грамотнее других, строго запретив эскадре вмешиваться в близкие переговоры японских кораблей.

— Если мы это сделаем, — разумно доказывал он, — японцы сразу же засекут нас, понимая, что мы находимся рядом...

На мостиках кораблей лежали мешки с кирпичами — на случай срочного затопления в них сигнальных книг и секретной документации. Казначеи сволакивали ближе к люкам железные сундуки с золотом и деньгами — тоже для затопления. Все эти необходимые церемонии проделывались без суматохи, никого, не пугая... Война есть война!

На мостике тревожно спал адмирал Рожественский; тяжелые веки его глаз иногда поднимались, глаза оглядывали горизонт, он снова задремывал, склоняя на грудь белую голову.

— Орите потише, — просили офицеры сигнальщиков.

На рассвете с "Авроры" заметили белый стремительный корабль, сказочно пролетавший через хмурую мглу; его привлек яркий свет, исходивший от госпитальных судов, и он не был задержан кораблями эскадры для проверки.

— Очевидно пассажирский, — гадали на "Суворове".

Македонский шепотом подсказал Игнациусу:

— Это был их крейсер "Синано-Мару"... Все! Да, теперь все. Они открыты, они разоблачены. Над "Суворовым" взвились флаги: ГОТОВНОСТЬ К БОЮ.

— А что эти плавающие дворцы медицины? — спросил адмирал раздраженно. — Или для них закон не писан?

Рожественский не запретил яркое освещение "Костромы" и "Орла", но велел госпиталям идти в отдалении. Стучащие аппараты "Слаби-Арко" вытягивали из себя длинные бумажные ленты, на которых молоточек выбивал одно и то же сочетание: "ре-ре-ре-ре..." — очевидно, Того давал позывные какого-то своего корабля. Радиотелеграфисты ругались:

— Какой уж час он, паразит, одно и то же колотит... Коковцев спустился в кают-компанию броненосца, там, на диванах, даже не скинув обуви, в походных тужурках подремывали артиллерийские офицеры — лейтенант Богданов и мичман Кульнев.

— Господа, чего вы тут кейфуете?

— Я заведую подачей из погребов, — объяснил мичман.

— А я с ближних плутонгов, — ответил лейтенант. — Если что брякнет, мой пост рядышком. Не волнуйтесь.

Коковцев и не думал волноваться. Он-то знал, какую скорость может развить человек на трапах и в люках, когда его призывают на боевой пост колокола громкого боя.

— Тогда и я прилягу, господа, вместе с вами...

За бортом тихо шелестела вода океана. Неожиданно для себя Коксзцев крепко уснул и был пробужен радостным перезвоном бокалов. Он открыл глаза и сел на диване. Кают-компания была переполнена офицерами разных возрастов и рангов, вестовые с азартом открывали шампанское.

— Что празднуете, господа? — спросил Коковцев.

— Японский крейсер. По правому траверзу. Видите?

— Тогда налейте и мне, господа!

— Эй, чистяки! Бокал господину флаг-капитану...

Старший офицер Македонский чокнулся с Коковцевым:

— Кажется, вровень с нами шпарит "Идзуми". Врезать бы ему хорошего леща под винты, чтобы отлип от славян. А то ведь он все уши прозвонил Того своими сигналами...

Серенький рассвет не спеша разгорался над океаном.

— А где мы сейчас идем? — зябко поежился Коковцев.

— Идем к Цусиме... прямо через воронку! Буль-буль...

Откуда столько веселья, почему так радостны лица?

В дверях кают-компании появился Игнациус, укладывая в портсигар три гаванские сигары, при этом он мрачно сказал:

— Думаю, что до конца жизни мне хватит...

Шампанское разливали чересчур щедро, брызжущее искрами вино беззаботно проливалось на ковры, на скатерть.

— Ну, с Богом! Сейчас начнется.

— Дождались... наконец-то! — радовались мичмана.

— Господа, за прекрасных женщин, что ждут нас. Македонский призывал молодежь:

— Будем же свято помнить, что славный андреевский флаг не раз

погибал в пучине, но еще никогда не был опозорен!

Забежав в каюту, Коковцев сдернул с вешалки тужурку, глянул в иллюминатор -да, сомнений не было, это "Идзуми". Память точно подсказала все данные: японский крейсер нес на себе четыре восьмидюймовых и двенадцать шестидюймовых орудий, а его германские машины могли развить двадцать с половиной узлов.

— Недурно для тех, кто в этом деле что-либо кумекает. — Сказав так, Коковцев бодро взбежал на мостик. — Да не листайте таблицы — это "Идзуми"... Его надо накрыть. Накрыть немедленно... Полным залпом, иначе...

В этот момент обтекаемый силуэт японского крейсера, обрамленный белым буруном, показался ему даже красивым. Пользуясь выигрышем в скорости, "Идзуми" то легко опережал русскую эскадру, то резво отбегал назад, словно рысак, гарцующий в манеже. На "Суворове" пробили барабаны музыкантов.

— На молитву — пошел все наверх! Ходи веселей до церкви...

— Да отгоните же "Идзуми", — призывали с мостиков. Кормовая башня "Суворова" вперилась в наглеца жерлами пушек, и тогда "Идзуми" поспешно вильнул в сторону. "Ослябя" высоко-высоко нес флаг адмирала Фелькерзама, и Коковцеву вдруг стало нехорошо от сознания, что его сын, его любимый первенец вступает в битву под флагом... покойника .

В отдалении, зыбко и расплывчато, уже возникали силуэты еще шести японских крейсеров.

Рожественский неторопливо откинул с колен шерстяной плед, выбрался из удобного лонгшеза. Сказал:

— Это пока разведка. Времени у нас достаточно... Кстати, арестованным и осужденным можно дать для боя свободу!

Внешне на эскадре ничего не изменилось, и лишь слабое передвижение башен и дальномеров указывало на то, что корабли не вымерли. Но стоит заглянуть в тесноту отсеков, как слух наполнится шумами моторов и шипением гидравлики, звонками телефонов, окриками через амбушюры переговорных труб, здесь все в движении, а мускулы людей иногда перегоняют скорости механизмов, воют элеваторы подачи снарядов, по изгибам магистралей, опутывающих

изнутри корабль, словно вены и артерии организм человека, помпы перегоняют воду, в них быстро пульсируют технические масла и глицерин, шумно ревет мощная вентиляция, алчно засасывая в отсеки лавины свежего воздуха, а палубные раструбы тут же выбрасывают в атмосферу массы воздуха отработанного, уже испорченного...
Вот это живое теплое существо и называется кораблем!

Где-то во мгле, прямо по курсу, едва угадывалась Цусима; зыбь шла от норда — навстречу кораблям, сумрачный горизонт визуально "прощупывался" до семи миль. Японские крейсера держались правого траверза, подробно информируя Того по "Телефункену" обо всех эволюциях русской эскадры. Рожественский выглядел спокойным, как были спокойны и его экипажи. Около одиннадцати часов дня флагман распорядился:
— Алярм бить рано! Команды имеют время обедать.
Безмолвный поединок с крейсерами затянулся. Тут не выдержали нервы комендора с броненосца "Орел" — он ударил по "Касуга" снарядом. Орудийная прислуга других кораблей восприняла этот нечаянный выстрел за сигнал флагмана, и вмиг заработала артиллерия всей эскадры, опахивая ее борга ярким пламенем залпов. Рожественский поднял над "Суворовым" соцветие флагов: ДАРОМ СНАРЯДОВ НЕ КИДАТЬ. Японские крейсера исполнили поворот "все вдруг", поразив окраскою, позволявшей им быстро сливаться с мутью океанского горизонта. Рожественский указал:
— Курс — норд-ост, двадцать три градуса, направ ление - Владивосток.
Не покидая постов, возле механизмов и пушек, матросы наспех глотали из мисок, зажатых между колен, опостылевшую баланду. Офицеры срывались по трапам в буфет, чтобы перекусить до боя, и снова разбегались по местам. Замелькали балахоны врачей и санитаров, в корабельных лазаретах противно режуще звенела их никелированная, отточенная техника. Флагманский священник Палладий обходил батареи броненосца, окропляя с метелочки фугасы, снятые с лотков электрических элеваторов. В коридоре между каютами Коковцев торопливо разминулся с Эйлером.

— Трюмно-пожарный дивизион в порядке?

— Да. Иду управляться. А ты, Вова?

— Мое дело проще — быть у адмирала на побегушках...

Эскадра уже миновала узость Корейского пролива, выстроясь в две кильватерные колонны, сбоку скользили крейсера и миноносцы, строй замыкали госпитальные суда. Поодаль из тонких "карандашей" труб отчаянно дымила плавучая мастерская "Камчатка", половину экипажа которой составляли питерские рабочие — добровольцы!

Старший офицер Македонский поторапливал людей:

— По местам, по местам! Того на подходе...

Желтое знамя Того реяло над броненосцем "Миказа". Коковцев поднялся в боевую рубку; здесь было не повернуться от множества офицеров и кондукторов, застывших возле приборов управления и расчетов стрельбы. Очень быстро наплывали с норда дымы броненосных сил Того, Клапье де Колонг докладывал о них так, словно читал раскрытую книгу:

— "Сикисима", "Асахи", "Фудзи", "Ниссин" и...

— Хватит! — велел ему флагман. — Здесь все!

Коковцев с особой ненавистью следил за крейсером "Идзуми", и эту ненависть разделяли сигнальщики на мостике:

— С утра пристал словно банный лист и не отлипнет... Во, гадьё какое! Всыпать бы ему соли под кормушку...

Слева по борту двигался "Ослябя", а там, укрывшись под накатом башенной брони, плыл в сражение его сын, его кровь, его мозг, его характер... "Господи, спаси и помилуй Георгия!"

Стрелки машинных тахометров показывали шестьдесят восемь оборотов.

— Тринадцать сорок пять, — доложил время флаг манский штурман Филипповский.

С клацаньем упали на окна рубки броневые щитки, и Рожественский озирал противника через узкие смотровые щели:

— Я не понимаю Того, что он делает? И — зачем?

Взгляд на тахометры: шестьдесят восемь оборотов на винты давали лишь девять узлов. Коковцев обратился к сигнальному кондуктору:

— А сколько выжимают японцы?

— Кажись, шашнадцать... сссволочи! Хороши бегать.

Форштевень "Миказа" крошил под собой высокий бурун. Того начинал охват головы русской эскадры — так гигантский питон боа обнимает свою жертву за глотку, почти ласково, и Коковцев ужаснулся от увиденной им картины: все это было ему до боли знакомо — японцы "ставили палочку над "Т""!

— Того делает crossing the "Т", — доложил он флагману.

Идеи адмирала Макарова предстали в наглядном действии: японцы прикладывали к русским русскую же тактику. Зиновий Петрович уже почуял угрозу ведущим броненосцам, "Суворову" и "Осляби", он удачно и вовремя склонил эскадру на два румба вправо. Этим флагман избежал охвата своей "головы", но при повороте противники неизбежно выкатились килями на параллельные курсы. Сигнальный кондуктор прикинул дистанцию:

— До япошек тридцать пять — сорок кабельтовых.

— Алярм! — повелел Рожественский...

Башни передовых броненосцев извергли пристрелочные снаряды. Увлеченные началом поединка, флагманские специалисты не заметили, что японские крейсера, забежав в "хвост" русской эскадре, отсекли от нее и тут же взяли на абордаж госпитальные суда, плывущие под красным крестом милосердия. Отныне тонущие не будут иметь спасения, а раненые могут найти медицинскую помощь только в корабельных лазаретах...

Коковцев слышал над собой странный шорох и невнятное бормотание, какое он слышал однажды в Алжире, когда из пустыни летела саранча. Не понимая причины этих звуков, каперанг выставился наружу из боевой рубки и заметил движение японских снарядов: отлично видимые в полете, они кувыркались будто городошные палки. А вдалеке японские крейсера пытались накрыть старый броненосец "Николай I", на котором держал флаг Небогатов, но стреляли плохо — на недолетах. Удивительно, что снаряды японцев -даже при ударе об воду! — давали высоченные всплески разрывов, украшенные шапками черного или желто-лимонного дыма. "В чем дело?.." Коковцева тешило сознание, что взрывное устройство русских снарядов разрывало их лишь после пробития брони, внутри японских кораблей. Так ли это?

— Но где же дым? — спросил он Богданова.

— Наши дыма не дают, оттого и пристрелка у нас — дерьмо!

Игнациус повелительно указал Коковцеву:

— Сейчас же закрой двери в рубку — башку снесет.

Коковцев пренебрег советом, наблюдая за "Ослябей": броненосец, пропуская перед собой "Орла", не только уменьшил ход, но временно застопорил машины, развернувшись к неприятелю бортом. Этого было достаточно: шесть японских крейсеров оставили "Николая I" в покое, сразу вцепившись в "Ослябю" "клыками" своих главных калибров... Коковцев крикнул в рубку:

— "Ослябя" в пробоинах... пожар в центре!

— Задраишь ты двери или нет?! — выругался Игнациус.

Коковцев захлопнул за собой пластину брони, чтобы не видеть "Осляби". Посреди рубки лежал сигнальный кондуктор. У него не было половины лица, отсеченной осколком, залетевшим внутрь рубки через узкую боевую прорезь.

— Адмирал уже ранен, — хмуро сообщил Филипповский.

По затылку Рожественского стекала кровь.

— Не стоит вашего внимания, — ответил он на вопросы о самочувствии. — "Единицу" не спускать, а курс иметь прежний...

Голос его звучал свежо. На мачте развевало бело-синюю "единицу", означавшую: бить по головным кораблям противника. Но японцы тоже стреляли по ведущим броненосцам Рожественского, и, прильнув к боевой щели, Коковцев видел, как быстро разгорается пожар над "Ослябей", а его первая башня, в которой замурован мичман Георгий Коковцев, высаживала по кораблям Того снаряд за снарядом...

"Боже праведный, что я скажу Ольге... что?"

"Ослябя" умирал. Но умирал героической смертью. Как и знаменитый инок Ослябя, павший в битве на поле Куликовом.

Недостаток в скорости, пусть даже малый, постепенно превращал русские корабли в мишени для японских снарядов.

— Уже горим, — деловито произнес Игнациус и, словно ему не хватало дыма сражения, воткнул в рот сигару...

Грохот от попаданий был такой, что рубка подпрыгивала на барбете, а

сам броненосец напоминал прокатный цех в разгар рабочего дня. Рожественский приказал Коковцеву пробиться через пылающие ростры на ют, дабы приготовить командный пост в корме, ибо носовой скоро будет разрушен. Что-то огненное врезалось внутрь рубки, из-под бронированных козырьков брызнуло во все стороны тысячами искр, люди мгновенно схватились за грудь, давясь кашлем от газов, заглатывая в свои легкие белые невесомые хлопья, похожие на клочки ваты. Рожественский, громко простонав, схватился за бок — покачнулся.

— Санитаров с носилками! — крикнул Игнациус.

— Нет, — выпрямился адмирал. — Не надо... пусть берут других. Они, да, пристрелялись, — сказал он о японцах. — Но мы ведь тоже не дурачки... Продолжать движение!

Поручни трапа, уже раскаленные, обожгли ладони Коковцеву, "Суворов" горел (а как горел, сохранилось свидетельство: "сгорали надстройки, шлюпки, настилы палуб... каменный уголь, сухари, тросы, резиновые шланги, койки матросов и все другое..."). Флаг-капитан закрывался от жара руками.

— А это еще что? Неужели "Ослябя"?

"Ослябя" нес красно-синий флаг — "како": "Не могу управляться!" Но в ту же секунду пламя спалило фалы, сигнал бедствия исчез в пламени. Продолжая стрелять, броненосец выкатился прочь из кильватера, его борта были разворочены, огонь бушевал на уровне мачт, носом он оседал в море по самые клюзы. При таком дифференте "Ослябя" начал ложиться на левый борт, как бы в предсмертном изнеможении. Его трубы поливали холодные волны густейшим и черным дымом, а люди, подобно букашкам, сыпались в море... Все это Коковцев наблюдал своими глазами, а в мозгу пульсировала прежняя мысль: "Но что я скажу Ольге? что я скажу? что?.."

Носовая башня мичмана Коковцева изрыгнула последний залп. Этот залп — последний! — пришелся уже в воду.

Правый винт броненосца еще вращался, с ненасытной яростью рассекая задымленный воздух. Из кормовых кингстонов "Осляби" вдруг выбило чудовищный водяной фонтан — так высоко, будто заработал петергофский "Самсон", извергающий воду из разодранной

пасти льва! Это был конец... К месту гибели броненосца спешили "Бравый", "Буйный" и "Быстрый", за ними торопился буксир "Свирь"; они стали выхватывать людей из воды, реверсируя машинами то вперед, то назад, чтобы сбить пристрелку японцев по этому скоплению погибающих людей и кораблей, их спасающих... "Туда лучше не смотреть! Спасут ли они сына?"

Коковцев проник на ростры, где матросы разносили шланги, уже все иссеченные осколками, из рукавов выметывало тонкие струи воды, поливая мертвецов, разбросанных взрывами в самых причудливых позах. Здесь же умирал старший офицер Македонский, ползая

среди воды и огня, а вместо ног за ним волочились грязные штанины, из которых торчали раздробленные кости голеней... Коковцев пробивался дальше — к юту!

— Никола Святой, но что я скажу Ольге?

Только сейчас он заметил, что "Суворов" выписывает сложную циркуляцию, — значит, рули заклинило, но следующие за ним корабли, не зная того, пристраивались в кильватер флагмана. Повторялась ситуация, подобная бою Порт-Артурской эскадры, когда был убит адмирал Витгефт... "Но жив ли еще Рожественский?" Из огня пожаров — знакомый голос:

— Не шалей, братцы! Давай воду... качай, разноси! Это командовал трюмно-пожарным дивизионом Эйлер.

— Леня, — позвал его Коковцев, — ты жив?

— И ни царапинки... будто заговоренный!

Коковцева что-то шмякнуло в спину, и он присел:

— А я... уже. Получил. Да. Но мне в корму... в корму... Это счастье, что не мог пробиться на кормовой пост сразу: там все было размозжено. Мертвые валялись, отброшенные взрывом к переборке поста. Чья-то рука в кожаной перчатке еще сжимала бинокль. Но броненосец — факел огня! — катился дальше на циркуляции, и было непонятно, как работают его машины...

— Люди-и-и... — звал кто-то. — Спа-а-асите-е-е...

Волна горячего воздуха приподняла Коковцева над пожаром и удивительно мягко распластала на палубе: это взорвало кормовую башню, ее броневая крыша рухнула на ют, свергая на своем пути все

надстройки, расплющивая все живое...

Перед Коковцевым возникла фигура матроса:

— Тебе помочь? — спросил он на "ты".

— Я сам, — начал подниматься Коковцев.

— "Сисой"-то горит, — сказал матрос, помогая ему.

— Все горим... Пить! Пить хочу.

— Да где взять? Лакай из шлюпок... эвона!

Из шлюпок броненосца, пробитых осколками, били упругие струи воды. На переходах трапов матросы с матюгами раскидывали "траверзы" пылающих коек. Санитары волокли раненых, оравших от боли. Новые разрывы обрывали их крик, а санитаров сметало в море, как мусор. В этом хаосе Коковцева вежливо позвали из противоминной батареи, предложив ему... чаю! Сверкая начищенными ботинками, при накрахмаленной манишке с галстуком-киской, украшенным жемчужиной, в башне сидел мичман Головнин, любезно протягивая флаг-капитану бутылку с чаем.

— Холодный, — сказал он. — Но это сейчас и лучше.

— Благодарю. А что у вас с башней?

— Заклинило... язву! Не провернуть... Сейчас допьем с ребятами чаек и грянем тушить пожары. А что еще-то делать?

Все это в грохоте, в треске. Ветер на повороте отнес дым в сторону, и Коковцев показал Головнину, что мачт на "Суворове" уже нету, но мичман не удивился, говоря:

— Все-таки по "Миказа" мы врезали разочек или два под самую печенку Того. "Идзуми" от "Осляби" тоже досталось.

Коковцев просил его посмотреть — что там, на спине, жалуясь, что штаны намокли от крови. Головнин откинул броняжку.

— Санитары! — позвал он. — Извините, господин флаг- капитан, что отказываю вам, но я с детства... брезгливый.

— Не надо, тогда не надо, — заторопился Коковцев, благодаря артиллериста за чай, и броня двери захлопнулась за ним, снова запечатывая прислугу пушек в желез ной коробке...

Эйлер не получил еще ни одного ранения.

— Здесь, на рострах, жарко. Но жить можно, — сказал он. — А в батарейных палубах сгорели заживо. Им некуда было выйти,

переборки раскалены добела... Когда все это кончится, а?
— Скоро, — ответил Коковцев...
За ростpами, у входа в прачечную, пожилой кондуктор без руки целою рукой вставлял себе в рот дуло револьвера.
— Не глупи! — гаркнул ему Коковцев, подбегая. Ответ кондуктора поразил его спокойствием.
— Ты што? — спросил он. — Или слепой? Рази не видишь сам, какая тут кутерьма пошла... Если б я был глупым, так, наверное уже орал бы, что нас предали. Но я-то ведь не дурак и вижу, что влипли... как мухи в патоку. Уйди! Не мешай...
Гвардейский броненосец "Александр III" тоже горел.
— Но почему горим? — -скорчился Коковцев, отказы ваясь понимать, что случилось сегодня с ним и со всеми...
Пылающий "Суворов" еще двигался, он еще сражался, как и положено флагману, — до конца. Пока не сгорит. Пока не утонет. Японский вице-адмирал Хико-нодзё Камимура, командовавший при Цусиме крейсерами, оставил нам запись о подвиге броненосца "Суворов" — вот она: "Его мачты давно упали, трубы одна за другой рухнули, он потерял способность управляться, а пожар все усиливался. Но он все еще продолжал сражаться, и сражался с нами так храбро, что я вынужден был указать своим воинам отдать должное его небывалому героическому сопротивлению".
Иногда объективности следует учиться у противника...

Непоправимой ошибкой русского Адмиралтейства было решение облегчить вес снарядов, вмонтировав в них "трубки", взрывавшие снаряд лишь после пробитий ими брони. Облегченный снаряд не мог, естественно, доставить до противника большую дозу взрывчатки. Адмиралы под "шпицем" надеялись, что флот будет стрелять по старинке — с ближней дистанции. Но адмирал Того в бою при Цусиме умышленно выдерживал дальнюю дистанцию. Потому-то русские снаряды, потеряв в полете изначальную силу, оказались не способны раздробить даже слабую броню.
Не станем возвеличивать тактику Того! Того действовал по шаблону: "ставя палочку над "Т"", он группировал всю мощь артиллерии на

головных броненосцах России, а когда их заменяли следующие за ними корабли, Того, описав дугу, опять суммировал свой огонь на броненосцах, ставших головными после поражения впереди идущих. Рожественский, в отличие от Того, не имел даже шаблонного плана, кроме твердого указания — следовать на Владивосток! Разве же это бой? Скорее, это было одиночное стремление русских кораблей к призрачному, как пустынный мираж, волшебному русскому городу, раскинувшему на зеленых холмах уютные дома и гостиницы, рестораны и магазины, танцклассы и базары, цветы и овощи, галстуки и корсеты, веера и зонтики... Где все это? Не выдумка ли?

"Суворов", похожий на костер, вышел из строя. Эскадру теперь вели броненосцы — "Бородино" и его гвардейский собрат "Александр III", пораженные огнем пожаров, заливаемые водой через пробоины, они стойко выдерживали заданный курс. Кажется, именно от них Того и получил десять прямых попаданий, все-таки пронзивших корпус флагманского "Миказа"... Ах, если бы еще десять, да еще таких десять! Все понимали, что битва при Цусиме проиграна, но прорыв, очевидно, возможен. Ведь за ними, ведущими и новейшими, в целости двигались старые броненосцы Небогатова, рыскали в отдалении залихватские крейсера, косо стригли

бурунами горизонт ретивые миноносцы. А все море, насколько хватал глаз, было усеяно унитарными патронами из латуни, плававшими встояка, будто опорожненные бутылки, разбросанные миллионами праздных гуляк. Тут накидали расстрелянных гильз и русские, и японцы. Теперь масса кораблей двигалась в этом мусоре боевых отходов, медные унитары звончайше стучались в их железные борта...

Неужели сдаваться?

Нет, нет и нет — этого никак нельзя допустить!

Русский флот помнит: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ...

Именно здесь, в самый разгар боя, я прерываю повествование, испытывая потребность в авторском отступлении. Коковцев не понимал, отчего горят броненосцы, а в Носи-Бе не могли понять, почему Япония смирилась с долгой стоянкой русской эскадры, не докучая Парижу гневными протестами.

Все дело было в проклятой шимозе!

Я не химик и пишу не для химиков, но все же вынужден коснуться этой злосчастной темы: что дает химическая реакция бертолетовой соли с магнием и какова убойная сила плавленого тринитрофенола?.. От этого адского варева броня стекала с бортов, как воск, у людей при вдохе сгорали легкие, а взрывы давали такую массу мельчайших осколков, что спастись от них практически было немыслимо. Русские матросы при Цусиме, имея в теле тридцать, сорок, даже полсотни таких осколков, не считали себя увечными, продолжая сражаться. Но откуда же взялась она, эта проклятая шимоза? Какой дьявол придумал ее в своей бесовской лаборатории?

Есть легенда! Но она подтверждается докладами русских военных атташе и опытами, ими же проведенными... Суть такова. Изобрел эту заразу некий испанский гранд, служивший не то в чилийской, не то в перуанской армии, талантливый химик-самоучка. Свое открытие он хотел продать сначала в Европе, но русские специалисты сочли новый вид взрывчатки "негуманным оружием", крайне опасным в "складировании". Тогда секрет гранда перекупили за бешеные деньги самураи, называвшие взрывчатое вещество именем своего офицера Симосэ, который этим вопросом как раз и занимался.

Можно догадываться, почему Япония не протестовала против стационирования нашей эскадры в Носи-Бе. Того был заинтересован в обратном: чтобы стоянка у Мадагаскара затянулась как можно дольше, пока его флот, после падения Порт-Артура, начинял шимозой, свои снаряды. Понятно, почему Токио закидал Париж протестами, когда эскадра Рожественского очутилась у берегов Аннама (Вьетнама), — это значило, что шимоза, обернутая в мягкую фланель и обложенная красивой конфетной фольгой, уже до отказа заполнила стаканы корабельных снарядов... Думается, что Того все-таки не успел! Не успел сделать все. Артиллерия отряда адмирала Катаока, судя по результатам Цусимского боя, не обладала снарядами с шимозой, и потому русские корабли, даже под ожесточенным огнем, легко выдерживали разрушения, не имея в соприкосновении с Катаока тех губительных пожаров, которые буквально изжарили передовые броненосцы Второй Тихоокеанской эскадры...

А сейчас пойдем с эскадрою — к цели: NO 23".

Словно издеваясь над бессилием русской эскадры, мимо нее снова проходил этот проклятый "Идзуми", а с его палуб японские матросы, выкидывая вперед жилистые кулаки в белых перчатках, как на параде, трижды провозгласили славу микадо:

— Хэйка банзай! Хэйка банзай! Хэйка банзай!

Был четвертый час пополудни. Неожиданный наплыв тумана дал русским передышку в тридцать минут. "Суворов" циркулировал на одном месте, работая то левой, то правой машинами, чтобы, управляясь ими (вместо рулей!), следовать за эскадрой. Это ему не удавалось... Телефоны отказали. Переговорные трубы извергали не слова команд с мостика, а лишь соленую воду океана. Вентиляция еще трудилась, всасывая в нижние отсеки не воздух, а густой дым, пронизанный белыми хлопьями шимозы, которая и удушала людей, безнадежно задраенных в придонных отсеках. В боевой рубке флагмана убило всех кондукторов, уцелел лишь один матрос. Офицеры были изранены через амбразуры смотровых щелей. Спасательные "козырьки" оказались, напротив, губительны: они экранизировали осколки; не отражая их, а загоняя внутрь боевой рубки, -непростительная ошибка конструкторов! Мостик полыхал, отчего сама рубка напоминала плотно закрытый котел с грибовидною крышкой, поставленный на пламя жаровни... Филипповский сказал Игнациусу:

— Не пора ли нам уходить?

— Куда? — спросил его Рожественекий.

— В пост.

— Как?

— Через мостик, — решился лейтенант Богданов.

Он шагнул в двери, что-то под ним затрещало, и офицер провалился в яму прогара. Зиновий Петрович мелко крестился:

— Вечная память, спаси и помилуй... раздрайте люк!

Из боевой рубки в боевой пост вела узкая труба шахты. Оттащив убитых, Игнациус с Филипповским открыли люк. К этому времени флагман уже имел два осколка в голове, один в правой ноге, несколько осколков застряли в его теле, но спуск в шахту он

преодолел еще достаточно бодро.

— Конечно, — сказал он в боевом посту, — здесь можно спасать свою шкуру, но отсюда ни бельмеса не увидишь, что творится на белом свете... Я пойду, господа, наверх!

Его не удерживали. Как и все офицеры эскадры, Рожественекий был в кожаной тужурке, на ногах -высокие кожаные сапоги, как у солдата. В треске горящих надстроек он пытался пробиться к бортовой башне, и тут его ранило в левую ногу, очень болезненно, отчего адмирал закричал. Из дыма возник его флаг-капитан.

— А, это вы? — сказал он Коковцеву. — Что в корме?

— Уже ничего не осталось. Все горит... людей в сечку!

— Я ранен... помогите встать, — просил адмирал. Коковцев и сам ранен. Он кликнул людей из батарейной палубы:

— Эй, тащите адмирала! В носовую — она цела!

Могучая заслонка брони со скрежетом растворилась, матросы просунули флагмана внутрь носовой башни, которой командовал лейтенант Кржижановский; он подставил под адмирала ящик.

— Вы бы знали, какая боль... боль! — сказал Рожест венекий. — Сейчас не мне одному больно, но... Разве я виноват?

Рожественекий пошатнулся, его поддержали.

— Была договоренность, — произнес он. — Весь мой штаб и меня с "Суворова" должны снять миноносцы... Где они?

Сказав так, адмирал потерял сознание. Туман распался, а Того снова начал выписывать "палочку над "Т"". Осыпаемый снарядами, "Суворов" беспомощно кружился на месте, подставляя противнику свои израненные борга. Коковцев часто слышал непонятный треск, за которым следовало шипение. Это срывались с заклепок пластины могучей брони, подобно листам фанеры, и, раскаленные, утопали в море, извергая клубы пара.

— Адмирала надо снимать. Но где же миноносцы?

— Вот они! — воскликнул Кржижановский, а матросы нащупали в панораме прицела бегущие по волнам, низко прижатые тени миноносцев японских. — Огонь! — С первого же выстрела удалось разбить борт японского "Чихайя", а кормовые пушки двумя попаданиями отбросили назад и эсминец "Сиракумо". Кржижановский,

устало выругав шись, повернулся к Коковцеву: — Не так уж плохо! Идите на перевязку. За адмиралом я присмотрю...

Лазарет был разрушен еще в начале боя, раненые собирались в жилой палубе. Здесь же сидел жестоко израненный Игнациус.

— Володя, что наверху? — спросил он стонуще.

— Крепко влетело "Александру" и "Бородино".

— Горят?

-Да...

— Сгорим! — раздался вопль сверху. — Эй, братва! Кончай тут с бинтами чикаться, валяй все во вторую батарейную...

Игнациус, подавая пример матросам, поднялся:

— За мной, ребята! Живем один раз... так бабка сказала!

Яркая вспышка ослепила людей на палубе. Коковцев в последний раз увидел Игнациуса! В желтом пламени разрыва железную лестницу трапа закрутило, словно полотенце, обвивая ее вокруг тела командира флагманского броненосца. А когда дым развеяло, живые разглядели, что из этого безобразного рулона торчат только плечи с эполетами капитана первого ранга. Головы не было! Но именно в этой голове скептика впервые (еще с Либавы) возникла мысль, что весь этот поход аргонавтов — безумная авантюра. Вспомнив об этом, Коковцев упал, ничего больше не видя и ничего не помня. Он очнулся от воды, которой его поливали из шланга, как дворники поливают мостовые в жаркие дни. С трудом обретя сознание, он увидел Леню Эйлера.

— Жив? — спросил Леня. — А меня еще не задело. — Кто ведет броненосец?

— Не знаю. Но машины работают.

— Дожили... Голгофа какая-то... за что, Господи?

Коковцев повернул голову, и перед ним возникло невероятное зрелище: мимо "Суворова" прокатило остов корабля, уже не имевшего ни мачт, ни труб, он шел с сильным креном, его правый борт раскалился докрасна, будто противень, дым из кочегарок вырывался не из труб, а прямо из палубы, будто там, внутри корабля, работали огнедышащие вулканы. А вся носовая часть была вскрыта, словно жалкая консервная банка. Но он все-таки шел. Он все-таки стрелял!

— Кто же это? — не мог узнать корабля Коковцев.

— Это "Александр III", досталось ему... бедняге.
Не это поразило Коковцева — другое! На мостике броненосца, в очень спокойных позах, как дачники на веранде, стояли, облокотясь на поручни, офицеры и мирно беседовали, а вокруг них все рушилось, все погибало в пламени.
— Гвардия, — произнес Коковцев. — Помогай им Бог. А кто ведет эскадру теперь? Небогатов?
— Нет, "Бородино"... горит тоже. Он и ведет.
После гибели "Бородино" эскадру поведет броненосец "Орел": еще не все потеряно, а русские моряки не сдаются.

Рожественского и его штаб обязаны были снять "Бедовый" или "Быстрый". Но их закружило в сумятице боя, полыхающего взрывами, в вихрях воронок над тонущими кораблями. Да и как отыскать "Суворова", если даже опытные сигнальщики не могли различить броненосцы по именам, — эти обгорелые изуродованные обрубки меньше всего напоминали сейчас тех гордых красавцев, что еще недавно покачивались на пасмурных рейдах Кронштадта, Ревеля и Либавы...
В половине пятого часа на "Суворове" осталась лишь одна мелкокалиберная пушчонка. Японские эсминцы (их было четыре) снова пошли в атаку. Они двигались рывками и зигзагами, издалека примериваясь к стрельбе торпедами... Лейтенант Вырубов, неунывающий парень в разодранном- кителе, сказал Коковцеву:
— Чем черт не шутит! Попробую еще раз!
Он сразу накрыл эсминец "Асагири", остальных разогнал огонь с эскадры, выручившей своего бывшего флагмана. Итак, все кончено. Но, исполняя приказ адмирала (уже отрекшегося от участия в битве), эскадра снова — в какой уже раз! — ложилась на указанный адмиралом курс.
Коковцева отыскал почти обезумевший Эйлер:
— Динамо ослабели, электричество едва теплится. Даже пиронафтовые фонари гаснут от обилия газов. Я кричу в каждый люк — никакого отклика... Неужели в нижних отсеках одни трупы? Мрак и трупы! Открыть кингстоны? Я не сыщу штурвалов!

— О чем ты, Леня? Какие кингстоны? Это уже конец...

Словно подтверждая эти слова, рядом лопнул японский снаряд, и Коковцева с Эйлером разбросало в разные стороны. Трюмный штабс-капитан катился среди обломков рваного железа, хватаясь руками за лицо, кричал:

— Я не вижу! Вова-а... где ты? Не вижу, не вижу...

Коковцев встал и рухнул снова. Что такое? Сапог разорван, из его обрывков торчала развороченная ступня. Боли не было. Дохромав до Эйлера, он оторвал его руки от лица По щекам трюмного инженера текли глаза.

— Держись! — сказал Коковцев. — Я отведу тебя.

— Куда? — орал Эйлер, — Куда? Я не вижу...

А в самом деле — куда вести? Из ада в ад?

— Сиди. Вот так. Сиди. Сейчас я разыщу санитаров...

Эйлер судорожно хватал руками желтый от газов воздух:

— Я никуда не уйду... Что кричат там, в корме? Вова-а..

— Да здесь я, здесь. К нам подходит миноносец.

— Японский, да? Мы разве в плену? Вова-а.

— Нет, нет! К правому борту подходит "Буйный"...

"Буйным" командовал кавторанг Коломейцев.

— Коля, — окликнул его Коковцев, — ты откуда взялся?

Под бортом "Суворова" море швыряло маленький миноносец. Коковцев глядел вниз, Коломейцев задирал голову кверху:

— Слушай, что у вас тут творится? Я ведь ничего не знаю. Приказов не получал. Шел мимо. Вижу, горите. Думаю — дай-ка спрошу, не надо ли помощи... Рад видеть тебя живым!

— Коля, принимай адмирала, — объявил Коковцев. Волна, приподняв эсминец, обрушила его вниз, и шумные потоки воды неслись по его палубе. Коломейцев — в рупор:

— Я ни хрена не слышу... повтори!

Коковцев повторил, чтобы снимали Рожественского.

— Не болтай глупостей! Ты же сам миноносник... видишь, какая прет волна. Как я сниму? Есть ли у вас шлюпки?

— Сгорели или разбиты... нету. Ничего нету. Заметив корабль под бортом броненосца, японские крейсера Камимура открыли

интенсивный огонь. Далее весь нервный диалог миноносников строился в редких паузах между бросками волн и взрывами снарядов. Коковцев доказывал:

— Ломай борт в щепки... пусть трещит мостик и даже твои кости! Но адмирала надобно снять... Слышишь? Это приказ.

— Черт с тобой, Володя, давай Зиновия!

Легко сказать — давай! Но исполнить это — все равно, что с крыши многоэтажного горящего здания, которое сейчас обрушится, передать младенца на крышу маленького сарая. Оценить всю дерзость подобного маневра могут, кажется, одни моряки, да и то лишь те, что уже побывали в различных переделках!

Рысцой прибежал вестовой адмирала — Петька Пучков:

— А хучь убейте: не идет адмирал, и все тут.

— Ты сказал ему, что "Буйного" нам Бог послал?

— Сказал. А он — кувырк, и папироска во рте...

Коковцев рванулся вперед, но тут же упал от боли в ноге:

— Где Клапье де Колонг? Где, наконец, все? Лейтенант Кржижановский не покидал носовой башни:

— Адмирал еще у меня. Иногда без сознания. А иногда спрашивает, что с эскадрой? От перевязок отка зывается. А дверь в башню заклинило. Осталась щель... Во! Крыса не пролезет.

— Ничего. Протиснусь, — сказал Коковцев, и, теряя пуговицы с тужурки, страдая от ран, проник в башню, внутри которой сидел Рожественский; голова адмирала была замотана окровавленным полотенцем, возле ног валялись погасшие окурки, это удивило Коковцева — Что, он еще курит?

— А! — отмахнулся Кржижановский. — Лишь прикуривает...

Рожественский на минуту снова обрел сознание:

— Отыщите мне Филипповского... флагштура!

— Если он не сгорел в посту, — ответил Коковцев.

— Хоть пепел от него! Он помнит наши маневры. Он, единственный, должен знать все, чего не знает никто...

Филишювский не мог двигаться. Старика притащили на себе матросы. Лицо флагманского штурмана было сплошь залито кровью, будто в него выпалили заряд мелкой дроби, а эту ужасную маску лица

покрывало копотью пожаров и пиронафтовых фонарей.

— Без вас я никуда, — объявил ему Рожественский.

— Если решили уйти, — отвечал штурман эскадры, — так оставьте меня на "Суворове": хочу с ними и умереть.

Кржижановский притянул к себе за рукав Коковцева:

— Что их, дураков, слушать? Они ведь уже ни черта не соображают. Думайте, как вытащить адмирала из башни!

Все происходило под неустанным огнем крейсеров Камимура. С палубы позвали матросов. Забравшись в башню, они дружно вцепились в адмирала, и он, вскрикнув, снова потерял сознание.

— Оно и лучше, — говорили матросы, пропихивая Рожественского, словно большой мешок, в узкий просвет заклиненной двери. — Трещит... ой, трещит! Чего там трещит? Так што нам с того? Не мы шили, не мы пропьем... Давай, Ванька, меньше думай — умнее станешь! Тащи... тащи яво!

Адмирала хотели передавать на связанных койках, но боцман с "Буйного", человек опытный, концов не принимал:

— Эй, халявы! Кого передавать на концах хотите?

— Да, адмирала... кого ж еще?

— Бурдюк — и тот лопнет сразу! Или не вишь, пентюх, какая волна накатывает... Соображать надо!

Коковцев понял, что ему спасаться бессмысленно.

— Коля, — позвал он Коломейцева, — попрощаемся. Меня в спину... ходить не могу. Но прими адмирала... Рискни!

В обычных условиях за такой риск командирам кораблей если не снимали с них голову, то срывали с плеч эполеты. Но Коломейцев понял и сам, что ждать больше нельзя.

— Мы отходим! — отвечал он. — Не дури... прыгай! Уродливые изломы железа бортов, выпученные из батарей обрубки орудийных стволов, вся рвань сетевых заграждений, еще горевшая в смраде, — Коломейцев рисковал распороть свой миноносец обо все это, режущее и торчащее наружу, словно ножи.

— Адмирал на "Буйном", — раздались голоса.

— Давай других... смелее! — кричали с эсминца.

"Буйный" снял с броненосца пять офицеров штаба. Матросы

перебросили Коковцева на миноносец, выбрав такой идеальный момент, когда "Суворов" опустило на волне вниз, а другая волна подняла "Буйный" кверху: их палубы на секунду образовали единую плоскость. Подвывая от боли, каперанг взобрался на теплый кожух машинного отделения и затих там в муках. Он слышал, как на мостике "Буйного" давал свистки Коломейцев.

— А вы что? — кричал он оставшимся на "Суворове". Офицеры флагманского броненосца выстроились на срезе батарейной палубы — вровень с матросами. Стояли рядом:

— Мы остаемся вместе с кораблем... Ура, ура, ура!

— Урррра-а-а... — подхватила команда миноносца, про щаясь с ними навеки, и "Буйный" задрожал от работы машин.

В последний миг Коковцев заметил, что на том месте, где оставил он Эйлера, зияла страшная дыра прямого попадания. Потом из этой пробоины жарко выбросило длинный лоскут яркого пламени — снова пожар! Но... кто будет тушить его?

Больше никто и никогда не видел "Суворова".

Никто и никогда, кроме японцев... Для нас, русских, "Суворов" попросту растворился в безбрежии моря, удаленный течением из эпицентра битвы, и, что мы знаем о нем, так это знаем не мы, а нам сообщили потом сами же японцы. Совершенно случайно, вдали от боя, тринадцать кораблей Того заметили разбитый и сгорающий броненосец, а где-то еще дальше дымила пожарами работящая "Камчатка". С плавучей мастерской японцы разделались в два счета, не позволив уцелеть с нее никому — ни офицерам, ни матросам, ни питерским пролетариям...

Вот тогда броненосец "Суворов" открыл огонь!

Сам в огне, он повел огонь по врагу.

Запомним: он сражался единственной маленькой пушкой.

Один — против тринадцати! Он сражался...

Казалось бы, уже все? Нет, не все.

Полтора часаподряд уничтожали русского флагмана, невольно восхищенные его мужеством и непотопляемостью. Но вот солнце склонилось к горизонту, и "Суворов", освещенный последним его

лучом, с шипением и треском, в дыму и пламени, медленно и величаво погрузился в бездну, так и не став побежденным. Японские миноносцы обрыскали место его гибели.

Ни единой щепки. Ни единого человека! Пусто...

У каждого корабля своя биография, свой некролог.

Гвардейский броненосец "Александр III" покинул строй с губительным креном, который, быстро увеличиваясь, заставил его перевернуться. Люди облепляли его черное днище, цепляясь за водоросли, растущие на нем, словно чудовищный лес, а японские снаряды сбрасывали в море целые толпы людей. "Александр III" увлек за собой всех, ни одного спасенного не было.

"Бородино", почти весь день водивший за собой эскадру, объятый пламенем, продолжал стрельбу. Он тоже перевернулся. Но до самого конца не покинул строя, и следующие за ним корабли прошли над его клокочущей могилой, из которой они успели выхватить только одного человека, — это был матрос Григорий Гущин, георгиевский кавалер...

Темнота нахлынула сразу — без сумерек. Небогатов на своем "Николае Г обогнал разрушенного в битве "Орла" и, заняв место впереди, повел остатки разгромленной эскадры далее.

К чудесному городу — по имени Владивосток!

Адмирал Того выпустил во мрак ночи разъяренные стаи гончих — это его эсминцы, кренясь, ринулись в атаку.

Их командиры жаждали. Славы. Орденов. Чести. Денег. Добить. Доломать. Дожечь. Истребить все...

Чтобы ничего не осталось от русских на волнах моря.

Вернемся на "Буйный"... Рожественский и офицеры его штаба были сняты эсминцем с флагмана за два часа до захода солнца.

— Держать ли мне ваш флаг? — спросил Коломейцев.

— У меня нет флага, — ответил ему Рожественский...

Он распорядился поднять сигнал: КОМАНДОВАНИЕ ЭСКАДРОЙ ПЕРЕДАЮ АДМИРАЛУ НЕБОГАТОВУ. Затем впал в бредовое состояние, но — уже с носилок — вдруг произнес очень внятно:

— О чем речь? Курс прежний — на Владивосток, и пусть эти слова станут для всех моим последним приказом...

В дымной мгле сражения не могли разобрать флагов, тогда кавторанг

Коломейцев подогнал своего "Буйного" к "Безупречному", обратись через рупор к его командиру Матусевичу:

— У меня адмирал. Ранен. Будь другом, выручи: сбегай до Небогатова, передай ему сигнал голосом... Понял?

"Безупречный" помчался. "Николай I" отреагировал на это флагами: КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛ. СЛЕДОВАТЬ ЗА МНОЙ. Коковцев, цепляясь за поручни трапа, поднялся на мостик миноносца. Клопье де Колонг был, кажется, недоволен его появлением.

— Шли бы вы отсюда, — сказал он. — Вы же с ног валитесь. А на мостике и без вас народу хватает, не повернуться...

Это обидело Коковцева, с возмущением он ответил:

— Я такой же флаг-капитан, как и вы, Константин Константинович, а поднялся, чтобы узнать о судьбе сына.

Коломейцев дружески подтолкнул его к трапу:

— Володя, не спорь. В носовом кубрике их полно...

Коковцев не стал спорить, но спросил: куда идем?

— Напролом — к Дажелету, а там что Бог даст...

Меркнущий горизонт пронзали яркие вспышки - как зарницы над хлебными полями, когда созревает колос: это вдалеке продолжалось Цусимское сражение. Пристанывая от боли, Владимир Васильевич спустился в кубрик. "Буйный" сумел спасти много людей из экипажа "Осляби", и теперь, в синем полумраке ночных ламп, перед Коковцевым ворочалась стонущая, хрипящая, желающая жить и тут же умирающая, громадная, переплетенная ногами и руками масса живого, но уже не годного ни к чему человеческого материала. Он спросил наугад:

— Мичман Георгий Коковцев... нет ли его?

Умирающий от кашля мичман Басманов сказал:

— Здесь четверо офицеров. Но вашего сына нет с нами... Не отчаивайтесь: нас хватали с воды четыре миноносца. Может, он на "Блестящем" или "Бравом"?

Явилась робкая надежда, что Гога еще жив. Но к горлу подступила вдруг липкая тошнота. Владимир Васильевич прислонился к пиллерсу, креном его сбросило на палубу. Он долго лежал в груде людей, которые еще утром общались с его сыном... Очнулся от ужасного

озноба, бившего все тело. Над ним склонился фельдшер Кудинов и еще кто-то, незнакомый. — Кто вы? — спросил его Коковцев.

— Мичман Храбро-Василевский, прямо с мостика.

— Зачем меня разбудили? Так было хорошо.

— Нас прислал командир. Мы уж думали, что вас смыло волной за борт. С трудом отыскали. Пойдемте отсюда...

Его отволокли в кают-компанию, где Коковцеву показалось намного хуже, чем в "низах". На узких диванчиках лежали раненые (или, может, подвахтенные, которым хотелось просто выспаться?). Коковцев расплакался, как ребенок.

— Потерпите... до Владивостока, — сказал ему мичман.

— Какой тут к черту Владивосток! Оставьте меня...

"Буйный" взлетал на гребень волны, потом его опускало вниз, и было слышно, как потоки воды омывают его палубу. Коковцев сам забрался под стол. Притих сжавшись. Фельдшер Кудинов разрезал сапог на его ноге, упрекнул:

— Что же вы? Надо было сразу босиком ходить. А то, сами видите, какой уж час в грязи да мрази шлепали...

Он перевязал ступню, кое-как приделал к ноге распоротые ошметки сапога, велел из-под стола не вылезать:

— Иначе вас тут в темноте затопчут... Не дай Бог, алярм сыграют, тогда все, как стадо, в люк кинутся...

Странно, что сейчас для Коковцева не было на белом свете никого роднее и ближе, чем этот безвестный фельдшер, и, схватив матроса за руку, он благоговейно ее поцеловал.

— Что вы, ваше высокоблагородие, — застыдился Кудинов...

"Буйный" опять вздымало кверху, душа неслась, будто в городском лифте, отчего вдруг вспомнилась тихая квартира на Кронверкском, пахнущая озоном ванная с ворохом пушистых и мягких полотенец. Он ерзал телом на голом железе палубы, над ним скрипела доска обеденного стола, грязная вода сочно шлепалась вокруг него. И сладостные, уверенные гимны прошлой блаженной жизни бушевали в разрушающемся сознании:

...нет панихиды похоронной,

Как нет и гробовой доски.

Но, даже мертвые, вперед
Стремимся мы в отсеках душных.
Живым останется почет,
А мертвым орденов не нужно...

С этим он погрузился в мучительный сон. Его взбодрила возня на верхней палубе, резкие привычные голоса. Коковцев подтянулся к иллюминатору: в круглом стекле, будто в аккуратной рамочке, качался кусок моря, в нем — крейсер "Дмитрий Донской", а вдалеке захлестывало пеной эсминцы "Бедовый" и "Грозный". Он вспомнил их командиров — Баранова и Андржеевского...

— Эй, — окликнули через люк, — которые тута из штаба?

— А что? — спросил Коковцев.

— Машины не тянут. Угля — кот наплакал. Так што, которые, значит, при адмирале были, те их просят на крейсер...

Хмурый рассвет начинался над океаном. Матросы уже тащили носилки, к которым был привязан Рожественский, — недавно еще грозный владыка могучей эскадры, он теперь напоминал бездушную куклу, с которой можно вытворять все что хочешь.

Кажется, он и сам это понял. Понял и взбеленился.

— На крейсер не пойду, — вдруг заартачился он. Клапье де Колонг уговаривал: на "Дмитрии Донском" безопаснее, нежели на этих трясучках-миноносцах, крейсер имеет отличный лазарет, офицеры — хороший стол.

— Лучше уж на "Бедовый", к Баранову... тащите, братцы. Мэрттг!

Почему он так решил? Почему отказался от крейсера? Может, в душе адмирала еще не угасли порывы юности, связанные с жизнью на миноносцах? Этого мы никогда не узнаем. Носилки с Рожественским, поставленные на попа, воткнулись сверху в палубу катера, и адмирала чуть было не сковырнули в море.

— А вы? — спросил Клапье де Колонг Коковцева.

— У вас ноги целы... прыгайте... я за вами...

Сказав так, Коковцев решил, что лучше оставаться на "Буйном". Он проследил, как в кипении моря быстро исчезали "Бедовый" и "Грозный". Коломейцев позвал его с высоты шаткого мостика:

— Ты остался? Смерти с нами ищешь?

— Надоело слушать всякую ерунду. Будем умнее.
— Тогда спускайся ко мне в каюту. Я сейчас...
Чашку чаю с коньяком и порошком лимонной кислоты была кстати: Коковцев чуть оживился. В углу командирской каюты валялись комки окровавленных бинтов — после перевязки Рожественского. "Буйного" мотало в дрейфе, пока крейсерские шлюпки перевозили на "Дмитрия Донского" спасенных с броненосца "Ослябя"... Николай Николаевич Коломейцев сказал:
— Нелепый фарс! Зиновий из Либавы до Ван-Фолга дрожал над каждым куском угля, делая из бункеровок пытку для экипажей, а в самом конце пути Всевышний наказал его — угля не стало... — Очень больно, Володя? — спросил он участливо.
— Иногда -хоть кричи. А сейчас полегчало...
На трапе Коломейцев поддерживал его за локоть.
— Что мне делать с "Буйным", когда уголь кончится?
— Топи его... не сдавать же японцам!

В ночь с 14 на 15 мая Того атаковал остатки русской эскадры, плывущей под флагом Небогатова. Море было пропитано фосфорным блеском — все вокруг светилось с такой непостижимою красотой, будто плавилось серебро, под форштевнями броненосцев буруны росли, как драгоценные слитки. Отчаянные атаки японцев разрушили систему эскадренного строя, и множество кораблей, потеряв связь с флагманом, в трагическом одиночестве рассекали эту страшную ночь килями, помня одно: курс — Владивосток!.. В луче прожектора запечатлелась сцена. Вот она: на мостике подбитого японского миноносца стоял командир, еще молодой офицер, и с философским спокойствием докуривал свою последнюю папиросу. Самурай был настолько преисполнен презрения к русским, что даже не повернул головы, когда броненосец проходил мимо. Его эсминец сильно парил разорванными котлами... Залп! Японский корабль разорвало на две части, которые, встав вертикально, с шумом и свистом ушли в бездну, и огонек папиросы самурая погас навеки. Небогатов тогда восхищенно сказал:
— Умеют они, сволочи, помирать...

К рассвету у него остались лишь флагманский "Николай I", "Орел", сильно избитый в дневном бою, "Адмирал Сенявин", "Генерал-адмирал Апраксин" и крейсер "Алмаз"... Еще не было пяти часов утра, когда горизонт начал заполняться дымами японских кораблей. Того крепко спал в салоне своего "Миказа", качавшегося в тридцати милях от острова Дажелет; его разбудила радиосводка от вице-адмирала Катаока, наблюдавшего движение русских к югу от Дажелета. Того поспешил на пересечку, и в десять часов утра небогатовская эскадра (в пять вымпелов) увидела перед собой такое незабываемое зрелище, от которого даже у бесшабашных смельчаков кровь застыла в жилах.

Куда ни бросишь взор — всюду сверкали сталью японские эскадры адмиралов Катаока, Урю, Камимура, Дева и самого Того, всего двадцать восемь боевых вымпелов! Крейсер "Изумруд", почуяв на шее удавку, сразу выбросил сигнал: "Прошу разрешения идти на Владивосток". Небогатов не дал ему ответа, срочно собирая на мостике флагмана военный совет: что делать? как быть?.. Железные тиски, в которых японцы удачно замкнули русских, казались нерасторжимыми. Но самое удивительное в том, что издалека японская армада выглядела свежо и добротно, будто вчера и не было никакой битвы. С дистанции шестьдесят кабельтовых они открыли огонь по флагманскому "Николаю I", но отвечал на их выстрелы лишь доблестный, весь израненный броненосец "Орел".

Небогатов якобы сказал тогда своему штабу:

— Эти пять старых, истерзанных развалин не стоят многих человеческих жизней... Готовьте "девятьсот пять десят три" к подъему!

"Николай I" поставил машины на стоп, он опустил флаги, а на мачту взлетел сигнал "953", означавший: "Сдаюсь". Сигнальщики броненосцев репетовали сигнал, переведенный с Международного свода на общедоступный язык: ОКРУЖЕННЫЙ ПРЕВОСХОДЯЩИМИ СИЛАМИ ПРОТИВНИКА, ВЫНУЖДЕН СДАТЬСЯ. Японцы не разобрав цифровой код, продолжали забрасывать "Николая I" снарядами, и тогда, чтобы спасти флагмана от расстрела, "Орел" задробил стрельбу своих башен. Все умолкло. На мачту "Николая I" медленно вползало знамя Страны восходящего солнца...

"Изумруд" тоже стал поднимать над собой флаг Японии, но в середине подъема сигнальщик резко дернул фалы назад. Этого никто не ожидал — ни Того, ни сам Небогатов. "Изумруд" воздел стеньговые красные флаги (означающие: к бою) и рванулся в узкий промежуток между эскадрами адмирала Дева и Того. За дерзким и непокорным погнались отличные ходоки — "Читозе" и "Касуга", но "Изумруд" прорвал кольцо блокады и пошел, пошел, пошел... прямо во Владивосток! Пусть же память об этом "Изумруде" останется для нас, читатель, священна.

Но такой памяти не заслужил миноносец "Бедовый".

Зиновий Петрович часто терял сознание, безжизненно отдаваясь качке, и даже опытный врач с "Дмитрия Донского" (так и оставшийся на "Бедовом") считал положение адмирала безнадежным. Командир "Грозного", кавторанг Андржеевский, вел свой эсминец впереди "Бедового", хорошо различая на его мостике две фигуры в дождевых плащах — флаг-капитана Клапье де Колонга и командира кавторанга Баранова. Ни "Бедовый", ни "Грозный" никаких повреждений не имели, их машины работали хорошо. Миновало уже четыре часа после того, как они расстались с "Дмитрием Донским" и "Буйным", добиравшим из бункерных ям последние остатки угля... Сигнальщик сорванным голосом вдруг доложил Андржеевскому, что по левому крамболу -два дыма. Это шли японские миноносцы. Напряжение на мостике проявилось в суровом молчании, которое нарушил сам Андржеевский:

— "Сазанами" и "Кагеро"... Передайте на "Бедовый", чтобы набирали обороты. Японцы, чувствую, от нас уже не отвяжугся, а посему... По местам стоять, орудия — к бою! Но ручка телеграфа на "Бедовом" осталась в положении "средний ход". Клапье де Калонг сказал Баранову:

— Нельзя же рисковать жизнью адмирала ради одного паршивого миноносца... Нам этого никто не простит!

Эти два человека сразу отказались от мысли о сопротивлении двух эсминцев против двух эсминцев противника. Впрочем, ради соблюдения проформы Клапье де Колонг навестил в каюте Рожественского, доложив ему о преследовании:

— "Кагеро" и "Сазанами"... уже близко. Нам не уйти!

Рожественский ни слова не ответил. Он открыл глаза и снова закрыл их. Затем последовал внятный кивок головы умирающего человека. Это был момент, когда с мостика "Грозного" Андржеевский разглядел, что "Бедовый" совсем застопорил машины. На его фалах развернулся флаг, умолявший врага о милосердии, флаг Международного Красного Креста, который превращал боевой эсминец в плавучую больницу. А потом...

— Мерзавцы! — сказал Андржеевский, ставя телеграф на "полный вперед". — Господа, мы сорвем банк на отходе...

"На отходе" — это значит, что действует кормовой плутонг. Пушки его метелят преследующего по носу. А любая дырка в носу преследователя — на скорости погони! — становится брандспойтом, из которого вода вонзается внутрь такими бивнями, что способна убить человека насмерть. "Сазанами" остался сторожить "Бедового" с адмиралом, за "Грозным" погнался быстроходный "Кагеро". Бой на отходе длился сорок пять минут. Иногда японцы (в смелости им не откажешь) сближались до двадцати шести кабельтовых. Поражали друг друга в упор: настигающий "Кагеро" бил под корму "Грозного", отходящий "Грозный" заколачивал снаряды в "скулы" японского миноносца. В результате "Кагеро" вдруг закутался облаком пара, осел носом и, быстро отставая, исчез в волнах. На мостике "Грозного" — каша из убитых, а на лице Андржеевского вместо глаза — страшная кровавая впадина... С трудом он отвел руки от израненного лица.

— Но банк сорвали, — сказал он. — Пошли дальше...

На остатках топлива, спалив в котлах пробку и дерево обшивки, кидая в котлы штаны и рубахи, сухари и книги, они вечером 16 мая вышли к острову Аскольду, где, не в силах уже двигаться, запустили под облака воздушного змея с радиоантенной, передав во Владивосток скромную просьбу: "Пришлите врача, воды и угля. Дойдем сами..."

Итак, Небогатов сдался . Рожественского сдали .

Но мы оставили Коковцева на миноносце "Буйный".

Только что "Буйному" делать? У него же угля — кот наплакал...

В ходовой рубке "Буйного" ругался рулевой кондуктор:

— Прогадали часть флота русского... ах, прогадали! Сколь лет табаню,

в нитку тянусь, да рази ж мне пришло бы такое в голову? Был до флоту приказчиком в магазине, бабам ситцы аршином мерил, а меня, дурака, сюда потянуло, пофорсить захотелось... Вот и влип в самоё дерьмо! Ой, беда, беда...

— Не шуми, — сказал ему Коломейцев. — Опять три дыма...

Сначала их было шесть. Теперь осталось три. Но два уплыли к северу, нагоняя крейсер "Дмитрий Донской", а один начал сближение с отставшим русским миноносцем. Коломейцев сказал:

— Кажется, сейчас нас будут разносить в куски...

Коковцев взором опытного миноносника правильно оценил обстановку. Забыв о боли, он вытянулся, весь в напряжении:

— Привода японца на правую раковину, тогда, Коля, можно действовать двумя плутонгами сразу — и с носа, и с кормы.

— Попробую, — согласился Коломейцев, и струя во ды, взбаламученной винтами эсминца, описала по морю широкую дугу разворота: теперь японцы настигали "Буй ный" с кормы, но чуть отступив вправо, подставляя свой левый крамбол.

— Там его и удерживай! — крикнул Коковцев. — Можете ли дать хотя бы сто двадцать несчастных оборотов?

— Мог... только не здесь, а на Тронгзундском рейде.

— У-у, черт побери... — Понимая, что "Буйный" все равно обречен, Владимир Васильевич приник к амбушюру переговорной трубы, командуя: — Прибавьте обо ротов... Сколько можно!

— Машины разнесет, — угробно отвечала труба.

— Плевать! Игра стоит свеч... давай выжимай узлы!

Физически он ощутил напряжение эсминца, который задрожал, будто человек в лихорадке. Пушки заговорили разом. Четырехствольные автоматы системы Норденфельда выпускали снаряды с таким противным скрипом, словно где-то во тьме ночного Парголова хулиганы отрывали от забора доски с гвоздями...

Кондуктор, осунувшись телом, еще стоял у руля:

— Амба... открасовался! Примите штурвал...

Ничком он сунулся в кучу сигнальных флагов, быстро их переворошив, будто искал что-то потерянное, и — умер. Так быстро умер, словно ему дали смертельный яд... Эсминец валило в затяжном

крене, корпус его сотрясался на залпах плутонгов, кормового и носового. Японский миноносец отвернул в сторону, не выдержав огня. Коломейцев опустил бинокль:

— Связался черт с младенцем... Санитары, убрать убитого!

На последних остатках топлива "Буйный" нагнал "Дмитрия Донского", задержав его сигналом: "Просим остановиться". На мостике крейсера реяла рыжая бородища командира — Лебедева.

— Что еще там стряслось? — зычно вопросил он без рупора.

— Машины — вдрызг, котлы засолились, угля — на лопате...

После короткого совещания решили: команду миноносца заберет крейсер, после чего Лебедев указал штурману:

— Отметьте координаты и время. По "Буйному", Господи благослови и прости ты нас, грешных, — огонь!

Эсминец, вздрагивая от попаданий, никак не желал тонуть от своих же снарядов, его трудная кончина задержала крейсер в семидесяти милях к югу от Дажелета. Затем "Дмитрий Донской" набрал ход, но ближе к вечеру вокруг крейсера возникло множество дымовых шлейфов, скоро проступили и очертания японских кораблей... Коковцев спросил каперанга Лебедева:

— Иван Николаевич, а сколько еще до Владивосто ка?

— Миль триста... если ничего не случится.

— Так уже случилось, — ответил Коковцев.

Он спустился в лазарет, чтобы сменить перевязку.

— Что веселого? — спросил врач, кивая на потолок.

— Дымы.

— Много?

— Четыре крейсера и, кажется, отряд миноносцев.

— Вам бы лучше остаться в лазарете и полежать.

— Благодарю. Что лежа, что стоя — один черт... Когда он, хромая, выбрался из лазарета, старший офицер Блохин сообщил, что появились еще два крейсера:

— Честь имеем: противу нас вся эскадра Урю.

Настигая русский крейсер, японский адмирал Урю расцветил свои мачты сигналом: АДМИРАЛ НЕБОГАТОВ СДАЛСЯ.

— Огонь! — скомандовал Лебедев, и порыв горячего воздуха

распушил его бороду, словно веник.

Погоня за одиноким крейсером длилась до позднего вечера, когда по левому траверзу "Донского" обрисовались контуры мрачной и нелюдимой скалы Дажелета. Урю вызвал по радио от берегов Кореи еще два крейсера, еще два эсминца. Забежав на пересечку курса, они захлопнули то крохотное "окошко", через которое корабль устремлялся к Владивостоку. Но пока еще не стемнело совсем, Урю поднял второй сигнал, чтобы русские знали: РОЖЕСТВЕНСКИЙ ТОЖЕ В ПЛЕНУ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СДАТЬСЯ.

— Усилить огонь, — отвечал Лебедев, а офицеры крейсера оживленно заговорили: — Что, разве и Зиновий сдался? Если это правда, то мы, русские, стали на морях хуже испанцев...

Коковцев вспомнил адмирала Сервера, рыдающего взахлеб, когда у берегов Кубы победители-янки тащили его из воды за шкирку. "Неужели и нам уготован такой позор?.." На секунду его мысли перекинулись в недавнее былое, когда у Кюба играл румынский оркестр, а он, по-юношески оживленный, чаровал большеглазую Ивону своими новеллами... Чем же теперь закрыть дыру на том месте, где навсегда оставил он кричащего от ужаса Леню Эйлера?

Об этом лучше не думать...

Лебедев, развевая бородищей, словно сказочный витязь, держал в громадных кулаках рукояти машинного телеграфа; его крейсер отстреливался с двух бортов сразу, и он, оглядывая горизонт, говорил в паузах между регулярными залпами:

— Наверное, в салонах Питера всякие мудрецы в пенсне и резвые дамочки уже обливают нас помоями. Им кажется, что дойти до Владивостока примерно так же приятно, как до променада в Мартышкино... Господа, не пришло ли время топить корабельную казну и все тайные шифры?

С секретными кодами топили и казенные деньги. За борт сыпалось чистое русское золото. Возле стояли матросы, у которых дома гнилая соломка покрывала избяные крыши, но ни у кого не возникло ничтожной мыслишки — сунуть в карман штанов хотя бы один червонец. Казначей, расщедрясь, взывал:

— Налетай, братцы! Кому деньжат хоцца?

Какие там деньги? Жить — вот главное сейчас...
— А вот и меня! — вдруг гаркнул Лебедев.
С этими словами богатырь грохнулся навзничь на решетки мостика, дрожащие вместе с крейсером от напряжения машин.

Кто уже пережил расстрел шимозою и вкусил от тьмы пучины, для тех вторичное испытание огнем и водою вдвойне невыносимо. Именно в таком положении и оказались на "Дмитрии Донском" спасенные с "Осляби" и "Буйного": число убитых и раненых среди них перевалило уже за двести человек. Сами не участвуя в бою, они погибали как случайные свидетели этого беспримерного боя... По мере приближения Дажелета японцы активизировали стрельбу, пространство вокруг крейсера наполнялось нескончаемым гулом, пожар за пожаром вспыхивали в надстройках. Старый корабль разрушался под ударами, внутри отсеков все билось и трещало — стекла, посуда, картины, лампы, шпаклевка. Кусками отскакивала от бортов защитная пробка. От страшного шума люди глохли и теперь кричали! Место командира занял старший офицер Блохин, сказавший офицерам:
— Погреба истощены, насосы холостят, в нижних отсеках полно забортной воды... Пусть меня судят, но я выброшу крейсер на камни Дажелета, чтобы спасти людей... хотя бы с "Осляби"!
Из погребов кондукторы докладывали на мостик:
— Снарядов осталось минут на десять боя. Открывайте кингстоны... здесь, в погребах, больше не выдер жать. Вода-а! Мы торчим по шею в воде. Элеваторы отказывают... все!
Последние пиронафтовые фонари чадили на переходах, трапы сбило огнем, везде валялись трупы. Дажелет приближался, и Блохин отдал команду к спасению:
— Первых с "Осляби", потом с "Буйного", затем мы.
Спасаться? Но — как? Шлюпки и катера давно разбиты.
— Выносить раненых на верх, вязать их к койкам и выбрасывать за борт, — распоряжался Блохин с мостика.
Коковцев попрощался с офицерами крейсера, на палубе его придержал молодой матрос с приятным лицом. Даже козырнул:

— Ваш высокобродь, а что дале-то будет?

— Я бы сам хотел знать это, братец... Ранен?

— Бог миловал, — отвечал матрос. — Ошалел, это верно.

— Помоги мне... можешь? Вместе выкупаемся.

— Как не помочь? Вместе завсегда веселее...

Над ними, упавшими в быстро бегущую воду, тяжело и мощно промчало крейсерский корпус. Вынырнув, Коковцев увидел, что японцы спускают шлюпки, а все море усеяно головами людей, плывущих к Дажелету. "Дмитрий Донской", кажется, уже сбросил давление в котлах, он качался на большой глубине, впуская в себя через кингстоны забортную воду. Его мостик по-прежнему был заполнен офицерами — они уйдут последними... Неистовый кашель удушал Коковцева после того, как он заглянул во впадину бездны, где так темно и жутко (и где, может быть, уже навеки затих его сын). Матрос вцепился во флаг-капитана, усердно его поддерживая, орал прямо в ухо, сочувствуя:

— Сблюй!.. сблюди - легше станет, трави, трави...

Волна несла их на пенистых плюмажах гребня, потом сбрасывала пловцов куда-то низко, и в эти моменты Коковцев ничего не различал, кроме водяных стен, окружавших его. Японцы со своих кораблей старательно светили прожекторами, отчего море, и без того мрачное, казалось еще ужаснее.

— Как зовут? — спросил Коковцев, чуть отдышавшись.

— Бирюков я... Пашка... гальванер... мы-то рязанские!

Волна несла дальше, то вздымая наверх, то погружая в глубину, и Коковцев сорвал с ремешка именные часы.

— Ты моложе меня, — сказал он Бирюкову. — Может, и доплывешь до Дажелета, а я... возьми! Держи часы...

Бирюков, словно он сошел с ума, дико захохотал.

— Да куды ж я опаздываю? — спросил Пашка, длинной струйкой выпуская изо рта воду. — На што мне в ваши часы глядеть? Или уж остатние минутки считать? Ха-ха-ха...

— Слушай.,, не дури! Коли спасешься, отдай часы сыну моему... Никите Коковцеву! Запомни и адрес, братец: Петербург, Кронверкский... дом со швейцаром. Я там живу... там я жил!

Бирюков перехватил часы, волна тут же разорвала их руки, офицера повлекла в одну сторону, матроса в другую.

— Отда-а-а-ам... — пропаще замерло вдалеке.

Одиночество сразу ослабило волю. Утопающий за бритву хватается, но сейчас перед Коковцевым — только волны, и не было даже бритвы, чтобы за нее ухватиться. Дажелет высился в освещении прожекторов, напоминая театральную декорацию, мимо с адским шумом промчало большое тело незнакомого корабля, и Коковцева чуть не затянуло под его работающие винты. Волшебной чередой в сознании возникали вещи, которые он трогал, женщины, которых целовал, деньги, которые транжирил, и застолья, на которых роскошествовал... Это был конец!

В шуме моря — скрипы уключин и всплески весел.

— Скорее... скорее... — шепотом умолял Коковцев.

Волна вскинула его выше, он увидел белый вельбот, а японский офицер, сидевший на румпеле, показался спасителем.

— Хаяку... хаяку! — звал его Коковцев. - Скорее!

Грубые руки вцепились в воротник тужурки, потащили Коковцева внутрь шлюпки; японский офицер держал в руке русско-японский разговорник, из которого с улыбкой вычитал слова.

— Зи-да-расту, — сказал он. — Каки по-жи-ва-те?

— Камау-на, — отвечал Коковцев. — Хорошо...

Да! Теперь все хорошо, даже великолепно. Японский офицер, вроде бы разочарованный таким оборотом дела, сунул разговорник в карман. Под банкою вельбота, выпучив глаза, сидел крейсерский священник и, громогласно икая от ужаса, держал на вытянутой руке клетку с попугаем. Попугай был мертв! А вокруг Коковцева вяло, словно сонные крабы, шевелились тела спасенных, сотрясаемые приступами надрывного кашля. Это клокотала в их легких вода... Коковцева бурно вырвало. В состоянии шока, он еще не понимал, что открывается новая страница его биографии — он в плену!

Внутри японского крейсера — как в хорошем доме, и тепло и чисто; под ногами плетенки манильских матов; ровное гудение машин и вытяжной вентиляции. Надо отдать должное японцам: вели они себя

удивительно сдержанно, не проявляя перед русскими никакой радости по случаю победы над ними. Коковцева провели по отсекам так замечательно, что при всем желании флаг-капитан не смог бы заметить ни боевых разрушений, ни особенностей в японском вооружении. Он оказался в низком полутемном отсеке, покрытом линолеумом. Здесь горевали пленные офицеры с кораблей Рожественского и Небогатова, еще не вышедшие из транса после событий 14 и 15 мая... А в углу каюты плоско вытянулся мертвец, закинутый желтым одеялом. Сидящие потеснились, освобождая место для Коковцева, и он сел, представившись офицерам. "Что им сказать?"

— Я ничего не понимаю, — сказал он. — Мы ведь в этом деле не были дурачками. Слава Богу, честно трудились на благо флота. Не спали ночей на мостиках, отстреливались на полигонах Тронгзунда и Бьёрке, мы тщательно изучали опыт чужих флотов и вдруг... Кто виноват в том, что мы оказались поражены?

Только сейчас он все осознал и стал плакать. Никто его не утешал, но вежливо спросили — что с ногою?

— Погано, — отвечал он, поглядывая на мертвеца под желтым одеялом. — При взрывах летит столько черной пыли, этот кошмарный дым из разбитых труб... все разжижается водою, и моя бедная нога двое суток подряд квасилась в этом грязно-соленом растворе... А сейчас даже не болит: отупело.

— Кого там били сейчас? — спросили его.

— "Дмитрия Донского". Затонул. Через кингстоны. Глубина здесь хорошая, сажен в двести, так что японцы вряд ли станут возиться с подъемом этого старья. Мы, господа, у Дажелета...

Крейсер сильно качало. Коковцев ощутил приторный залах гниющего тела -мертвец все время привлекал его внимание.

— Кто это с нами, господа?

— Он тут лежал, когда нас сюда посадили...

Владимир Васильевич отдернул край одеяла. Это был капитан второго ранга с оторванной нижней челюстью, а из верхней блеснули коронки золотых зубов. Коковцев снова закинул его.

— Где-то встречались. А где — не могу вспомнить...

Лязгнула дверь. Два японских матроса со штыками у поясов без слов

подхватили Коковцева с таким палаческим видом, будто его пора тащить на плаху, и, действительно, потащили на "плаху" операционного стола. Прямо над собой он увидел яркую лампу, лицо хирурга, который по-французски грубо сказал:

— Ладно, ладно. Давай сюда ногу.

— А-а-а-а! — заорал Коковцев, выгибаясь от боли.

— Тихо. Я сделаю тебе только то, что надо...

Без хлороформа, под одним кокаином, хирург великолепно и быстро обработал ступню. Потом с похвальным проворством извлекал из тела осколки, о которых Коковцев даже не подозревал, страдая всем телом. Он считал их по стуку, с каким они падали в фаянсовую чашку, и был удивлен, досчитав до восемнадцати. Потом начал сильно волноваться:

— Где мой китель? Там в кармане бумажник.

— Не волнуйся. Китель в сушилке. Тебе дадут чистое белье. А что в бумажнике, Кокоцу-сан?

— Фотографии. Я столько времени провел в воде.

— Высушим и фотографии... Сакэ? — предложил врач.

— Нет уж! Лучше коньяк, — ответил Коковцев.

Хирург, рассмеявшись, шлепнул его по животу:

— Только для тебя. Я ведь учился в Париже и пони маютолк в коньяке... Скажи, марка "Maria Brizard" устроит?

Японские офицеры, прекрасно владея английским языком, выведывали у Коковцева результаты действия шимозы.

— Можете судить по мне, — отвечал Коковцев, а хирург, встряхнув чашкой, в которой дребезжали осколки, засмеялся.

При имени Лебедева японцы добавляли "доблестный":

— Он храбро дрался, и мы испытываем уважение к его экипажу. Сейчас кончаем снимать его с Дажелета, утром пойдем в Сасебо, где размещены сразу два госпиталя для русских.

Коковцеву вернули бумажник с фотографиями. Выдали на руки обычный ассортимент пленного офицера -десять папирос, бутылку вина, игральные карты, пачку печенья, пучок редиски. В карман кителя деликатно опустили пакетик туалетного пипифакса. В плоских иллюминаторах розовой чертой обозначился рассвет. Японские офицеры в один голос поздравили Коковцева...

— С чем? — удивился он.

— Ваш император уже прислал телеграмму адмиралу Рожественскому, благодаря его за пролитие крови... Какая честь!

Они были ошарашены, что на Коковцева это известие не произвело никакого впечатления. Офицеры, очень любезные, листали перед ним таблицы с силуэтами кораблей русского флота, некоторые из которых были ими уже вычеркнуты.

— А вот и ваш "Бедовый"! — похвастались они.

Покидая операционную, Владимир Васильевич пожаловался, что мертвое тело начинает издавать скверный запах, и не мешало бы его спровадить за борт. Однако японцы покойника в чине кавторанга хранили для погребения на кладбище в Иносе. Но матросы посыпали его каким-то зеленым порошком, после чего запах тления исчез. Утром крейсера адмирала Урю отошли от Дажелета. Один пленный офицер вспоминал: "Кормили нас так, как мы отнюдь не ели на своем корабле. Японцы для нас готовили европейский стол... приглашали в кают-компанию на завтраки, подавали шампанское". Коковцев однажды, ужиная подле командира крейсера, спросил его:

— Если не секрет, где сейчас Рожественский?

— Он уже в Сасебо на лечении.

— А контр-адмирал Небогатов?

— Он... в Киото. Они не встречались .

Ночью японские крейсера, переполненные пленными, проходили место сражения у Цусимы: громадное пространство было перенасыщено плавающими мертвецами, которых держали на воде пробковые пояса и койки; победители шли напрямик, не сворачивая с курса на Сасебо, и форштевни крейсеров раздвигали по бортам жуткое скопище людей, еще вчера живых, еще вчера надеявшихся, а теперь они пропадали за кормой, и винты крейсеров, бешено молотя воду, заставляли трупы вращаться, ставя их кверху ногами, опрокидывая без жалости, топя в глубине и отбрасывая в сторону...

Предстоял день позора -день прибытия в Сасебо!

Англия ликовала больше Японии: война, которую она вела с Россией чужими руками , была блистательно выиграна. Не меньшее ликование

царило и в самой Японии, но не столько от побед на суше, сколько именно после Цусимы! Престиж России на Дальнем Востоке, и военный и политический, был надолго поколеблен, а Япония сразу вышла в число великих морских держав. Из Токио поступали сообщения: "После Порт-Артура, Ляояна и Мукдена ликовала одна японская пресса, а народ Японии, отягощенный нуждой и поборами, оставался безучастным; теперь ликуют все города и деревни... известный философ сформулировал семь причин величия Японии, превосходящей все народы мира!" Дух самурайства уже насквозь пронизывал поры сложного (и не всегда понятного европейцам) организма императорской Японии. Не будем удивляться, что при этом отношение простых японцев к русским пленным было не только вежливое, но даже почтительное. "На всех станциях собиралось много народа, отношение публики к нам чудесное: японки разносят по вагонам чай, радушно им угощая, а когда поезд трогается, женщины отвешивают всем нам низкие поклоны. В ресторанах японские певицы давали русские концерты, безбожно коверкая наш язык: "Я на горку шра, уморирася..." В эти дни после Цусимы даже трамваи в Японии были обильно украшены цветами и яркими плакатами с иероглифами победы, толпы людей, зажигая фонарики, заполняли вечерние улицы городов, в исступлении выкрикивая по команде самураев: "Хэйка банзай... хэйка банзай...".

Хэйхатиро Того стал национальным героем!

В госпитале Сасебо японский адмирал встретился с адмиралом Рожественским, перенесшим тяжелую операцию на черепе; сейчас он чувствовал себя намного лучше, хотя и принял победителя еще в постели, но уже с папиросой в руке.

— Я не рассчитывал встретить вас в Японии, — начал Того после слов соболезнования. — Когда из газет стало известно, что вы собираетесь в путь, я счел это блефом. Беспокойство зародилось во мне после вашего отплытия из Носи-Бе, и тут я понял, что вы исполнены серьезных намерений... Не моя вина в победе над вами -так было угодно богам! Извините.

— Где вы ждали меня? — спросил Рожественский.

— У берегов Кореи — в гавани Мозампо... Мне пришлось поломать

голову! — отозвался Того. — Когда вы направились в обход восточнее Формозы, я пребывал в растерянности. Ибо этот маневр заставил меня предполагать, что вы изберете любой путь, только не мимо Цусимы, не Корейским проливом. В этом случае я должен был бы искать вашу эскадру в открытом океане возле "воронок" — Сангарской или Лаперузовой. Не так ли, коллега?

— Когда же вы уверились, что я направляюсь к Цусиме?

— Двенадцатого мая. В этот день вы имели неосторожность отпустить в Шанхай свои транспорта. В этот день я выпил на радостях очень много сакэ — я понял, что битва разгорится возле Цусимы... Меня это вполне устраивало!

— Это моя ошибка, — задумался Зиновий Петрович.

— И я вам глубоко сочувствую. — отвечал Того.

Единственно, в беседе нельзя было миновать и вопроса о сдаче кораблей Небогатовым, которого Хэй-хатиро Того оправдывал (как оправдывали его тогда все японцы):

— Наши офицеры считают, что им необходимо погибать заодно с кораблями, и за это вы, европейцы, подвергаете нас, японцев, суровой критике как варваров. Но здесь вы смешали два понятия. Небогатов, окруженный мною с тридцати двух румбов, поступил именно по европейским канонам: он пожертвовал ко раблями, желая сохранить жизни экипажам своей эскад ры. Не можете же вы, европейцы, требовать от европейца Небогатова, чтобы он сделал себе харакири! Мы, японцы, смотрим на сдачу Небогатова вашими же гла зами, не стараясь применять к его осуждению наш моральный кодекс "бусидо".

— Скажите, адмирал, — спросил Рожественский, — если бы на месте Небогатова оказался японец, сдался бы он?

И вот тут адмирал Того скрыл презрительную усмешку:

— Нет! — отвечал он. — Когда ваши войска взяли у наших Путиловскую сопку, командир, ее защищавший, жестоко израненный, ночью дополз до своего штаба, и тут офицеры живым зарыли его в землю, как недостойного жизни и службы под знаменами нашего микадо... Так повелевает кодекс "бусидо"!

Крейсера вице-адмирала Урю, жалобно подвывая сиренами, вошли в

Сасебо, где стояли невредимые, но очень запущенные корабли небогатовской эскадры. Лишь у "Николая I" виднелась пробоина ниже мостика. Над русскими броненосцами реяли флаги Страны восходящего солнца. Японцы перегружали пленных на пассажирские пароходы, чтобы развезти их по лагерям. Ни у кого не было никаких вещей, и пленные матросы застыли в молчании, почти похоронном, когда на причалах показалась длинная вереница людей, тащивших на своих загривках чемоданы и сундуки с родимым барахлом. Это шли команды со сдавшихся броненосцев Небогатова. Страшное молчание прорвалось в воплях:

— Шкурники! Куркули собачьи! За барахло продались! В них плевались, им грозили кулачной расправой, но матросы Небогатова, понурив головы, не отвечали. Лишь один крикнул:

— Что вы нас-то лаете? Не мы сдались — нас сдали...

Коковцева удивило, что его сразу отделили от штаба Рожественского, изолировав в отдельной палате госпиталя; вместо санитаров к нему приставили двух дюжих самураев со штыками, которые, казалось, только и ждут, чтобы выпустить из Коковцева кишки. Наконец пленные офицеры имели право отправить через французское посольство телеграммы в Россию, чтобы родные о них не тревожились: жив, здоров, в плену. От Коковцева такой телеграммы японцы не приняли, а когда он стал выражать возмущение, ему было заявлено:

— Мы бы приняли телеграмму от Кокоцу-сан, если бы он оказался среди наших пленных. Но Кокоцу-сан среди пленных не числится, и нам очень бы хотелось узнать, кто вы такой и что вам в Японии нужно?

Его допрашивал капитан-лейтенант Такасума, владеющий русским языком в той же степени, в какой Владимир Васильевич владел языком японским. Такасума был неприятен Коковцеву: квадратное лицо, жесткая щетка усов, резкий командный голос, негибкий склад ума. Русские офицеры во время войны с Японией сняли со своих мундиров все японские ордена, но Такасума продолжал таскать на груди Анну с мечами, полученную им за разгром китайских "боксеров"

при штурме фортов Дату.

— Если вы Коковцев, — утверждал Такасума, — то по чему оказались на эскадре Рожественского, а не там, где вы должны быть и где мы вас, к сожалению, не обнаружили.

— К чему загадки? — возражал Коковцев, начиная выходить из себя. — Я еще раз повторяю, что в должности флаг-капитана состоял при штабе вице-адмирала Рожественского...

Однажды его выслушивал целый синклит военных японцев.

— Опять вы говорите неправду, — не верили они Коковцеву. — Если вы состояли при Рожественском, то почему же вас не взяли в плен на миноносце "Бедовом" с Клапье де Калонгом?

Скоро вместо супа ему стали давать подсоленную воду, в которой плавали лепестки зеленого лука, а кусочек мяса уменьшился до размеров мизинца. Наконец подушку заменили валиком макуры, набитым жестким морским песком (почти галькой). Счастье, что врач Осо-сан, лечивший Коковцева, оказался золотым человеком, он подкармливал своего пациента молоком и хлебом, иногда угощал и пивом, которое продавалось пленным тут же — в буфете сасебоского морского госпиталя.

— Я не знаю, кто вы, Кокоцу-сан, — говорил врач, посверкивая цейсовскими линзами очков. — Для меня вы прежде всего больной, и я обязан вылечить вас... О, русские люди крепкие! Вы поглощаете с пищей очень много белков, чего не хватает нам, японцам, от этого и раны у нас залечиваются труднее...

Между тем Коковцева продолжали мытарить идиотскими допросами, и наконец капитан первого ранга не выдержал:

— Впредь я отказываюсь отвечать вам, а буду разговаривать только с Хиросо, что был военно-морским атташе в Петербурге. Вы удивлены? Но я был приятелем этого человека. Я даже показывал ему на Тронгзунде наши торпедные стрельбы...

Это сообщение привело японцев в замешательство. При имени Хиросо они разом поднялись, кланяясь портрету императора, а Такасума, став лебезяще-угодлив, показал Коковцеву литографию в форме народного лубка. На картинке, довольно-таки аляповатой, Хиросо, размахивая саблей, спасал из пламени взрывов японских матросов. Такасума с

почтением объяснил, что Коковцев имел честь общаться с героем японского народа. Оказывается, именно Хиросо возглавил отчаянную атаку брандеров, чтобы запечатать Первую Тихоокеанскую эскадру в бассейне Порт-Артура, и он погиб смертью отважной, но абсолютно бесполезной, ибо адмирал Макаров разбил его брандеры...

— Я сожалею о кончине Хиросо, — сказал Коковцев.

Отношение к нему резко переменилось:

— Кого еще из японцев вы знали в Петербурге?

— О-Мунэ-сан... понятия не имею, где сейчас эта женщина, но я сохранил о ней самую приятную память.

В этот день у него разболелись раны, он попросил сделать ему укол морфия. Сон был глубокий, но тяжкий. Когда же проснулся, возле стояли в вазе длинные японские ирисы.

— Кто принес их мне? — удивился каперанг.

Осо-сан пояснил, что, пока он спал, его навещала О-Мунэ-сан, подтвердившая Такасума, что он — Коковцев.

— Однако, — сомневались еще самураи, — если вы и Коковцев, то как же оказались на эскадре Рожественского? Мы долго искали вас в Порт-Артуре и не нашли ни среди убитых, ни среди плененных. Это нас чрезвычайно озадачило, а вы не станете отрицать, что отъехали в Порт-Артур из Петербурга в одном вагоне с покойным и доблестным адмиралом Макаровым...

Только теперь Коковцев все понял! Когда Степан Осипович отбывал на Дальний Восток на перроне Николаевского вокзала столицы наверняка его провожали и японские шпионы. Они точно зафиксировали Коковцева в числе отъезжающих офицеров штаба. Но они прохлопали, что он покинул адмирала в Москве, и теперь настырно искали того Коковцева, который для них пропал. Всю эту ситуацию Владимир Васильевич растолковал французскому консулу, на свидании с которым он настоял, а потом долго наслаждался смущенным видом капитан-лейтенанта Такасума.

Переведенный в общую палату, он начал поправляться, гулял с костылем в садике госпиталя, где кормил хлебом в пруду рыбок и двух сонных черепах, приученных подплывать к мостикам, если громко хлопнуть в ладоши. По вечерам же тоскливо слушал концерты

японских лягушек, исполнявших такие же свадебные мелодии, что и лягушки парголовские. Думалось: "Как-то там Ольга? Наверное, уже на даче... Хорошо ли ведут себя Никита с Игорем?" Но среди этих житейских вопросов был мучителен главный: "Что я скажу Ольге о нашем Гоге?.."

В конце мая президент США Теодор Рузвельт, обеспокоенный усилением военной мощи Японии, предложил свое посредничество к миру. Пленные офицеры ждали мира, но и боялись его.

— Осточертело тут хуже горькой редьки, — делились они между собой, расхаживая в белых кимоно по вечерним коридорам притихшего госпиталя. — Но вернись в Россию, и любая тварь станет в глаза плевать... за Цусиму!

Я боюсь, как бы у читателя не возникло неверное представление о пребывании в японском плену, как о хорошо налаженном отдыхе, вполне заслуженном после похода и боя эскадры.

С офицерами флота все ясно! Японцы дали им волю-вольную, лишь не позволяя иметь тросточки толще мизинца, которые и отбирали без разговоров как опасное оружие. Нужды офицеры не испытывали — японцы выплачивали деньги аккуратнее, нежели русская казна. Можешь гулять где хочешь, но сидеть в ресторане более трех часов запрещалось. Если кто задерживался, полицейский страж, переодетый в кимоно, вежливо напоминал об истекшем времени. В таких случаях русские не спорили и, выкурив на улице папиросу, возвращались обратно в ресторан — еще на три часа... К пленным матросам отношение японцев было иное. Одетые кто во что горазд, а иногда полуголые (при спасении в море, как известно, о фраках не думают), русские матросы терпели отчаянную нужду. Их держали на отшибе страны, на пустых и одичалых островах, в кое-как сколоченных бараках, кормили впроголодь. И там, в лагерях Синосима, где в горах выла по ночам собака, брошенная Стесселями, матросы постоянно бунтовали, а дрались с охраной столь озверело, что огнестрельное оружие не раз переходило из рук в руки...

Совсем уж негодно, и даже отвратительно, относились японцы к пленным Маньчжурской армии: их подвергали издевательствам,

отнимали часы и бинокли, с пальцев офицеров срывали обручальные кольца. Среди японцев иногда встречались настоящие изверги...

Все это время Коковцев не прекращал поисков своего сына. Подробно расспрашивал пленных о судьбе спасенных с "Осляби". В госпитале Сасебо лежал тяжело раненный мичман с "Осляби", князь Сергей Горчаков; он и рассказал Коковцеву, что в первой башне пневматика продувания отказала сразу, потом сплоховала гидравлика, и башню проворачивали вручную, но где был Гога в момент гибели броненосца — он этого не знает. Газеты в России изо дня в день публиковали списки увечных, убиенных, умерших в плену и пропавших бесследно. "А что, если имя мичмана Г. В. Коковцева уже значится среди погибших? Кто же даст Ольге сил пережить этот удар?.."

Он еще не терял надежды, что Гога остался жив.

А если он жив, то... где же он?

Искал одного сына, но случайно нашел другого.

Капитан-лейтенант Такасума залучил его в офицерский буфет, где они стали пить пиво. Неожиданно японец признался:

— Русским очень повезло в этой войне. Не скрою, что Японии сейчас важно предстать в свете великой и победоносной державы, склонной к соблюдению норм международного права, выработанного вами, европейцами. В дальнейшем мы не собираемся относиться к своим пленным столь же хорошо, как сейчас относимся к вам. — Безовсякого перехода он завел речь об Окини- сан. — Ведь у вас был и сын — Кокоцу Иитиро? Не удивляйтесь, что так исказили вашу фамилию.

Далее самурай сказал, что Иитиро, будучи артиллерийским офицером на славном крейсере "Идзуми", отлично сражался во славу микадо и погиб в битве при Цусиме.

— Вы сказали — на крейсере "Идзуми"?

— Да. Этот крейсер вынес из боя немалые жертвы...

Владимира Васильевича пошатнуло. Как объяснить, что "Идзуми" именно от "Осляби" и получил несколько отличных попаданий? Неужели Иитиро убил Георгия, а Георгий убил Иитиро? Помедлив, Коковцев ответил Такасума, что Окини-сан, наверное, сейчас очень тяжело и он хотел бы известить ее о себе.

Что-то человечное проступило в жестком лице самурая.

— Вы этого хотите? — спросил Такасума.

— Ради нее... Надеюсь, это не затруднит вас?

— Нисколько! Я это сделаю, Кокоцу-сан, уважая в вашем лице кавалера нашего ордена Восходящего Солнца... О, не торопитесь расплачиваться за пиво. Я охотно сделаю это за вас. Спокойной ночи, Кокоцу-сан!

Коковцев пожелал самураю того же:

— Домо аригато! О ясуми насай...

Ночью пришлось много передумать. При свете луны он раскладывал фотографии Ольги и своих детей, но в дальний путь до Цусимы он не взял портрета Окини-сан, а Иитиро никогда не видел. В эту ночь, наполненную повизгиванием цикад, Коковцев вдруг явственно представил себе, что его сын не покинул башни броненосца... Нет, он и остался в ней.

Скорее всего, таки было: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ.

— Я ведь сам воспитал его на примере Дюпти-Туара... О том как погиб Иитиро, он в эту ночь не думал! Утром в Сасебо стало известно, что Рожественский, очевидно выезжает в Киото — ради свидания с Небогатовым.

— Зачем ему это? — удивился Коковцев. — Японцы правильно делают, не желая держать двух пауков в одной банке...

Пленные знали, что Того нанес визит Небогатову, который, будучи глупее Рожественского, непомерно расхваливал достижения японской науки и техники, а Того, будучи умнее Небогатова, цокал языком, деликатно возражая ему: "Да что вы говорите? Не может быть! Я не заметил превосходства своего флота перед вашим флотом..." Из американского города Портсмута, где Витте уже встретился с японским министром Комура, доходили невероятные слухи, будто Япония претендует на половину Сибири с Камчаткой и Сахалином в придачу. Не слишком-то доверяя газетам английским (и сразу отбрасывая русские), Коковцев прочитывал газеты японские. Их издатели представляли дело так, будто Россия, полностью разгромленная, давно валяется в ногах священного микадо, слезно взывая к нему о милосердии... Но однажды Коковцев выудил из прессы сообщение, что в России молодыми офицерами создана "Лига обновления флота".

— Господа, — сказал он, — это любопытная новость. Мы сидим тут, а в России народ собирает пятаки на новые корабли.

Его спросили, а кто в этой "Лиге" верховодит?

— В числе основателей — лейтенант Колчак.

— Это какой же Колчак? Не тот ли, что в Порт- Артуре командовал "Сердитым", а потом вернулся домой через Америку?..

Японцы, не желая держать нахлебников, многих пленных из Порт-Артурской эскадры давно отправили на родину. Они умышленно не держали врачей, интендантов, священников, отпускали в Россию и тех раненых, которые докучали им заботами. Не все нравилось русским в Японии, а многое попросту обескураживало. Коковцев однажды слышал на улице, как пожилой армейский капитан огорченно признался прапорщику:

— Где уж нам воевать с японками, ежели у них на каждой улице — школа, а прививки от оспы и умение плавать для всех обязательно. Гляди, у них и дети-то соплями не шмыгают!

Это верно: сопливых не было. Но Коковцев, в отличие от этого армейца, мог уже сравнивать две Японии, прежнюю с настоящей, и он заметил большие перемены: девочки в матросках маршировали, мальчики обучались приемам штыкового боя. Разве это не дико? Да и что хорошего, если паршивый фельдфебель идет по улице, и вся улица начинает ему кланяться?..

В конце августа Владимир Васильевич решил съездить в Киото; на вокзале к нему подошел глупый немолодой матрос с "Адмирала Нахимова", лежавшего у Цусимы на глубине в сорок сажен.

— Извиняйте на просьбе, вашскородь. А вот со сберкнижками-то как быть? — Речь шла о деньгах, вложенных на хранение в сберкассу погибшего крейсера. — Кады эта пальба была, о деньгах не соображал. А тут мир... ведь я не украл! Скопил. По копеечке. Бывало, и чарочки не выпьешь.

Коковцеву стало жаль матроса. Он сказал:

— Но ведь еще перед боем всюду вывесили объявления, чтобы вкладчики забрали свои деньги обратно.

— Так это для умных. А я, дурак такой, понадеялся, что в сберкассе-то оно верней будет, нежели в кармане таскать...

— Куда ж, братец, ты сейчас едешь?

— До Киоты... жаловаться. Чтобы деньги вернули.

— На кого ж ты собираешься жаловаться? Уж не на адмирала ли Того, который твои рубли на дно отправил?

— А мне все равно — на кого... Сколь лет складывал. Все копил. Надеялся. Думал, вот возвернусь в деревню, и всем чертям тошно станет! И часики обрести было желательно...

Напоминание о часах было кстати:

— А тебе Павел Бирюков с "Донского" не попадался?

— Так он уже тягу дал... с пальцем.

— С каким еще пальцем?

— А так. Начал драку с конвоиром японским. Чтобы тот к нему в окошко не смотрел. Японец-то неопытный, возьми и сунь в рот ему палец. Пашка — хрясь яво, и откусил! А палец-то непростой. Указательный. С правой руки. Таким пальцем стреляют. Ну, суд. Оно конешно. Не без этого. Вить Пашка-то из самурая инвалида сделал. — Вот и бежал. Потому как не дуралей, Пашка-то Бирюков... в тюрьме кому охота сидеть?

— Как же бежал? Не зная японского языка?

— А ему на все языки плевать. Сел на французский пароход и поплыл. Говорят, письмо в Синосима прислал. Из Кронштадту. В тюрьме сидит... Такой уж человек: как приехал, так сразу в революцию кинулся, и очень, пишет, ему понравилось.

— Пошел вон... пентюх! — ответил ему Коковцев.

Он приехал в Киото, в саду храма "Миокоин", который был отведен для размещения небогатовского штаба, Владимир Васильевич встретил контр-адмирала, заочно преданного суду на родине. Николай Иванович Небогатов сказал:

— Я имел неосторожность, по примеру Рожественского, послать царю телеграмму о сдаче эскадры. Но его величество даже не удостоил меня ответом, и теперь ясно, кто будет виноват... Неужели я думал о себе, сдавая корабли? В конце-то концов, уж мне-то спасательный круг всегда бы дали. И хотел бы утопиться, меня первого за волосы бы вытащили. Ценою своего позора я сознательно купил у противника тысячи русских жизней, которые, хочется верить, еще сгодятся

отечеству...

К сожалению, Коковцеву не удалось в Киото отыскать никаких сведений о спасенных с "Осляби"; Небогатов посоветовал флаг-капитану ехать в Токио, где епископ Николай, глава православной церкви в Японии, собрал очень большие материалы о судьбах всех спасенных с эскадры. На вокзале снова пришлось встретить этого немудреного матроса с "Адмирала Нахимова".

— Ну, как? Выяснил вопрос о сберкнижке?

— Говорят — пиши пропало. Но я этого безобразия так не оставлю. Тока бы домой выбраться, уж я нажалуюсь кому следоват. Свое-то кровное — из глотки вырву!

— Много ли, братец, накоплено у тебя было?

— Куча! Трех рублей до сотни не дотянул. А теперича вот и на билет нету, чтобы до Синосима отселе выбраться.

Коковцев купил ему билет до лагеря в Синосима

— Держи! У тебя вот сотенная бумажка на крейсере размокла, а у меня, братец, сын погиб на "Осляби".

— Тады я заткнусь, — сказал матрос, и они поехали... Каждому свое!

Япония была прекрасна. Отвернувшись к окну, Владимир Васильевич тихо глотал слезы.

Портсмутский мир едва не вызвал всеобщего народного восстания, а барону Комура грозили смертью, его дом в Токио был сожжен. Япония давно истощила себя войною, цены на продукты питания возросли втрое, народ бедствовал, а перспективы на урожаи риса в этом году были плачевны. Всюду возникали грандиозные митинги, требующие отказа от мира, который-де "оскорбляет" честь нации, не давая стране никаких выгод; горели полицейские участки, в пролетарских кварталах столицы рабочие дрались с войсками, на улицах лежали трупы убитых.

В эти дни пленным запретили появляться на улицах.

— Чем все это вызвано? — недоумевали офицеры.

Коковцев понимал причины. Самурайская пресса, раздувая любой успех военщины в небывалые триумфы, всю войну обманывала народ, внушая японцам, что каждая семья, давшая солдата армии или

матроса флоту, после победы над Россией получит от контрибуций столько денег, что будет обеспечена до конца жизни. Теперь, прослышав о мире, крестьяне бросали рисовые поля, толпами двигались в большие города, где настойчиво требовали от чиновников Муцухито обещанных "русских" денег...

Кормить пленных после заключения мира японцы стали омерзительно и так скудно, что все испытывали голод. Даже офицеры. А что сказать о нижних чинах, которым отводилось по двадцать три копейки в день, исходя из русского жалованья, тогда как фунт тощего мяса стоил в Японии сорок пять копеек... Красный Крест пересылал пленным офицерам египетские папиросы и французское шампанское, солдатам и матросам — сухари и махорку в неограниченном количестве, да еще всякие, книжечки, вроде такой — "Что нужно знать воину-христианину?". Но бурные всплески русской революции докатывались и сюда, в лагеря и бараки рядовых пленных, которые рвались на родину, чтобы не опоздать к переделу старого мира...

К воротам госпиталя Сасебо подъехала Окини-сан.

Коковцев узнал о ее приезде от Такасума.

— Нам, — заявил он, — нет смысла держать вас и далее в Сасебо, я могу хоть сейчас выдать вам бирку "дзюсанго", с которой вы можете проживать в Японии где вам угодно. Но... я не советую вам уезжать в Нагасаки!

— Почему же так? — удивился Коковцев.

Такасума через зубы со свистом втянул в себя воздух.

На суровом лице его, как и в прошлый раз, проглянуло что-то сострадательное. Он сказал: Япония столь горда своими победами, что отныне не станет прощать японским женщинам былых отношений с европейцами.

— Вы и сами знаете, — пояснил он, — как печально заканчивались все попытки пленных завести любовную интригу...

Коковцев об этом знал: "Дав время русскому офицеру найти временную жену (на что тратится немалая сумма денег), полиция накрывает их при первом же свидании, новобрачных разлучают, имя офицера публикуется в газетах, а женщина регистрируется в полиции проституткой!"

— Вы вернетесь в свою семью, — убеждал его Такасума, — а госпожа Окини до самой смерти осуждена носить этот позор. Я не ожидал ее приезда в Сасебо и, если вам угодно, согласен объявить ей, что вы уже покинули нашу страну!

Коковцев погладил костыль из самшитового дерева.

— Зачем так грубо? Мы не виделись двадцать пять лет, и вы должны понять мои прежние чувства. Ведь у нас был сын! А крейсер "Идзуми" до сих пор стоит у меня перед глазами... Если Окини-сан согласна на позор, то как же я могу отвергнуть ее сейчас? Именно сейчас...

Такасума выдал ему бирку "дзюсанго", которую Коковцев и навесил на шею, чтобы к нему не придиралась японская полиция. Он завязал в шгаток-фуросики скромные пожитки пленного офицера, сердечно простился с врачами, санитарками, товарищами по палате и, опираясь на костыль, побрел к выходу. Две сонные черепахи, выбравшись из тины пруда, грелись на солнце, растопырив лапы и вытянув шеи. Японский часовой в белых обмотках отдал у калитки честь офицеру российского флота.

— Саёнара, — сказал ему Коковцев на прощание.

Четыре озябших носильщика в коротких штанах до колен и в сандалиях на босую ногу стояли наготове возле богато убранного паланкина. За стеклом дверцы Коковцев увидел профиль женщины, переступившей второй возраст любви. Окини-сан легко вышла из паланкина; она не выдала ничем ни женской радости, ни материнской печали. Одета она была с изысканной роскошью, а богатый пояс-оби напоминал большую стрекозу, раскинувшую крылья за ее спиною. Окини-сан гибко переломилась в поклоне, Коковцев поразился прежней чистоте ее чарующего голоса:

— Гомэн кудасай, голубчик! Ирасяй — пожалуй...

Носильщики дружно оторвали паланкин от земли, шагая размеренной походкой, чтобы раненый не испытывал неудобств. А подле, придерживая края кимоно, шла Окини-сан, держа руку Коковцева в своей маленькой ладони... Даже не верилось, что минуло много-много лет с той поры, когда "Наездник" ворвался, как буря, в Нагасаки! Дальше — микст-вагон поезда, спешащего к лучезарным видениям мичманской юности. Среди пассажиров никто не выражал презрения к

Коковцеву, но по лукавым затаенным улыбкам японцев каперанг догадывался, что все эти люди, совсем не злые, все-таки рады видеть поверженного врага, несущего бирку на шее, как блудливое животное, которое теперь не посмеет далеко убежать. Но зато сколько неприкрытой ненависти выражали взгляды, исподтишка направленные в сторону Окини-сан, и только сейчас Коковцев понял, что женщина, приехавшая за ним, согласная на унижение ради него, осталась по-прежнему верна прошлой и наивной любви.

"А может, Такасума и прав?" — стал сомневаться Коковцев...

Поезд увлекал его к югу, пролетая через обессиленную и негодующую от лишений страну. Окини-сан незаметным жестом поправила на шее Коковцева иероглиф "дзюсанго", тихонько спросила, был ли он счастлив все эти годы — без нее?

— Не думал об этом. Наверное... А ты?

Паровоз неистовым воплем заглушил ответ женщины.

Вот и вокзал Нагасаки... Под проливным дождем ехали на рикше, из-под босых пяток бедняка комьями вылетала сочная слякоть. От офицеров Тихоокеанской эскадры до Коковцева и раньше доходили неприятные слухи, что Окини-сан стала очень богатой дамой. Слухи подтвердились... Большой уютный дом в садах квартала Маруяма, красное дерево веранды, покорные прислужницы-мусумэ — все это подсказало Коковцеву, что, наверное, недаром он посылал деньги на воспитание сына Иитиро.

Владимир Васильевич поведал Окини-сан, что его старший сын погиб на броненосце "Ослябя".

— Твой старший не погиб на "Осляби", — отвечала женщина. — Твой старший сын погиб на "Идзуми"... Ты не был виноват ни в чем! Виновата одна я, рожденная в год Тора...

На самом почетном месте ее жилья, в глубине ниши-токонома, покоилась фотография Иширо, артиллерийского офицера самурайского флота. Коковцев перекрестился.

Окини-сан низко опустила голову:

— Наш сын мог быть очень счастлив...

На фотографии Иитиро был в матросской блузе с глубоким вырезом на груди, его фуражку венчала императорская кокарда, а в его лице

было что-то очень японское, но он мог бы вполне сойти и за русского парня. В какой-то момент Коковцеву даже показалось, что Иитиро похож на Гогу.

— Да он мог быть счастлив, — продолжала Окини- сан. — И он без печали ушел в море на своем прославленном крейсере. Нас было много, матерей. С какой радостью мы провожали своих сыновей, как мы гордились ими в тот день!

Неприятно-скользкая тень "Идзуми" снова, как и в бою при Цусиме, резанула Коковцева по глазам, будто острое лезвие. Он стряхнул с себя это проклятое наваждение. Но как сказать ей, матери, потерявшей сына, что он (именно он, отец ее сына!) призывал стрелять именно по "Идзуми"?

— "Идзуми" стрелял по "Осляби", — сказал он.

— Наверное, и "Ослябя" стрелял по "Идзуми"...

В красивых подставках курились ароматные свечи, дым которых отпугивал комаров. Окини-сан, отстранив прислугу, сама разливала чай. Коковцев извлек из кармана бумажник, сморщенный от морской воды и ставший седым от соли Цусимы, пропитавшей кожу. Он достал покоробленную фотографию своего пропавшего любимца. Подхватив с татами костыль, дохромал до токонома и поставил портрет Георгия подле портрета Иитиро.

— Пусть они будут вместе, — сказал он Окини-сан.

— Да, голубчик. Их сейчас уже ничто не разделяет...

Так они и остались в траурной нише, оба молодые и счастливые, глядя один на другого с таким вниманием, с каким, наверное, разглядывали друг друга через граненую оптику прицелов прямой наводки по цели.

Окини-сан, встав на колени, поднесла Коковцеву чай.

Как и много лет назад...

В садах Нагасаки тревожно шумели морские ветры.

Сколько неудач и поражений было в этой войне, но траур Россия надела именно со дня Цусимы! Ибо даже неграмотный крестьянин, знавший о флоте лишь понаслышке, даже он сердцем понимал, что возле берегов с непонятными названиями произошло нечто ужасное для всех русских людей...

Эта боль от Цусимы долго не заживала в народе!

Возраст третий.
Vae victis
Нет, то не снег цветы в саду роняет,
Тоща от ветра в лепестках земля, —
То седина!
Не лепестки слетают.
С земли уходят не цветы, а я.
Нюдо-Саки-Но-Дайдзёдайдзин

Рожественский не пожелал повторять позорной дороги Стесселя, протащившего свой багаж вокруг всей Азии до Одессы, — он сказал, что вернется в Петербург через Россию. Коковцев не составил ему компании, ибо раны еще давали себя знать; он решил плыть с комфортом на лайнере "Травэ", хотя билет первого класса стоил сто шестьдесят пять рублей; а ведь следовало еще сбросить цусимские лохмотья и как-нибудь приодеться. Недостающие деньги он занял у земляка — Гордея Ивановича Пахомова. Его ресторан "Россия" процветал, как и раньше, в дверях под зонтиками стояли миниатюрные японки, зазывая гуляющих пленных:
— Ходи сюда, русскэ аната, посиди надо, пожарустра, едишка кусай, палка-хаси нету, у нас вирка и рошка...
Пахомов овдовел, дела вел сын, женатый на очаровательной японочке. Коковцев застал старика в клетушке задних комнат, куда едва достигали тонкие голоса японских хористок:
Динь-бом, динь-бом.
Слышен звон кандальный.
Динь-бом, динь-бом.
Путь сибирский дальний...
Гордей Иванович зябко кутался в русский полушубок, наверняка купленный у пленного портартурца.
— Это вот ему, — показал он на сына, — уже все равно, что Россия, что Япония, один бес, лишь бы все столики были заняты! А вы-то,

господа, куды глядели? Не дикари же вы, не в корытах по лужам плавали. Поглядишь — броня во какая! А пушки? Да в любую эдакую махину самого жирного порося затолкать можно... Ведь смеются теперь над вами!

Коковцев покинул Пахомова в дурном настроении: уж если так осмеливается говорить этот старик, что же предстоит выслушивать в Петербурге? Рожественский

уже отбыл на родину. Не задерживаясь во Владивостоке, адмирал 17 ноября тронулся в путь по линии КВЖД, минуя Харбин, на перроне которого качалась серая стенка пьяных демобилизованных; прослышав, что едет сам Рожественский, они кричали "ура" перед его вагоном. Всю дорогу питались скудно — консервами. За Хинганом начиналась снежная зима; в тупиках разъездов мерзли эшелоны раненых и запасных; они посылали делегатов, просивших, чтобы адмирал к ним вышел. Солдаты произносили речи, Зиновий Петрович благодарил за сочувствие и даже целовался с бородачами в папахах, которые плакали, говоря: "Ты вить тож ранетый... не как иные сволочи!" Всеобщая забастовка путейцев передвинула стрелки России, революция зажгла красный свет семафоров. Но стачечные комитеты постановили: экстренный-бис с адмиралом не задерживать! Офицеры свиты Рожественского закупали на станциях мороженых рябчиков. Военные оркестры на вокзале Читы беспрерывно играли "Марсельезу", всюду реяли красные стяги. При виде в окне вагона адмирала гуляющая публика аплодировала ему. На таежном разъезде Зиновий Петрович ел в буфете щи, к его столу подали даже гуся, и он, изголодавшийся на японских "едишках", ел с большим аппетитом. За Байкалом власть уже не имела власти: гарнизоны поддерживали рабочих, офицеры митинговали, как и солдаты, в тамбур адмиральского вагона поставили караул с добрыми намерениями — чтобы ротозеи не мешали больному человеку. Иногда возникали стихийные митинги перед вагоном адмирала. Рожественский с забинтованной головою, открытой на сибирском морозе, держался прямо, обращения на "ты" не шокировали его. Рабочие депо просили рассказывать о Цусиме, задавали каверзные вопросы о Небогатове.

— Скажи, старик, не было ли измены? — спрашивали его.

— Измены не было, — твердо отвечал Рожественский...

Так ехали до Самары, где экспресс был задержан. Но имя адмирала действовало на всех магически: снова многотысячные толпы народа, опять бурные овации — семафоры открылись. Бастующие телеграфисты отстукивали по линии: "Экспресс адмирала Рожественского пропускать на Петербург без задержек..."

— А ведь едем на эшафот! — говорили офицеры штаба.

По прибытии в столицу вице-адмирал Рожественский 21 декабря 1905 года опубликовал в газете "Новое время" скандальную статью, в которой честно признался, что он не знал о дислокации эскадры Того в Мозампо, как не знал об этом "даже адмирал английского флота, сосредоточивший свои силы у Вэйхайвэя в ожидании категоричного приказа — истребить весь русский флот, если бы эта конечная цель английской политики оказалась не под силу японцам". После подобного заявления Уайтхолл пришел в ярость... Это никак не остановило Зиновия Петровича, который официальным порядком потребовал суда над собою, заодно дав интервью корреспондентам столичных газет.

— Я утверждаю : если бы адмирал Того не разбил нас при Цусиме, в дело вступил бы флот Англии, желавший доломать то, что после нас останется. И как в свое время Скобелев говорил, что в будущем наш враг — Германия, так я заявляю, что Англия была, есть и всегда будет главным врагом России!

— Можете ли сказать то же самое о Японии?

— Вопрос нелёгкий... Алчность японской нации чересчур велика. Но осмелятся ли они залезать в нашу Сибирь, на это мне ответить трудно: я не политик. Однако Азия слишком обширна, и она слаба, зато Япония слишком мала, и она очень сильна.. Понимайте меня, господа, как вам угодно!

Конечно, его спрашивали о сдаче эскадры Небогатова:

— Находите ли какие-либо тому оправдания?

— Никаких ! — огрызнулся Рожественский, — Позорное слабодушие нельзяя маскировать декорациями гуманности. Морской устав прав: думать о спасении экипажа дозволено лишь в том случае, если корабль гарантирован от захвата его противником.

— Но, позвольте, не вы ли и сдались на "Бедовом"?
-Я.
— И шиле этого осуждаете своего коллегу?
— Прежде всего, — был ответ адмирала, — я осуждаю самого себя... Если угодно, могу процитировать статью двести семьдесят девятую Морского устава о наказа ниях, гласящую: "Кто, командуя флотом, эскадрою, отрядом судов или кораблем, спустит перед неприятелем флаг или сложит оружие... если таковые действия совершены без боя, тот подвергается СМЕРТНОЙ КАЗНИ".
— Зачем же вы, адмирал, вернулись в Россию?
— Именно за этим я и вернулся.
Его бесило, что газеты пишут не "крейсера", а "крейсеры", фамилию же переделывают на поповский лад: не Рожественский, а Рождественский... Адмирал озлобленно ругался:
— Все это — наша похабная деревенщина!

Коковцев обещал Окини-сан, что в ноябре поедет с нею в Токио, где открывалась ежегодная выставка хризантем. Ночи были тревожными, а соседство женщины, когда-то желанной, не могло утешить. Неподалеку размещался русский госпиталь, по улицам расхаживали одетые в разноцветные хаори (короткие кимоно) всякие калеки. На кладбище Иносы стучали отрывистые залпы -это японские матросы отдавали последний воинский долг умершим матросам и офицерам русского флота. Религиозная веротерпимость японцев была удивительна! В православном соборе Токио, даже в самый разгар боев, епископ Николай легально служил молебны о "даровании победы над супостатом". Полюбовавшись на выставке хризантемами, Коковцев оставил Окини-сан в отеле, а сам навестил епископа Николая Касаткина на его подворье, прося отслужить панихиду по убиенному на морях рабу божию — Георгию:
— Это мой сын — мичман, он утонул на "Осляби".
— Не стану, — отказал епископ. — А вдруг жив?
Николай полистал списки экипажей русских эскадр, сообщения посольств — французского, немецкого, британского.
— Японцы сами признают, что засыпали снарядами миноносцы,

спасавшие людей с "Осляби". Однако "Буйный" спас многих!

— Моего сына на "Буйном" не было. Не ищите его и среди мичманов — в японском плену. Я их знаю: Бартенев, князь Горчаков, Кузьмичев, барон Ливен, Максимов!

— "Бравый" прорвался во Владивосток, правда, среди спасенных им четырех офицеров с "Осляби" вашего сына не значится. Внушите себе надежду на милость божию: эсминец "Блестящий"...

— "Блестящий" открыл кингстоны, чтобы не сдаваться! — Но успел передать восемь человек с "Осляби" на борт миноносца "Бодрый". Спалив весь уголь в котлах, на "Бодром" сшили из коек паруса и достигли Шанхая. Я не могу отпевать человека, пока не знаю точно, что его нет на "Бодром"... У вас есть еще дети? — спросил Николай, снимая очки.

— Двое сыновей. Тоже по флоту.

— Да хранит их Господь на зыбких водах...

Коковцев приобрел твидовый английский пиджак в клетку, приспособил к голове котелок, обулся в американские ботинки со шнурками, каких до этого ни разу в жизни не носил. Окини-сан провожала его с обворожительным спокойствием, а все ненужно-беспокоящее Коковцев решительно отметал от себя. На прощание Окини-сан подарила ему каллиграфический список, сделанный тушью, со старинного стихотворения Токомори:

Как пояса концы — налево и направо
расходятся сперва,
чтоб вместе их связать,
так мы с тобой:
расстанемся,
но, право,
лишь для того, чтоб встретиться опять!

"Центральное бюро военнопленных" в Японии оповестило его телеграммой, что отплытие "Травэ" назначено на 12 декабря. Коковцев поразился вопросу Окини-сан:

— Когда мне снова ждать тебя, голубчик?

— Давай простимся, и лучше — навсегда,

— Но это же невозможно... — загадочно ответила женщина. — Я все

равно буду ждать каждый праздник дзюгоя, я буду варить сладкий рассыпчатый дзони — для тебя, для нас.

Японская администрация устроила в день отъезда пленных завтрак для них "a la fourchette" с шампанским; на завтраке присутствовал и Коковцев с Окини-сан. В каюте "Травэ" он сразу расшнуровал ботинок, чтобы не так жало больную ногу. Владимир Васильевич представил, как Окини-сан возвращается в Маруяму на рикше, вечером прольется дождь, и, может быть, мертвые на кладбище Иносы тоже будут чувствовать, что идет дождь. "Об этом лучше и не думать", — сказал он себе...

Новый 1906 год встречали на подходах к Сингапуру, в салоне лайнера были устроены танцы, официанты разносили вино и тропические фрукты, играл корабельный квинтет. Подвыпив, Коковцев рассуждал:

— Я не могу признать, что вся наша политика на Дальнем Востоке сплошь состояла из ошибок, как диктант отупелого гимназиста. Да, мы нуждаемся в обладании Порт-Артуром, да, рельсы КВЖД имеют важное значение для обороны Уссурийского края, и что бы там ни болтали занюханные интеллигенты, но делить Сахалин на две части нельзя!

Его тирада предназначалась скромным армейским офицерам, которые вдруг искренне возмутились:

— Разве вам мало досталось от японцев? Или вы хотите устроить вторую Цусиму? А сколько стоит один броненосец?

— Смотря какой! Миллионов до пятнадцати.

— Вот! — разом заговорили армейцы. — А бюджет-то у нас зиждется на водке. Сколько ни пьем этой заразы, а Россия не богатеет: где же вы наскребете деньжат на новые эскадры? Да и мы, армия, не позволим вам, флоту, выбрасывать миллионы в воду, если у нас, армии, нет самого необходимого для войны...

Коковцев чувствовал, что не все думают, как он. Он-то не мог иначе.

Если бы знать заранее, в какие дебри заводят нас ошибки!

Путешествие заняло больше месяца. В последний день января "Травэ" оповестил спящую Одессу о своем прибытии. Владимир Васильевич не стал телеграфировать Ольге: сел на поезд и поехал! Еще в Японии офицеров флота предупреждали, чтобы на родине держались

скромнее, желательно носить цивильное платье, дабы не нарваться на оскорбление мундира, — флот после Цусимы не возбранялось ругать кому не лень. С этим явлением Коковцев сразу же и соприкоснулся. Соседом по купе оказался развязный магазинный приказчик, который удивительно точно отражал иное, отличное от мнения армейских офицеров, мещанское и обывательское отношение к делам флота.

— Армия, та хоча воевала, — разглагольствовал он. — А эти, сундуки железные, только, знай себе, по бабам шастали. Мне один умнейший человек, он в Уфе гвоздями торгует, про флотских все как есть обсказал. Такие они фулиганы — ну, спасу нет! Бабья у них — в кажинном городе по три штуки. И вот между городами на пароходах и шлындрают. Опосля всего ясно же, почему флотские не могли Японии взять... Я читал, бытто пузыри из моря выскакивали — шире этого вагона!

Вот и Петербург! Здесь, кажется, ничего не изменилось и билеты "на Шаляпина", если верить аншлагам, давно проданы. Был тихий рассветный час. Подмораживало. Коковцеву всегда были приятны эти по-зимнему тишайшие улицы столицы; первые дворники, еще зевая в рукавицы, скребли совками панели, сгребая в кучи снежок, выпавший за ночь. Парадные двери на Кронверкском были закрыты, он позвонил, разбудив швейцара, и тот радостно суетился:

— Эк вас угораздило-то — и года не прошло, как уже с костылем вернулись! Вот радость-то семье будет какая...

В передней разыгралась именно та сцена, которой так страшился Коковцев и которой было не избежать.

— А где же Гога? — спросила жена.

Коковцев приставил в угол костыль, как еще недавно прислонял звонкопоющую саблю — знак доблести и чести.

— У нас еще двое сыновей, — с натугой ответил он. Ольга Викторовна дернулась головой:

— Я так и знала... я так и знала...

На пороге гостиной появился второй сын — Никита, радостно-просветленный, он показал отцу его именные часы:

— Папа! Они вернулись к нам раньше тебя.

Никита уже носил эполет гардемарина.

— Можешь занять комнату Гоги, — сказал ему отец.
Согнутая в страшном поклоне, из которого ей уже не дано выпрямиться, Ольга Викторовна повторяла:
— Я так и знала... О Боже, я ведь знала!

В эти первые дни он навестил Морской корпус, справился об успехах и поведении сына. Его успокоили: Никита Коковцев, юноша скромный, является добрым примером для разгильдяев.
— Как отец погибшего в бою сына, вы теперь можете без экзаменов зачислить в Корпус и своего младшего сына.
— Благодарю! Не премину так поступить...
Коковцев вдруг подумал: если Гога был его любимцем, а мать обожает младшего Игоря, то средний Никита вырастал как-то сам по себе. Этот незаметный тихоня, проводивший все воскресенья в шахматном клубе столицы, не меньше отца был потрясен поражением флота. Совсем не склонный к кутежам и флирту, свойственным гардемаринской молодости, Никита основал в Корпусе серьезный кружок думающих друзей, старавшихся анализировать причины разгрома не только со стороны неудачной тактики боя, но и — политически... Отец сказал Никите:
— Не рано ли тебе ковыряться в наших язвах?
— Папа, это необходимо для будущего. Сейчас, куда ни приди, везде твердят стихи Владимира Соловьева: "О Русь! Забудь былую славу, орел двуглавый посрамлен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен..." Бог уж с ним, с этим орлом, но, согласись, что посрамление Руси было слишком жестоко!
Чтобы отвлечь жену от тягостных мыслей, Коковцев некстати помянул бал в Зимнем дворце; реакция Ольги Викторовны последовала совсем не та, какую он ожидал
— Мог бы и не вспоминать, — сказала она. — Я расплясалась там, будто последняя деревенская дурочка... Если бы знать, какие страшные беды готовил всем нам этот вечер!
— Ну прости. — Коковцев заговорил совсем о другом. — Кажется, сейчас на флоте возможны всякие перемены.
— Перемены? — хмыкнула Ольга. — Владечка, может, для тебя будет

лучше именно сейчас подавать в отставку?

Разговор об отставке был неприятен Коковцеву.

— А все эти годы — кошкам под хвост? Сам не уйду. Пусть выкидывают, если надо... Я готов! Знаю, что под "шпицем" найдутся люди, которые несмываемое кровавое пятно Цусимы постараются размазать в грязную кляксу...

Отослав прислугу, Ольга тряскими пальцами сама прибирала со стола посуду. Коковцев неспроста завел речь о переменах. Четверть века подряд во главе русского флота стоял (вернее — сидел , как виночерпий во главе стола) человек, хорошо изучивший два дела — выпить и закусить! Это был родной дядя царя, великий князь Алексей. За счет флотской казны он содержал французскую балерину Элизу Балетга, обвешанную с ног до головы такими бриллиантами, что, если бы их продать, эскадра Рожественского могла бы иметь два боевых запаса. Но испытывать терпение моряков далее было нельзя, и Николай II освободил дядю от звания "генерал-адмирала". Отныне в России вместо управляющих делами флота явились полновластные руки морских министров...

Коковцев жалобными глазами досмотрел, как его жена закончила убирать посуду.

— Все бы ничего, — сказал он ей, — но меня огорчает, что министром стал Бибишка-Бирилев, немало испортивший крови покойному Степану Осиповичу... Этот "маляр" и меня не терпит!

— Не лезь к нему на глаза, — рассудила жена. — Самое лучшее сейчас — вести себя тихо, не привлекая внимания...

Но случилось обратное: Коковцев выступил в печати, яростно порицая тех критиков, которые, сидя на берегу, пытались вразумить читателя, что в море случилась беда только оттого, что адмиралы их не слушались.

Широкого понимания цусимской катастрофы в стране еще не было. Оно зрело в кругах, о которых Коковцев не имел представления. Коковцева коробило от невежества писак-журналистов. Он открыто негодовал:

— Акулы всегда плывут за большими кораблями, ожидая, не сбросят ли с кормы покойника, чтобы они могли нажраться!

Его не раз предупреждали друзья, чтобы он не ратовал за Рожественского, ибо сейчас, напротив, стало очень модно оскорблять , адмирала на каждом перекрестке.

— Но я хочу надавать пощечин тем негодяям, которые раньше подхалимствовали перед Рожественским и которые теперь оплевывают его эполеты, желая вызвать одобрение своему хамству...

При министре Бирилеве нельзя было рассчитывать на успешную карьеру. В этом Коковцев и сам убедился, случайно повстречав "Бибишку" под сводами торжественного Адмиралтейства.

— Зайдите ко мне, — велел Бирилев; в кабинете, на едине, он сказал с усмешкой: -А что вы там пишете?

— Извините — правду!

— Правда в наши времена подвержена строжайшей цензуре. Я вам заявляю об этом без тени намека на юмор. Ради всего святого, ничего не публикуйте без моего одобрения.

— Как же вы не понимаете, — возмутился Коковцев, — что я могу уговорить дворника, и пусть он за трешку возьмет на себя грех подписывать мои статьи своим кондовым именем.

— Но вы же — офицер, вам честь того не позволит.

— В том-то и дело! А сохранение тайны всегда будет способствовать развитию клеветы и всяческих мерзких инсинуаций...

Но как сигнал боевой тревоги взбудораживает корабль, так в один из дней звонок телефона буквально взорвал тишину уютной барской квартиры на Кронверкском.

— Что еще там, Владя? — спросила жена.

— Меня привлекают к суду.

— Тебя? За что?

— За Цусиму... Vae victis!

Еще один звонок, не менее опасный.

— Это я, — женский голос (с придыханием).

— Простите, но — кто вы?

— Ивона. Я, кажется, уезжаю.

— Куда?

— А если в Париж? Что за глупая манера отвечать вопросами!

— Нам следует повидаться, — сказал он.

— Конечно... мне ждать?

Ольга Викторовна догадалась:

— Это телефонировала мадам фон Эйлер?

— Да.

— Что ей от тебя надобно?

— Желает знать о последних минутах Лени.

— Своего фон-мужа? Зачем?

— Вполне естественное желание.

— Если так, пусть придет к нам, ты расскажешь.

— Она стесняется.

— Удивлена — почему?

— Ты у меня все-таки светская дама, а Ивона оста лась парижской простушкой, и она сама это понимает.

— Простушка никогда бы этого не поняла... Бог с ней!

Вскоре Владимир Васильевич сообщил жене, что вопрос о сдаче миноносца "Бедовый" с Рожественским на борту выделен комиссией в особую секретную папку.

— Владечка, а что это значит?

— Для меня — многое. Я реабилитирован за дела на эскадре, ибо никогда не был ответствен за исход боя...

В цитадели Кронштадта, где еще недавно так пышно чествовали Рожественского, теперь судили его — высоченного седовласого старца в старомодном сюртуке. На лбу и затылке Зиновия Петровича ярко алели плохо заживающие рубцы от осколков японской шимозы. Вставая перед судом, он опирался на палку. Коковцев тоже угодил на скамью подсудимых — заодно с флаг-капитаном Клапье де Колонгом, флагманским штурманом Фидипповским и прочими чинами штаба эскадры, в компанию которых затесался и командир "Бедового", кавторанг Гвардейского экипажа Баранов. Протискиваясь на свое место, Коковцев Баранова демонстративно не принял:

— Вы обязаны были снять адмирала с броненосца и не сделали этого под видом спасения тонущих с "Осляби". Однако, покружив возле "Осляби", вы, в отличие от командиров других миноносцев, не спасли никого и с "Осляби"!

В этой реплике Коковцева прорвалась затаенная боль от потери сына. Но он отверг руку и Клапье де Колонга:

— Я ведь не стоял на мостике "Бедового", когда вы с Барановым договаривались сдавать миноносец противнику...

Старый и больной Филипповский шепнул Коковцеву:

— Что вы на рожон-то лезете? Адмирал, конечно, останется пострадавшим машинистом, а кому-то нужны и стрелочники, обязанные быть виноватыми... Смиритесь и подумайте, как обеспечить семью в том случае, если вас не станет!

Коковцев вызвал в Кронштадт жену, впервые пожалев, что сгоряча продал когда-то жирные полтавские черноземы:

— Оля, если я буду приговорен к худшему, дачу в Парголове постарайся продать. С квартиры на Кронверкском, очевидно, придется съехать: она дорогая. Думаю, ты сможешь неплохо устроиться в Гельсингфорсе, где жизнь намного дешевле...

В прическе жены он разглядел первые седины.

— Владечка, я вызову в Кронштадт и детей.

— Как хочешь. Но... стоит ли?

Обвинителем выступал чиновник министерства юстиции Вогак, которому ради вящей авторитетности присвоили чин генерал-майора. Рожественского он явно щадил:

— Напоминаю вам, свидетель , что в момент сдачи "Бедового" вы находились в бессознательном состоянии.

Адмирал сразу встал, опираясь на палку:

— Но я обрел сознание, услышав отдаленные выстрелы, следовательно, могу отвечать за последствия сдачи миноносцев. С мостика вдруг застопорили машину. Стал звонить по расблоку — никого, даже вестового! У меня, прошу верить, просто не было под рукой револьвера, чтобы застрелиться, когда мой флаг-капитан Клапье де Колонг появился в каюте с японцами.

— Достаточно! Вы, адмирал, не волнуйтесь...

Судили: Гильденбрандт, барон Штакельберг, граф Гейден и Шульц. Вогак, очевидно, ознакомился со статьями Коковцева в печати, почему этот автор и привлек его особое внимание:

— Вы уже немало тиснули статеек в защиту себя. Но... кто сказал, что

жизнь адмирала дороже миноносца?

— Я не мог сказать подобной ерунды, ибо нет бухгалтера, который бы осмелился скалькулировать цен ность жизни адмирала и стоимость эскадренного миноносца. Если бы я так думал, я бы не остался на "Буйном", лишенном угля, с повреждениями в машинах, заведомо зная, что "Буйный" обречен на гибель.

Вогак почему-то особенно невзлюбил Коковцева, который уже догадывался, что над ним хотят учинить расправу за то, что он осмелился публично критиковать не тех, кто сражался с японцами, а тех, неподсудных, что послали эскадру в Цусиму.

— Что вы делали на "Буйном"? — допытывался Вогак. Коковцеву опротивела эта игра в кошки-мышки:

— Можете считать, что я ничего не делал.

— А где вы находились в момент, когда принималось решение о переходе адмирала и его штаба на "Бедовый"?

Зал судебных заседаний Кронштадтского порта заполняла публика — офицеры с кораблей, их жены и любопытные до всего дамочки. Коковцеву было стыдно перед людьми, знавшими его еще мичманом, а теперь они из великодушного отчуждения разглядывали его, как физиологи подопытную собачонку.

— Так я не слышу ответа, — напомнил Вогак.

— Я был... под столом, — сознался Коковцев.

Зал наполнился тихим, унижающим его смехом.

— Объясните, как вы могли оказаться под столом?

Теперь ему (и не только ему) приходилось расплачиваться за все, в чем виноваты другие — те, что кормились от некачественной брони, слетавшей с бортов, от нехватки угля, установок иностранных прицелов и дальномеров...

— Да! — ожесточился он. — И не стоит смеяться, дамы и господа: я действительно лежал под столом. Это, пожалуй, единственное место, где можно было не бояться, что тебя затопчут в случае алярма. Потому я и оказался под столом. Рентгеновские снимки, сделанные японцами в Сасебо, сейчас переданы в петербургский госпиталь. Они могут служить доказательством тому, что под стол кают-компании гнала не трусость, а лишь естественное желание израненного человека,

мечтающего об одном — хоть на минуту спастись от боли...

Все внимание публики было приковано, конечно же, к Рожественскому, и, как ни старался председательствующий выгородить адмирала из этого дела, тот упрямо брал всю вину на себя:

— Мне приписывают невменяемость в момент сдачи "Бедового", это не так... Да, верно, я никогда не отдавал словесного приказа сдать корабль противнику. Однако на вопрос Клапье де Калонга, сдавать или не сдавать корабль, я допустил кивок головы , который объективно можно расценивать как мое согласие... Прошу суд вынести мне смертный приговор через расстрел, которого я и заслуживаю как не исполнивший долга перед отечеством и опозоривший свое положение флотоводца!

Был и другой суд. Но в Кронштадте о нем и не подозревали. Во всяком случае, такие, как Коковцев.

Адмирал был оправдан. Коковцев тоже, и он крикнул:

— Оправдан, но все-таки опозорен вами, господа...

К расстрелу приговорили Клапье де Колонга, Баранова и Филипповского; смертную казнь им заменили удалением со службы, и плачущий флагманский штурман говорил:

— Опять не повезло мне, Владимир Василич... У меня же застарелый рак желудка. Надеялся, что в бою японцы излечат. Бог миловал при Цусиме, так и здесь не удалось умереть!

Коковцев за эти дни суда не поседел, но Ольга Викторовна вздрагивала по ночам, она похудела, издергалась.

— Дачу в Парголове все равно лучше продать, — сказал он ей. — Может, и в самом деле поехать в Биарриц?

— Владя, как ты не можешь понять моего состояния? Не Биарриц нужен мне сейчас... Верни мне Глашу и ее ребенка! Я тебя умоляю: где хочешь, но разыщи нашего внука.

— Хорошо, — сказал Коковцев. — Это я тебе обещаю.

Департамент полиции дал ему обстоятельную справку: Глафира Матвеевна Рябова, окончившая "Классы горничных, и нянек" в школе Трудолюбия на Обводном канале, ныне проживает в Уфе, где стала женою телеграфиста Ивана Ивановича Гредякина.

— Зачем она нужна вам? — спросили в департаменте.

— Значит, нужна... Благодарю, господа, за справку.

* * *

Для Коковцева Глаша оставалась последним звеном, что связывало его с сыном... Уфа показалась ему приличным и чистеньким городком. Коковцев зашел на телеграфную станцию, из аппарата Морзе выбегала длинная линия текста, которую телеграфист и надорвал.

— Вы, случайно, не Иван Иванович Гредякин?

Молодой парень в распахнутом кителе ответил:

— Да. А с кем имею честь?

— Владимир Васильевич Коковцев.

— Знаю, знаю... Глаша обрадуется. Вы устали с дороги? Я сдам дежурство, и, ежели угодно, вместе пойдем домой.

— Спасибо. Сын или дочка у Глаши?

— Сынишка. Назвали Сережей.

— Имя хорошее.

— Да и мальчик хороший! — ответил телеграфист.

На окраине Уфы догорал теплый осенний вечер. Глаша, подоткнув подол, внаклонку полола на огороде. Коковцеву стало тяжело от сознания, что жизнь во всем ее разнообразии еще продолжается, но Гога уже не участвует в ней, для него не существует тепла вечерней земли, краски жизни померкли для него в броневой теснине "Осляби"...

— Владимир Васильевич, никак, вы?

И, подбежав, Глаша прильнула к Коковцеву.

— Меня прислала Ольга Викторовна, — сказал он.

— Господи, да разве ж я зло на нее имею?

— И не надо, миленькая. Ей очень плохо сейчас...

В комнатах были разостланы половики, из горшков росли сочные фикусы, на окнах полыхала яркая герань, над кроватью висела гитара, украшенная голубым бантом. Так вот куда занесло Глашеньку из квартиры на Кронверкском (и, кажется, она счастлива). В сенях женщина дала ему умыться, поливая из ковшика на руки, протянула чистое полотенце.

— Ваня все знает, — шепнула она. — Я не скрывала о Гоге. Да и

зачем? Он хороший. И любит Сереженьку.

— Тем лучше, — ответил Коковцев. — А где же внук?

Мальчик дичился незнакомого дяди, Глаша вытерла ребенку измазанный ягодами рот, указав на Коковцева:

— А это твой дедушка. Ты любишь деда Володю?

Ужинали при свете керосиновой лампы. Владимир Васильевич заметил, что Глаша помыкает мужем, а тот охотно ей повинуется. Коковцев понял: женщина любима... Она спросила:

— Смерть-то у Гоги хоть легкая ли была?

— Нет, Глаша, кончина была мученическая... Глаша разлила старку по серебряным стопочкам:

— Как бы я хотела вернуть его... хоть на день! Мой грех, бабий, любила его. Вы-то еще не догадывались, а я, бывало, по субботам звонка ждала с лестницы — вот-вот заявится он из Корпуса! Встречаю в передней, а у самой коленки подгибаются, фотографию Гогочкину стащила у вас... вон висит!

— Да, Глаша, я ее сразу заметил...

Она подложила на тарелку Коковцеву огурцов в сметане, просила пробовать творожники. Гредякин деликатно не мешал им, часто удаляясь на кухню, гремел там сковородками.

— Он у меня хороший, — сказала Глаша. — Но того, что было с Гогою, уже никогда не будет... Ни с кем!

Как вести себя далее? Владимир Васильевич стал говорить о страданиях жены, которая, потеряв сына, способна восполнить свою потерю тем, что обретет себе внука.

— Отдать Сережу? — отпрянула от стола Глаша.

— Прости, что я так сказал...

— Да уж ничего. Я ведь тоже баба и все понимаю. Но и вы, Владимир Васильевич, должны меня понять.

— Погоди. Выслушай... У меня, и сама знаешь, связи в обществе. Есть знакомцы и в Департаменте герольдии при Сенате. Ну, что ты можешь дать Сереже в этой захудалой Уфе? Поверь, я сделаю так, что Сережа обретет мою фамилию, а дворянину Коковцеву — открытая дверь в Морской корпус...

С шипящей сковородкой в руке появился Гредякин:

— А вот и яичница... Извините, не помешаю?

— Да сядь! — указала ему Глаша. — Можешь слушать, что говорим... Жалко мне Ольгу Викторовну, очень жалко. Но как же я дите-то свое отдам? Вот и Ваня любит Сережу... Он с ребенком меня и взял. При нем скажу — спасибо ему!

Коковцев понял, что разговор окончен.

— А что передать Ольге Викторовне? Я ведь приехал не отнимать у тебя ребенка. Сам вижу, что ему здесь хорошо. Но, может, ты время от времени будешь навещать нас в Питере?

Глаша расцеловала его порывисто обняв за шею:

— Приеду! — И слезы срывались по ее упругим щекам...

Возле стола суетился покорный и любящий муж.

— Вам чего-либо еще подать? — спрашивал...

Коковцеву было ясно, что этот сугубо мещанский мир, в быту которого укрылась Глаша, останется нерушим: Гредякин будет стучать до старости на телеграфе, Глаша станет засаливать на зиму огурцы в бочках. Но куда тронется жизнь этого мальчика? Куда?.. Ночью Владимир Васильевич слышал, как за стенкою горячо перешептывались супруги. Стоит ли ему тревожить их жизнь? Утром Глаша сказала Коковцеву:

— Не соображу: что послать Ольге Викторовне?

— А ничего! Лучше сфотографируйся для нас с Сережей...

Коковцев вернулся в Петербург — и снова обратил внимание, как сильно дергается голова Ольги Викторовны. Ему было невыносимо трудно находить для нее слова утешения:

— Мальчик очень хороший. Одет, умыт, накормлен. Может, и лучше, если Глаша изредка будет приезжать к нам... с внуком вместе! В самом деле, подумай сама, ну куда нам еще и ребенок? Я на службе, у тебя хватает своих забот...

Бирилева удалили с поста министра, его место занял Иван Михайлович Диков, бывший ранее главным минным инспектором флота. Он ценил Коковцева как отличного минера и в январе 1907 года переслал ему эполеты контр-адмирала с приказом о чинопроизводстве, подписанным царем. По времени это совпало с суровым приговором, вынесенным контр-адмиралу Небогатову и его штабу — их

приговорили к расстрелу, который царь заменил тюремным заключением на разные сроки. За Небогатовым на долгие десять лет затворились тяжкие ворота Петропавловской крепости.

— А ведь по-своему он был прав, — решил Коковцев...

Поздно вечером в квартире зазвонил телефон.

— Контр-адмирал Коковцев... слушаю вас.

— Это я, — шепнула Ивона. — Опять я.

По чину контр-адмирала Коковцев имел жалованье в две тысячи триста рублей, "столовых" денег — три тысячи двести рублей и еще в расчет командировок по пятьсот сорок рублей ежегодно. Так что унывать было рано: и семье хватит, и на Ивону останется!

При свидании с нею он рассказал очень мало:

— Кроме одиночек из штаба Рожественского, больше никто из экипажа "Князя Суворова" не уцелел... Никто! Думаю, что ты, конечно, права, решив вернуться в Париж.

Коковцев как бы снова оглянулся с "Буйного" назад -в Цусиму, там виднелась большая дыра в броне, из разломов которой сквозняк пожара выбивал купол яркого пламени, — вот и все. Он сидел в эйлеровской квартире, хозяин которой наивно смотрел на Коковцева из рамочки, обвитой ради приличия траурной ленточкой.

— Скажи, он тебе никогда не мешает?

— А тебе? — спросила Ивона.

— Не скрою, что иногда мешает.

— Но я ведь никогда не была с ним счастлива...

Коковцев об этом и сам догадывался. Через приоткрытую дверь он видел обширную спальню, две кровати под балдахином с кистями, а на боковом столике — американскую машинку "ундервуд". Ивона пояснила, что взялась перепечатывать роли для актеров французской труппы Михайловского театра.

— Ты разве нуждаешься в деньгах?

— Нет, я нуждаюсь в другом...

Эти кровати и лист душещипательной драмы Викториена Сарду, заложенный в машинку, наводили Коковцева на подозрения:

— Кажется, я опять что-то потерял...

Ивона отлично распознала подоплеку его досады:

— Наверное, легко терять то, чего не имеешь.

— А если бы имел?

— Тогда и теряй. — Ивона полулегла на кушетку, и Коковцев мельком заметил овальный выгиб ее бедра. — Я шучу... А ты? — спросила она, не меняя позы.

— Я тоже. — Коковцев встал, затворив двери в спальню. — Я отвык от театра, — сказал он. — Карты ненавижу. Люблю рестораны да еще кегельбан Бернара на Васильевском острове... Кажется, и сегодня я проведу там вечер.

— Adieu, mon amiral, — сладостно зевнула Ивона.

В кегельбане он повстречал Ивана Михайловича Дикова: новому министру было далеко за семьдесят, но он не потерял четкой ясности ума, был деятелен и бодр, становясь неким пугалом для имперской кубышки, ибо на воссоздание флота желал исхитить более двух годовых бюджетов.

— Вы еще не получили должности? — спросил он. — Вроде бы есть вакансия минера в Либаве.

Коковцев сказал, что в Петербурге его сейчас удерживает болезнь жены.

— Гибель сына надломила ее... это все Цусима! — Положите жену в клинику Бехтерева.

— Не придумаю, как предложить ей это?

— Так и скажите, что вы здоровый мужчина, а она больная женщина, — чересчур жестоко рассудил старец.

Ольга Викторовна, отослав прислугу, еще не ложилась.

— Владечка, тебе надо покушать, — хлопотала она.

Коковцев повесил на раскрылку в передней свое адмиральское пальто, влажное от апрельской непогоды.

— Спасибо. Я только что от Бернара. Выпил, прости. В его отсутствие было всего два звонка.

— Один из японского посольства. Деньги, которые ты переслал на имя Пахомова, вручены его сыну... старик умер. А потом телефонировал какой-то Александр Колчак.

— Я знаю трех Колчаков на флоте, и все они Александры: Александр Федорович, Александр Васильевич и Александр Александрович... Так какому из них я понадобился?

— Тому, который просил тебя зайти в морской генштаб.

— Тогда это второй, он тоже прыгал на костылях.

— Тебе под "шпиц" пришло письмо из Испании.

— Откуда? — поразился Коковцев.

— Из Мадрида...

Итак, предстояло знакомство с Колчаком.

— Вот и письмо, — сказал он при встрече с Коковцевым. — Рад познакомиться. Статьи ваши просматривал, и мне понятно ваше возмущение нашими порядками в этом кабаке...

Он стал цитировать слова химика Менделеева: если бы правительство истратило на освоение Великого Северного пути половину тех средств, что ныне угроблены возле "Цусимы", то и самой "Цусимы" не было бы в истории нашего государства! Эскадры Рожественского и Небогатова, пройдя вдоль Сибири, из Берингова пролива спустились бы прямо во Владивосток, и в этом случае никакие Того не могли бы им помешать. Естественно, что в разговоре коснулись и возрождения флота.

— Мы можем стоять на паперти сколько угодно, но сейчас, после революции, — сказал Коковцев, — без одобрения Думы никто и копейки нам не подаст. Плюнуть в руку — да, могут!

Колчак ответил: задерживая ассигнования на флот, Государственная дума, по сути дела, работает на руку врагам.

— А на паперти еще настоимся, — закончил он резко...

Эта встреча с Колчаком не вызвала особых эмоций!

Ему писал испанский адмирал Паскаль дон Сервера-и-Топете, разгромленный американцами в сражении у Сант-Яго на Кубе! Пережив горечь позора, он понимал состояние русских моряков после Цусимы. Сервера одобрительно отнесся к статьям Коковцева, которые он распорядился перевести на испанский язык — для издания отдельной книжкой в солидной фирме "Эспаса-дель-Кальпе". Сервера сравнивая положение эскадры России с положением могучего быка, приведенного на скотобойню — под удары механического молота.

Живые, писал он, критикуют мертвых не для того, чтобы они переворачивались в гробах: мы учимся на ошибках мертвых...
Коковцева очень растрогало это письмо:
— Я всегда испытывал симпатию к адмиралу Сервера.

Устроив жену в клинику, он повидался с Ивоной.
— Помнишь, я рассказывал тебе о Сервера, который привел к берегам Америки колумбовскую каравеллу "Santa Maria"... Так вот, недавно он утешил меня! Именно он, выловленный из воды американцами, понял меня, выловленного японцами...
Ивона Эйлер стала хохотать — до слез:
— Наконец-то у этой истории появился смешной конец...
Оскорбленный ее смехом, Коковцев сначала встряхнул женщину за плечи, потом прижал к себе, и она сказала:
— На нас ведь смотрят. — Она отвернула к стене портрет своего мужа.
— Мертвым этого видеть не стоит...
Дома адмирал проверил гимназический дневник Игоря и прочел суровую нотацию о пользе учения, пригрозив, что будет за неуспеваемость пороть его, как Сидорову козу. С ним все ясно! А вот Никита задавал отцу все новые загадки. Он стал носить бескозырку "по-нахимовски", заломленной на затылок, а недавно в приложениях к "Морскому сборнику" опубликовал "Сравнительные таблицы" технических особенностей флотов России, Германии и Швеции... Коковцев сказал Никите:
— Не пойму, в кого ты удался? В тебе мало что от нашего рода, ты не пошел даже в Воротниковых. Но я бы хотел присутствовать на выпускном вечере в Корпусе, чтобы увидеть на мраморной доске твое имя — Коковцев!
— Увидишь, папочка. Как сейчас поют в частушках про министра финансов: "Жить со мною нелегко, я не из толстовцев, я — Кр-ко-ко-ко, я Ко-ко-ко-коковцев".
— А ну его! -сказал Коковцев-старший младшему. — Наш однофамилец сидит на мешках с золотом и не дает денег флоту...
Наступал тот великий момент, который предвосхитил Салтыков-Щедрин: если обыватель имеет в кармане рубль, можно отнять у него

полтину, но последний четвертак следует все же оставить русскому человеку на благо личных нужд и веселья — пусть он нагуливает жир и мясо, иначе, если отнять все до копейки, налогоплательщик впадет в прискорбную меланхолию. Трудно сообразить, куда русская казна девала полтину, но четвертак от налогов, это уже точно, расходовался на флот!

Либеральная интеллигенция судила-рядила, что Россия, мол, страна сухопутная, достаточно иметь сильную армию, а флот "дорогая игрушка". Высказывая такое мнение, люди не понимали, что повторяют сказанное до них — врагами России, желавшими ее ослабления. Коковцев полагал, что прежде надобно переломить в обществе отрицательное отношение к флоту, а затем разумною пропагандой привлечь к флоту всенародное внимание. Он читал публичные лекции в "Лиге обновления флота", ратовал за морские экскурсии для простонародья — без выпивок и гармошек, за школы на кораблях для мальчиков, за устройство выставок о жизни моряков.

Ольга Викторовна вернулась из клиники Бехтерева — тихонькая, небывало ясная, очень ласковая, с лучистыми глазами, источавшими на всех супружескую и материнскую нежность.

— Владечка, — сказала она, — я все переживу. Но об одном умоляю тебя: никогда-никогда не оскорби ты любви моей.

— Дорогая, меня об этом и просить не надо.

— Если б было не надо, я бы и не просила.

Коковцев числился в штатах флота "состоящим" при морском министре, вроде чиновника особых поручений при губернаторе.

После Цусимы плыть некуда, ибо и кораблей не стало. Теперь казна подкармливала на будущее девять адмиралов, шестнадцать вице-адмиралов и двадцать пять контр-адмиралов. Их содержали не столько для глобальных походов, сколько ради утрясения разных вопросов.

Иван Михайлович Диков был интересен в суждениях:

— Меня иногда всякие психопатки в очках спра шивают: "А зачем вам флот?" Я вежливо отвечаю: "А затем, чтобы всякие дуры не задавали идиотских вопросов". В самом деле: для чего флот? Нападать или защищаться? Культурное человечество, в отличие от крокодилов,

нуждалось более в самообороне, нежели в нападении. Это сложный вопрос: флот ради агрессии или флот ради самозащиты? Но в споре о том, кто, победит, дредноуты или подводные лодки, я участвовать на старости лет не желаю, ибо этот вопрос разрешит только война.

— Мне думается, — отвечал Коковцев, — что стремление флота к обороне объяснимо еще и географическим фактором. Морские нации не боятся дальних плаваний, длящихся иногда годами, они менее подвержены тоске по семьям, их жены легче переносят разлуку с мужьями. Моряки же стран континентальных более привязаны к земле, отсюда, мне кажется, возникли броненосцы береговой обороны, мониторы и канонер ские лодки... Вы простите, если я вдруг сказал ересь.

— Ересь! Но я вашу ересь продолжу. Солдат служит три года, матрос табанит пять лет. Попробуйте уговорить новобранца из деревни Сивухи, что пять лет морской службы на свежем воздухе и в здоровом движении заманчивее и полезнее трех лет пребывания в казарме, пропахшей г..., капустой и портянками. Я буду благодарен вам, — сказал Диков, — если вы эту ересь разовьете для практического употребления...

Благодаря близости к министру, Коковцев вскоре стал свидетелем борьбы высших инстанций империи, и эта борьба наглядно выявила перед ним слабости монархии. Далекий от осуждения царизма, контр-адмирал не стал делать радикальных выводов, хотя поводов для возмущения было достаточно. Финансы решали все! Но они-то как раз и не могли ничего решить, ибо царская казна имела бюджет с хроническим дефицитом. "Это примерно так же весело, — говорил Диков, — как если бы я проедал в день больше, нежели зарабатывал в неделю. Но мне плевать на их дефицит!" Именно Диков, стоящий на пороге могилы, проводил в жизнь "Большую программу кораблестроения", нуждающуюся в пяти миллиардах рублей. Этот грабеж государства средь бела дня горячо одобрял министр иностранных дел, полагавший, что усиление флота вернет России внешнеполитический престиж, утерянный ею после Цусимы.

Спор на верхних этажах империи закончился тем, что Николай II утвердил "Малую программу" развития флота, которая и потянула из

казны восемьсот семьдесят миллионов рублей. Коковцеву прискучило наблюдать эту грызню из-за денег, он намекнул Дикову:
— Не знаю, как сложится моя карьера далее, но хотелось бы год-два провести на эскадре, чтобы выпла-вать ценз.
На этот раз — ценз адмиральский, без которого не будет дальнейшего продвижении по службе. Диков, это понимал.
— А где я возьму для вас эскадру?
Балтийский флот все, что имел, оставил возле Цусимы, и теперь даже маститые флотоводцы рады-радешеньки командовать учебными отрядами. Иван Михайлович полистал свои бумаги:
— Берите торпедно-пристрелочную станцию у Копорья.
— А нет ли дела для меня поживее?
— Живо преподавать в Минные классы пойдете?
— Не пойду. Скучно.
— Дача у вас под Питером есть?
— Была. Продали. Жалеем.
— Тогда лучше дачного места, чем эта торпедная станция на берегу озера, вам в жизни не найти.

Только теперь, перешагнув за полвека, Коковцев, травмированный Цусимой и ее последствиями, начал предаваться мучительным размышлениям о моральной сути военного дела, которому всегда останется предан человек с настроениями патриота. Пора решить: что это за т и п, однажды и навсегда давший присягу? Если он только паразит, даром пожирающий блага народа и ничего путного сам не производящий, то стоило ли ему, Коковцеву, столь нелепо и безрассудно отдавать жизнь в угоду присяге? Однако, поразмыслив, адмирал склонялся к убеждению, что служение воинское все-таки самое непогрешимое на свете, если, конечно, отдаваться ему целиком. И, придя к такому выводу, Владимир Васильевич испытал душевную тревогу от мысли, что зловещая и капризная фортуна воспрепятствовала ему завершить до конца многое и полезное, к чему он всегда устремлялся.
— Карьера не удалась, — честно признался он Ольге.
Она рассудила это на свой лад, чисто по-женски:

— Но ведь получил орла на эполеты, нашил на штаны золотой лампас адмирала... Владя, что с тобой про исходит?

— Ничего, кроме... старости! Иногда мне хочется снова бродягой-мичманом открыть калитку в том саду, в котором ты играла в крокет с тремя кретинами-женихами. Все-таки, согласись, я тогда очень быстро разогнал... этих комаров!

— Ты же всегда, Владечка, был неотразимый...

Военные люди знают: когда кончается война , начинается служба . Коковцев за время войны отвык от службы, теперь с некоторой ревностью наблюдая, как "набирают обороты", опережая его, приятели былых лет, даже молодые офицеры. Правда, никаких претензий к выдвижению Николая Оттовича фон Эссена у него не возникало. Любимый ученик адмирала Макарова, Эссен никогда не имел протекции свыше, напротив, его горячий и независимый характер мог только повредить карьере. Эссен не имел ничего, кроме личной отваги, больших знаний, энергии и золотой сабли за Порт-Артур с надписью: "ЗА ХРАБРОСТЬ".

— Я съезжу на станцию, — сказал Коковцев жене...

Диков не обманул его: пристрелочная станция оказалась лучше любой дачи — на берегу чудесного озера, близ Копорской бухты, вагончики электрических фуникулеров тихо скользили над верхушками берез, доставляя к озеру людей и торпеды для испытаний. Был 1908 год... Летом Никита в чине корабельного гардемарина{6} ушел в практическое плавание к берегам Норвегии, а младшего сына Коковцев отвел за руку в подготовительные классы Морского корпуса.

Накануне Ольга Викторовна завела с мужем серьезный разговор — нельзя же, доказывала она ему, трех сыновей подряд отдавать морской службе, такой опасной и тревожной:

— Подумай сам, а вдруг что-либо опять случится?

— Никто как Бог, — отвечал Коковцев...

В пустой квартире остались двое — он и она!

— Владя, — сказала Ольга Викторовна, — когда ты станешь помирать, вспомни, пожалуйста, что в этом мире тебя любила женщина, много прощавшая тебе... Это была я !

Владимир Васильевич даже растерялся:

— Оля! Не говори, пожалуйста, загадками.

— Ты уедешь на станцию, со мною нет даже Игоря, только прислуга. А я одна в этой квартире. Не спорь. Я замечаю, как ты постепенно удаляешься от меня, стано вясь чужим.

Чтобы отвести ее подозрения, он сказал:

— Ну, хорошо. Собирайся. Едем вместе...

Коковцеву отвели на станции маленький домик с кухонькой и верандой, из спальни открывался лирический пейзаж с озером. Темный лес не колыхнулся даже веточкой, на глади воды тихо дремали усталые чайки. После первой ночи на Копорском озере Ольга Викторовна призналась:

— Хорошо бы нам и остаться здесь на веки вечные. Столько уже пережито, и не знаю, что еще пред стоит пережить...

Свободного времени было девать некуда, и, чтобы не терять его зря, Коковцев выписал из города испанские словари, ибо переписка с адмиралом Сервера продолжалась.

— Владя, зачем это тебе? — спросила жена.

— Не знаю, честно говоря... Наверное, от скуки. А может, чем черт не шутит, еще придется помирать в Испании.

— Нет, Владечка, я останусь в своем, доме... Однажды их навестил Коломейцев; мужчины пили коньяк, лениво шлепали на своих шеях докучливых ингерманландских комаров, Николай Николаевич шутливо бранил Петра I.

— Тоже мне нашелся "великий"! Выбрал местечко — комары, болота да клюква.

Коковцев спросил — что слышно о бюджете?

— Опять двести миллионов в дефиците.

— Как же строить флот и армию?

— А вот так и строят... нам не привыкать. Но теперь, — сказал Коломейцев, — в Думе новая буза: эти садисты из кадетской партии требуют отставки заслуженных адмиралов.

— Каких, каких? — спросил Коковцев, закусывая.

— Заслуженных . И ты попал в их черный список.

— Оля, ты слышишь, что сказал Николай Николаевич?

Из потемок притихшей спальни вздохнула жена:

— Слышу. Я давно этого ожидала...

Коковцев не вникал во внутреннюю политику государства, убежденный, что его ненависти к Государственной думе вполне достаточно для верной оценки всего происходящего за горизонтами его карьеры. Но за внешней политикой стран он следил, будто разумный кот за мышами, некстати расшалившимися... Во время русско-японской войны цинский Китай, пропитанный расовыми предрассудками, не показал себя другом России, напротив, каждая победа японцев вызывала среди китайцев бурную радость. "Желтый" империализм устраивал Пекин более империализма "белого". Однако усиление Японии на Тихом океане устрашило в первую очередь тех, кто и напитал японскую агрессию против России — США и Англию. Царизм занял на Дальнем Востоке оборонительную позицию, а Япония, аннексируя Корею и беспощадно эксплуатируя Китай, начала искать у Петербурга поддержки против захватнических планов тех же англичан и американцев. Китай, между тем, радуясь ослаблению России, усиленно закупал оружие в Японии, модернизируя армию на европейский лад, чтобы направить ее против беззащитной Монголии, просившей защиты у Петербурга.

Поздней осенью вернулся из плавания Никита.

— Ты чем-то огорчен, папа? — спросил он отца.

— Дума требует от флота искупительных жертв. Торговля с Адмиралтейством — как на базаре! Если флот удалит в отставку дюжину адмиралов, кадеты с остолопами-октябристами согласны вотировать ассигнования на развитие флота.

— Не сплетня, папа?

— Да нет. Уже составлены проскрипционные списки.

— Надеюсь, тебя это не коснется?

— Именно тех, кто пережил Цусиму, это и касается...

Коковцев занимался личным составом. Пять лет служения на флоте он считал мизерным сроком, ибо матрос, едва освоясь с морем, уходит в запас, на его место присылают новичка, которого изволь учить всему заново. Но если учесть, что сама подготовка матроса-специалиста отнимает два-три года, то... вот и считай: много он там наслужится?

— Попрыгает по трапам, как воробей, и пора вязать чемоданы. Вся беда в том, — доказывал он сыну, — что наш флот, единственный в мире, отвергает принцип добровольного найма. Новобранцу смотрят в зубы и в задний проход, но лучше бы заглянуть ему в душу: есть ли там тяга к морю?

Никита сослался на интересный опыт Бразилии:

— Там на флот берут с двенадцати лет, мальчики три года остаются школьниками, девять лет привыкают к морю, обретая профессию, а еще десять лет табанят по всем правилам — как специалисты. Италия ведет учет даже мальчишкам, ловящим рыбу в море. Наконец, папа, и Германия дает материал для размышлений: если рабочего призвали на флот, он так и остается матросом. Но если кто начинал службу с юнги, чин "палубного" офицера ему заранее обеспечен...

— Никита.

— А?

— Я думаю, перед тобою прямая дорога в морской генштаб, у тебя склонность к теоретизации флота. Карьеру сделаешь!..

На зиму станцию законсервировали. Коковцевы вернулись на городскую квартиру, и сразу загромыхал телефон.

— Это фон-мадам Эйлер? — съязвила Ольга Викторов на. — Что ей на этот раз нужно от тебя? Или ей понадобились новые подробности гибели своего несчастного фон-мужа?

— Да нет... успокойся — это не она.

— Ах, Владя, Владя! Зачем ты меня обманываешь?

Коковцев прошел в кабинет. Со слов сына он начертал в проекте, что Англия, Германия, Франция, Италия и даже Швеция всегда черпали кадры для своих флотов из юнг, для которых море — родная колыбель. С этим он и навестил Дикова:

— Я к вам с очередной своей ересью...

— Ну, хорошо, — крякнул министр, прочитав проект. — А какая матка отдаст нам своего любимого сопляка? Вы же знаете, что за ужасы рассказывает о нас русский обыватель. Будто мы плаваем в железных гробах, начиненных порохом и серой. Поднеси спичку, и мы — пфук! Иже на небеси, Господи, пронеси.

— Примерно так оно и есть, — засмеялся Коковцев. — Но вы забыли, сколько в России сирот, подкидышей, бездомных, питомцев разных приютов и ночлежек. Если их оторвать от никчемной среды, накормить, обучить и сказать им, что "my ship is my home", они ведь прильнут к флоту, как к титьке родимой матери. Вот вам разрешение вопроса о маринизме такой причудливой нации, к которой мы имеем честь принадлежать!

— Вы, — отвечал Диков, — рассуждаете забавно. Но в нынешних условиях, когда Россия не верит в свои морские силы, никто не позволит натягивать тельняшку на худосочные тела грядущих поколений. Впрочем, все это очень интересно, оставьте проект у меня. Заодно готовьтесь к самому худшему...

Коковцев еще не верил, что "шпиц" выдаст его на съедение думцам, которых он органически не переваривал за их опереточное словоблудие. В новогоднюю ночь на 1 января 1909 года адмирал Рожественский тихо скончался.

— Зиновий подал в отставку, — сказал Диков у гроба флотоводца, накрытого андреевским флагом. — Можно и позавидовать. Дума и меня на лопату сажает, чтобы вышвырнуть за борт на повороте. Сейчас нужны помоложе да поувертливее, чтобы облизывать хвосты всяким фракционерам из Таврического дворца. Увы, состарился на службе России — и к тому негоден!

Сломленный душевно, Коковцев вернулся домой.

— Дикова тоже выгоняют, — сказал он Ольге. — Не знаю, что делать. Если сам подам в отставку, пять тысяч рублей пенсии обеспечено. Но существует закон, по которому адмиралы, не желающие вылетать с флота по доброй воле, осуждены иметь всего три тысячи в год... А на что нам жить?

— Подай в отставку сам, — советовала жена.

— Но ведь и пяти тысяч нам не хватит...

Ольга Викторовна сказала: отставных адмиралов охотно берут консультантами на заводы, связанные с производством вооружения, они зарабатывают так, что их семьи катаются словно сыр в масле. Но свободных вакансий на питерских заводах не оказалось: свято место пусто не бывает! Коковцев избрал служение в "Русском Обществе

Пароходства и Торговли", (в РОПиТе, как называлось тогда это весьма солидное учреждение, ведавшее коммерческими рейсами на дальних коммуникациях).

— Но для этого придется мне жить в Одессе. Ты, Оленька, не огорчайся: я буду наезжать, может, и ты приедешь?

— У нас все может быть, — вздохнула жена...

В тяжком настроении Владимир Васильевич собрался и уехал в Одессу. Следом за ним тронулась Ивона Эйлер...

Ольга Викторовна называла его "Владечкой".

РОПиТ величал "ваше превосходительство".

Ивона подзывала к себе словами "mon amiral".

На улицах Одессы, завидев офицеров флота, Коковцев надвигал на глаза котелок, стыдясь своего отставного положения. И никогда еще он не носил таких мятых воротничков и таких нечистых манжет, никогда не терял так много запонок и булавок для галстука. Не раз пытался разобраться в своих настроениях, но впереди не было ничего, кроме отчаяния близкой старости, которую Коковцев ощущал хотя бы потому, что на шумных и веселых улицах черноморского Вавилона женщины уже перестали обращать на него внимание! Началась ужасная жизнь, всю мерзость которой понимал и сам Владимир Васильевич, не в силах что-либо изменить или исправить. Впрочем, покорился не сразу. Желая избавить себя от любовницы, иногда он сознательно оскорблял ее — Ивона оскорбляла его, он уезжал по делам РОПиТа в Николаев — она укатывала в Севастополь, он много пил — она пила с ним заодно, однажды Коковцев влепил ей пощечину и тут же получил ответную. А ночами...

— Шарман, шарман, — шептала ему Ивона.

Губы у нее были чересчур мягкими, почти дряблыми. Коковцев уже привык к ним, и ему казалось, что других губ не бывает. Он зарабатывал в РОПиТе сумасшедшие деньги, переводя половину из них на Кронверкский, а другую транжирил с Ивоной. Скоро ему стало не хватать на жизнь, и Коковцев отправлял семье лишь треть доходов от службы... Изредка он появлялся в Петербурге, похожий, скорее, на гостя в своем же доме. Ольга Викторовна все уже знала. Поникшая от

страданий, она гладила мужа по голове, как непутевого ребенка:

— Ты похудел... ты изменился, Владечка. Тебе обязательно надо покушать. Позволь, я покормлю тебя.

В глазах ее светилась мука. Но только единожды Ольга не смогла сдержать своей боли:

— Дождалась я светлого часу! Сын погиб неизвестно где, муж пропадает с любовницей, но зато я стала адмиральшей с титулом "превосходительства"...

А что осталось от женщины, когда-то цветущей и полнокровной? Да ничего уже не осталось. Один тощий скелет, обтянутый старомодным платьем, а на исхудалом личике продолжали сиять глаза, жалобно молившие его о пощаде.

— Оля, за что ты меня еще любишь? — спросил он.

— За что? Не смей даже спрашивать меня об этом...

Отчуждение к жене отразилось на детях: Никита явно сторонился отца, Игорь смотрел исподлобья, будто на врага своего. Коковцев пытался узнать у Никиты — как его дела?

— Ничего. Спасибо.

— Я тебе ничем не могу помочь?

— Справлюсь сам.

— Желаю тебе попасть на мраморную доску Корпуса.

— Благодарю. Постараюсь...

Прекрасный и удобный "микст", простеганный изнутри кожею, увозил адмирала в нестерпимое сияние южного солнца, в непутевый базарный город, где все пело и торговало, а шарманщики наигрывали мотивы из опер Беллини и Доницетти... РОПиТ не слишком обременял его службою. Чтобы не отставать от других деляг, Коковцев приобрел пятьдесят акций РОПиТа, переписав их на Ивону фон Эйлер, чем доставил женщине приятное волнение. За нею стал ухаживать греческий торговец зерном Земфир Влахопуло, а после Ивоною увлекся поручик Стригайло из жандармского управления. И вечерами в ресторане Коковцев осоловело наблюдал, как Ивона отплясывает моднейший "шерлокинет", придуманный англичанами для отражения тревожной жизни Шерлока Холмса, отыскивающего преступников во всех классах буржуазного общества...

Явно огорченный, Коковцев купил для Ивоны еще пятьдесят акций:

— Куплю еще! Только, деточка, перестань вилять задом.

— Ты это заметил? А разве тебе не нравится моя fannu?

Но каждый мужчина, плохой или хороший, всегда осознает перелом в судьбе, и каждый отмечает его по-разному. Коковцеву захотелось оставить себя таким, какой он есть, на самой грани рискованного для всех момента, за которым непременно следует мужское увядание. За пятьсот рублей (чего их жалеть?) он заказал свой портрет одесскому художнику Кузнецову. Живописец, оглядев Коковцева, отказался писать его:

— Внешность у вас приятная, но не представляющая для меня интереса. Я человек богатый, владею под Одессой хутором и фермой, пишу не ради заработка. Впрочем, — сжалился он над адмиралом, — поведайте что-либо самое интересное из своей жизни. Главное в вашей душе, может, и отразится снаружи, чтобы это главное я мог запечатлеть на полотне. Итак слушаю...

Коковцев вспомнил молодость, клипер "Наездник", живописную бухту Нагасаки, на воде которой трепетно отражались заманчивые огни Иносы. Постепенно и сам увлекся, рассказывая о своем японском романе с Окини-сан, такой милой, и даже не заметил, когда Кузнецов размешал на палитре краски.

— Нечто подобное рассказывала мне в Париже моя дочь, а она слышала эту историю от самого Джакомо Пуччини.

— Простите, Николай Дмитриевич, а кто ваша дочь?

— Марья Николаевна Кузнецова-Бенуа...

Это была примадонна парижской и петербургской опер, красота этой удивительной женщины была почти невозможна, Коковцев не раз встречал ее портреты и фотографии в журналах — как образец таланта и женственности. Ему было даже странно, что такое разъевшееся мурло, как этот одесский передвижник, могло ослепить Европу в своем ближайшем потомстве. Кузнецов говорил о Джакомо Пуччини, на протяжении всей жизни подвергавшемся яростной травле критиков, которая тут же искупалась единодушной любовью публики:

— Публика всегда плевала и будет плевать на мнение критиков, если музыка Пуччини уже заплеснула улицы всей Европы...

Коковцев сознался, что он не меломан, но из газет знает, что последняя опера Пуччини, кажется, неудачна:
— И даже публика не пожелала ее дослушать.
— Это опера "Мадам Баттерфляй", она провалилась с треском в миланском театре "Ла Скала", но перед этим бедный Джакомо едва остался жив в автомобильной катастрофе. Он большой чудак, этот Джакомо, и любит сидеть за рулем. Моя доченька дружит с ним, бывая у него на вилле в Торре-дель-Лаго. Пуччини слизал сюжет у кого-то из американских писателей. Там примерно то же, что случилось в Нагасаки и с вами... Опять вы, адмирал, выбились из света. Чуть левее... так. Благодарю. Я думаю, мы с этим портретом не станем волынить. Еще денек-два, и поедем ко мне на хутор. Друзья прислали мне черное вино из палестинской Яффы, заодно мы и выпьем...
Законченный портрет был отправлен на Кронверкский — с указанием Ольге, где и как его лучше повесить.

И вдруг приехал Никита — уже мичманом, элегантный, красивый, поверх его мундира шелестел черный плащ с золочеными застежками в форме оскаленных львиных голов, какие (по традиции) носили одни лишь офицеры флота. Никита, конечно, не пожелал видеться с Ивоною, отца он вызвал через портье гостиницы "Париж", в которой Коковцев снимал обширный номер. Никак не желая усугублять и без того сложные отношения, Никита приветствовал отца очень радушно, сразу же сообщив, что выпущен из Корпуса с занесением на мраморную доску — как первый среди лучших.
— А мы с тобой, папа, недаром тогда беседовали о юнгах. Первая школа юнг в России открылась уже в Кронштадте...
— Тебя, наверное, прислала мама?
— Нет. Приехал сам. Чтобы проститься.
— Хорошо. Переоденусь, и мы вместе поужинаем...
Он увел сына на Приморский к Ланжерону, где морской ресторан на берегу, где рокотало море в камнях и крепко пахло кожурою греческих апельсинов. Из-под широченных полей дамских шляп медово и сонно глядели на мичмана глаза загорелых женщин, раскормленных и холеных. Космополитическая Одесса, живущая в

непрестанном общении со всем миром, раскрыла перед Коковцевыми щедрое меню. Болонские колбаски, итальянские спагетти с пармезаном, ароматное масло из Милана, сицилийские каштаны, баклажаны из Анатолии, свежайшая днестровская икра, знаменитые одесские кулебяки из пекарен Чурилова и Портнова... Коковцев смачно прищелкнул пальцами.

— Еще, — сказал он лакею, — прошу подать абрикосов с тех деревьев, что посажены самим герцогом Ришелье...

— Ты хорошо живешь, папа, — заметил Никита.

— Неплохо, ибо пятаков не считаю. — Коковцев просил не судить его за Ивону. — Ты еще молод. Многого не понимаешь. Тут сразу все, а главное — Цусима, будь она проклята!

— Но ты ведь не трясешься после Цусимы, как мама. Жизнь, я вижу, стала для тебя откровенным удовольствием.

— Никита, стоит ли тебе думать об этом?

— Конечно, я не стану осуждать тебя. Но ведь не ты, а мама воспитала всех нас. Ты ушел, и тебя нет с нами. А мама никогда не уйдет, она всегда останется с нами.

Никита раскрыл бумажник, чтобы показать отцу фотографии, присланные из Уфы Глашей, но Коковцев заметил и другое:

— А что у тебя там еще... Невеста?

— Нет, это был портрет лейтенанта{7} Шмидта.

— К чему он тебе? — уди вился Коковцев. — Твой старший брат предпочитал славного Дюпти-Туара!

— Но времена изменчивы, — отвечал Никита. — А подвиг Шмидта ради революции уже затмевает бесподобное мужество Дюпти-Туара во славу короля Франции.

Коковцеву спорить с Никитой не хотелось.

— Спрячь своего героя и никому не показывай, иначе вылетишь с флота, как пробка из бутылки шампанского.

Под окнами ресторана расположились старые еврейские музыканты, они дружно вскинули смычки над потертыми скрипками. Никита сообщил отцу, что по доброй воле просил командование отправить его для служения на мониторах или канонерках Амурской флотилии... Смычки разом упали на печальные струны:

Прощай, моя Одесса,
веселый Карантин,
нас завтра отсылают
на остров Сахалин...

Для Коковцева это был удар — страшный, непоправимый.

— Ты соображал ли, когда сделал это?

Его сын, которого ожидала такая блистательная карьера, и вдруг избирает для себя... Амур?

— Ты полез туда, куда других на аркане не затащить.

— Наверное, потому и полез, что другие не хотят... О чем спорим, папа? Я не вижу повода для твоих огорчений.

— Ты, балбес, газеты читаешь? — спросил его папа.

— Читаю.

— Но о том, что в Китае сейчас чума, слышал?

— Извещен. Немало.

— Тебе в барак захотелось? Или не знаешь, что офицеры, попав на Амур, бегут куда глаза глядят? Они считают себя на положении ссыльных. Флотилию и комплектуют из шулеров и пьяниц. А матросня — сплошь бунтари и революционеры!

Никита Коковцев спокойно отвечал:

— Зима там длинная, есть время для размышлений.

— Размышлять надо было раньше, а не тогда, когда твоим мониторам дровишек не хватит. Там и баб-то нет — одни шлюхи!

— Зато начальства там меньше, — договорил Никита.

Владимир Васильевич велел лакею заплатить музыкантам:

— Не могу слышать их тоску по Сахалину! — Озлобляясь на сына, он резал болонские колбаски, из-под ножа прыснуло янтарным жиром на брюки. Наконец ему показалось, что он нашел убедительный довод. — Как ты мог? — упрекнул он сына. — Оставил больную маму... ради чего? Ради этой дровяной флотилии?

— А ты, — резко ответил ему Никита, — оставил нашу мамочку... ради чего? Извини. Не хочу божий дар путать с яичницей.

Намек на отношения с Ивоной не образумил Коковцева:

— Вернись на Балтику... хотя бы ради мамы!

— Почему бы не вернуться и тебе... ради мамы?

— Ты приехал в Одессу изгадить мне настроение?
— Я приехал проститься перед отбытием на Амур...
И они простились. Вернувшись в гостиницу, Коковцев не мог скрыть от Ивоны своего душевного надрыва:
— Он уехал, и мы расстались подобно тому, как в Носи-Бе я простился с Гогою — навсегда... Если в этом и есть Божье провидение, то — кто виноват? Неужели я?
Ивона, лежа в постели, сосредоточенно жевала виноград. Красный сок пролился из угла ее мягких и дряблых губ, словно струйка крови. Додумав что-то свое, она откинула край одеяла, обнажив пухлые ноги в сиреневых чулках.
— Ну, и что? — спросила она, подзывая его...
— С тобою я снова стал мичманом... слышишь?
— Адмиралом! — отвечала она, не раскрывая глаз. — Это твой глупый сын сделался мичманом...

Так прошло два мучительных года, которые Коковцев хотел бы вычеркнуть из своей жизни, чтобы не вспоминать их потом. Унизительное положение закончилось для него в 1912 году, и тому были причины политического порядка... Европа ощутила признаки будущей грозы. Балканские войны стали неприятным откровением для официального Петербурга, который с удивлением обнаружил, что Балканы не управляемы Россией, а интересы южных славян не всегда совпадают с русскими. Попахивало порохом и на Дальнем Востоке: революционный переворот в Китае превратил "Небесную империю" в "Срединную республику". С русского берега Амура уже не раз наблюдали тучи пыли, в которых утопала китайская регулярная пехота, а русские люди, свившие семейные гнезда в этом краю, уповали исключительно на защиту моряков Амурской флотилии... В этом году Россия стала забрасывать верфи срочными заказами на новые крейсера, эскадренные миноносцы и подводные лодки.
Коковцев нашел в себе мужество заявить Ивоне:
— Теперь самое время вернуться тебе в Париж.
Он слышал ее ровное, невозмутимое дыхание:
— А как ты вернешься к своей старой жене?

— Адмиралтейство отзывает меня из отставки, а со старой женой всегда разобраться легче, нежели с молодою...

Коковцев снова потребовался флоту, нуждавшемуся в опытных минерах. Плечи его опять ощутили внушительную весомость эполет, и, когда он тронулся в Петербург, с ним поехала и очаровательная Ивона. За окном вагона пролетала черная украинская ночь, изредка освещаемая снопами искр, отбрасываемых назад из трубы локомотива. Коковцев размышлял — как примут его сейчас люди, утопающие в глубоких креслах министерства, движением бровей внушающие ужас и повиновение в робкие душеньки нижестоящих...

Петербург заливали дожди. От вокзала коляски развезли их в разные стороны: Ивоне надо на Английскую набережную, а ему давно пора вернуться на родное пепелище Кронверкского. Ольга Викторовна, кажется, уже смирилась со своей нелегкою долей и потому встретила мужа как... гостя:

— Ты надолго ли, Владечка?

— Прости. Я виноват...

Было странно и жутко слышать ее горький смех:

— Ты как собака сейчас.

— Да. Как собака. Прости.

— Не прощу. Даже собаке...

Ольга Викторовна велела горничной поторопить кухарку с обедом. За столом он пожалел ее иссохшие ручки, ее седые волосы, собранные в пучок на затылке. Он сказал:

— Мне очень стыдно, что так случилось...

— Стоит ли вспоминать об этой непристойной фон-даме, которой я от чистого сердца желаю угодить под трамвай.

Вместе они перечитали письма Никиты с Амура. Он писал, что Морское собрание в Сретенске напоминает буфет захудалой станции — со стаканами помоев, вместо чая, водкой и бутербродами с сыром. В библиотеке Благовещенска можно прочесть "новейшие" указания к стрельбе от 1853 года и определению координат по способу Сомнера, хотя корабли давно определяются в море по способу Сенг-Иллера. Это рассмешило Коковцева!

— Никита всегда был идеалистом, — сказала жена, оправдывая сына во всем. — Он не считает, как другие офицеры, что его репутация подмочена амурскими волнами.

— Уже лейтенант! Быстро он пошагал. А вот что будет со мною, еще не знаю. Хотелось бы заполучить минную дивизию.

— Подумай о себе. Разве теперь способен ты сутками торчать на мостике эсминца, под дождем и снегом? Ты все время забываешь, что тебе уже на шестой десяток.

— Так много? — удивился Коковцев...

Он возвращался к флоту, когда морским министром был адмирал Иван Константинович Григорович, умевший ладить с Государственной думой, за что его ценили при дворе, а Балтийским флотом командовал фон Эссен, смотревший на сухопутных людишек с таким же любезным интересом, с каким породистый бульдог озирает ноги непрошеных гостей...

Присмотревшись к новым порядкам, Владимир Васильевич сказал супруге, что не узнает офицеров русского флота:

— Кого я раньше встречал без рубля в кармане, теперь, заняв кресла под "шпицем", раскатывают в собственных автомобилях. Говорят, у многих завелись солидные счета в банках. Не хочу верить сплетням, будто и Григорович наживается от программы строительства флота... Ну, с каких бы шишей я мог бы завести для себя автомобиль? Да и какой из меня шофер?

— До первого столба, Владечка...

На шоферов тогда смотрели одинаково, как на авиаторов. Почему-то считалось, что люди этих профессий все равно добром не кончат. А потому самые прекрасные женщины спешили исполнить любое желание героев, готовых свернуть себе шеи на первом же повороте.

Ольга заметила удрученность мужа:

— У тебя что-нибудь не так, как тебе хочется?

— Да. Меня неприятно удивило, что Колчак, будучи командиром эсминца "Пограничник", значится и флаг-капитаном Эссена, которого я никак не могу поймать за хлястик...

Эссен гонялся по шхерам, викам и зундам Балтики, словно настеганный; за ним гонялись дивизионы, отряды, дивизии и эскадра.

Самолюбие Коковцева было ущемлено, когда Николай Оттович, ссылаясь на занятость, доверил вести беседу с ним своему флаг-капитану. Колчак же разговаривал слегка небрежно, как метр с профаном, жаждущим поступления в его масонскую ложу. Он сразу предупредил: война с Германией (а возможно, и со Швецией) начнется в 1915 году.

— Вы не ошибаетесь в сроках начала войны?

— Ошибка допустима. Плюс-минус шесть месяцев.

— Готов ли флот отразить нападение немцев?

— Нет, не готов! С дредноутами опаздываем на три года, с эсминцами и подлодками тоже не справляемся...

Владимир Васильевич не мог скрыть своего огорчения, когда Колчак сказал, что Школе юнг требуется толковый начальник:

— Вы же сами и подали флоту эту идею о юнгах... Но одно дело идея, а другое практика: возиться с мальчишками, которых нельзя даже выдрать как следует, для этого нужен особый талант, который на базаре не купишь.

— Неужели мой опыт миноносника уже не надобен?

— Мы не хотели обидеть вас, — отвечал Колчак (и этим "мы" он как бы поднимал себя выше Коковцева). — Николай Оттович уважает вас. Но именно он и выразил сомнение в вашей готовности для эсминцев, скорости которых резко повысились. Ведь сейчас даем играючи двадцать узлов!

— Я вполне здоров для таких скоростей.

— Но турбина еще здоровее, — ухмыльнулся Колчак.

Над русской столицей просыпался первый чистейший снег, когда с Амура приехал навестить родителей молодой лейтенант Никита Коковцев. Он принес в квартиру, прогретую, каминами, морозную бодрость далеких просторов и молодости, наполнил комнаты хриповатым баском человека, наглотавшегося сибирских вьюг и ветров. Никита растряхнул перед матерью подарок — шкуру уссурийского тигра, убитого им на охоте.

— Каков злодей? Сожрал четырех собак, трех китайцев и одну русскую бабу, о которой в Сретенске все знали, что она воровка... Тебе, мамочка! Будешь класть под ноги в спальне.

На вопрос, как его молодая жизнь, сын дал ответ:

— Если покровителем водолазов и подводников слывет Иона, побывавший во чреве китовом, то для нас, амурцев, свят останется Иов Многострадальный... Ты был прав, папа: живу в бараке, топлю по ночам печку и читаю Гегеля. Есть над чем поразмышлять. Можете и поздравить: перед вами командир канонерской лодки "Орочанин", построенной далеко от Амура — на Волге, в Сормове!

Мать смотрела на него влюбленными глазами. Когда Никиту отослали принять ванну после дороги, она сказала мужу:

— И ты еще смел говорить, что он не твоя копия? Да весь в Коковцевых... Хотя, — помрачнела Ольга Викторовна, — бедный наш Гога был еще больше похож на тебя.

За столом сын рассказывал, каково было на Амуре, когда в Маньчжурии свирепствовала чума, а Благовещенск жил в тревоге.

После завтрака Никита заглянул в комнату Игоря:

— А каковы успехи моего братца в Корпусе?

— Его теперь не узнаешь, — сказала Ольга Викторов на. — Такой стал — высоченный — под потолок, я едва достаю ему до плеча. Сейчас повадился проводить воскресенья на скегинг-ринге Марсова поля, катается на роликах, как метеор. И, кажется, уже влюблен в одну глупенькую гимназисточку.

— Весь в Гогу! — сказал Никита. — Будет сорвиголова...

Вечером отец с сыном (тайком от матери) пили коньяк.

— А ведь я, папа, с приветом к тебе — с Амура.

— От кого? Я ведь там никого не знаю.

— Атрыганьева помнишь? Геннадия Петровича.

— Господи, конечно! А что с ним?

— Он на Амуре. Водит пассажирские пароходы, превосходный знаток речного фарватера и перекатов, его лоцманскими услугами пользуется вся флотилия. Чудесный и добрый человек!

— Да, да, — подхватил Коковцев, — он всегда таким и был, очень милый, но в маске некоторого мефистофельства. Геннадий Петрович, помню, был отчасти подвержен кастовости.

— Он очень изменился с тех пор.

— Наверное, уже состарился, одряхлел?

— Да нет. Женщины от него без ума! Только иногда, — сказал Никита, — Атрыганьев начинает ходить кругами...

— Кругами? Как это понимать?

— А так. Идет себе по улице, как все добрые люди, и вдруг ни с того ни с сего начинает описывать цирку ляцию, словно крейсер, у которого заклинило рулевую машинку.

— Раньше с ним этого не было... Отчего так?

— Он после Цусимы решил, что жить не стоит, и выстрелил в висок. Но пуля срикошетила. С тех пор Атрыганьев и циркулирует, но ясность ума сохранилась. Фантазия неистощима...

Отцу вдруг показалось, что жизнь Никиты идет не так, как должна идти у офицера. Нет, Никита не стал проще. Скорее, понимать его становилось трудней. Потому что он знал что-то, о чем не подозревал отец. Никита не счел нужным распространяться.

— Мы не слишком громко рассуждаем, маму не разбудим?

— Да нет. Счастливая, она спит всегда крепко...

Зима заковала Балтику в панцирь льда, перед отъездом в Гельсингфорс для свидания с Эссеном контрадмирал сказал Никите, что война с Германией стала неизбежностью.

— Но эта война, — ответил сын, — как и прежняя, с Японией, породит новую революцию. И особенно — на флоте, где вакуум между кубриками и каютами бестолково заполняют кондукторами... Кстати, такого же мнения и Атрыганьев!

— Странно, что он стал рассуждать об этом. Ему более подходит спорить об Англии и восхищаться женщинами.

— Но я ведь сказал, папа, что он сильно изменился. И только ты, уж извини меня, один ты остался прежним...

В промерзлой квартире Гельсингфорса контр-адмирал сразу включил паровое отопление. Идти в ресторан обедать ему не хотелось, в домашнем кафетерии он насытился шведской булкой с тмином, и запив ее бутылкой жирного финского кефира. Эссен обещал ждать его на "Пограничнике" после шести вечера, пока можно полистать газеты. Из них он узнал, что тема всеобщего разоружения, столь насущная перед началом XX века, снова обуревает людские помыслы. Запасы

оружия в странах были уже таковы, что никакие Везувии и даже вулканы Кракатау не способны вызвать такой взрыв, как эти склады боеприпасов...

Николай Оттович встретил Коковцева в салоне. Коренастый, он чуть располнел, на румяном лице по-прежнему "читались" светлые глаза. По возрасту они были одногодки: в общей сумме сто шесть лет... Эссен начал так:

— Я не знаю, что там натрепал тебе мой флаг- капитан, изволь послушать меня. Откровенно? Да. Ни одного слова исповеди из этой молельни не должно выйти наружу. Можешь считать, что флота на Балтике пока нет... Говорил это Колчак?

— Намекнул. А что?

— Ничего. Зато у нас есть четкий план войны на этом сложнейшем Балтийском театре... Как здоровье Ольги?

— Сейчас ожила. Был в гостях Никита.

— А третий где?

— Через два года выйдет из Корпуса.

— Ну, слава Богу. Слушай далее. Для исполнения этого плана нужны грамотные минеры. От пушечной пальбы звон в ушах, а минное дело - тихое, оно требует внимания и... ласки.

Коковцев спросил Эссена напрямик:

— Николай Оттович, что ты мне дашь?

— Минную дивизию хочешь?

— Хочу! — отвечал Коковцев, обрадованный.

— А я не дам.

— Но просиживать стулья на берегу — уволь.

— А кому ты нужен на стульях? Ни-ко-му. Терпеть не могу, когда меня перебивают... даже друзья. Сейчас германский флот настолько силен, что уже способен протаранить любые ворота на Балтике, и морды германских дредноутов, окованные крупповской броней, влезут прямо в Маркизову лужу, в Неву!

Коковцев ответил, что существуют же передовые позиции, вынесенные далеко к Мемелю, наконец, и база в Либаве.

— Прогноз будущей обстановки неутешителен: не только Поланген, но даже Либаву придется сразу оставить разбойникам. Главная позиция

— Финский залив... Ужинать будешь?

— Не откажусь. Спасибо.

За ужином Эссен продолжил — напористо:

— Между Гельсингфорсом и Порккала-Удд базируются минные заградители с дивизионом "француженок". Ты в Порккала-Удд поднимешь свой флаг... Понял? Минные арсеналы расположены внутри устарелых мониторов, из которых котлы, и машины вынули. Там весь слякотный дивизион: "Шквал", "Дождь", "Град", "Снег", "Иней" и прочая мура. Да позвони жене. Отныне до весны в Питер тебя не отпущу...

Россия, отставая от других стран в кораблестроении, обогнала все страны мира, особенно Англию и Америку, в развитии минного оружия. Русские верфи создали превосходные минные заградители (минзаги), со стапелей готовился прыгнуть в морскую пучину первый, в мире подводный минзаг "Краб". Жить с минами страшно, зато весело... Для того чтобы русские секреты не попали в руки шпионов, отряд минных заградителей выдерживали в безлюдных местах. И сейчас он курился уютными дымками камбузов средь снежного безлюдья Порккала-Удд.

Песни здесь распевались на мотив некрасовских "Коробейников":

На отряде минных заградителей
Целый день идет аврал.
За грехи не наших ли родителей
Нас на мины черт загнал?

Очевидец писал: "Тяжелая была школа... Придирка в точности постановки мины на глубине до четверти фута. Каждую мину проверить и записать, как младенцев в метрику. Минных офицеров или гладят по головке, либо заставляют глотать пилюли выговоров. Жизнь беспросветная. Разнообразие доставляется одной лишь переменой погоды..." Коковцев лишь единожды вырвался в Гельсингфорс — встретить Ольгу Викторовну на вокзале. Войдя в квартиру, женщина внимательно осмотрелась, тихими шажками обойдя все комнаты.

Коковцев не выдержал — рассмеялся:

— Ты, как кошка, попавшая в новую обстановку.

— Надеюсь, — отвечала жена, бросая шубу на диван, а муфту — на трюмо, — ты более не станешь делать глупостей. Пойми, что в твоем возрасте это непристойно и банально.
Он не стал возражать, а просто взял ее за руку:
— Хорошо, что ты у меня есть.
— И хорошо, что есть дети, которые еще долго будут нуждаться в нашем внимании... У тебя все в порядке?
— Что ты имеешь в виду?
— Дела в отряде заградителей.
— Когда с минами непорядок, они, черти, взрываются.
— Вот как миленько! Ты меня утешил...
"Награды, призы, отличия служили для подбадривания, чем-то вроде компенсации, дабы выветрить из голов сознание, что за "грехи родителей" загнаны мы на заградители".
Это опять не мой текст - минный!

Игорь Коковцев, любимец матери, уже заимел нагрудный жетон "За отличную стрельбу из револьвера". Катание на скетинг-ринге все-таки добром не кончилось: на полном ходу он слетел с роликов, и мама лечила его разбитый нос, прикладывая примочки из арники. Конечно, в ранней младости свойственно украсить себя чем-либо оригинальным, чтобы наивные гимназистки смотрели на тебя, остолбенев от восторга. Если старший, Никита, носил фуражку "по-нахимовски", то Игорю одного жетона было мало для покорения сердец, он уже не раз умолял отца подарить ему браслет с надписью: "МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ".
— Пусть тебе не кажется, — отвечал отец, — что все барышни, увидев его на твоей руке, сразу же погибнут без боя. Больше не приставай! Этот браслет стал для меня вроде кандалов бессрочного каторжанина. Врос в руку — не снимешь!
— Папа, а знаешь ли ты, как зовут всех вас?
— Как?
— Минное мясо.
— Не смей говорить подобное отцу, — возмутилась мать.
— Он прав, — сказал Коковцев. — Мы и есть "минное мясо", в отличие

от солдат, именуемых "мясом пушечным".

Была яркая весна 1913 года. Японский водолаз Сакураи, человек большой отваги, предполагая, что с "Петропавловском", флагманским броненосцем Макарова, очевидно, погибла и золотая казна Порт-Артурской эскадры, совершил удивительный спуск на глубину, протащив за собой резиновые шланги в отсеки мертвого броненосца. Ему удалось обшарить каюты, которые не дали никакой добычи. Зато в корме корабля Сакураи обнаружил "подушку" спертого давлением воздуха, а в ней останки человека, украшенные адмиральскими эполетами. В бумажнике мертвеца уцелели визитные карточки с домашним адресом контр-адмирала М.П. Моласа, бывшего начальником макаровского походного штаба. Бумажник с этими карточками водолаз переслал в Петербург сестре Моласа — Марии Павловне.

— Я не понимаю, как Молас оказался в корме, — удивлялся Коковцев. — Ведь его место было на мостике. Великий князь Кирилл хотя и забулдыга порядочный, но врать не станет: он видел Моласа после первого взрыва уже с раскроенным черепом. Кирилл даже пере шагнул через него, пролагая дорогу к своему спасению... Казалось, все забыто, и вдруг опять!

— Не заставляй меня даже думать об этом, — отвечала Ольга Викторовна. — Это так ужасно... так ужасно. Бедная Капитолина Николаевна, — вспомнила она вдову адмирала Макарова...

Получив недельный отпуск, Коковцев с женою выехал в Петербург. У него не было никаких планов, лишь хотелось сыграть партию в кегельбане у Бернара, а Ивона перестала волновать его. К тому же нашлись доброжелатели, нашептавшие об этой женщине нечто слишком для него унизительное.

— А, черт с ней! — сказал он, загоняя шар по желобу кегельбана, который с треском обрушил фигуры в конце длинного туннеля. — Господа, я пас. Чья теперь очередь?

В жизни все было расписано: Игорь должен выйти из Корпуса в корабельные гардемарины осенью 1914 года, когда ему исполнится девятнадцать лет. Что ж, совсем неплохо, даже отлично!

— Но уж его-то я не пущу на Амур или на Мурман...

Приходя домой, младший сын усердно зубрил сложный курс взрывчатых веществ: "Пироксилиновые пороха состоят из нитроклетчатки, желатированной рафинированным ацетоном". Из другой комнаты ему громко подсказывал отец:

— Помни, что ацетон можно заменять алкоголем с эфиром.

— Папа, а отчего пироксилины самовозгораются?

— От разложения... такая дрянь! То им жарко, то холодно, будто их трясет в малярии. И вдруг они возносят в небеса целые броненосцы, как это было недавно на флотах Америки и Японии. Дам хороший совет: не разевай рот, если корабль ведет огонь против сильного ветра на скорости. При открывании затворов пушки выбрасывают назад длинные факелы пламени, пережигающие человека пополам, как соломенное чучело.

— Прекратите, — взмолилась Ольга Викторовна. — В кои веки собрались отец с сыном, и... страшно их слушать!

— Оля, но ведь надо же ему готовиться к экзаменам.

— Мамочка, это моя профессия, как ты не пони маешь? — смеялся Игорь. — Наконец, это верный кусок хлеба в жизни.

— Пироксилин — не хлеб! Я понимаю — быть адвока том. Стать инженером-путейцем. Они хорошо живут. Разве плохо?

— Не плохо, но скучно. Насыпи, шпалы, рельсы.

— Ладно. Бубни про себя, — велел сыну отец...

Коковцев не был завистником, а теперь, уже на склоне лет, начал завидовать... Колчаку! Слишком уж быстро тот выдвигался, опекаемый с двух сторон сразу — из-под руки Эссена (явно), из кулуаров Государственной думы (тайно). От этой зависти, которая и самому Коковцеву не доставляла удовольствия, рождалось чувство неприязни к флаг-капитану. Колчак ощущал эту неприязнь, но с умом помалкивал, оставаясь подчеркнуто вежливым, и даже по пьянке (а пить с ним приходилось) ни разу не выдал своего подозрения контр-адмиралу.

— Посмотрим, что будет дальше, — говорил Коковцев.

Эссен ожидал Коковцева в салоне "Рюрика".

— Заряди в мины патроны кальция, — велел он. — Государь с

государыней желают видеть, как ставятся мины. А так как они в этом деле ни хрена не смыслят и, конечно, им .будет скучно, мы станем их веселить. Устрой-ка ты им ночную постановку! Водрузи кресла на мостике "Енисея". У тебя холодильники на минзагах как?

— Жужжат, — отвечал Коковцев.

— Пошли буфетных в Гельсингфорс за мороженым.

Коковцев вывел отряд в море, чтобы, поставив мины, завтра же выловить их обратно, а заодно следовало пощекотать нервы царю и его супруге. Николай II с императрицей наблюдали, как загораются во мраке патроны кальция — их зеленые огни, словно навьи чары на ведьмином болоте, курились над мостом каждой мины, утонувшей в море. "Царскосельский суслик", как именовали царя на флоте, остался очень доволен.

— Прекрасно, феерично! — благодарил он Коковцева. — Признаюсь, что я и моя супруга давно не видели такой удивительной картины... Ах, какая же волшебная красота!

Адмиральский катер к вечеру доставил Коковцевых из Кронштадта в столицу, высадив их возле Горного института. Устали оба, и хотелось спать. Но еще стоя на лестничной площадке перед своей квартирой, они услышали за дверями знакомый голос, топот детских ножек.

— Это... внук, — сказала Ольга Викторовна и, нажав на звонок, не отпустила его до тех пор, пока сама же Глаша не открыла им двери, как в старые добрые вре мена.

— А вот и я, — сказала она. — Не ждали?

Спасибо, что навестила: свидание с внуком чистейшим бальзамом пролилось на душевные раны Ольги Викторовны, и она, нянчась с мальчиком, стала оживать от беды, от прежних оскорблений, от женского и материнского одиночества. А востроглазая Глаша, конечно, заметила висевший на стене портрет Коковцева, добротно выписанный художником Кузнецовым.

— Какой вы здесь хороший-то... молоденький.

— Мужчина, чуть лучше черта, уже красавец!

Ивона больше не терзала его. Но зато с театральных афиш приманивало лицо обворожительной женщины. Это была Мария Николаевна Кузнецова-Бенуа, загримированная под японку, и теперь

театральная "мадам Баттерфляй" напоминала Коковцеву, что в Иносе, наверное, еще сохранился тот дом, где его встречала Окини-сан... "Жива ли она? О, годы — необратимые!

Близость Ревеля надоумила Коковцева обзавестись жильем в эстляндской столице, куда и переехала Ольга Викторовна с Глашей и Сережей. Сам он появлялся в Ревеле изредка. Желая покоя, попросил Ольгу снять дачу на станции Нымме в семи верстах от города, по вечерам всей семьей ужинали в местном ресторане, наслаждаясь видом панорамы древнего города, резкими вспышками маяков. Ольга с удовольствием кормила мужа.

— Ты, наверное, плохо высыпаешься, Владечка?

— Для меня ставят на мостике лонгшез. Дремлю.

— А если война, то кто с кем будет воевать?

— Наверное, все против всех, — ответил он...

Только единожды, уже осенью, ему удалось по делам службы выбраться в Петербург, и Коковцев все-таки не устоял перед искушением побывать в Мариинском театре, где давали оперу Джакомо Пуччини о любви японки Чио-Чио-сан к лейтенанту американского флота Пинкертону. Владимир Васильевич совершенно отвык от посещения театров, и сейчас с новым интересом присматривался к разряженной публике, занимающей богатые ложи, вслушивался в разнобой инструментов из "ямы" оркестра. В какой-то момент он даже пожалел, что не пошел в кегельбан Бернара. Но вот взвился занавес, перед ним возник пейзаж окрестностей Нагасаки. В саду, зацветающем вишнею, — домик с террасой... Сначала было просто неинтересно. Он ожидал появления Кузнецовой-Бенуа, обладавшей прекрасным голосом. Лишь она заставила его сосредоточиться на том, что происходит на сцене. В действии оперы контр-адмирал обнаружил немало несообразностей с теми условиями, какие он в своё время застал в Японии.

Раскритиковав сюжет оперы, Владимир Васильевич, однако, покорился чудесной музыке Пуччини, а Мария Николаевна вела свою партию Чио-Чио-сан с таким проникновением и так чудно, что Коковцев охотнейше аплодировал ей в конце каждой арии. Наконец огни рампы погасли, на сцену посыпались цветы, но Коковцев разумно

приготовил для Кузнецовой-Бенуа иной дар — более оригинальный, нежели корзины с цветами.

Однако повидать певицу оказалось нелегко. Избалованная вниманием, парижская примадонна навещала Петербург лишь по прихоти, и теперь возле дверей ее туалетной комнаты толпились мужчины всех возрастов и различного положения, желающие непременно выразить ей свои восторги. Понимая, что через эту суетную толпу ему добром не пробиться, Коковцев вручил камеристке свою визитную карточку:

— Передайте Марье Николаевне, что в Одессе я встречался с ее отцом, и он просил меня повидать ее...

Такой подход оказался самым верным, тем более что диво дивное провело детство на хуторе под Одессой, среди индюков и поросят, а отца своего Мария Николаевна очень любила. В ее уборной царил аромат фиалок из Ниццы, красовался букет васильков из Берлина, она сидела еще в японском кимоно, снимая грим перед зеркалом, в окружении корзин ослепительных хризантем, которые ей прислали из японского посольства.

Женщина встретила контр-адмирала шутливо:

— Вы случайно не были лейтенантом Пинкертоном?

— Я был еще мичманом, когда со мною в Нагасаки произошло нечто подобное, о чем я и рассказывал Николаю Дмитриевичу, когда он писал с меня портрет.

— Ах, мой папочка сколько раз пробовал писать с меня, но еще не было случая, чтобы я осталась его мазнёю довольна. Мне больше нравится Слефогт! Значит, вы тоже бывали в Японии?

— Не только бывал, но и жил там подолгу.

— Интересно, правда? Скажите, адмирал, откровен но: я сегодня хоть немножко была похожа на японку?

— Вы пели очаровательно, но, простите великодушно, вы совсем не были похожи на японку. Однако все недостающее на сцене дорисовала моя память и досказало мое сердце.

Мария Николаевна спросила, насколько любовь Пинкертона схожа с его юношеским романом. Коковцев отвечал певице, что между ним и героем оперы нет никакого сходства:

— Но во мне родилось чувство виноватости.

— Неужели? — удивилась певица

— Поверьте, что ваша ария в последнем акте за ставила меня поневоле задуматься: какова степень моей вины перед несчастной, Окини-сан? Японцы, наверное, могли предлагать европейцам своих дочерей за деньги, но мы, европейцы, все-таки не имели права покупать их. Этим мы невольно оскорбляли в первую очередь самих японцев. Раньше они этого не понимали, но, миновав "эпоху Мэйдзи", стали уже понимать.

— Об этом я никогда не думала, mon amiral...

Коковцев протянул женщине сложенный веер, и когда Кузнецова-Бенуа распахнула его, перед нею явилось красочное изображение японки, гуляющей в саду под зонтиком, а откуда-то из-за кустов за ее движениями следило некое дикое подобие европейца, жаждущего вкусить любви от иной расы.

— Кто же это? — спросила Мария Николаевна.

Коковцев заметил, что подарок ей понравился.

— Та самая женщина, что послужила для Пуччини прообразом вашей роли... Это знаменитая Тодзи Акити-сан, о которой знает каждый японец, о ней слагают стихи поэты, поют песни на праздниках, ее портреты висят в каждом доме, в виде куколок ее вырезают из яшмы и дерева. Но подлинная судьба этой женщины оказалась очень жестока...

Мария Николаевна опахнулась веером:

— Жестока? Неужели как у моей мадам Баттерфляй?

— Когда Акити-сан покинул жених, она перебралась в Токио, где стала безобразно пьянствовать, преследуемая позором, и наконец бросилась в море{8}...

Затем Коковцев сказал, что провел с Окини-сан два периода своей жизни, и каждый из них послужил для него указательной вехой для поворота в его личной судьбе:

— Но видеть ее третий раз я бы уже не хотел.

— Почему?

— С годами, мадам, все сильнее страх перед будущим...

В квартире на Кронверкском его встретила жена.

— Ты? Вот не ожидал. А где Глаша?

— Я оставила ее в Ревеле.

— А ради чего ты ринулась за мной в Петербург?

Ольга Викторовна промолчала. С самыми добрыми чувствами Коковцев подошел к жене, поцеловал ее в лоб:

— Если у тебя возникли сомнения в моей порядочности, ты должна быть спокойна. Эта женщина с Английской набережной переживает сейчас бурный роман с шофером герцога Максимилиана Лейхтенбергского, и тут ничего не исправишь.

Ольга Викторовна вдруг зло расхохоталась:

— После адмирала и... шофер?

Она произносила это слово по принятой тогда манере — не "шофер", а "шоффэр" (с ударением на втором слоге). Коковцев и сам понимал, что его мужское самолюбие сильно задето.

— Но шофер-то в чине поручика гвардии!

— А что это меняет, глупый? — спросила жена.

Днем отсыпались, а к ночи вставали с бранью:

— Опять нам в море — икру метать. Разве это жизнь?

Спереди минные заградители выглядели мощно, словно крейсера, а кормы у них были с "подзором", как у грузовых транспортов. В этих кормах открывались двери лоц-портов, из них выпадали в море мины с якорями, и тогда минзаги казались живородящими неких уродцев, отчего на отряде и привилось это странное выражение — икру метать! Ночь за ночью — одно и то же.

— Даже напиться некогда, — жаловались матросы...

Внешне молодящийся, стараясь не отставать от мичманов на трапах, Коковцев боялся показать командам, как он устал! Офицерам минзагов (тоже усталым) он говорил:

— Зимою отдохнем. А сейчас выспитесь, чтобы не клевать носами на мостиках, когда снова пойдем икру метать...

В сером море, взбаламученном осенними штормами, скроем уступа прошли три богини преклонного возраста — крейсера "Паллада", "Диана" и "Аврора": притягательна была эта картина, когда крейсера скрыли за горизонтом свои корпуса, потом утопили мостики, выставив над морем лишь одни мачты, да еще долго текли шлейфы дыма,

распластанные над непогодью балтийских вод. Бригадою крейсеров на Балтике командовал Коломейцев.

— Попрошу Колю взять на крейсера нашего Игоря.

— Конечно, было бы неплохо, — ответила Ольга.

Проводив Глашу с ребенком в Уфу, она возвратилась в ревельскую квартиру на Селедочной улице, откуда недалеко до парков Екатериненталя, где она лечилась, принимая целебные ванны. Сама вела скромное хозяйство, сама следила за чистотой.

— В конце концов, — говорила она, — сяду на поезд вечером и утром буду на Кронверкском. Если Игорю угодно, он может приезжать к нам каждое воскресенье.

— Поступай как тебе хочется, — не возражал Коковцев.

Никита сообщал, что у него все в порядке, на Амуре создан кружок по изучению края, водку из меню офицерского собрания сообща изгнали, а карты признаются только одни — географические. Морозы страшные. Недавно два месяца провел во Владивостоке, проходя стажировку на крепостных батареях, а в конце письма стояла загадочная приписка: "Кажется, я нашел что мне надо ". Почему-то именно эту фразу Никита подчеркнул.

— Не понимаю, — удивилась Ольга Викторовна. — Что он хотел этим сказать? Или нашел во Владивостоке невесту?

— Скорее, доволен тем, что попал на Амур.

— Тогда зачем же он еще и подчеркивает?

— Спроси у него сама. — Коковцев еще раз перечитал сыновнее письмо и сказал: — Об одном Бога молю, чтобы Никита не влез от скуки в политику. Офицерам флота запрещают заниматься политикой, и правильно: это не их дело!

Игорь, появляясь в Ревеле, первым делом хватал коньки и отправлялся в немецкий клуб "Фолькспарк", где по вечерам работал каток с духовою музыкой. Однажды его уже видели гуляющим с какой-то местной Аспазией. К своему будущему Игорь относился легко, и хотя в учебе не отставал, но и не ставил себе целью обогнать других. К жетону за стрельбу из револьвера он прибавил второй: "За отличное фехтование". Глаша, гостившая у Коковцевых, была очень внимательна именно к Игорю, и это внимание легко объяснимо:

своими замашками Игорь напоминал ей Гогу... Однажды, в кругу родителей, гардемарин сказал, что карьеру сделает быстро:

— Поеду в Либаву и окончу школу подводного плавания.

— И не думай! — возразила мать. — Мало мне горя, когда вы по воде плаваете, так тебя еще и на дно потянуло.

— Но это же так интересно, мамочка!

— У тебя все интересно... Избавь тебя Бог!

— А что вы подарите мне, когда я выйду из Корпуса?

— Секундомер. Как заядлому спортсмену...

После отъезда Игоря в столицу Коковцев сказал жене:

— Звезд с неба не нахватает и пороха не придумает.

— Но он же еще ребенок. Ты разве не видишь?

— Какой там ребенок, если через год ему уже людей навытяжку ставить... Завтра — офицер!

— Владечка, ну какой же из него офицер? Никита — да.

Разговор супруги продолжили в спальне.

— А я, Оля, все время думаю, что хотел сказать Никита этой дурацкой фразой: "Кажется, я нашел что мне надо". Вообще-то, самые страшные люди на свете — идеалисты.

— К чему это? — не поняла Ольга Викторовна.

— Я опять о Никите... Мир должен принадлежать материалистам, вроде Цезаря или Екатерины Великой, на худой конец пусть даже Наполеонам и Бисмаркам! А с этим идеализмом рождаются всякие завихрения в голове, и как бы чего...

Коковцев не закончил фразу — он уже спал. За него домыслила фразу жена: "...как бы чего не вышло". Она лежала на спине с открытыми глазами. Затем потихоньку достала из портсигара мужа папиросу и закурила (чего ей делать было никак нельзя, об этом и врачи предупреждали). Над заснеженным городом, над его старинными башнями и гаванями, над переулками и замками воцарилось ночное безмолвие. Ольга Викторовна, покуривая, решила: "Хорошо, что здесь нет телефона, из которого сыплются прямо в ухо всякие гадости и приказы..."

Страшным воплем разорвалась дремучая тишина.

Это вдруг закричал Коковцев...

— Владя, Владя, — тормошила она его. — Что с тобою?

Он сел на постели. Долго приходил в себя.

— Сахар, — отчетливо произнес он.

— Ты сведешь меня с ума... Какой сахар?

— В минах...

Во всех морских минах есть сахар. Пока он не растаял, он удерживает боевую пружину, и мина тогда безопасна. Но стоит морской воде растворить сахар, будто в стакане чая., пружина заполняет освободившееся после сахара пространство. Внятный щелчок — и все: теперь только тронь эту заразу — и взлетишь на воздух.

Коковцев еще не мог прийти в себя:

— Мне приснилось, будто сахар растаял, я сунул палец под эту проклятую пружину и держу ее. Держу, держу... Это был кошмар! А ты, кажется, курила? — принюхался он.

— Только одну. Больше не буду. Ложись.

— До сна ли тут после всего...

Прошлепав до буфета, Коковцев выпил коньяку.

— Надо бы провести сюда телефон, — сказал он. — А то живем как в лесу. Может, я нужен в Порккала-Удд? А может, ледоколы уже начинают ломать там лед?

Зима прошла словно сон, лед на Балтике посерел. Вот и отсвистали на кораблях первые весенние дудки боцманматов:

— Вино наверх! В палубах прибраться! Ходи веселее! Сейчас и пообедаем.

Баталеры бережно, будто мать — родную дитятю, тащут ведьму-ендову с водкою. На камбузе заградителя "Енисей" коки готовят пробу для начальства:

— Снизу, ты снизу черпай, шалява! Штобы с мясцом попалось... подцепляй яво! Да жирком сверху прикрась... во!

На флоте все делается четко и ясно. Без выкрутас.

— Проба готова, ваше благородие! — вахтенному офицеру.

— Проба готова, ваше высокоблагородие! — командиру.

— Проба готова, ваше превосходительство...

Последнее обращение касается уже Коковцева; ложкой он

размешивает на дне гущу и, выудив из тарелки мясо, будто опытный тральщик забытую Богом мину, схлебывает одну жижу. А пока он вникает во вкус борща и каши, подчиненные отдают ему "честь", имея при этом на лицах сострадательное благоговение, ибо — не секрет! — не только ему, адмиралу, но и всем иным жрать хочется. Ну прямо спасу нет...

— А лавровый лист? А перец? Не чувствую. Передайте кокам, чтобы впредь не жалели. Впрочем, обед хорош.

На минзагах Порккала-Удд бьют склянки: поддень!

"Команде пить вино и обедать", — заливаются дудки...

Вдоль шканцев тянется длинная очередь серых голландок и парусиновых штанов — к ендове. Вскидывается голова — кувырк, и нет чарки. Недреманным ястребиным оком следят боцманматы за порядком в поглощении казенной, от царя-батюшки, водки.

— Эй, эй! А ты чевой-то по второму разу подбегнул?

— Христом-богом, пошто забижаете? Я ж по первой.

— Осади! Осади, тебе говорят...

— Христом-богом! Спросите кого угодно. Или уж я зверь какой? Я ж и сам понимаю, что по две сразу нельзя.

— А я тебе по-хорошему вдолбачиваю — уйди от греха.

— Да я вить... хосподи! Побожиться могу.

— Ежели не отвернешь, чичас тебя в книжку карандашиком вставлю. До конца службы из гальюнов не выберешься...

Весело живется на флоте. Даже очень весело. Хотя люди тут как люди. То ласковы. То сердиты. В кают-компании "Енисея" рассаживаются офицеры:

— Что у нас тут сегодня? Суп из тресковой печени, филе из барашка с картофелем, мокко со сливочным тортом. О, как все это осточертело. Хорошо бы гречневой каши со шкварками!

Эссен поторапливал людей, доказывая: "Делать хорошо можно лишь то, что делаешь не от случая к случаю, а постоянно". Посему он выслал к Порккала-Удд ледоколы, которые обкололи лед вокруг заградителей, чтобы они скорее вышли на чистую воду. В канале разбитого льда тянулись "Енисей", "Амур", "Ладога", "Нарова", вдруг Коковцев крикнул, чтобы ставили машины на стоп:

— И дайте на ледоколы парочку зеленых ракет...

"Ермак" и "Петр Великий" с разгону уперли свои бивни в торосы, из разводий удивленно глядели на корабли лупоглазые, балтийские тюлени. В чем дело? Просто Коковцев заметил, что на острове едут в санках финны. Ему польстили:

— Ваше превосходительство, у вас отличное зрение. Мимо кораблей с гиканьем пронеслись финские вейки, с которых благодарные островитяне махали шапками. Коковцев, скорчась, опустился на разножку штурмана возле телеграфа:

— Зрение отличное — да. Но... печень! Кажется, господа, не следовало мне сегодня есть этот жирный суп и торт...

Образованием камней печень начинала свое отмщение, чтобы теперь он муками расплачивался за все, что выпито и съедено в ресторанах, бездумно и бесшабашно. До конца мая Коковцев лежал в госпитале Гельсингфорса, куда спешно перебралась и Ольга Викторовна, убеждавшая мужа соблюдать строгую диету:

— Владечка, дорогой, пойми, что ты уже не молод.

— А ты не кури, — отвечал он ей раздраженно.

— А ты, миленький, больше не пей. Ни рюмки!

— Ладно. Не буду... — смирился Коковцев.

Из госпиталя Владимир Васильевич вышел, удрученный не столько болезнью, сколько разговорами, которых он там наслушался в общении с офицерами высших рангов. Случись война — ни одного дредноута, ни одного крейсера со стапелей не спущено, а из новейших имеется лишь эсминец "Новик", побивающий рекорды мира в оружии и скорости, да превосходная подводная лодка "Акула". Коковцев загибал пальцы:

— Крымская кампания — не готовы, турецкая — не готовы, японская — не готовы, сейчас ждем войны с немцами — опять не готовы... Что за ерунда такая? Почему Россия всегда опаздывает?

Эссен держал флаг на крейсере "Рюрик", куда и пригласил Коковцова в теплый летний день. Они прошли к закусочному табльдоту. В петрушечной зелени покоились громадные волжские осетры, в нежном соку плавали розовые омары, в серебряных корытцах нежилась янтарно-лучистая гурьевская икра. К услугам начальства наготове

стояли коньяки и водки, рыжая старка наполняла графин, здесь же — ежевичная, рябиновая. Коковцев с вожделением обозрел это убранство стола.

— У меня строгая диета, — пожалел он себя.

— По случаю диеты обязательно выпьем и как следует закусим, — отвечал ему Эссен. — Если ничего такого уже нельзя, так возьми хоть грибочков. У меня ведь тоже гастрит!

— Придется, — с грустью согласился Коковцев...

Эссен спросил о количестве мин на арсеналах-мониторах.

— Шесть тысяч, и все проверены.

— Готовность флота повышенная, ты это учти.

— Николай Оттович, а не рано мы стали пороть горячку? По газетам судить, так Германия настроена благодушно.

— А ты не читай газет — умнее будешь.

Коковцев-перетащил себе на тарелку жирного прусского угря, еще вчера жившего в свое удовольствие возле унылых берегов Померании. Эссен провозгласил "салют":

— За мой гастрит и за булыжники в твоих печенках.

— Салют! — отвечал Коковцев, чокаясь с ним...

Ольга Викторовна была крайне недовольна:

— Ты опять выпил. Ну, что мне с тобой делать? Коковцев разматывал с шеи белое кашне:

— Ольга, целуя меня, не принюхивайся. Обнюхивают только матросов, вернувшихся с берега. А я все-таки адмирал!

— Это для других ты адмирал, а для меня ты муж... И не забывай, сколько тебе лет. Если не думаешь о себе, так подумай обо мне. Наконец, мог бы подумать и о детях.

— Ну, начинается, — приуныл Коковцев.

— Где ты был?

— Я с крейсера "Рюрик" — прямо из штаба флота.

— Так что там у вас на крейсере — шалман?

— Не шалман, а кают-компания.

— Вот позвоню Николаю Оттовичу и скажу...

— Звони сколько угодно, мне-то что?

Был разгар лета, когда модный исполнитель романсов Юрий Морфесси давал платный концерт для офицеров флота в Ревеле. Ольга Викторовна вытащила мужа в Морское собрание, чтобы избавить его от необъяснимой хандры. Морфесси объявил:

— Дамы и господа, с вашего соизволения я начну этот вечер старинным русским романсом "Эгейские волны".

— Старинный... — заворчал Коковцев. — Это для него, мальчишки, он старинный, но его распевали на станции Порхова, когда на клипере "Наездник" я первый раз ходил в Японию.

Ольга Викторовна шепнула мужу:

— Владя, ты становишься брюзглив, как противный старик.

— Но я и есть старик, моя дорогая.

Женщина смежила глаза. Что вспоминалось сейчас ей, бедной? Может, тот невозвратный далекий вечер в Парголове, сад в цветении жасмина, ушастый спаниель на крыльце веранды, положивший умную морду на лапы, и она, молодая и стройная, с теннисной ракеткой в руке, ожидающая, когда скрипнет калитка...

С нежностью она тронула его руку:

— Где же ты, очаровательный мичман Коковцев?

— Хватит гаффов! — отвечал адмирал жене.

Юрий Морфесси красиво пел, прижимая к груди платок:

Раскинулось море широко,
Теряются волны вдали,
Опять мы уходим далеко,
Подальше от грешной земли.

А что Коковцев? Его молодость уже откачалась за кормою волнами морей, то синих, то желтых, то зеленых, и он, кажется, забыл уже все, но память цепко держала нескончаемое, как сама жизнь, движение волн... Ах, эти эгейские волны!

Не слышно на палубе песен,
Эгейские волны шумят.
Нам берег и мрачен и тесен -
Суровые стражи не спят.

Ольга Викторовна прикрыла лицо надушенным веером.

Не правда ль, ты долго страдала?
Минуты свиданья лови.
Так долго меня ожидала -
Приплыл я на голос любви.
Кто-то потихоньку тронул Коковцева за плечо:
— Вас просят позвонить по телефону одиннадцать — семьдесят восемь.

Спалив бригантину султана,
Я в море врагов утопил.
И к милой с турецкою раной,
Как с лучшим подарком, приплыл.
— Чей это номер, Владечка? — спросила жена.
— Штабной. Сейчас вернусь...
Он уже не вернулся, и они встретились на Селедочной.
— Так что там опять стряслось у вас на флоте?
— Ничего. Но какой-то дурак студент в Сараево застрелил другого дурака, наследника австрийского престола. А чтобы ему на том свете не было скучно, заодно пришлепнул и жену наследника... Австрия предъявила сербам ультиматум!
— Стоило ли ради этого тащить тебя с концерта?
— Конечно, не стоило...
Настал незабываемый "июльский кризис" 1914 года! Он совпал с удушающей жарой, вокруг Петербурга сгорали массивы лесов и угодий, полыхали древние торфяные болота, окрестности столицы были в пожарах, огонь подкрадывался к загородным дачам, плотный дым затянул не только улицы парадиза империи, но даже рейды Кронштадта.
Кризис, опять кризис...
На минных заградителях, пришедших в Ревель, готовились к летним маневрам, благодушничая:
— Читали мы всякие ультиматумы... Ни черта-с!
Коковцев хранил молчание. Он-то был предупрежден заранее: если радисты уловят из эфира слова: ДЫМ, ДЫМ, ДЫМ, его минзагам оставаться на местах, но если в наушники ворвутся слова: ОГОНЬ,

ОГОНЬ, ОГОНЬ, все заградители ступят на тропу смерти... Эссен срочно повидался с Коковцевым:

— Пока "дым"! Но добром не кончится. А мне уже связали руки: государь император указал под мою личную ответственность ставить мины только по его личному распоряжению . Сигнал к постановке мин на центральной позиции словом: "МОЛНИЯ"! Но прежде "буки"... Буква "Б" (буки) означала по сигнальному своду: "Всем вдруг сняться с якоря, начать движение". Хватаясь за прогретые солнцем, сверкающие поручни трапов, Коковцев поднялся на мостик "Амура". Уселся в кожаную вертушку наводчика. Развернул дальномер на Ревель. Откинул коричневые светофильтры, чтобы солнце не слепило глаза. Он узнавал знакомые очертания лютеранских кирок и купола православных храмов, левее краснели руины монастыря святой Бригитты, вот и пляжи Екатериненаталя: купаются женщины, дети. Дальномер, плавно журча, перекатывал перед ним панораму чужой мирной жизни. В песок купального штранда воткнут щит рекламы. Худосочный мальчик, а внизу надпись: "Я не ем геркулес". Коковцев сдвинул дальномер дальше, осмотрев краснощекого мальчика: "А я ем геркулес!" Он откинулся в кресле, слушая далекую музыку вальса из ревельского концерт-гардена: там еще танцевали... Ему принесли от радистов телеграмму из штаба флота: Сербия отклонила немыслимый ультиматум Вены, дипломатические отношения прерваны. Коковцев спрыгнул на решетки мостика.

— Тринадцатое июля — недобрый день, — сказал он.

— Есть! — отвечали сигнальщики...

Григорович диктовал Эссену: гардемаринов, проходящих корабельную практику, вернуть в Корпус для ускоренного выпуска на флот — мичманами. Владимир Васильевич забежал домой — на Селедочную:

— Ольга, срочно перебирайся в Петербург, приготовь мне чистое белье... Игорь, скажи, не забегал?

— Нет. А что?

— Значит, уже отъехал с первым же поездом...

Вечером Колчак примчался на "Пограничнике" из Либавы, он подал Коковцеву телеграмму из столицы: "Австрия объявила войну Сербии, мобилизация восьми корпусов". Сказал:

— Либава эвакуируется.
Коковцев потряс перед ним телеграммой:
— Эта поганая машинка никак не даст заднего хода?
— Боюсь, у нее не сработает реверс...
Эссен ел булку, запивая ее простоквашей.
— Нет "дыма" без "огня", — сказал он. — Пусть я лучше пойду под трибунал, как нарушивший личный приказ императора, но я выкачу все минные запасы на центральную позицию, чтобы перекрыть немцам пути к Петербургу... Прошу все минные заградители сгруппировать в Порккала-Удд и ждать сигнала "буки"... Ни капли вина! Пейте чай, кофе, какао, кефир и простоквашу. Все.
Царь не учитывал творческой активности Эссена. "Прошу, — требовал адмирал у Петербурга, — сообщить о политическом положении. Если не получу ответа сегодня ночью, утром поставлю заграждение". Царь молчал так, будто там все давно сдохли...
— Ну и черт с ним! Царь есть царь, а флот сам по себе.

Маяки на Балтике мигнули последний раз и погасли...
ДЫМ, ДЫМ, ДЫМ, — никакого движения. Ждали "буки".
— Будет война или нет? — запрашивал Эссен столицу. Ответа не было. Как выяснилось после войны из секретных материалов, военно-морской министр Григорович спал. Его разбудили офицеры морского генштаба, настаивая, чтобы он, в свою очередь, разбудил царя (тоже спавшего).
— Если сейчас не дать "молнию", Эссен плюнет на весь ваш "дым" и все равно прикажет флоту "огонь".
Хитрый царедворец, умевший ладить и с вашими и с нашими, Григорович наотрез отказался будить Николая II:
— Никаких минных постановок! Что вы, господа? Германия и Австрия войны еще не объявляли, а если Эссену приспичит "метать икру", Берлин и Вена сочтут это деяние вызывающим актом агрессии... Вот тогда-то все и начнется!
Дым горящих лесов наплывал на затаенные рейды. Коковцев, щелкая подошвами по трапу, взбежал на мостик, в штурманской рубке скинул на диван тужурку. Циркуль в руке адмирала отмерял точные шаги

измерений по карге:

— Неужели там, наверху, не могут понять, что германский флот, имея эскадренную скорость в шестнадцать узлов, завтра уже способен выйти к центральной позиции...

Это был момент, когда в 04.18 Эссен спросил:

— Есть ответ от олухов царя небесного?

— Нету.

— Дрыхнут... А я ведь предупреждал, что жду четыре часа. Пусть меня хоть вешают, но родина простит... Буки!

Следом за "буки" какофонию эфира пронзила "МОЛНИЯ".

Все разом пришло в движение, якоря, вырывая из грунта лохмы водорослей и всякую гнилую пакость, поползли в клюзы. Линейная бригада развернулась на траверзе Пакерорта, крейсера выбежали в море, арестовывая все пассажирские и грузовые пароходы, дабы не возникло "утечки информации". В 05.25 утра Балтийский флот занял боевую готовность, а минные заградители вышли в район постановки. Коковцев держал флаг на "Енисее", которым командовал капитан первого ранга Прохоров, прекрасный навигатор, бывший при Цусиме штурманом крейсера "Аврора", а на руле стоял лучший рулевой Балтики — кондуктор Ванька Мылов. Заградители в идеальном строю фронта шли ровно, словно бабы вдоль грядок, сажая в море мины, будто капусту на огороде. Через двери кормовых лоц-портов мины срывались в море — плюх, плюх, плюх! Поднятые руки минных офицеров сжаты в кулаки, по секундомерам отсчитывались интервалы.

— Сто девятнадцатая партия — товсь. Сто двадцатая...

— Товсь сто двадцатая! — отвечают с кормы.

— Пошла сто двадцатая. Сто двадцать первая.

— Товсь! — кричат в трубки телефонов...

В минных отсеках гудели рельсы, по которым бежали, дергаясь на стыках, будто железнодорожные вагоны, мины, мины, мины... нет конца этому длиннейшему эшелону!

Море, как лакомка, сразу начинает рассасывать предохранительный сахар. Где-то на глубине раздается щелчок — все: оторвавшись от якоря, мина приводится в боевое положение. На мостике

флагманского "Енисея" сам Коковцев и Прохоров, здесь же лучшие минеры отряда -лейтенанты Матусевич и братья Унтербергеры, мичман Вольбек и Вася Печаткин. Коковцев стоял подле рулевого Мылова:

— Ванюшка, проси с меня что хочешь, но курс...

— Есть, ваше превосходительство! Держу как по нитке.

2124 мины выстроились поперек Финского залива в восемь точных линий. Прохоров щелкнул крышкой часов и сказал:

— Сколько лет гробились на учениях, а спроворили эту канитель за три часа и тридцать восемь минут...

С этого момента столица была ограждена от нападения германского флота, мины прикрыли от врага мобилизацию северо-западных округов страны. Славная балтийская ночь 18 (31) июля 1914 года вошла в историю флотов мира как самое талантливое предприятие, проделанное русскими с блистательным успехом. Николай II не простил флоту этой самостоятельности, но... помалкивал. Лишь единожды, в беседе с французским послом Морисом Палеологом, император сознался:

— Балтийский флот нарушил мой приказ: они перегородили море минами до объявления войны и без моего ведома...

Коковцев звонил Ольге на Кронверкский:

— Я сейчас на дежурном миноносце прибегу в Неву, приготовься быть отдохнувшей и нарядной... Надо, чтобы в день выпуска Игоря мы с тобой, дорогая, не выглядели бедными родственниками на богатых именинах. Целую. Пока все.

Перед отплытием его задержал на причале Коломейцев:

— Что вы, сукины дети, натворили этой ночью? — Он был против минной постановки. Коковцев сказал:

— Не хочу тебя даже слушать.

— Нет, выслушай. Я ведь не последний человек в этой банде. Сам знаешь, когда я снял Рожественского с "Суворова", даже английские газеты пришли в восхищение... Так? И я вправе спросить. С кем война? Ради чего вы запоганили море?

— Спроси Эссена.

— Спрошу! Пусть он скажет, что ему шлют из Питера... "Шансы на мир

значительно окрепли"!

Прибыв в столицу, Коковцев сказал жене:

— Всю дорогу терзался: а вдруг войны не будет? А я вывалил мины за борт, и теперь, случись мир, экономика России будет подорвана на множество лет, пока все это не протралим.

— Не терзайся, — ответила Ольга Викторовна.

Она протянула ему газеты, в которых жирным шрифтом были выделены заголовки: "ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ РОССИИ".

— Теперь хоть ясно... Ты готова?

— Да. Ты можешь даже танцевать, но я не стану! Не к добру расплясалась я тогда перед Цусимой с Рожественским...

Морской корпус утопал в живых цветах, было много невест. По углам, будто сычи, сидели затрушенные прабабки (помнившие времена Николая I), чтобы посмотреть на ликование правнуков, ставших офицерами при Николае II. Коковцевы скромненько стояли в Нахимовском зале, где находился фрегат, подаренный Корпусу самим адмиралом Нахимовым — целиком как есть! Обрезанный вдоль ватерлинии, сохранив всю оснастку, корабль, казалось, вечно плывет в океане музыки и восторгов молодого поколения России. На время танцев были включены бортовые и топовые огни, освещавшие ему путь под самым куполом зала.

— Как красиво правда? — сказала Ольга Викторовна.

— Очень, — согласился Коковцев, вспомнив свою юность...

Игорь время от времени навещал родителей, возбужденный от танцев и шампанского. Мать спросила его:

— А где твоя пассия? И почему танцуешь с чужими?

— С чужими, мамочка, всегда интереснее...

— Владя, это твоя школа? — недовольно заметила жена.

Возник посторонний шум, забегало начальство, всполошились дамы. В дверях показался полицейский пристав.

— Что случилось? — встревожились родители. Коковцев со смехом сказал Ольге Викторовне:

— Случилось то, что случается каждый год. Будущие господа офицеры все-таки умудрились натянуть тельняшку на памятник Крузенштерну... Вот это и есть моя школа!

— А куда же смотрела полиция на набережной?

— Она валяется у памятника. Ее заранее споили... Когда вернулись домой, Игорь еще витал в кружении вальсов и девичьих улыбок, он беспрекословно решил:

— В мичманах засиживаться не собираюсь. Один благородный подвиг, как у Дюпти-Туара, — и я лейтенант! И раньше говорил вам, что сделаю такую быструю карьеру, что вы... ахнете.

— Ложись спать, — велела ему Ольга Викторовна. — Ты, мой миленький, выпил сегодня шампанского больше, чем надо.

Ощутив привкус офицерской свободы, Игорь за один день успел обойти все увеселительные заведения столицы, в которых раньше бывать ему строго запрещалось. Как ни тяжело было Ольге Викторовне отрывать от себя любимое детище, она все-таки просила мужа скорее забрать сына в Ревель:

— Если его оставить здесь хоть на неделю, боюсь, что станет посещать всякие места, где женщины имеют дурную привычку задирать платье выше колен, а нашему Игоречку видеть весь этот чудовищный разврат еще слишком рано.

— Ты думаешь, он еще не видел?

— Игорь всегда останется для меня ребенком...

Флот в Ревеле буквально сидел на яйцах, конфискованных при задержании германского парохода "Эйтель-Фридрих". Триста тысяч килограммов свежих яиц, которые немцы не успели вывезти в фатерлянд из России, достались морякам. Началось яичное помешательство! Всмятку, в "мешочек", вкрутую. Омлеты, яичницы, запеканки, гоголь-моголи, всюду взбивались пышные яичные муссы, на камбузах варили яичные ликеры... Коковцевы (отец и сын) прибыли в Ревель ночным поездом. Игорь сразу же с вокзала отправился на извозчике в гавань, где стояла его "Паллада", а Владимир Васильевич поспешил повидать Эссена.

Эссен пребывал в мрачном настроении — его флот, который он выпестовал для битвы, царь подчинил в оперативном отношении Северо-Западному фронту. Нет, Николай Оттович никогда не отрицал пользу взаимодействия флота с армией.

— Но еще не было в истории случая, чтобы флот выигрывал, находясь

в подчинении генералов, плохо понимающих морские условия. Нынешнюю войну ведем по секундомеру, а генералы воюют так, будто на их часах отсутствует минутная стрелка.

Из бороды Эссена торчал янтарный мундштук с папиросой. Он рассуждал с уважением к противнику: Германия создала отличный флот, его боевая подготовка лучше нашей, оптика и механизмы замечательные. Иконами тут не закидаешь! Адмирал перебросил Коковцеву телеграмму с маяка Тахкона:

— Служители маяка видели, что кто-то взорвался в море. Наших кораблей там не было... Странно поведение немцев: их крейсера крутятся в устье Финского залива, словно желая выманить нас из-за центральной позиции. Что это значит? Ради чего они вешают у нас под носом кусок жирного сала?

— Надо подумать, — отвечал Коковцев.

— Думай по секундомеру!

6 сентября Коковцев ночевал на "Рюрике", вызванный в Ревель по делу: на Даго наивные рыбаки стали подбирать выброшенные прибоем непонятные для них "железные бочки с рожками" (мины!). Проснувшись, Владимир Васильевич сразу вспомнил об этих "рожках" — взрывателях.

— Гальваноударного типа! — сказал он Колчаку за чаем в кают-компании "Рюрика". — Не дай-то Бог, если эстляндцы надумают тяпнуть топором по этим рожкам, желая посмотреть — что там внутри, не потечет ли керосин, нужный в хозяйстве?

Колчак был озабочен: на рассвете у Виндавы видели плотное облако дыма на горизонте. Он спросил Коковцева:

— Вы сами поковыряетесь в немецких минах?

— Со мною братья Унтербергеры, уже ковыряются...

В полдень Эссен оповестил флот: южнее маяка Богшер появились пять германских линкоров типа "Виттельсбах" и "Мекленбург", в плотном дыму движется вражеская армада из крейсеров типа "Ундина" и "Газелле". Назревало сражение.

Коковцев спросил оперативников — где "Паллада"?

— "Паллада" вместе с "Баяном", — пояснили ему, — сейчас на меридиане Дагерорта в сорока милях к весту от Оденсхольма, где

крейсер "Аврора" охраняет работу наших водолазов.

Коковцев оставался спокоен. В самом деле, почему бы его мальчику не хлебнуть соленой воды и не понюхать, чем пахнут сгоревшие пироксилины? Волнение пришло к нему после трех часов дня, когда немцы забили эфир своими переговорами, а с Дагерорта докладывали, что дым германской эскадры уплотняется, наши крейсера вынуждены отходить к зюйду. Но почему к зюйду? Как же они вернутся обратно? За обедом Колчак сказал, что "Паллада" с "Баяном" уже попали в немецкие клещи. Возможно, противник погонит их на мелководье банки Глотова или заставит крейсера выброситься на минное поле, в квадрате 39. Эссен уже вызвал из Гельсингфорса бригаду линкоров, "Громобою" и "Адмиралу Макарову" указано следовать на помощь. Коковцев подумал об Ольге Викторовне: как хорошо, что она следит за войной по газетам и ей никто не приносит радиограммы с моря. Посты оповещения докладывали: наши крейсера на повороте форсировали скорость до пятнадцати узлов. На огонь противника они не отвечали и это было умно: зачем же показывать немцем, какова дальность их стрельбы? Шифровальщики не успевали раскодировать сообщения, поступавшие с "Паллады". Крейсер извещал штаб, четко нумеруя свои доклады: № 179, № 180, № 181, № 182, предупреждая флот аншлагам: "ВСЕМ, СРОЧНО". Из радиограммы № 182 Коковцев выделил одну фразу, радостную для его отцовского сердца: "Попаданий еще не имею". Затем с моря отбили новость: немцы ведут поспешные переговоры прожекторами. После этого в переписке возникла пауза...

— И я ничего не понял, — сознался Эссен. — А ты?

— Тем более, — ответил ему Коковцев.

Случилось невероятное: германская армада, оставив преследование крейсеров, разом отвернула, будто за нею гнался сам дьявол. Двадцать три боевых вымпела энергично отступили перед двумя.

— Что могло их так напугать? — недоумевал Эссен.

Перед Балтийским флотом немцы поставили громадный знак вопроса. Когда "Паллада" и "Баян" вернулись, их командиры сами удивлялись отходу неприятеля.

— Для нас это тоже загадка! — разводили они руками...

Загадка вскоре разрешилась: оказывается, в самой гуще боя между кораблями сверлила винтами глубину подводная лодка "Акула", которая никак не могла выйти в атаку на противника, и тогда командир "Акулы" решился на отчаянный поступок — он всплыл на виду немцев, которые, увидев субмарину, в панике и бежали. Вывод: немцы придавали подводным лодкам несколько иное значение, нежели моряки других наций... Повидав сына, Коковцев потрепал его за ухо:

— Щенок! Из-за тебя я тут вибрировал нервами...

Браслет с руки отца Игорь более не просил — офицеры крейсеров имели золотые перстни с именами своих кораблей.

Вскоре агентство Рейтер известило мир, что германской подлодкой потоплены один за другим сразу три британских крейсера: "Кресси", "Хог" и "Абукир"... Вот это новость! Множество государств, идя на поводу признанного морского авторитета Англии, держали свои народы впроголодь, бухая миллиарды золотом на дредноутизацию флотов, но из глубины тихо подкралась субмарина и четкими попаданиями торпед заявила миру о своем безусловном престиже на море.

— Открывается новая эра войны на море, — размышлял Эссен на "Рюрике". — Чем черт не шутит, но эта нырялка способна, кажется, перевернуть всю морскую стратегию... Посмотрим!

В эти дни он дезавуировал устарелую тактику контрадмирала Коломейцева, бригада крейсеров которого имела просчеты в соприкосновениях с противником, а сам Николай Николаевич не всегда верно ориентировался в боевой обстановке.

— На этот раз, учитывая ваши прежние заслуги, я удаляю лишь командира "Адмирала Макарова", но, если и впредь случится что-либо с вашими крейсерами, удалю с флота и вас!

— Я вам не менее честно заявляю, — отвечал Коломейцев. — что в море следует держать одни лишь дестройеры{9} и подводные лодки. А я вам не святой, чтобы плавать без потерь.

Вице-адмирал прекратил этот спор с контр-адмиралом. Но Коломейцев, уже переступив комингс, добавил:

— Пока грэнд-флит английского короля не расчехвостит флот открытого моря кайзера, нам бы следовало вести себя поскромнее. Извините, Николай Оттович, но вы... зарвались!

Поздней осенью Коковцев выходил в море на "полудивизионе особого назначения", бывших минных крейсерах, построенных на народные пожертвования после Цусимы. Тьма была такая, что на эсминцах не видели даже своего дыма. Штурман спросил:

— Ваше превосходительство, а не может ли так слу читься, что мы, того не подозревая, уже шлепаем по немецким минам?

Коковцев удобнее разлегся на диване.

— Возможно! — ответил он.

Мины ставили к западу от Виндавы; на этот раз Коковцев отказался от линейного заграждения, накидав в море "букетов" на разных глубинах, беспорядочно. В этом случае немецким тральщикам предстояло разрешать формулы со многими неизвестными. Пошли обратно. Качало сильно. Коковцев снова ощутил боли в области печени.

— Если это камни, — сказал он штурману, — то мне тонуть с камнями легко. Но каково вам, молодым и здоровым?

Эссен радировал, чтобы полудивизион следовал прямо в Гельсингфорс — брать мины снова! Здесь Коковцева навестил барон Ферзен, командир линейной бригады.

— Вернулись? — спросил он обрадованно, — Ну, слава Богу. А я со вчерашнего дня вас вспоминаю. Мы плохо знакомы, но почему-то помнил именно вас — не случилось ли беды?

— Беды нет, барон. А где сейчас "Паллада"?

— Снова в дозоре. Коломейцев радировал с "Адмирала Макарова", что атакован германской подлодкой, но сумел увернуться от трех торпед... До чего же свято имя Степана Осиповича! А ведь на "Макарове" и сын покойного адмирала.

— А мой на "Палладе"... мичманец!

Утром 29 сентября Коковцев еще нежился в постели, слыша, как бренчат в буфете посудой, когда сквозь приятную дрему заметил вестового, положившего на стол каюты газету. После этого уснуть контр-адмирал не мог. Протянув руку, он взял газету. Красным

карандашом было отчеркнуто сообщение:

"Ревель. 28-го сентября. Сегодня в 1ч. 15м. пополудни крейсер "Паллада", взорванный немецкою миною, погиб со всею командой".

Кто-то (заботливый) постучал снаружи в дверь каюты:

— Ваше превосходительство, извольте завтракать...

Когда Коковцев появился в штабе флота, перед ним все молча расступились. Эссен обнял его, просил крепиться:

— Не мне тебя утешать. Поезжай в Питер к жене...

Колчак протянул Коковцеву бумажку с координатами гибели "Паллады"; место могилы таково: 59?36'N — 22?46'O.

— Благодарствую, — сказал он Колчаку и ушел...

Санкт-Петербурга не было — ура-патриотам захотелось сделать из него Петроград. Владимир Васильевич первым делом отослал телеграмму в Уфу, чтобы Глаша срочно выезжала с сыном. Идти домой он боялся. В нелепом оцепенении долго сидел на скамье Александровского сада, засыпанного порыжевшей листвой, потом резко встал и пошел в Адмиралтейство, где просил доложить о себе морскому министру Григоровичу:

— Я еще не видел своей жены... У нас остался единственный сын. Если можно, скорее верните его с Амурской флотилии на Балтику. Думаю, что моя просьба вполне основательна.

Григорович нажал кнопку звонка. Вызвал флаг-офицера.

— Ваше желание будет исполнено без промедления...

Шаркая ногами, Коковцев удалился. Он не мог возвращаться домой, но понимал, что это необходимо хотя бы ради памяти сына. Он всегда удивлялся интуиции жены: Ольга ожидала его, встретив в передней. Перед ним возникла лишь тень ее! Выплаканные глаза были как два куска сырого мяса. Жена все знала. Из газет. Скользя руками по стенке, опустилась перед ним на колени. Сгорбленная. Совсем седая.

— Скажи мне, что все это неправда !

Коковцев тоже встал на колени:

— Ольга, я уже ничем не могу утешать тебя. Нам осталось одно утешение: смерть Игоря была мгновенна. Один удар, одна вспышка — и его не стало. Поверь, он даже не мучился.

— Не говори так, Владя! Не говори, не говори... Ну оставь мне хоть

единую каплю надежды, — взмолилась она.
Коковцев видел как Ольга трясется всем телом.
— В этом горе мы не одиноки с тобой, и ты не одна мать- Ольга Викторовна стучала кулачками в стенку:
— И опять! И опять! Как тогда... нет даже могилы!
Коковцев машинально показал ей координаты:
— Он вот здесь. Где и все остальные.
— Бумажка! Осталась бумажка. Будь он проклят — ваш флот!
— Успокойся, Оленька, я уже вызвал Никиту.
— Да? — еле слышно переспросила она, обессилев.
— Приедет. Глаша тоже. Вместе с Сережей...
Коковцев понял: Ольге уже никогда не снимать траура.
Вечером ему позвонила Ивона фон Эйлер:
— Я глубоко сочувствую... Когда мне ждать тебя?

Панихиду по убиенным на крейсере "Паллада" служили в Адмиралтейском соборе при небывалом скоплении публики. Тут собрались не только родственники погибших, но и почти все адмиралы, бывшие тогда в столице. С ними явились их жены и дети, очень много вдов и сирот — еще со времен Цусимы...
— А я все не верю, — говорила Ольга Викторовна.
К ней подошла Капитолина Николаевна Макарова, постаревшая, она с небывалым чувством искренности расцеловала ее.
— Не убивайтесь так, — сказала она, тоже плача. — Мы сами виноваты, что связали судьбу с моряками. Ах, Боже... лучше не вспоминать! Что мы понимали тогда, наивные девочки, ослепленные их славою и мундирами?
Давясь слезами, Ольга Викторовна ответила:
— Игорь ведь был еще совсем ребенок.
— Мой Вадим тоже на крейсерах, и я каждый день света белого не вижу. Будем уповать на единого Бога...
Глаша скоро приехала, и унылая квартира малость оживилась от ее присутствия, ее деловитости, а Сережа, уже десятилетний мальчик, стал называть Ольгу Викторовну "бабушкой". Коковцевыми было сказано Глаше так:

— С чего бы тебе, дорогая, тесниться в медхен-циммер? Занимай любую из комнат — Гогину или Игоря...

Глаша, проявив деликатность, ничего в обстановке не меняла, только над диваном, на котором спал Сережа, она укрепила красочную открытку с видом броненосца "Ослябя":

— Это пароход, на котором утонул очень хороший дядечка, и, когда подрастешь, я расскажу тебе о нем больше...

Коковцев всегда был в меру сентиментален, но теперь, глядя на жену, как она хлопочет над внуком, адмирал не раз отворачивался, желая скрыть выступавшие слезы. Все чаще задумывался он над концом своей жизни: "Хорошо, что хоть так... пусть все будут вместе!" Обедали они, конечно, за одним столом, хотя прислуга всем своим видом старалась показать пренебрежение бывшей горничной. Глаша очень долго терпела это с улыбочкой, потом возмутилась, заявив однажды:

— Я и не скрываю, что была на вашем месте. Но все-таки не вы, а я сижу за господским столом, так будьте любезны оказывать мне должное внимание.

Ольга Викторовна охотно поддержала Глашу:

— Прошу моей невестке услужать, как и мне...

Снег в этом году выпал рано, припудрил осеннюю слякоть. Был уже поздний час. Коковцевы собирались ложиться спать. С лестницы раздался звонок. Ольга Викторовна накинула халат.

— Никита, — уверенно произнесла она...

За окнами задувала пурга. Никита ввалился в переднюю с чемоданом, весь засыпанный снегом, мать припала к нему, рыдающая. Он похлопывал ее по спине, говорил:

— Ничего... ничего. Мы уже не расстанемся. Никогда!

Владимир Васильевич не выдержал — расплакался.

— У нас и Глаша, — сказал он. — Спасибо ей. Приехала...

Молодой женщине Никита улыбнулся:

— Давно не виделись. Давай я тебя обниму...

За столом он извинился, что не привез подарков:

— Так быстро собрался, что не было времени о них думать.

— Куда же ты теперь? — спросила его мать.

Никита отвечал наигранно-бодро:

— Амур по мне плачет, а Балтика рыдает.

— Хоть бы побыл на берегу... со мною.

— Нет, мама. Плавать-то все равно надо... Воевать! Не я напал на Германию — она, подлая, напала на меня. А я — русский человек. Патриот-с! — закончил Никита по-нахимовски.

Через несколько дней он уже получил назначение:

— Велено прибыть в Гапсаль.

— Так это же курорт, — просияла Ольга Викторовна.

— Верно. Очень хорош для ревматиков и для тех, кто в лунные ночи страдает лирической ипохондрией.

Так сказал он матери, чтобы не волновать ее понапрасну, но отец-то знал, что Эссен организовал в Гапсале ремонтную базу миноносцев, откуда открывалась дорога в тревожные ворота Моонзунда. Вечером Никита был предельно откровенен с отцом:

— Мне предложили в командование старенький дестройер "Рьяный". Двести сорок тонн. Двадцать семь узлов. Две пушчонки, два минных аппарата, и в каждом по две торпеды. Четыре трубы, большой бурун под носом и большая туча дыма... Ну?

— Экипаж сплаванный? — спросил отец.

— Сплавался. Ребята хорошие.

— Возьмешь?

— Дал согласие.

Владимир Васильевич открыл форточку в комнате: за окном кружился, мягко и радостно, приятный снежок.

— Бери что дают, — сказал он сыну. — Я ведь тоже начинал с "Бекаса", который и раздробил на камнях Руну. Вот как надо разбивать миноноски!.. Никита, а я ведь, между прочим, так и не понял твоей фразы: "Кажется, я нашел что мне надо".

— Откуда, папа, ты взял ее?

— Из твоего же письма.

— Извини, папа. Россия тяжко больна. Мы горюем по Игорю. А сколько их, Игорей, гибнут не только из-за бездарности своих начальников, но и из-за более сложных причин. Не знаю, поймешь ли? Ты ведь всегда смотрел с мостика.

Коковцев-отец догадался, что Коковцев-сын говорить на эту тему почему-то не желает. А, ладно. Перед отъездом на флот было решено, что Глашенька и Сережа останутся пока с Ольгой Викторовной. Настала минута прощания. Отец и сын надели форменные пальто. Но в последний момент, легонько отстранив мать, Никита вернулся в комнаты, откинул крышку рояля и на прощание пропел:

Но если приговор судьбы
В боях пошлет мне смерть навстречу,
На грозный зов ее трубы
Я именем твоим отвечу!
Паду на щит, чтоб вензель твой
Врагам не выдать, умирая...

Владимир Васильевич, натягивая перчатки, шепнул жене:

— Он, конечно, нашел для себя что-то такое, что ему надобно. А что — об этом молчит... Дай-то нам Бог!

Тряской рукою Ольга перекрестила и мужа и сына. В голос (навзрыд) вдруг расплакалась Глаша, и Коковцев, уже на лестничной площадке, спросил Никиту:

— Ты не знаешь, с чего она так разревелась?

— Не гулять же мы идем, папочка...

Коковцевы шли по улице, и отец сказал:

— Ты не увиливай от моего вопроса: что ты нашел ?

Никита остановился:

— Как-то умные люди дали мне прочесть кое-какие книги. Прочел я и статью "Падение Порт-Артура". С нее-то все и началось.

— Что началось? — сухо спросил отец.

— Если хочешь — мое прозрение. Я вдруг взглянул на весь окружающий мир, на то дело, которому служу, совершенно иными глазами.

— Надеюсь, твои новые иные взгляды не пойдут в ущерб твоей службе? — с изрядной долей иронии поинтересовался отец.

— Напротив, — спокойно отозвался сын. — Но наше поражение в войне с Японией навсегда останется на совести царизма. И война с Германией, между прочим, тоже. Те, что сидят сегодня в верхах, рассуждают по давно известной схеме: после нас хоть потоп. Не думая

о том и не веря в то, что потоп действительно грядет.
И они пошли дальше. Но уже молча.

Никита поездом отправился далее, в сторону Моонзунда, а Коковцева в Ревеле, тишайшем и заснеженном, ожидала невеселая новость: при загадочных обстоятельствах утонули миноносцы "Исполнительный" и "Летучий", спешившие с минами на борту в сторону Либавы... Коковцеву рассказывали очевидцы:
— "Летучий" перевернулся на полном ходу, будто кто-то дернул его за киль, а "Исполнительный" разорвало. Вроде бы там была немецкая субмарина и "Летучий" опрокинулся, неудачно ее таранив... Гибель останется для нас тайной!
Вторая новость касалась Государственной думы: была арестована социал-демократическая фракция, депутатов обвинили в измене государству. По мнению многих офицеров флота, левые депутаты должны бы протестовать не против войны, развязанной империалистами, а против той неразберихи, что царила в тылу, против разложения в верхах, где владычил Гришка Распутин со сворою жуликов и мерзавцев. Все это было мерзко, и Коковцеву делалось стыдно за Россию:
— Может и правы иезуиты: чем гаже, тем лучше!
Коковцев был далек от понимания обстановки в стране; вся его "политика" сводилась к примитиву — ругать, что не нравится ему, или нахваливать то, что, казалось ему приятным. Но сейчас политика вторгалась даже в офицерскую среду (хотя уставом в кают-компаниях строго запрещалось вести всякие беседы на религиозные или политические темы, дабы в касте избранных не возникало разногласий, мешающих службе). Посторонние наблюдатели, случайно побывав в среде офицеров флота, бывали крайне изумлены свободою услышанных ими речей. Они не понимали, как эти заслуженные дядьки в белых мундирах в золоте, обвешанные до самого пупка орденами всех монархий мира, открыто лают своего "суслика" и кроют матюгами весь тот бардак, что разведен при дворе, причем они ругаются так отъявленно, что любой жандарм, послушав их, мог бы сразу составить протокол "о тягчайшем оскорблении Его

Императорского Величества...". Никакого почтения к Романовым офицеры флота давно не испытывали. А тот из них, что позволял себе выражать уважение к династии, вызывал недоумение, будто он с печки свалился. Но (и тут роковое "но") весь радикализм офицерского корпуса ограничивался едино лишь бранью. Прекрасные специалисты флота, чуткие патриоты, офицеры были беспомощны в социальных вопросах и сами не понимали этого, но хуже того, они сознательно отгораживались от понимания. В революции большинство из них видело лишь "беспорядки", вредящие службе, которые следует подавить, чтобы все стало на прежние места. А потом за рюмкою коньяка они снова рассядутся в уютных кают-компаниях и будут с презрением обличать царя и его окружение... Конечно, были и другие. Иначе откуда появлялись такие, как Шмидт? Но их не понимали. Не хотели понимать. Не в этом ли заключался полный трагизм офицеров флота?

Владимир Васильевич, пренебрегая сухим законом, все чаще взбадривал себя для службы "брыкаловкой", которую приходилось держать в платяном шкафу каюты — за чемоданом. Несмотря на свои годы, контр-адмирал был еще крепок на выпивку, лишнего не городил, а если и доводилось пошатнуться, отшучивался: "Никогда не поймешь, кто кого качает: я качаю корабль или корабль качает меня!"

В эту зиму морозы завернули такие жестокие, что в начале декабря лед сковал даже проливы Моонзунда, но Эссен, верный себе, слал и слал корабли — на чистую воду Балтики и Ботники, к берегам Пруссии, где над морем парили холодные туманы. Эсминцы трудились больше всех, и под гитарные надрывы тогда распевали, перефразируя пушкинские строки из поэмы "Цыганы":

Эсминцы шумною толпою
Опять за Эзелем кочуют,
Им и сегодня нет покоя -
В волнах у Готланда ночуют...

Коковцев до самой весны занимался планированием минных поставок — с крейсеров и эсминцев, даже с подводных лодок. Для минных банок им выбирались места, где чаще всего ходили немецкие корабли, и флот кайзера терпел на Балтике большие потери. Сами же немцы

открыто признавали: "Из всех мин на свете самая опасная была — русская!" В апреле тайная агентура из Германии доложила, что "Паллада" была потоплена подводной лодкой "11-26". Коковцеву было тяжко!

— Знать имя убийцы не всегда обязательно, — сказал он. — Но мне бы хотелось затоптать эту субмарину килями эсминцев.

Немецкая армия уже была на подходе к Либаве...

Вечером дежурный миноносец доставил из Гельсингфорса в Ревель заболевшего Николая Оттовича фон Эссена. Сначала все сводилось к типичной простуде — ничего страшного.

— В госпиталь не лягу, — заявил Эссен, когда его вынесли на причал.

— Как вы не поймете, — доказывал он врачам, — что море и корабль лучшие лекарства.

Его с трудом уговорили болеть на минном заградителе "Урал", где больше комфорта в каютах. Здесь, нарушая постельный режим, Эссен шлялся на апрельском ветру по верхней палубе, желая остудить жар в теле. Из столицы прибыл профессор Сиротинин:

— Крупозное воспаление легких. Надежд мало...

Эссен и сам догадался, что его дела плохи:

— Вызывайте жену и эсминец "Пограничник".

Он умер. На эсминце приспустили флаг, в последний раз на грот-мачте подняли вымпел командующего флотом. "Пограничник" помчался в столицу. Эссена отпевали в храме "Спаса-на-водах", открытый гроб стоял среди мраморных скрижалей, осиянных золотом славных имен — людских и корабельных, а хоронили его на Новодевичьем кладбище. Как и подразумевал Коковцев, над могилой начался неприличный "базар" — адмиралы делили эссеновское "наследство". Получить под свое начало целый флот (да еще какой флот!) хотелось многим. В очень тягостном настроении Коковцев вернулся в Гельсингфорс, где застал "Рьяного".

— Никто из этой сволочи — Романовых, — сказал он Никите, — не почтил похороны хорошего и талантливого человека. После смерти Николая Отговича меня удерживает на флоте лишь чувство присяжного долга. Со здоровьем у меня что-то неважно. Не говори

матери, что врачи не советуют выходить мне в море...

Коковцев и не собирался в море. Сейчас он занимал каюту на заградителе "Амур", который любил за то радушие, которым отличалась его команда и кают-компания. На "Амуре" же и был извещен, что "Енисей", такой отличный боевой корабль, не желает выходить в море — забастовка! В чем дело? Владимир Васильевич решил это выяснить... Капитан первого ранга Прохоров у себя в салоне весь день разбирал свои бумаги:

— Перед смертью надо привести свою жизнь в порядок. Немцы рвались в Рижский залив, чтобы забросать минами выходы из Моонзунда, в Ирбенах шел жестокий бой двух флотов.

Коковцев не стал ругаться. Он говорил спокойно:

— Отчего у вас тут погребальное настроение?

— Сам не знаю, — ответил Прохоров. — Но вдруг кто-то вчера вспомнил за ужином, что "Енисей" — имя недоброй памяти. И в японскую войну "Енисей" несло течением на свои же мины, и сейчас вот... Что-то будет?

— Стоит ли верить в такую мистику?

— А как не верить, если Цусима была четырнадцатого мая?

— Не понимаю вас, — пожал плечами Коковцев.

— Ходынка, как и Цусима, тоже четырнадцатого мая...

По лакированной крышке командирского стола Коковцев отбил пальцами "Бьернеборгский марш", слышанный им у финнов.

— Ладно, — сказал. — А что в кубриках?

— То же самое. Матросы спорят, как лучше спасаться после гибели корабля — хорошо одетым или раздеться догола?

Коковцев не спорил. Переломить подобные настроения можно, пожалуй, только личным присутствием. Все-таки, когда на мостике стоит адмирал, матросы бывают бодрее.

— Прошу господ офицеров спуститься в кубрики и рассказать матросам о сути предстоящей операции...

Мины с "Енисея" были заранее сняты и складированы на мониторах. От Ревеля проливами Моонзунда следовало спуститься в Рижский залив, чтобы (на правах легкого крейсера), работая одной артиллерией, разогнать в Ирбенах германцев.

— Где у вас сводки наблюдения с береговых постов?

— В штурманской рубке, у мичмана Вольбека.

— Поднимемся к нему... Прошу, — сказал Коковцев, пропуская на трапе командира минзага впереди себя. Изучив сводки, он хмыкнул:

— Обстановка приличная, а наружные посты уже третий день не видят ни одного корабля неприятеля. Причин для тревоги не вижу. Не пора ли нам сразу отдавать швартовы?

— Есть, — повиновался Прохоров...

Коковцев просил поставить для него на мостике лонгшез, в котором и полулежал. Легкий упругий ветер обвевал лицо. Звонок лага мелодично отзванивал каждую шестую часть мили (иначе говоря, каждые пройденные триста восемь метров). Суропским проливом, между эстляндским берегом и Наргеном, "Енисей" вышел в открытое море.

— Сегодня какое число? — спросил вдруг Коковцев.

— Двадцать второе мая, — подсказал Печаткин.

На качке мостик забросало россыпью брызг и пены.

— А вода-то, мичман, еще очень холодная.

— Я обычно начинаю купаться с июня. Тогда ничего...

Прохоров не вникал в разговоры, лейтенант Матусевич рассказывал французский анекдот мичману Вольбеку, а братья Унтербергеры рассуждали, какая будет встряска в Ирбенах:

— Добро, что идем без мин, иначе...

Последний звонок лага совпал со взрывом. Коковцева выкинуло из лонгшеза, он услышал шлепок собственного тела, с размаху брошенного на стенку ходовой рубки. Сама по себе включилась сирена, и "Енисей" оглашал равнину моря жалобным воем.

— Стоять на месте! — орал Прохоров с мостика на матросов, готовых бросаться за борт. — Куда вас понесла нелегкая? Старайтесь дольше оставаться сухими... А минут пять — десять мы еще продержимся, — спокойно доложил он Коковцеву.

— Этого нам хватит, — отвечал тот, поднимаясь.

При взрыве у Коковцева был рассечен лоб, с которого, закрывая глаза, свисал лоскут содранной кожи. Адмирал опомнился от контузии, когда матросы застегнули на нем лямки пробкового пояса. Сирена еще

выла. Коковцев благодарил людей:

— Спасибо... вот уж — спасибо! Хорошо, хорошо...

Крен увеличивался с такой скоростью, что всем стала ясна вся тщета к спасению: шлюпок не спустить, за бортом ходила высокая волна, а до берега далеко. Коковцев взял папиросу:

— У кого спички? Дайте. Я забыл свои в каюте...

Порыв ветра вырвал из его зубов папиросу. Палуба заполнялась людьми, тащившими койки, вязавшими на себя пробковые пакеты. А возле спасательных кругов собирались по пять -десять человек, словно в забавном хороводе, и крепко держались за шкерты: вот-вот сорвутся в пляске! Паники не было. Все понимали, что еще наплаваются вдоволь. Мичман Вольбек просил матросов крикнуть "ура", когда вода захлестнет мостик. Рулевой кондуктор Ванька Мылов уговаривал лейтенанта Матусевича взять его пояс — так нежно, будто признавался ему в любви...

— Не спешите, — покрикивал с мостика Прохоров. — Я скажу, когда надо... Старайтесь спасти адмирала!

— Благодарю. А где ваш пояс? — спросил его Коковцев.

— Мне сейчас не до этого... извините.

Он велел Печаткину спустить адмирала с мостика.

— Я плохо плаваю, — сознался мичман Коковцеву.

— Все моряки плавают плохо... утешьтесь!

Стоя на палубе среди матросов, Коковцев, как и они, выжидал момента, когда палуба, словно скоростной лифт, вдруг поедет из-под ног, и тогда надо энергично плыть подальше, иначе засосет водоворотом, образующим свистящую воронку.

— За борт! С Богом! — гаркнул с мостика Прохоров.

Братья Унтербергеры, держа в руках револьверы, одновременно выстрелили друг в друга и мешками свалились в море. Коковцев, заробев, судорожно крестился, напором матросских тел его смело в воду, и он долго выгребал руками пока тьма глубины, объявшая его, не прояснела над ним. Печаткина возле него уже не было. Пояс держал хорошо — спасибо ребятам, выручили! Рукою адмирал отбросил со лба лоскут кожи, облепленный мокрыми волосами. Было видно, как с мостика сорвало мичмана Вольбека, а Матусевич с трапа

махал рукою...

— Урра-а-а! — закричал Коковцев заодно с матросами, которые прощались с гибнущим "Енисеем", и еще раз "ура" — командиру, который погружался вместе с кораблем в пучину...

Кондуктор Мылов еще нашел в себе сил для шуток.

— Братва! — орал он. — Самое главное в этом собачьем холоде ни за что не терять хладнокровия. А мы...

Разрыв сердца оборвал его крик. Коковцев видел над собой бездонный купол неба. До чего же быстро редели шеренги матросов, плававших, взявшись за руки, словно играющие дети. Но, отпустив мертвеца, они тут же смыкали свои братские пожатья.

— Адмирал, к нам... к нам! — звали они издалека.

— Я не могу... прощайте, — отвечал Коковцев.

...Никто из этих людей не знал, что "Енисей" взорвала германская подводная лодка "U-26", которая потопила и крейсер "Палладу". И не могли они предвидеть, что их погубительнице "U-26" осталось жить недолго: она погибнет со всем экипажем на тех самых минах, что поставили русские минные заградители под руководством Коковцева! Их оставалось на воде лишь девятнадцать человек, когда по горизонту мазнуло дымком...

Заметят их или пройдут мимо?

* * *

Коковцев очнулся от резкой качки, он лежал на койке в знакомой каюте, перевернулся на бок, его тошнило, над ним болталась штора из голубого бархата, концом ее он вытер рот, дернул "грушу" звонка, вызывая кого-либо с вахты, вестовой явился в белом фартуке — словно заправский официант.

— Где я, братец? — спросил Коковцев.

— На "Рьяном".

— Передай на мостик, чтобы спустился командир.

Никите он сказал:

— Извини, сынок, я тут натравил... сплоховал!

— Ерунда. С кем не бывает? Сейчас уберут, папа.

В иллюминаторе качались сизые гребни волн. По вибрации корпуса Коковцев определил скорость — пятнадцать узлов.

— О том, что стряслось со мною, не проговорись матери. Ей сейчас и без меня бед хватает...

В госпитале неудачно зашили лоб, и, когда Никита пришел навестить отца, Владимир Васильевич жаловался:

— Мама, конечно, заметит и станет допытываться, но что ей скажешь? А как дела в Ирбенах? Отбили немцев?

— Отбивают. По всей стране — забастовки.

— Чего желают рабочие, бастуя?

— Смены режима.

— На этот счет у англичан есть хорошая поговорка: при переправе через брод лошадей в упряжке не меняют.

— Лошадей, может быть, и не меняют, папочка. Но здесь дело посложней брода и переправы.

— Потоп? — спросил Владимир Васильевич.

— Он самый, — ответил сын. — Своей преступной политикой самодержавие завело себя в такой тупик, из которого может высвободиться только сам народ и только ценой разрушения царизма.

— Ты становишься демагогом, — вздохнул отец.

После гибели "Паллады" и "Енисея" Коковцев окончательно осознал свою душевную надломленность и непригодность для корабельной службы. Григорович сам и предложил контр-адмиралу выехать в Архангельск, куда стекались стратегические грузы, прибывавшие от союзников. Вкратце министр объяснил обстановку. Порты Черного и Балтийского морей блокированы противником, доставка промышленного сырья и вооружения через Владивосток отнимает массу времени, а от Вологды до Архангельска еще до войны Савва Мамонтов протянул узкоколейку для вывоза на Москву рыбы. Сейчас узкая колея спешно перешивается на колею стандартную.

— А мы срочно закупаем в Канаде ледоколы и ледорезы с укрепленными бортами, чтобы они смогли удлинить сроки навигации в Белом море... Там бардак! — заключил Григорович весьма прямолинейно и просил Владимира Васильевича навести в порту Архангельска должный флотский порядок.

С этим напутствием он вернулся к себе домой.

— Не смотри на меня так, Оленька, — сказал Коковцев жене. — Была штормовая погода, и я сорвался с трапа. Никита в добром здравии, служится ему хорошо. А как ты?

Она показала ему справку из Максимилиановской лечебницы: врачи определили у нее опущение желудка при полном отсутствии жировой прослойки в организме, истощенном нервным перенапряжением. Коковцев и сам заметил, что Ольга Викторовна снова стала дергаться: это уже не Цусима — это "Паллада"!

— Я поеду в Архангельск пока один, там, говорят, живут очень богато, все есть, как до войны, зато нет канализации, и вообще я сам точно не знаю, сколько там пробуду...

В порту Архангельска динамо-машины перепутались с брикетами шоколада от Жоржа Бормана, а витки кабелей были завалены ящиками какао от Ван-Гутена. Все это мокло и догнивало в отвратительной бесхозяйственности. Коковцеву с трудом удалось "протолкнуть" часть грузов для флота лишь в начале 1916 года, когда закончилась перешивка железной дороги. На далеком Мурмане возникал новый город и порт — Романов-на-Мурмане, будущий Мурманск, там создавалась "Флотилия СЛО (Северо-Ледовитого океана)". Владимир Васильевич занимался проводкою кораблей через льды и минные банки горла Белого моря, в которое уже совали свои форштевни немецкие крейсера и подводные лодки. Летом этого года Колчак получил от царя орла на погоны и уехал в Севастополь командовать Черноморским флотом. Издалека приглядываясь к событиям в столице, Коковцев не одобрял бешеной карьеры Колчака:

— Конечно, тут не столько царь, сколько влияние этих поганых думцев с Гучковым: честный офицер флота делает карьеру на мостиках кораблей, а не в кулуарах Думы... Сейчас Колчак летает на своих "орлах", но посмотрим, где-то он сядет!

Его малость утешило в конце года известие, что нашлись на Руси добрые люди, укокошившие Распутина, а вслед за этим телеграфы донесли по всем городам и весям: в Петрограде началась революция, не доставившая Коковцеву никакой радости.

— Ну конечно! — рассуждал он в кругу архангельских лоцманов за выпивкой. — И здесь не обошлось без этой Думы... Это прямо какие-то

масоны, сделавшие себе "ложу" из Таврического дворца, и оттуда они вертят Россией как хотят...
Фронт разваливался, офицеров на Балтике убивали, Ольга Викторовна телеграммой вызвала мужа в Петроград.
"Vae victis", — думалось Коковцеву в поезде...

Перед Петроградом проводник обходил вагоны:
— Которые тута господа офицеры, погоны снять, а оружие спрячьте. Не угодно ли купить красный бантик? У нас есть. И недорого берем — всего гривенник за штуку...
Коковцева потрясло, что офицеры охотно покупали бантики, срывали погоны, оружие прятали. Адмиралу объяснили:
— Без бантика да с погонами лучше не показывайся...
На Николаевском вокзале какие-то люди с угрюмым видом пропускали пассажиров через турникет, офицеров сразу отводили в комендатуру. Коковцев спрыгнул с перрона под насыпь и вывернулся — через запасные пути — на Лиговку, где нанял извозчика, велел ему ехать на Кронверкский поскорее. Где-то в переулках постукивали выстрелы: та-ку, та-ку, та-ку!
— Что у вас тут происходит? — спросил он извозчика.
— Свобода, — отвечал тот, сморкаясь в рукавицу...
Двери открыла больная Ольга Викторовна.
— Зачем ты встаешь? Где же прислуга?
— Ушла на митинг. Хлопотать о равноправии.
— А кухарка? Могла бы она открыть.
— Кухарка уволена: чего ей теперь готовить?
Коковцев обнял жену, ощутив ее остренькие ключицы.
— Я, кажется, пас... с флотом кончено! А что Никита?
— Недавно заходил.
— Глаша?..
— У нее, пишет, все по-старому.
— Для меня не было никакой почты?
— Нет. Но я собрала все нумера "Морского сборника"...
Из Архангельска, где жители лопались от сала и мяса, от выловленной семги, от привозной сгущенки и банок с ананасами, Коковцев привез в

голодающий Петроград толику союзных благ. Угощая жену, заметил, как мало она ест.

— Я отвыкла от еды, — сказала Ольга, будто извиняясь.

— Надо куда-либо уехать... снова привыкнешь.

Коковцев раскрыл мартовский номер "Морского сборника".

— У нас что-то холодно, — сказал, поежившись.

— Давно не топим. Дров нету.

— Хоть бы завела кошку — пусть греет ноги.

— А чем ее кормить? Ананасами из твоих банок?

"Морской сборник" открывался передовицей:

"ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ РОССИЯ!

Свободная Россия вступила в новый счастливый период своей жизни. Великий русский народ, придавленный тяжестью деспотического правления, скованный бесчисленными ограничениями всякого проявления народного творчества, одним мощным движением сбросил свои путы и может теперь свободно использовать свои творческие силы для дальнейшего культурного развития и улучшения материального благосостояния широких масс населения..."

— Во болтуны! — заметил Коковцев; со следующих страниц ему стало известно, что морским и военным министром сделался не матрос или солдат, а сам Гучков, о чем "Морской сборник" оповестил господ офицеров флота в таких выражениях: "Первым шагом А.И. Гучкова в Морском министерстве является замена им лиц, стоявших во главе его, более свежими и непричастными к прежнему порядку вещей людьми".

— Ну, какой мерзавец! — возмутился Коковцев, забрасывая журнал в угол. — Сколько лет подкрадывался к делам флота и все-таки влез в Адмиралтейство, будто червяк в яблоко. Неужели этот подлец рассчитывает, что мы станем ему подчиняться? Ни-ко-гда!

Ольга Викторовна вдела в уши фамильные бриллианты, укрепила на пальцах драгоценные перстни. Припудрилась.

— Ты куда собралась? — спросил ее Коковцев.

— Оболмасовых уже обыскивали. Пусть видят, что у нас есть. Чтобы в доме не все перевернули вверх тормашками...

Их навестил Никита, но лучше бы он не появлялся.

— Поздравляю папочку с революцией, — сказал сын. — Вот он и

пришел — потоп!

— Дурак! — вразумительно отвечал отец. — Скажи спасибо своей революции за то, что тебя еще не прирезали матросы, пока ты дрыхнешь в каюте своего дестройера.

— Матросы, папа, убивали только царских сатрапов!

— А ты кто? Разве не сатрап? Или не из Морского корпуса? Не твое ли имя золотом выбито на мраморной доске?

— Только не ссорьтесь... умоляю, — просила жена.

Коковцев с недоброй усмешкой обошел вокруг сына.

Никита уже не имел погон на кителе, не было и кокарды на фуражке, лишенной главного отличия чести — белого канта.

— Ишь как приодели тебя Гучковы да Керенские! Ободрали будто липу на лапти. Ни золота, ни кантов, ни эполет, ни сабли. Раньше, когда я, бывало, шагал по улице, у всех женщин свихивались шеи — так импозантны были офицеры царского флота, а теперь... Мне стыдно смотреть на тебя!

Никиту было трудно вывести из терпения.

— Папа, — отвечал он, — но ведь Англия дорожит своим королем, однако офицеры грэнд-флита не имеют погон и не гордятся белым кантом. Какое отношение вся эта мишура имеет к тому, что происходит сейчас в потрясенной России?

Коковцев-отец на этот счет не заблуждался:

— Если бы погоны и канты были только мишурой, их бы не срывали с нас на улицах. А прекрасный флот Франции времен Кольбера был загублен нивелированием офицера с матросами. Абукир и Трафальгар стали надгробиями его былого величия!

— В твоем выводе нет закономерности, — сказал Никита. — Монархический флот Сервера погиб от флота республиканского, а революция никак не виновата в поражении при Цусиме. В этом поражении был виноват только царизм.

Обстановка в доме Коковцевых обострилась, и напрасно Ольга Викторовна хлопотала, желая примирить отца с сыном. Конфликт в адмиральской семье не был частным — так определялся, разлом не только семьи Коковцевых, но и многих других семей, где сыновья видели в будущем то, чего не желали видеть их отцы... Владимир

Васильевич наивно доказывал Ольге, что во "всем этом свинстве" виновата безответственная интеллигенция, которая, не подумав как следует, разбудила в народе глупые иллюзии, а Керенского с Гучковым надо повесить на люстре Таврического дворца.

— Относительно Керенского с Гучковым — я согласен, — говорил Никита. — Потоп лишь начался. Он сметет и всех этих буржуазных выскочек.

Неожиданно квартиру огласил долгий звонок с лестницы.

— Поздравляю... с обыском! Чего ты расселся? — сказал Коковцев сыну. — Отныне прислуги у нас в доме не водится. Иди и открывай сам.

— Кому, папа? — не шелохнулся Никита.

— Может, вернулся твой брат Георгий из Цусимы? Наверное, пришел Игорь с погибшей "Паллады"... Ты жив — иди!

Никита открыл двери, и на руки ему упала навзрыд плачущая Глаша; за нею стоял вытянувшийся Сережа, облаченный в несуразное пальто с чужого плеча. Никита быстро выглянул на площадку лестницы и подхватил у нее одинокий чемодан.

— Это все? — спросил он у Глаши.

— Все. Больше ничего не осталось...

Она бежала из Уфы — вдовою! Дезертиры застрелили Гредякина, отказавшегося передать по телеграфу запрос о прибытии эшелона — специально для этих господ, для дезертиров.

— Куда ж мне теперь? — горевала Глаша. — Я к вам... Уж не оставьте меня. Приютите. Мне больше некуда...

— Конечно, — в один голос отвечали ей Коковцевы. Адмирал погладил Сережу по голове и сказал Ольге:

— Я просто изнемог. Немного пройдусь.

— Ах, Владя! Кто в такое время бродит по городу?..

Ноги сами привели его на Английскую набережную.

Горничная встретила адмирала в передней, изумленно оглядывая пожилого человека в форменном пальто, из плеч которого торчали нитки от споротых погон. Квартира мадам фон Эйлер была хорошо протоплена, стол накрыт к ужину, а Ивона даже похорошела.

— Надеюсь, твой дурацкий "автомобильный" роман кончился?

— Где ты видел автомобиль? — отвечала она вопросом...

С обыском нагрянули под вечер сразу трое: пожилой рабочий с наганом, солдат с ружьем и студент-технолог с сильным насморком. Сразу же спросили — есть ли в доме оружие? Коковцев свято хранил бельгийский браунинг, подаренный ему Гогой, и расставаться с ним не собирался.

— Нету оружия, — сказал он. — Не верите, так ищите.

— Придется обыскать. Ну-ка, Лева, — сказал солдат сопливому студенту, — ты, это самое... пошуруй-ка!

Но тут мощной грудью выступила вперед Глаша:

— А не дам по шкафам шарить! За что цепляетесь к хорошим людям? Или вам буржуев мало? Пришли не званы, наследили тут с улицы, нагаверзили... А кто вас звал-то сюда?

Ей (а не Коковцевым) предъявили ордер на обыск.

— Иди, иди... Бог подаст! — отвечала Глаша, разъярясь.

Неизвестно, чем бы кончилась перепалка, но тут рабочий с наганом заметил на столе Коковцева два портрета офицеров, обвитые поверху единою черно-оранжевой лентой.

— Кто такие? — спросил он Коковцева.

— Офицеры флота — мои сыновья.

— Та-ак... А вы — адмирал?

— Имею честь быть им.

При этом солдат пристукнул в паркет прикладом:

— В едином-то доме — и сразу столько контры!

— А где ваши сыновья сейчас? — спросил рабочий. Коковцев объяснил — Цусимой и "Палладой".

— Ну, извините, адмирал, — сказал рабочий, засовывая наган за ремень. — Пошли, товарищи, тута нам делать нечего...

Коковцев все же был вскоре арестован, убежденный, что не обошлось без доноса соседей по дому, трясущихся от страха перед обысками. Временное правительство адмирал считал временным явлением в истории русской государственности, а его почти физиологическая ненависть к Гучкову заметно обогатилась еще и презрением к сладкоглаголящему Сашке Керенскому. Даже в тюремной камере,

затиснутый среди сенаторов и карманников, затертый между генералами и спекулянтами, Владимир Васильевич от своих убеждений не отказывался:

— Паршивый адвокатишко! Нахватался разных словечек, будто сучка блох, и теперь мутит православных речами... Гадина!

Следователь ему попался из политкаторжан, возвращенный из ссылки буржуазной революцией, но кто он — эсер, меньшевик или анархист — Коковцеву было глубоко безразлично.

— Почему дезертировали с флота? — первый вопрос.

— А кому служить, если флот отдали этому... Гучкову! — Относительно погон и прочих регалий военного человека Коковцев твердо заявил, что они необходимы. — Когда мы носили погоны, мы воевали. А теперь, когда с нас рвут погоны, вся армия разбежалась, флот по просту разложился.

— В этом вопросе с вами согласен, — сказал следователь. — Но советую все же исполнять приказы народа.

— Народ — не власть! — отвечал Коковцев. — Назовите мне конкретного человека, за которым идти, и я... подумаю.

Придираться к его словам следователь не стал.

— Как вы отнеслись к отречению Николая Кровавого?

— Я не подпрыгнул от радости. Тем более не стал, как видите, Робеспьером или Маратом... Впрочем, — добавил адмирал, — я видел, что монархия не в состоянии выиграть войну.

— А если бы она оказалась к тому способна?

— Вы меня решили поймать на слове?

— Да нет. К чему же? Просто мне интересно.

— Конечно, я сражался бы под знаменами монархии.

— Этим-то вы мне и нравитесь, — улыбнулся следователь. — Другие знаете как? Попав сюда, начинают притворяться, будто с молоком матери всосали в себя революционные идеи. И какого не спросишь, обязательно найдут родственника-революционера... Кстати, у вас таковых не сыщется?

— Слава Богу, Коковцевы революцией не грешили...

На следующем допросе следователь снова вернулся к "Приказу N1" по флоту и армии за подписью Петроградского Совета рабочих и

солдатских депутатов. Согласно этому приказу, объявлялось равенство чинов, уничтожение всех знаков отличия, отмена отдания Офицерам чести, а все действия начальников ставились под контроль нижних чинов. Коковцев ответил так:

— Если мне никогда не плевали в лицо, так высморкались в лицо этим приказом. С него и начался развал армии и хаос на флоте. Если масон Соколов, составлявший этот приказ, хотел разрушить оборону страну, он этого добился. Железный крест от германского кайзера ему, негодяю, обеспечен!

— На прошлом допросе вы показали, что среди ваших родственников никогда не было революционеров. Подтверждаете?

— Вне всякого сомнения. Не было и не будет!

— Так вот один обнаружился — ваш сын ...

Это было так неожиданно, что Коковцев растерялся.

— А зачем ему это нужно? — спросил адмирал наивно.

— Узнайте у него сами... Вы свободны.

Арестованный летом и одетый очень легко, Коковцев был выпущен из тюрьмы осенью, в разгар боев при Моонзунде, и, шлепая по лужам, сильно озяб, пока под дождем пешком добирался до своего дома. Ольга Викторовна велела мужу снять мокрую обувь, дала ему сухие носки.

— Оля, мне после тюрьмы необходимо помыться...

Но, увы, мыла давно не было в продаже.

— И у нас нету, Владечка. Но я тебе что-то покажу...

Она вынесла красивый футляр, в котором лежало японское мыло, которое он подарил ей вместе с веером. Давным-давно! Но это мыло, уже сморщенное от старости, еще хранило в себе тончайший аромат японских хризантем. Не так ли и сама жизнь как это удивительное мыло?

Не очень умное занятие — оглуплять царизм, упрощая духовный мир тех, кто ему служил. Царизм (как и доказал опыт борьбы с ним) был явлением сложным, весьма дееспособным, он имел немало верных адептов. Но иногда даже явные противники монархического строя становились монархистами, не в силах отказаться от устоявшихся

политических воззрений.

С матросами все ясно! По свидетельству В.Д. Бонч-Бруевича, Ленин сравнивал матросов на кораблях с рабочими на фабриках и заводах: машины их объединяют, сплачивают, они, как пролетарии, чутко понимают друг друга; жизнь у них общая; они сливаются в одну массу, чувствуют общий гнет царской военщины и более, чем кто-либо из военных, приспособлены к восприятию нашей пропаганды и агитации.

Эти ленинские слова матросы и доказали делом: флот стал "красой и гордостью русской революции"!

Иное дело офицеры. Ко времени Октябрьской революции в списках русского флота числилось 8370 офицеров, и эти люди пытались выяснить свое положение в новом обществе. Резолюция ревельского съезда офицеров Балтийского флота гласила буквально следующее: "Под влиянием неправильно понятой проповеди борьбы с буржуазией, которую ведут среди матросов идейные люди, все офицеры, несмотря на то, что большинство из них фактически принадлежит к интеллигентному пролетариату , считаются буржуями, против которых надо бороться..."

В этих "душеспасительных" словах была и доля истины: выходцы, как правило, из обедневших дворян, сыновья педагогов и мелкотравчатых чиновников, они, конечно, не были пролетариями, но причислить их к интеллигенции можно. Однако под этой обтекаемой резолюцией тут же стали объединяться все реакционные силы флота. В разгар решающего сражения при Моонзунде Ленин справедливо отметил, что "адмиралы способны предавать не хуже Корнилова".

Когда тема верности присяге вышла из моды, офицеры вуалировали свой саботаж нежеланием вмешиваться в политику.

— Нас, — говорили они, — обучали в Морском корпусе навигации, астрономии, минному и артиллерийскому делу, но всяких "измов" мы не проходили:.. Занимайтесь "измами" сами!

При таких условиях, согласитесь, надо было обладать и немалым личным мужеством, чтобы, разломав кастовые перегородки давних традиций, открыто стать на сторону революционного народа. Среди таких офицеров был и молодой лейтенант Николай Юрьевич Авраамов,

выборный командир дивизиона балтийских миноносцев, который в грозном 1942 году дал мне путевку в морскую жизнь, и, благодарный ему, я вспомнил о нем в посвящении к этому роману...
В истории я люблю преемственность поколений!

Коковцев отверг Февральскую революцию, не принял и Октябрьскую, не понимая ни ее сути, ни ее значения. Ему уже доставляло удовольствие бранить все и вся.
Соседи, встречая Коковцева на лестнице, спрашивали:
— А вы еще не уехали, господин адмирал?
— Да нет. А вы?
— Мы собираемся... на юг.
На юге страны формировалась Белая гвардия. Зима, как назло, выпала лютой, в домах полопались трубы, канализация не действовала. Коковцев топил "буржуйку", с неистовым озлоблением сокрушал старые гарнитуры орехового и палисандрового дерева — наследство дворян Воротниковых. Глаша стояла в очередях за отрубями и кониной, по ночам ломала соседние заборы, принося тайком трухлявые доски... В заслугу большевикам Коковцев ставил только разгон ими Учредительного собрания, от болтологии которого адмирал не ожидал ничего путного, видя в этой "учредилке" лишь новую формацию Государственной думы, приказавшей долго жить.
Лишь единожды, и то наспех, на Кронверкском появился Никита. Привез чай, сало, хлеб и банки мясных консервов.
— Кажется, — сказал ему отец, — теперь я начинаю догадываться, в чем смысл той загадочной фразы: ты и в самом деле нашел то, что тебе надобно... Жри сам!
— Спасибо. Я сыт, — отвечал Никита. — И не о себе думаю. Стоит ли нам ссориться? Если я сумел забросить шапку на дерево, так сумею, наверное, и снять ее оттуда... Извини, пожалуйста, что не мог сказать тебе раньше. Я ведь еще на Амурской флотилии стал социал-демократом, и меня, как и тебя, кстати, никак не могли устраивать ни прежняя революция, ни Временное правительство, ни это Учредительное собрание.
— И тебе возжаждалось новой Геростратовой славы? Но ведь ты давал

присягу не перед Смольным институтом, ты склонял колена перед славным андреевским стягом...

— За андреевским стягом, папа, кроме отечества, стояли еще вера в Бога и царя. Я против царя небесного и земного. И ныне я дал клятву на верную службу своему народу.

— Что это — служить народу?

— То же, что и — отечеству. Но отечеству свободному, без рабов и господ, без ваших благородий и превосходительств. Поешь, папа. И давай попробуем понять друг друга.

Коковцев стал есть. Никита удалился с Глашей в промерзлую медхен-циммер, там они очень долго перешептывались.

— Оля, не напоминает ли тебе это былое? Только покойный Гога умудрялся навещать Глашеньку по ночам, а?

— Оставь их в покое, — раздраженно отвечала жена. — Что у тебя, Владечка, стал такой нехороший язык?..

В прихожей Глаша подала Никите форменное пальто, одернула на нем хлястик, просила поднять воротник. Коковцев не удивился, что она, свой человек в доме, расцеловала Никиту.

— Папа, — сказал он на прощание, — я не хочу продлевать наши споры, но все-таки в присяге ты ошибаешься. Отречением от престола император сам освободил всех нас (и тебя тоже!) от присяги! А от присяги народу не отказываются...

Через несколько дней Ольга Викторовна сказала:

— Владя, не знаю, как ты к этому отнесешься, но скрывать не могу долее: Никита сделал предложение Глаше...

Коковцев был ошарашен.

— Я выгоню их вон... со щенком вместе... на мороз!

Резкий удар пощечины ошеломил адмирала.

— А кто тебе позволит это сделать? — спросила Ольга. — Скорее я расстанусь с тобой, мой милый... Владечка.

Во тьме остылой спальни сверкнули в ее ушах бриллианты. Завороженный их блеском, Коковцев протянул руку:

— Сними их... Завтра продам. На толкучке...

Ольга Викторовна равнодушно отдала ему драгоценные серьги, стала срывать с себя кольца. Коковцеву сделалось стыдно.

— Прости, — сказал он жене.

— За что? — удивилась Ольга Викторовна.

— Я, наверное, ничтожен, да?

— Пока нет...

Три дня и три ночи он отсутствовал. А вернулся от Ивоны тихо, как нашкодивший кот. Домашние извелись, думая о нем самое страшное. Сдергивая в передней фетровые боты, Коковцев, в оправдание себе, разлаял Советскую власть:

— Только успел продать серьги, набрал пшена и сала, вдруг — облава! Забрали в Чека на Гороховую, где и сидел... Не знаю, как живым оттуда выбрался. Вот времена...

Ольга Викторовна вдруг страшно разрыдалась:

— Владечка, если это правда, Бог накажет злодеев! Но если это ложь, Бог накажет и тебя, Владечка...

Глаша провела контр-адмирала на кухню — на табуретку:

— Ешьте. Я вчера костей достала. Вас ждали...

Что может быть горше мук, нежели муки совести? Коковцев топил "буржуйку", рвал на растопку книги из библиотеки Воротниковых. В один из дней ему попался том Салтыкова-Щедрина, и, сунув в огонь страницу, он успел прочитать слова, которые быстро охватило пламенем: "Вы не можете объяснить, как совершилась победа, но вы чувствуете, что она совершилась и что вчерашний день утонул навсегда... Vae victis!"

В городе постепенно исчезали собаки и кошки, лошади и даже крысы. Тротуары зарастали травой, на улицах поражало малолюдство и небывалая пустота в домах: петербуржцы покидали город, переставший быть столицею, искали сытости в провинции. Газеты изо дня в день публиковали списки расстрелянных за контрреволюцию. Странно, что почта еще работала. Коковцеву доставили на дом номера "Морского сборника", в редакционной статье оплакивались "дни великого национального бедствия, когда под двойным натиском неслыханной военной бури и решительной усобицы, в изнеможении опустила знамена и меч уронила на землю побежденная родина. По смутным ширям русской равнины зловеще бродят голод и рознь..."

Коковцев был озабочен копанием огорода во дворе дома, где он посадил картошку, старательно окучивая ее, а вечерами, не зная, куда деть себя, обучал Сережу английскому языку. Все его помыслы сводились к осенней благодати, когда он наполнит кладовку запасами картофеля. Лето прошло в бестолковой маете, а в одну из августовских ночей кто-то, намного догадливее Коковцева, без шума собрал все то, что окучивал адмирал. Над развороченными грядками он рыдал, как ребенок. Ни жена, ни Глаша не могли его утешить...

Глаша сказала:

— Я знаю, кто собрал нашу картошку. Это Оболмасовы, что выше нас этажом живут. Я давно их подозреваю...

О почтенном Оболмасове ходили по дому нехорошие слухи. Он запугивал жильцов угрозами близкого ареста, советуя им скорее покинуть Петроград; люди исчезали, доверив ключи от своих квартир тому же Оболмасову, а Глаша утверждала, что по ночам он стаскивает чужое добро к себе. Ольга Викторовна была уверена, что Оболмасов пишет ложные доносы на тех людей, которые не страшатся его угроз, но Коковцев никак не мог поверить, чтобы статский советник и кавалер, дворянин был способен на такую гнусную подлость.

Оболмасов при встрече с Коковцевым уже не раз спрашивал:

— А каков у вас послужной список, адмирал?

— Отличный.

— Это плохо. Сейчас большевики перерывают архивы военного и морского министерств, выискивая людей с заслугами перед престолом, чтобы поставить их к стенке... Я крайне удивлен: весь наш дом уже опустел, одни вы остались.

— А почему вы, любезный, сами не уедете?

Оболмасов приник к уху адмирала, нашептав, что служит в советском учреждении, дабы удобнее вредить большевикам. А в одну из встреч на лестнице он Коковцева предупредил:

— Если завтра не скроетесь, вам ареста не избежать. Вчера кто-то ухлопал Урицкого, а он председательствовал в Петроградской Чека.

— Но я-то при чем? — удивился Коковцев.

— Сейчас-то все и начнется...

Совпало день в день: в Петрограде эсер Канегисер застрелил

Урицкого, в Москве эсерка Фанни Каплан совершила злодейское покушение на вождя революции Ленина. Это случилось 30 августа 1918 года, а 5 сентября Совет Народных Комиссаров издал постановление, призывая граждан свободной России ответить на "белый" террор железным кулаком "красного" террора. В эти дни были арестованы не только контрреволюционеры, но и высшие сановники былой империи, ВЧК произвело массовые аресты генералов и адмиралов. Коковцев был удивлен, что его не тронули, относя этот либерализм ВЧК за счет положения своего сына на "красном" флоте... Его взяли не дома, а на Английской набережной. Полураздетая Ивона отделалась легким испугом, загородясь от чекистов французским паспортом:

— Я только и жду возможности вернуться в Париж!

— Пардон, мадам, а это кто? — показали ей на Коковцева.

Ивона пальчиком показала чекистам на Коковцева:

— Вы его сами об этом и спрашивайте!

— Я... контр-адмирал... — сказал он, стыдясь.

На вопрос, что он тут делает, Коковцев не мог сказать, что навещает вдову своего друга, ибо у вдов друзей, даже самых лучших, после полуночи обычно не задерживаются.

— Собирайтесь... пошли, — велели Коковцеву.

В этот момент он вспомнил заклинание Ольги: Бог накажет тебя, если сказал ты неправду. Открытый грузовик заносило на крутых поворотах переулков. Вот и Гороховая, дом № 2, — вылезай! На этот раз следователь попался не из тех, что сами сидели, а из тех, которые других сажают. Человек явно озлобленный и, как заметил Коковцев, никогда не высыпавшийся.

С первого же допроса адмирал заявил протест:

— Я не имел счастия удостоиться общения с вашим Урицким, о котором, каюсь, до нынешнего года даже не подозревал, что такой существует, и я не могу понять, за что меня взяли, если его застрелил какой-то ваш психопат.

— Не наш! Идет классовая борьба, — мрачно заявил следователь, шлепнув на стол рыхлую папку. — У вас отличный послужной список... прямо душа радуется, как полистаешь! Вот бы вам волю дать, вы бы

сразу нас за горло схватили...

Коковцев даже вздрогнул: "Неужели Оболмасов прав?"

— Старался, как мог, — отвечал он.

— Я вижу... Монархист?

Коковцев объяснил то, что пришлось объяснять ранее, еще при Февральской революции, добавив не совсем осторожно:

— Но и вашей катавасии я тоже не приветствую...

— Оттого и давили революцию на царском флоте?

— Царский флот — для вас, а для нас — русский флот. Для вас — революция, а для нас — беспорядки, для флота губительные. Флот как боевая сила основан не на лозунгах и митингах со щелканьем семечек, а на приказе и дисциплине. Хотел бы я посмотреть — много ли навоюете вы с вашей анархией в нижних палубах? Сами давить будете... еще как станете!

Коковцев понял, что расстрела ему не миновать:

— Спрашивайте! Я ведь изворачиваться не стану.

— И не советую, — кивнул следователь. — По вашим словам, адмирал, вы не приемлете монархии. Но когда монархию свергли, вы отвергаете и власть народа... Хорошо вам при царе было?

— Замечательно! — отвечал Коковцев. — Я прослужил полвека и даже в карцере не сидел. А по вашей милости, и года не прошло, как я дважды обыскан и дважды арестован. Так почему я должен пылать к вам особой нежностью? Вы оставьте формуляр в покое. Я не режиму служил -России! Единой, великой и неделимой... Такова уж она есть, матушка!

— Да кому она нужна, эта ваша прогнившая и вонючая Россия с ее темным забитым народом?

Допрос превратился в яростную дискуссию:

— Не забывайте, что эта самая "прогнившая и вонючая" два столетия подряд стояла во главе всей европейской политики!

— Мировая революция всю Европу охватит пожаром.

— Черта с два! — отвечал Коковцев. — Скорее, Европа покончит с вами, господа! Я ведь ваши газеты читал внимательно: сами признаете, что начинается поход двунадесяти языков, во всех портах России высаживаются не милые гости, а интервенты, вооруженные

лучше вас, намного лучше... Ну, что скажете?
— Скажу одно: теперь мне ясно, почему тебя, контру, взяли не дома, а на квартире французской подданной да еще с немецкой фамилией, уснащенной приставкой "фон"...
Время для оправданий было неудобное: ВЧК было отлично извещено о совместной службе Коковцева с Колчаком, который недавно прибыл в Омск английским поездом резидента Нокса и при поддержке интервентов и эсеров объявил себя "верховным правителем России"...
— Колчак ваш приятель? — спрашивал следователь.
— Сослуживец. Александра Васильевича я хорошо знаю. И не думайте, что я стану отзываться о нем скверно, чтобы угодить вам. Хотя, говоря откровенно, я всегда его недолюбливал...

Скоро среди арестованных возникли слухи, что в Петроград прибыл из Москвы комиссар для проверки работы ВЧК и этот комиссар "стрижет всех под одну гребенку". Он появился в камере — весь в коже, с маузером у пояса. Пригляделся.
— А меня не помните? — спросил Коковцева.
— Не имел чести быть представленным.
— Имели, имели... Часики-то ваши как? Еще стучат?
Это был Павел Бирюков, гальванер с крейсера "Дмитрий Донской", который спасал Коковцева при Цусиме, затем в Нагасаки совершил дерзкий побег из японского плена, чтобы сразу включиться в ритм русской революции на Балтийском флоте.
— Плохо сидится? — спросил он адмирала.
— Да чего уж тут хорошего.
— Верно. Сам сидел — знаю, что гаже не бывает...
Невыспавшийся следователь подал Бирюкову пухлое дело бывшего контр-адмирала Владимира Васильевича Коковцева.
— Та-ак, поглядим, что тут написали... Орденов — хоть на штаны вывешивай! Минер — хоть куда! Поместий не имел... та-ак. Крепостными не владел... та-ак. Проживал лишь то, что Боженька даст. Ну, и царь, конечно! Он тоже давал. А бесплатно дураки служат. Очень хорошо. Отличный формуляр... Так какого же хрена его коптят тут?

Коковцев мстительно указал на следователя:

— Товарищу, видите ли, не нравится, что я не служил делу пролетариата, за что и приношу ему глубочайшие извинения.

— Так и я, — отвечал Бирюков, — тоже не служил делу пролетариата, когда меня остригли, будто барана, в Крюковских казармах и написали на спине красным мелом две буквы: "ГЭ" — Гвардейский экипаж! Селяви, как говорят французы. Чему тут удивляться?

Следователь упомянул обстоятельства ареста Коковцева, и Коковцев сказал, что объяснит это Бирюкову наедине. Через минуту вернулись обратно в камеру, Бирюков отмахнулся:

— Это шашни! Нас не касается... Вот что, — распорядился он. — Я этого человека знаю. Недаром же плавали у Дажелета. Вреда от него матросам никогда не было. А в заговорах контрреволюции не замешан?

— Нет, — отвечал следователь со вздохом.

— Тогда реверсируй машину назад...

Коковцев оказался на свободе, и надо же было так случиться, что первый, кого он встретил на лестнице своего дома, был опять-таки статский советник и кавалер Оболмасов.

— Вы... сбежали? — спросил он, крайне удивленный.

Коковцев показал ему справку из ВЧК: выпустили.

— Быть того не может! Впрочем, это их прием. Сначала выпустят, а потом присматривают, что говорить станете...

— Да Бог с вами, — отвечал Коковцев. — Я домой хочу.

Ольга Викторовна встретила мужа холодно:

— Бог тебя наказал, Владя, пусть Бог и прощает...

Он понял, что Ольге все известно. Глаша добавила:

— Ведь она жена вам, не какая-нибудь сбоку припеку. Вы бы и нас могли послушаться — мы ведь худого не скажем...

Сережа уже не подходил к нему. Ольга Викторовна с мнимой сосредоточенностью перечитывала нудные романы Поля Бурже.

"Неужели и конец жизни, как тот кусок японского мыла?" Подумав, Коковцев вынул из тайника бельгийский браунинг, сунул его в карман. Это не укрылось от проницательной жены:

— Я не узнаю тебя, Владя... посмотри — кем ты стал? Ведь ты уже не

человек, а хуже зверя. Я боюсь тебя.

— Ты боишься одного меня, а я боюсь всех...

Переполненный радостью бытия, приехал Никита.

На этот раз свой первый поцелуй он отдал уже не матери — Глаше.

— Папа, — крикнул он еще из передней, — в продолжении той амурской истории я скажу тебе нечто приятное для меня: на днях меня приняли в партию большевиков.

Нахохлившись под пледом, адмирал не двинулся в кресле:

— И так закончился славный род дворян Коковцевых, но уже нет Департамента герольдии, дабы отметить это событие, достойное сожалений генеалогов... Что еще скажешь?

— Еще, — сказал сын, проходя в гостиную, — я выбран в командиры Минной дивизии... Надеюсь, это тебе приятнее?

— Это позорнее, — сказал отец. — Я! Даже я, адмирал с богатым морским цензом, не мог получить Минной дивизии от Эссена, а ты... ты... тебя выбрали?

— У меня не было причин, папа, отказываться от избрания снизу, как у тебя не возникло бы их при назначении сверху.

Коковцев указал Никите на портреты его братьев:

— Пади в ноги им! Они не вернулись с моря еще в чинах мичманских, но память их останется для меня священна. А ты... Шкурник, христопродавец, отщепенец и мразь!

Сережа боязливо передвинулся к матери, которая, слабо ойкнув, закрыла рот ладонью. Ольга Викторовна вдруг пристукнула сухоньким кулачком, посинелым от холода.

— В этом доме все уже было, — произнесла женщина резким голосом. — И ты достаточно оскорблял меня. Теперь оскорбляешь моего сына... Не смей! Если Никите это нужно, пусть он и делает то, что ему нужно. Это его право.

Тягостное молчание стало невыносимо. Всегда сдержанный, Никита все же не вытерпел, обратясь к матери:

— Я хочу всем только самого лучшего. Папе тоже. Пора бы уж понять, что старая Россия не сдохла, как загнанная кляча, и она не смердит вроде трупа. Она жива и будет жить, возрожденная в новом обличье, а наш российский флот...

— Не касайся флота! — крикнул отец. — Я потерял двух сыновей, оплакав их горькими слезами. Разве я мог думать, что потеряю и тебя... последнего! Но оплакивать тебя, скомороха, я не стану... уходи! Чтоб я тебя больше не видел!

— Я уйду, отец, — ответил Никита, — но на прощание все-таки кое-что скажу тебе. В твоем представлении вместе с царизмом и буржуазией рухнул мир. Но в представлении большинства населения России наша страна с революцией лишь поднялась к жизни. При рождении тебе повезло. Ты появился на свет здоровым и в семье, которая имела достаток. Тебе дали хорошее образование и щедро оплачиваемую должность. А как же те девяносто пять процентов населения России и ее окраин, те бесправные рабы на фабриках и земельных делянках? Без воспитания, образования, без элементарных бытовых удобств и медицинской помощи, в грязи, болезнях, навозе? Они трудились по двенадцать и шестнадцать часов в день, чтобы остальные пять (если не меньше) процентов привилегированных жителей страны ни в чем не ощущали нехватки. И ты, адмирал, действительно ни в чем не нуждался. Так или нет? Теперь ты плачешь по прошлому. Тебе не по душе настоящее. Знаешь почему? Только потому, что ты печешься о собственной персоне, а мы, большевики, думаем о всех, о каждом человеке своей страны, да и всех стран земного шара. Вот в чем наши разногласия. Ты еще не попал, в изгои, отец. Ты еще не знаешь, что это такое. Ты все еще живешь лучше вчерашнего быдла. И не дай тебе Бог попасть в их ряды. Или — для большей убедительности — в ряды отверженных, когда остаются без работы, без крыши над головой, без куска хлеба, в болячках, беспомощные, старые. Таких тоже хватало в несчастной России. И их тоже было больше, чем вас, довольных и слепых эгоистов. Мне жаль тебя в твоей слепоте, отец. Прощай!

Никита резко повернулся. В передней сдернул с раскрылки пальто, и было слышно, как затихают его шаги на пустынной лестнице. Глаша издала протяжный стон — из души:

— Он такой же хоро-о-ший... как и Го-о-ога!..

Ольга Викторовна, наперекор своей женской судьбе, тасовала колоду карт, точными жестами раскладывая пасьянс.

— Ну? — спросила она. — А что будет дальше?

Владимир Васильевич сбросил с колен женский плед.

— Не знаю, что дальше, но в этом доме я стал чужим! Пожалуй, мне лучше уйти. Хочешь, поедем вместе... к Колчаку!

Глаша, еще плача, натягивала на сына несуразное и длинное, как салоп, пальтишко, кутала его тонкую шею шарфиком.

— Зачем вам уезжать? — говорила, всхлипывая. — Я и сама могу уехать от вас... мешать никому не стану.

— Не в тебе дело. Сядь и не дури! — жестко повелела Ольга Викторовна, переворачивая туза и валета. — Уж если вопрос ставится так, что кто-то должен отсюда уехать, так ты обязательно останься со мной... Если, дорогая моя, ты еще не освоила этого, так понимаю я. И вообще, — сказала она, — в этом доме есть только одна хозяйка — я!

Ольга встала. Выпрямилась. Ее голова тряслась. Но в этот момент она была очаровательна и прекрасна, как никогда.

— Разве ты не поедешь со мною в Сибирь? — спросил ее Коковцев.

— Нет. У меня есть сын. Есть внук. Я не отдам их никому. Ни немцам. Ни англичанам. Ни французам. Ни тебе. Ни Колчаку... В этой квартире, не забывай, я увидела свет Божий. Здесь я играла с куклами. Отсюда бегала в гимназию, восторженная девочка. Нет, это не я к тебе — ты пришел ко мне! Но здесь я впервые познала с тобою любовь... Ты можешь ехать, Владечка, — за ключила она с бесподобным торжеством.

— Не люби меня! И зачем я тебе? Избавь меня от любви!

Ольга Викторовна рассмеялась — с надрывом:

— Нет уж! Я буду любить. Я хочу любить. Назло тебе. Я любила всегда. Как кошка... И люблю даже сейчас. Мне стыдиться нечего. Люблю, да! У меня нет и не было любви больше, кроме любви к тебе... Это на всю мою жизнь — одна любовь !

Коковцев, сжавшись в комок, просил ее:

— Так не бросай же меня. Мы много прожили.

— Была и счастлива. Спасибо за это. А теперь... — уходи!

За спиной адмирала, словно взведенное ружье, четко клацнул замок. Он вдруг стал дубасить в двери ногою:

— Ольга! Но ведь нельзя же нам так... прости!

Ольга Викторовна не впустила его обратно. Поникший адмирал

шаткою походкой побрел через сугробы на Английскую набережную. Петроградские голод и холод коснулись и Ивоны: кутаясь в шубу, которой одарил ее "шоффэр" герцога Лейхгенбергского, она грызла шоколад, полученный от французского консульства. Коковцев, не сняв пальто, опустился на стул.

— Чего ты сидишь и ждешь, моя прелесть?

— Надеюсь, мне можно погреть свою нежную Гаппу?

Коковцев сказал, как быстрее выбраться из этого города:

— Сейчас с Дальнего Востока гораздо ближе до Парижа, нежели отсюда... Вставай и собирайся.

— Хочешь шоколаду? — ответила Ивона и, подобрав под себя ноги, еще плотнее закуталась в шубу. — Если бы ты предлагал ехать в Испанию к адмиралу Сервера, я бы еще подумала. Но замерзать в армии Колчака... Нет, mon amiral!

Он всегда удивлялся ее встревоженным глазам.

— Зачем я жил? Скажи, ради чего оскорблял свою жену, мать моих детей? Чтобы ты меня сейчас предала?

— Не приставай с глупостями, — предельно ясно отвечала Ивона. — Разве я оскорбляла твою жену? Или я виновата в гибели твоих детей? И зачем ты пришел сюда, если заранее знал, что конец у нас будет смешным?

— Трагическим! — Коковцев опустил руку в карман пальто. Он сказал женщине, что все эти годы она была для него только дурным наваждением. — Я ведь не говорил тебе правды. Выслушай ее: когда "Буйный" отходил от борта "Суворова", на том месте, где я оставил твоего несчастного мужа, оставалась лишь дыра от пря мого попадания снаряда... Дыра — и все!

— Тебе захотелось облегчить свою совесть?

— Не смейся надо мною. Это ведь страшно!

— А мне смешно. Кому ты нужен сейчас?

— Встань! Одевайся. Едем в Сибирь.

— Я уезжаю завтра в Париж... не с тобою...

Коковцев выдернул из кармана браунинг:

— Мерзавка... на! на! на! Получай...

Ивона ничком сунулась в угол дивана, умерев бессловесно и тихо.

Струйка крови, медленно выползая из уголка дряблых губ, напомнила Коковцеву сок разжеванного ею винограда.

— Господи, простишь ли меня?..

Поезд уносил его прочь и навсегда. Кто-то, невидимый в потемках вагона, рассказывал, что во Владивостоке порядок:

— Матросы даже честь отдают, офицеров глазами едят. Колчак — фигура, атаман Семенов еще крепче. Чуть что не так — в прорубь башкою: бултых! Потому там особенно не размусоливают. Есть! — козырнули тебе, и катись к едреней матери...

Всю ночь под Коковцевым ерзали визжащие рельсы, переговариваясь на промерзлых стыках отчаянно: "Колчаку! Кол-чаку! Кол-чаку!" Страшным пронзительным воем паровоз разрезал великие российские пространства... Неужели все кончено?

"Где же вы, очаровательный мичман Коковцев?"

Омск — столица "страны", что называлась "Колчакия". Над вокзалом реяло бело-зеленое знамя — символ снегов и лесов Сибири. Приказом Колчака мордобитие в армии было запрещено. Но, как слышал Коковцев еще в поезде: "Приказ приказом, адмирал адмиралом, а морда есть морда!" Владимира Васильевича мучил голод... Бывшее здание губернаторства, где размещался штаб Колчака, было обтянуто на площади веревкой, вдоль которой ходили вооруженные белочехи, а по булыжникам дефилировал английский батальон Миддльсекского полка — преторианская гвардия "верховного". Коковцев безо всякого интереса наблюдал, как топчутся англичане, отрабатывая "шаг на месте", и вспоминал почему-то конские ребра, которые, простаивая в очередях, добывала Глаша в голодном Петрограде. И очень остро, болезненно резануло сердце Тоскою по Ольге.

Где ты, мой грозный бич, каравший столь жестоко?

Где ты, мой светлый луч, ласкавший так тепло?..

Это были строки Апухтина, которые сейчас и вспомнились. Проникнув за веревку, Владимир Васильевич, завшивевший и немытый, представился в штабе дежурному офицеру:

— Доложите верховному, что его желает видеть контр-адмирал Коковцев, его коллега по Балтике... он меня знает!

— Верховный не принимает. А вы откуда?

— Из Петрограда. Вырвался.

— Стоило вам мотаться в такую даль! Возле Уфы фронт красных уже прорван, мы идем на Казань и Самару, и месяца не минует, как будем в Москве и Петрограде...

Была весна 1919 года. С вокзала протяжно стонали колчаковские бронепоезда. В сквере перед штабом оркестр из военнопленных австрийцев заиграл: "Там, где Амур свои волны несет, ветер тревожную песню поет, да поет..." Тоскливо думалось: "Где бы поесть?" В приемной адмирала он присматривался к людям — в чаянии найти знакомцев по прежней вольготной жизни, которые бы пригласили его к обеду. Удивляло оживление господ, похожих на биржевых дельцов, и множество женщин, среди которых выделялась ангельской красотой Анна Васильевна Тимирева, дочь директора Московской консерватории; Коковцев знал ее по Балтике как жену командира крейсера "Баян" и, плохо разбираясь в омской обстановке, напомнил Тимиревой о ее храбром муже, сражавшемся с немцами в битве при Моонзунде.

— Храбрец остался на Балтике, — отвечала женщина, — а я в Сибири... Мишель! — позвала она кого-то.

Мимо проходил флаг-капитан Смирнов — при аксельбанте, в высоких фетровых валенках (тоже контрадмирал). Коковцев напомнил ему, что они встречались на Черном море, когда вместе ходили на Тендру опробовать минные прицелы.

— Ты к адмиралу? Не советую. Он сегодня кипит, как молочный суп. Чуть отвернись — льется через край... Аничка, — сказал он Тимиревой, — с телеграфа приняли приветствие Клемансо и декларацию от французского правительства. Будь любезна, отнеси верховному сама. — Смирнов провел Коковцева в кабинет. — Ради Бога, — шептал он, — никогда не напоминай этой бабе о ее первом муже, командире "Баяна".

— А я уже ляпнул! — сознался Коковцев.

— Ну и глупо... У верховного с нею такой роман, что их, как собак, водою не разольешь. Не хочу тебя пугать, но адмирал что-то плох и глаза закатывает, как петух с горошиной в горле. — Коковцев сказал,

что дела на фронте идут хорошо. — Так это на фронте, — ответил ему Смирнов. - А тут, помимо романа, кажется, примешан и морфий... Сам увидишь!

Коковцев признался, что умирает с голоду. Кастовая консолидация сработала моментально, и часть содержимого бумажника Смирнова перебазировалась в карман Владимира Васильевича. Смирнов посоветовал остановиться в меблированных номерах мадам Щепанской, но в разговорах быть осторожным.

— Здесь все шиворот-навыворот, — сказал он. — Убежденные монархисты уклоняются в левизну демократий, а господа эсеры и меньшевики перековываются в убежденных монархистов. Главная же наша беда, что в Омске счета мало джентльменов.

— А разве среди союзников?..

— Это не союзники, а самые настоящие сволочи...

В номерах Щепанской он обедал, разговорившись с соседом — полковником генштаба, дезертиром из Красной Армии.

— А вы-то зачем здесь? — спросил он Коковцева.

— Бежал. Меня в "Совдепии" ставили к стенке.

— Ну, вот! А меня в "Колчакии" прислоняли к стенке. За большевизм. Едва отбрехался... Куда же вы теперь?

— Не знаю. Наверное, во Владивосток...

Над крышами тарахтели аэропланы с летчиками-французами, на Иртыше крутились пропеллеры аэросаней с британскими водителями. Весна пробуждала Омск, в окрестных рощах -будто раскинулся цыганский табор беженцев. На кострах варили еду, откапывали землянки для жилья, здесь же бродили лошади и коровы. На базаре казаки в лохматых шапках маклачили добром, награбленным в карательных экспедициях, один бородатый дядя растягивал над собой, как гармошку, бюстгальтер невероятных габаритов, крича в толпу:

— Кому титишник? Эй, бабье, налетай -подешевело!

На лбу Коковцева не написано, кто он такой, и мужик с воза сказал адмиралу с явным озлоблением:

— Рази это люди? Шпана паршивая. Придет на постой, нажрет, у крыльца навалит, твою же бабу изволохает, а на прощанье хоть ведро, да упрет с собою. Прямо вредители какие-то! Посидит казак на

лавке, и лавка сломана. Чаю попьет, и крантик от самовара отвалится... Нет уж! — сказал мужик с высоты воза. — Пущай лучше большаки приходят. При них, сказывали, тоже паршиво, зато хоть свинства не делают...

Вечером к Коковцеву подсел какой-то юркий недобритый эсер, начал жаловаться, пугливо озираясь по сторонам:

— Здесь воцарился такой ужасный произвол, что времена царствования Романовых кажутся из Омска библейским раем.

— А! — злорадно отвечал Коковцев. — Терпите, как мы от вас, шибко грамотных, терпели...

В мае Антанта официально признала Колчака.

Его не хотел признавать только адмирал Семенов, засевший со своими бандами в Забайкалье и грабивший эшелоны с добром. Семенов действовал без страха, ибо за его спиной торчали штыки самурайской Японии, не желавшей вмешательства Антанты в дела Сибири, чтобы превратить Сибирь во владения японского императора... Об этом, конечно, верховный не стал говорить Коковцеву при свидании, которое состоялось на квартире обворожительной Анички Тимиревой. Колчак начал беседу раздраженно:

— А я вас не ждал! И мы, простите великодушно, не обтирали пыль с кресла — в ожидании вашего появления...

Начало не предвещало ничего доброго. Коковцев сжался. Может, лучше бы глодать конские кости в Петрограде?

— Я немногого и требую, — сказал он. — Неужели в вашем обширном аппарате не найдется местечка и для меня?

— В одном только Омске шесть тысяч бездельников требуют от меня квартир и пайков, ничего не делая и не умея делать, кроме того чтобы пьянствовать по шалманам и отвинчивать от дверей моего штаба золоченые ручки, дабы затем "толкнуть" их на базаре на очередную выпивку. Где набраться на всех стульев?

Это был гафф! Но Коковцев проглотил оскорбление. Мишка Смирнов, свой человек в этом доме, расселся за столом по-хозяйски, наливая себе побольше, а другим поменьше.

— Саня, — сказал он Колчаку, — может, Владимир Васильевич

подойдет для классов школы гардемаринов во Владивостоке?

— Там своих дармоедов достаточно — Опять гафф!

Наступил вечер, и в окне пробегали искры — это работала мощная радиостанция, построенная французами в Омске ради поддержания связи с Деникиным на юге, с интервентами на Мурмане и во Владивостоке. Колчак вдруг заявил, что Ленин прав... Коковцеву показалось, что он ослышался.

— Ленин прав, — повторил Колчак, — что не боится даже сейчас проявлять внимание к тем задачам, разрешению которых я посвятил свою молодость. Он опередил меня, уже послав геологов, чтобы поковырялись в норильских рудах — что там? Сейчас очень важно, кто скорее освоит Северный морской путь вокруг берегов Сибири — я или он?

Только сейчас его мысли выпрямились. А до этого адмирал говорил сумбурно, часто откидывая голову назад и закатывая глаза, почему Коковцев и думал: "Неужели тут не обошлось без морфия?" Он заметил резкое постарение верховного, глаза и щеки ввалились, а "рубильник" казался еще длиннее.

— Морской путь через льды, — продолжал Колчак, — необходим для связи с союзниками, чтобы они подкрепили мое движение материалами и людьми. Наконец, я расплачиваюсь пудами золота. Еще год-два, и запасы его иссякнут. Но имеется пушнина, которую можно вывезти, за границу морем... — Миша, — спросил он, — а как дела у капитана Грюнберга?

— Пароходы готовы выйти к устью Колымы, концессия на вывоз пушнины компаниями "Эйтингтон шелл" и "Фумстен" уже обговорена. Американцы согласны выплатить нам кредит.

Коковцев понял, что Колчак решил от него избавиться по принципу: возьми, Боже, что нам негоже. Он сам налил себе коньяку и сказал, что в полярную экспедицию не годен:

— Не забывайте, что я старик. Если вы даже сейчас сидите передо мною в валенках, то каково будет мне на Колыме? Вряд ли и вы, господа, пошли бы сейчас на зимовку.

Колчак не настаивал. Неожиданно признался:

— Мне повезло! Если бы я начал свое движение в бедных губерниях,

ничего бы не вышло. Антибольшевизм развивается только там, где люди живут богато и сытно. Догадываюсь: стоит сибирякам вкусить горечи от нищеты, и я сразу перестану быть нужен Сибири... Знаете ли, как зовут меня ныне? Маргариновым диктатором! Потому и говорю вам, Владимир Васильевич, пока еще не поздно, пошлите-ка вы меня подальше.

— Как послать? — удивился Коковцев.

— А так и посылайте к... Не стесняйтесь!..

Сбив колчаковские заслоны, Красная Армия перешла в наступление по всему фронту, вернув Уфу, Златоуст и Екатеринбург, затем, перевалив через хребты Урала, она устремилась в Сибирь — вдоль Великой Сибирской магистрали — прямо на Омск.

Начался "бег к морю" — к причалам Владивостока.

Коковцев, попав в подчинение к Смирнову, обрел стул в его канцелярии, аккуратно подшивал в папочки входящие-исходящие с номерами далеко за тысячу. Он был сыт, и до самого лета не волновался, пока Смирнов не сказал ему однажды, что Челябинск сдан красным тоже.

— Каппелевцы сражались доблестно! Но из депо вдруг вышли тысячи рабочих с оружием, решив эту партию не в нашу пользу. Рок пришел в действие. Сибирь все еще толчет воду в ступе: все мужики за Советы, но чтобы и царь был! А сменить адмирала никак нельзя: Европа и Америка привыкли к нему...

В сентябре Колчак вернулся в Омск из поездки по фронту, и Коковцев присутствовал при свидании верховного с послами и генералами союзных армий, которые предложили адмиралу сдать золотой запас России под международную гарантию, клятвенно обещая доставить его во Владивосток. Колчак ответил, что золото будет там, где он сам, где его армия и его министры. Нервно вскочив с места, адмирал крикнул:

— Я вам не верю! Скорее оставлю все золото большевикам, но только не вам... мародерам и спекулянтам!

Позируя, Колчак явно переигрывал. Широко было известно, что за поставку оружия только в 1919 году, он передал Великобритании около 3000 пудов золота, Японии — 2672 пуда, Америке — 2118.

И тем не менее союзников он действительно называл мародерами и

спекулянтами.

Очевидец писал: "Эта фраза должна перейти в историю. Уже тогда родилось то, что потом стало формулироваться словами: лучше с большевиками, чем с союзниками!" Колчак отправил часть золота впереди армии, но за Байкалом на эшелон напали шайки Семенова, разграбившие банковские вагоны. Над крышами Омска несло вихри мокрого снега, но Иртыш не замерзал, образуя на путях отступающей армии непреодолимую преграду. Колчак уже не мог обрести равновесия, постоянно пребывая в состоянии сатанинского бешенства. В одну из минут тяжелейшей депрессии, когда он притих и посерел, Коковцев спросил его:

— Если падет и Омск, что последует далее?

— Мы связаны железной дорогой, ведущей к спасению на Дальнем Востоке. Отныне мы не правительство, а лишь путешественники, пересчитывающие верстовые столбы.

Судьба, которой он, Коковцев, всегда желал управлять сам, теперь оказалась неподвластна ему, и оставалось лишь следовать велению зловещего фатума. Распутица продолжалась, по тротуарам Омска хлестала вода... Это ли еще не подтверждение рока? Чтобы в Сибири? Чтобы в ноябре? Чтобы ростепель? Штаб превратился в грязный зал ожидания провинциального вокзала: командование и министры с домочадцами дремали на чемоданах, ожидая, когда сформируют состав. То не было вагонов, то не сыскать паровоза. Колчак, облаченный в романовский полушубок и с малахаем на голове, рвал трубки телефонов, кричал, что саботажников — к расстрелу! Глубокой ночью Смирнов явился со станции, доложив, что состав собран, начинается морозище, и все разом задвигались:

— Мороз, мороз... значит, Иртыш станет!

Колчак ногою в валенке пихал чемоданы Тимиревой:

— Этот... этот... и этот. Хватайте. В машину и на вокзал. Владимир Васильевич, — обратился он к Коковцеву, — вы останетесь при штабе. Еще могут быть служебные телеграммы. Вам позвонят с вокзала, когда все устроится. Не прощаюсь...

Стало пусто. Коковцев открыл бутылку виски. Иртыш замерзал, окна покрывались наледью. В штабе было холодно. Под утро

обеспокоенный он сам позвонил на вокзал:
— Поезд верховного ночью ушел, — отвечали ему. Трубка выпала из рук Коковцева: "Какая подлость!"
Владимир Васильевич еще не догадывался, что в этом его спасение — рок уже не властен над ним, а он снова свободен...

С большим трудом Коковцев пристроился в вагоне, в котором размещался цыганский табор, ехавший по своим цыганским делам из Польши в Маньчжурию, а цыгане, как никто, умели ладить с начальством на станциях, и адмирал благополучно добрался до Ачинска. Здесь цыганский "барон" уговорил Коковцева отказаться от адмиральского мундира, дав ему взамен английский френч с накладными карманами и американские бутсы, которые в армии Колчака было принято называть "танками". В Ачинске Коковцев с умилением увидел симпатичных румяных гимназисточек, спешащих на занятия, и пожалел, что не может остаться в этом городе навсегда, чтобы преподавать этим милейшим юным созданиям хотя бы арифметику... Волна "драпа" понесла его дальше!
В красноярском ресторане "Палермо" довелось ночевать под биллиардом в компании того самого полковника генштаба, с которым он встречался в Омске; теперь полковник вспоминал служение в Красной Армии, называя Коковцеву имена Фрунзе, Блюхера, Тухачевского, Азина, Шорина, Вацетиса... и Троцкого.
— О последнем я что-то слышал, — сказал Коковцев. — Но вы мне прискучили своей ностальгией по большевизму.
— Ах, господин адмирал! Если бы большевики хоть один раз сказали, что они стоят за национальное единство, я пошел бы с ними и дальше, не раздумывая. Но они этого не сказали, и в результате я, великоросс, удираю от их интернационала...
На станции Зыково, близ старого Сибирского тракта, Коковцеву повстречался кавторангТихменев, командовавший в армии Колчака дивизионом английских броневиков. Он сказал:
— Если вам угодно, место в броневике найдется. Правда, холодрыга там страшная, на ухабах трясет так, что зубы лязгают. Но где-то по трактам еще бродит железная армия генерала Кагателя, а нам главное

— пробиться к Иркутску...

Эшелоны стояли уже впритык, кто был сильнее и нахальнее, тот и брал паровозы. Морозы усиливались, машинистов, заморозивших в локомотивах воду, привязывали к трубам локомотивов, говоря: "Теперь околевай и сам". Вся артиллерия Колчака давно осталась в снегах, разбросанная от поселка Тайга до Ачинска, а броневики Тихменева погибли в сугробах, не доехав до станции Тайшет. Вдоль полотна Сибирской магистрали протянулись только обозы, обозы, обозы — несть числа им (на 25 000 боевых штыков — 140 000 беженцев, кормящихся из котлов разрушенной армии). На полустанке Разгон Тихменев застрелил свою жену, после чего застрелился и сам, матросские команды его броневиков разбежались. Коковцев двигался за обозами иногда пешком, из милости его пускали на дровни. Из лошадиных ноздрей возницы пальцами выковыривали сосульки, похожие на ледяные морковки. Вокруг трещали костры, небеса освещались пожарами деревень. Фырканье конницы и матерщина, детский плач и причитания над умершими. Одинокие выстрелы, постоянный хруст снега под валенками тысяч ног, надсадные скрипы санных полозьев и полная неизвестность — что впереди?

Там, где на картах отмечались большие станицы, находили жалкие заимки, а на пустом месте, среди лесов, вдруг возникали села, почти города, с двухэтажными домами из камня, внутри которых тепло и сытно, а на стенках, возле икон, висели портреты Николая II и Иоанна Кронштадтского. Пробиться в блаженную теплынь не удавалось, Коковцев привык ютиться в хлевах, иногда грелся возле лошадиного брюха. Стало известно, что какой-то колчаковский генерал Зиневич не пропускает далее ни эшелонов, ни обозов, требуя разоружиться, подчинившись какой-то новой "земской" власти, которая якобы обязалась сдавать города Красной Армии. Коковцев ехал среди кагшелевцев, а сам Каппель, накрытый ворохом шуб, лежал в розвальнях и, умиравший, еще хрипел:

— Да застрелите же предателя Зиневича... Дальше, дальше! Еще не все потеряно, Колчак в Иркутске, там новый фронт...

На станции Зима известились, что Колчак отказался от власти, передав ее... атаману Семенову, которого адмирал призывал в

Иркутск, чтобы он перевешал его министров и генералов, за что и обещал атаману отсыпать из своих вагонов чистого золота. "Наверное, опять морфий", — думал Коковцев, не понимая, как флотский офицер может идти на сговор с этим уголовным типом. Новый 1920 год Коковцев встретил под лавкой зала ожидания на вокзале станции Зима, и эта ночь под лавкой почему-то напомнила ему ночь под столом кают-компании миноносца "Буйный". Но в Цусиме все было иначе, тогда еще не угасли надежды, а теперь... Утром он ощутил жар и озноб. Телеграф принес новость: в Иркутске восстание, власть захватил некий "Политический Центр" ("центропуп", как его окрестили сибиряки), составленный из эсеров и меньшевиков. Хрен редьки не слаще, но этот "центропуп" задержал белочешские эшелоны, стремившиеся к причалам Владивостока, где японцы обещали чехам корабли для отъезда в Европу. Иркутск соглашался пропустить чехов далее, если они сдадут Колчака с его штабом и правительством, если не тронут вагонов с золотом, которые тащил за собою "маргариновый диктатор".

Чехи сдали Колчака, сдали его штаб, сдали и золото.

Коковцев не успел добраться до Иркутска, когда Колчак был уже расстрелян, а его труп, опущенный в прорубь, подхватила стремительная Ангара и понесла адмирала к Ледовитому океану.

Коковцев с трудом помнил, как он выбрался со станции Зима, в сильном жару, почти в бредовом состоянии. За десять тысяч колчаковских бонов чехи согласились взять адмирала в приемный покой своего бронепоезда "Орлик", который двигался в арьергарде их эшелонов. На станции Иннокентьево, в семи верстах от Иркутска, они сказали Коковцеву, что дальше не повезут его, ибо у них существует соглашение с иркутскими властями — ни в каком обличье не перевозить русских офицеров.

Коковцев нанял на станции извозчика до Иркутска:

— Вези меня в любую больницу, какая ближе...

Коковцев попал в "солдатскую" больницу на Семеновской улице, где больные лежали даже на лестничных ступенях, врачи и сестры перешагивали через тифозных. Дежурный врач сказал:

— Извините, но вы, кажется, офицер, а всем офицерам сначала следует пройти регистрацию в ревкоме. Если ревком не будет возражать, я вас приму. Но, сами видите, надежд на излечение очень мало, лекарств в больнице нету.

Впрочем, врач подсказал, как избежать регистрации, дав адрес частной клиники братьев-врачей Бондаревских в Глазковском предместье города. Бондаревские сказали Коковцеву:

— У нас такса: две недели — две тысячи... Есть?

— Бонами или керенками? — пошатнуло Коковцева.

— Кому нужны боны Колчака? Клади керенками...

Они лихо выпотрошили ему карманы, но не столько лечили, сколько запугивали декретами, которые обязывали Коковцева предстать перед властью "центропупа". Коковцев говорил о себе, что он школьный учитель, потерявший семью. Напрасно! Бондаревские без разговоров вышвырнули его на улицу, еще слабого, сразу же как миновали две недели. В Казанском соборе, куда Владимир Васильевич забрел, желая погреть свои старые кости, ему опять повстречался тот же полковник генштаба.

— Вы теперь кто? — спросил он, крестясь.

— Притворяюсь учителем.

— А я политическим ссыльным. Регистрацию прошли?

— Что вы? Не дай Бог.

— Я тоже решил не соваться в эту петлю. — Он сказал, что еще можно бежать в Монголию. — Но вот беда: монголы бумажных денег не берут, им давай только чистое золото... Нету?

— Откуда у меня золото? — пожался Коковцев.

— Надо пробиваться к японцам... Иены есть?

Иен не было! Но теперь Коковцев пожалел об этом. В канун отъезда Колчака из Омска в штабе потрошили мешки с японскими деньгами, все брали сколько хотели, а Владимир Васильевич... постеснялся. Он сказал полковнику, что Сибирской флотилией командует его приятель по Балтийскому флоту, контр-адмирал Жорка Старк, — только бы до него добраться:

— Уж как-нибудь! Миноносец от него получу. Сейчас не до жиру — быть бы живу... Давайте, полковник, едем вместе.

— Хорошо. Я буду изображать идиота, а вы, адмирал, оставьте свое наивное учительство, никто вам не поверит...

Образованный генштабист в поезде объяснял Коковцеву географию и экономику богатого Забайкальского края.

— Профессор Тимонов, — говорил он, — был убежден, что внутри Амуро-Уссурийской области необходимо создать "Софийский морской порт", тактически выгодный для России, ибо притоки Амура сулят немалую выгоду для развития этого захолустья. Возьмем хотя бы Зею, у тунгусов известную как "Джи", у якутов "Дже", у маньчжуров "Изинкири"...

— Ваши документы! — подошел к ним патруль.

— Это... идиот, — показал Коковцев на полковника.

— Тогда мы тоже идиоты. А вы кто, гражданин во френче?

— Я... нормальный. Контр-адмирал Коковцев, честь имею.

— Куда путь держите?

— На Амурскую флотилию, где меня ждут.

— Какие-либо бумажки имеете?

— Вы видите, как я одет? У меня ничего не осталось...

Странно, что его, назвавшегося адмиралом, пропустили, а "идиота", сведущего в вопросах геоэкономики, арестовали, и он навсегда пропал в неизвестности. Обстановка же при японцах была совсем не та, что в "Колчакии" при союзниках.

Самураи не скрывали, что они плевать хотели на демократию, они сторонники возрождения русской монархии. Япония поделила Дальний Восток между своими вассалами: Семенову — Забайкалье с престолом в Чите, Гамову — Приамурье, Калмыкову — Хабаровский край. Это была оголтелая "атаманщина", и легче было, встретив на таежной тропе голодного тигра, у зверя вымолить пощады, нежели у этих живодеров. Семенов был особенно колоритен. Приехав в город, где имелось железнодорожное депо, он порол всех подряд — от инженера до ученика слесаря. Если входил в деревню старообрядцев, то раздевал всех догола и опять порол... Зачем? А просто так: ради экзотики...

Поезд медленно тянулся от станции к станции. Японский офицер в отличной шубе с воротником из волчьей шкуры оставил на скамье

газету "Ници-Ници", которую" и просмотрел Коковцев; генерал Танаки писал: "Большевистская волна гонит на Восток подлинных хозяев страны. Они заслужили у японцев сочувствие, и потому мы используем их в качестве социальной и политической базы будущего административного устройства Приморья, Приамурья и Восточной Сибири".

Это был февраль 1920 года.

Коковцеву больше ничего знать не хотелось. Ему сказали, что в Сретенске есть на станции кипяток и дешевая обжорка...

Когда он вышел на перрон, кто-то его окликнул.

— Вы меня? — удивился Коковцев.

— Тебя, тебя, — отвечал молодой человек с приятной, располагающей внешностью (безо всяких признаков оружия).

— Простите, не имею чести знать вас.

— Ротмистр Саламаха! С приездом... гнида!

Удар кулаком в лицо поверг контр-адмирала наземь. Саламаха (откуда силы берутся?) встряхнул Коковцева, будто тряпку. Только теперь в его руке появился револьвер:

— Вперед, не оглядывайся. Здесь тебе не Москва...

На путях отфыркивался заиндевелый бронепоезд атамана Семенова, составленный из четырех блиндированных вагонов. В первом — штаб-салон атамана с картами и выпивкой, во втором — запасы золота и награбленное добро, в третьем — тюрьма и пыточная камера, а в четвертом — гарем атамана, в котором подбор женщин свидетельствовал о том, что Семенов не грешил расовыми предрассудками. В тамбуре растопырился пулемет-"кольт", вдоль коридора тянулась пирамида с японскими карабинами системы "арисака". Саламаха, шагая сзади, очень ловко выудил из кармана Коковцева бельгийский браунинг. Пинок в зад не столько оскорбил, сколько ускорил движение адмирала навстречу гибели... Семенов гулял по салону, обставленному как хорошая гостиная, он был в кавалерийских галифе и шелковой сорочке. Его распухшая от алкоголя морда выглядела вполне добродушно. На спинке стула висел желтый мундир офицера Забайкальского казачьего войска.

— Ну, что? — спросил он. — Попался?

Спокойно им был выслушан подробный рассказ адмирала.

— А зачем врешь? — спросил Семенов, смачно зевая. — Беда мне с этими адмиралами... Сколько с Колчаком грызлись, а теперь тебя черт принес. Думаешь, я тебе поверил? Или эти краснозадые в патруле такими уж были дурачками?

— Выходит, что дурачками, — сказал Коковцев.

— Но я-то не дурак! Когда выехал из Москвы? Что тебе надо в моих краях? И что велено у меня тут вынюхать, а?

Саламаха с приятной улыбкой обрушил адмирала на ковер. Потом показал Семенову браунинг, блещущий никелем.

— Вот у него, гада, что было... Григорий Михайлыч, может, сразу тащить в третий вагон? — спросил он атамана.

— Погоди. Сначала общупай его до костей...

В карманах было пусто. Но бандитов удивил наручный браслет Коковцева: "МИННЫЙ ОТРЯД. ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ".

— Кажется, не врет... — заметил Семенов.

Коковцеву было страшно. Саламаха заставил его вытянуть руку с браслетом на столе, под нее подложил японскую газету, чтобы не просыпались мимо золотые опилки. Он стал распиливать браслет напильником, а Владимир Васильевич в смятении чувств вычитал заголовок статьи: "АЗИЯ ДЛЯ АЗИЯТОВ. XX век станет золотым веком для утверждения теории единения всех цветных народов против белых!" Саламаха успел сделать только надрез на браслете, как раздалось шипение пара, и вровень с вагонами Семенова остановился японский бронепоезд, прибывший от пограничной станции Маньчжурия.

— Убирай все это дело, — велел Семенов ротмистру.

В салон бодро вошел генерал Оой, которому Коковцев и заметил по-японски, что Танаки в "Ници-Ници" пишет одно, а на деле получается совсем другое. Он сказал:

— Я не успел еще ступить на эту землю Забайкалья, как сразу же меня избили, ограбили...

Оой-сан с улыбкой вручил ему свою визитную карточку:

— Пусть она послужит для вас пропуском... куда угодно!

С визитной карточкой японского сатрапа в кармане английского френча Коковцев остался в незнакомом русском городе, где все вызывало в нем отвращение — заборы, дома, люди, деревья, похабщина в разговорах. Ему хотелось тепла и покоя. Впереди него плелся по улице прохожий, который вдруг сделал круг, будто пьяный, но тут же выровнялся и пошел далее нормально, как все люди... Коковцев, ошеломленный, крикнул:

— Геннадий Петрович, это я... постой!

Атрыганьев спросил его как ни в чем не бывало:

— Слушай, Вовочка, а бывал ли ты в кегельбане Бернара на Пятой линии Васильевского острова?

Вот каким он стал: жилистый старик с длинною бородой, висок отмечен следом пули.

— Да, бывал у Бернара, и не раз, — отвечал Коковцев.

— Значит, и ты состарился, дружок... Ах, если б можно было вернуться на клипер "Наездник" и начать все сначала!

Атрыганьев двинулся дальше, время от времени описывая круги, с утоптанной тропы он сворачивал в сугробы...

Он уводил Коковцева в село Кокуй на Шилке, где впервые в русской истории был поднят гордый флаг Амурской флотилии. Делая круги, но рассуждая логично и здраво, Геннадий Петрович сказал, что Москва создает политический буфер, образуя автономную Дальневосточную Республику (ДВР), а нарком Чичерин недавно заявил, что Советская Россия отныне не имеет никакого отношения к войне Японии с населением дальневосточной России... Мороз трещал! Атрыганьев похлопал рукавицами.

— Очень мудрое решение, — сказал он. — Инженеры придумали буфера, чтобы смягчить удары при столкновении вагонов. Большевики додумались до создания политического буфера. Отныне от Байкала до Тихого океана перед японцами воздвиглась некая загадочная для них страна, к которой не придерешься — она не грешит ни коммунизмом, ни капитализмом. Каков пассаж?

Неподалеку от Сретенска, в Муравьевском затоне, зимовали во льду канонерки и мониторы. На берегу высился добротный барак из

бревен, внутри которого работали котел и машина, снятые с миноносца, чтобы давать пар для обогрева и энергию для электроосвещения флотилии. Атрыганьев воткнул ключ в дверь комнаты, на которой висела табличка: "Главный лоцман АОПТ — Г. П. Атрыганьев".

Коковцев спросил его — что такое "АОПТ"?

— Амурское общество пароходства и торговли...

Лоцман выставил флягу с самогонкой местного (отвратного) производства и разложил перед другом медвежатину, присыпанную для вкуса тертым оленьим рогом. Выпив и закусив, Коковцев оттаял душою. Стало тепло. Он сказал:

— Сколько прожил — и всегда считал себя человеком хорошим. А теперь вдруг понял: человек я плохой.

— У меня наоборот! — бодро отвечал Атрыганьев. — Всю жизнь страдал от сознания, что человек я пустой и ненужный, а ныне, в конце пути, я понял, что прожил добрым и честным.

Он снял с полки номера "Вестника Амурской флотилии":

— Погляди! Здесь и статьи твоего сына — Никиты Коковцева, умный и славный мальчик. Удивительно как он при его молодости сумел быстро и точно разобраться в обстановке, увидев, где ложь, а где правда. Признаюсь, кое в чем он помог разобраться даже мне. Где ты его оставил, своего сына?

— Он остался там — на Балтике.

— И тут он попал в яблочко. Балтика начала флот великороссийский, Балтика и возродит его заново...

Коковцев показал другу визитную карточку Оой-сан:

— С нею я, наверное, доберусь до Владивостока?

Атрыганьев зашвырнул ее в печку:

— Одумайся, Вовочка! Даже каппелевцы, спасаясь в Даурии, отрыгнули Семенова и японцев, так не уподобляйся же ты рептилиям. В нашем мерзостном состоянии должно оставаться предельно честным. В честности — наше спасение...

Ближе к весне 1920 года, когда чуть упали морозы, Приморская земская управа, которой (исподволь!) управляли большевики Владивостока, начала готовить флотилию к боевой и активной жизни.

Атрыганьев внушил Коковцеву, чтобы он не торопился повидать Жорку Старка во Владивостоке:

— Что тебе дался Старк с его трухой от последних миноносцев, если самураи, и тот же Оой-сан, вертят им, как хотят! Почитай, что они сами пишут во "Владиво-ниппо"...

"Владиво-ниппо" (на русском языке) писала о Приморской управе: "Из-под овечьей шкуры так и несет собачьим мясом..." Атрыганьев устроил Коковцева на службу в АОПТ — писарем, а когда пришла весна, Семенову возжаждалось прибрать корабли к своим рукам, но это ему не удалось. Два парохода нашли прибежище в затонах Амурской флотилии, которая стала именоваться Красной Амурской флотилией. В ответ на это японцы устроили резню и в Хабаровске. Геннадий Петрович посоветовал Коковцеву оставить свою писарскую науку: - Ты же минер, Вовочка, и отличный минер...

В одну из летних ночей Владимир Васильевич (как всегда, мастерски) забросал минами фарватер Амура у слияния его с Сунгари, преградив японцам и китайцам все пути к городам этого края, пусть несчастного и кровавого, но все-таки русского! По возвращении он застал Атрыганьева в сильном подпитии.

— А я был у Семенова, — сообщил он. — Снова отказался от проводки его кораблей по фарватерам. Если сволочи угодно, пусть еще покатается на своих бронепоездах, но прекрасный вальс "Амурские волны" ему, скотине, больше не танцевать... Нет! — заключил Атрыганьев. — Лучше умру, но никогда не поведу его по амурским фарватерам...

В августе ушли с русского Дальнего Востока китайские отряды. Японцы тоже потихоньку убирались из Забайкалья в сторону моря. Лучшие корабли они перегоняли на Сахалин, а на тех кораблях, которые не могли увести с собою, самураи обливали серною кислотою не только механизмы, но даже палубы. В пушки они заклинивали снаряды, обернутые паклей, пропитав предварительно разъедающими металл составами. Японцы крушили все подряд, без разбора! В городских домах разбивали мебель и швейные машинки, отвинчивали краны водопровода, дробили в куски даже унитазы... Ушли.

Над Амуром распространилась жуткая свирепая тишина. Коковцев

закончил подсчет убытков Амурской флотилии:

— Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят рублей чистым золотом... Геннадий Петрович, ты слышишь?

Он постучался к нему, думая, что старый лоцман вздремнул. Но Атрыганьева в комнате не было. Он не пришел к ночи, не вернулся в Муравьевский затон и утром. Кто-то вспомнил, что последняя телеграмма от лоцмана поступила в Сретенск с борта моторного катера "Пантера":

— Кажется, он ушел по Аргуни до станции Маньчжурия...

Была осень 1920 года; бронепоезд "Атаман Семенов" реверсировал на перегоне от Булака до пограничного разъезда № 86, затравленный враждебностью населения. Конец был близок! Владимир Васильевич боялся думать плохое. Ему было очень страшно, но все-таки, поборов страх, он выехал на станцию Маньчжурия, за которой рельсы КВЖД стелились уже по чужой земле...

На самой границе двух миров, старого и нового, скрипела виселица. Удушенные в петлях, тихо покачивались шесть человек: пожилой рабочий с депо с бутылкой в кармане, генерал царской армии с расстегнутой ради срама ширинкой, матрос с выколотыми глазами, женщина в неприлично разодранной юбке, юный телеграфист с бланком телеграммы во рту и... он! Честный русский человек и офицер Атрыганьев...

Стоя перед виселицей, Коковцев решил вернуться в Петербург.

Страшный взрыв вывел его из оцепенения. Это бронепоезд "Атаман Семенов", покидая Даурию, взорвал за собой железнодорожные пути. После этого оставалось одно: вдоль линии КВЖД ехать во Владивосток. Коковцев так и сделал.

А мог бы и не делать?!

За взорванными путями через конечный разъезд № 86 уже вваливалась в Китай полностью разгромленная, оборванная и грязная армия из остатков колчаковщины и семеновщины. Здесь они с матюгами бросали оружие под ноги китайских солдат, а некоторые рассовывали гранаты и револьверы в свои лохмотья...

Кажется, все? Нет, не все. Эта мерзкая орава вояк катила далее —

туда же, куда влекло сейчас и Коковцева: в Приморье! Всю ночь захарканные и расшатанные вагоны КВЖД тряслись от очумелого топота безоружных, но страшных в пьянстве людей, вместе с родиной и семьями потерявших человеческий облик.

В тамбуре безмятежно покуривал генерал Бангерский.

— Можно поговорить с вами откровенно, генерал?

— Попробуйте, — отвечал он Коковцеву.

— Неужели еще не конец, и на что вы рассчитываете?

— Видите ли, — ответил Бангерский, давая адмиралу прикурить от австрийской зажигалки, — японцы ушли из Сибири, но покидать Приморье они не собираются. Если большевики умудрились создать свой "буфер" ДВР, то почему бы нам, с помощью Токио, не создать в Приморье свой "буфер"? Затем и едем...

Только сейчас Коковцев сообразил, что сел не в свои сани!

Спасибо, что китайцы хоть отворили двери уборных...

Лишь в январе, в самые-то холода, добрались до полосы отчуждения. Здесь пора бы и рассыпаться в разные стороны, как ненужному хламу, единожды собранному в одну общую кучу ради уничтожения. Но каппелевский сброд, построившись, перешел в Никольск и Раздольное; семеновцы нахрапом овладели поселком Гродеково.

Коковцев своими ногами в "танках" пешком добрел до Владивостока, увиденного им еще на заре жизни, и сумбурный город встретил его леденящим ветром весны 1921 года. Контр-адмирал приютился в общежитии бездомных офицеров, которых во Владивостоке было как собак нерезаных, а кормился очень скудно, по долговой книжке в столовой Морского собрания, где гадко готовили, зато был великолепный соус всяческих слухов... Коковцев был удивлен, когда в Морском собрании к его столу подошел человек в офицерском френче и в высоких солдатских сапогах: это был премьер ДВР — товарищ Никифоров.

— Здравствуйте, господин адмирал , — сказал он.

— Здравствуйте, господин премьер ... или товарищ?

— Сейчас это нам безразлично. — После такого вступления Никифоров спросил прямо: — Вы до самого конца были у Колчака?

— Но не в армии, а при его омском штабе, до Иркутска я отступал в

обозах генерала Каппеля... Если вы думаете, что я загонял раскаленные иголки под ногти ваших правоверных коммунистов, то вы глубоко ошибаетесь...

— Петр Михайлович, — назвался премьер ДВР.

— Очень польщен. Владимир Васильевич.

— Бывает и так, Владимир Васильевич, что иголки тоже прощаем, если человек чистосердечно раскаялся.

— Уверяю, мне раскаиваться не в чем.

— Тем лучше, что ваша гражданская совесть осталась чиста. Мы бы хотели видеть вас в составе нашего правительства.

— Неужели в... Москве?

— Нет, в Чите.

— А в качестве кого же, простите за вопрос?

— Народная власть ДВР могла бы доверить вам управление морскими делами. Вы же сами видите, что от Сибирской флотилии остались рожки да ножки... Позволите присесть рядом?

— Пожалуйста. Ради Бога. Может, выпьем?

— Благодарю. Так вот. Эти рожки да ножки сейчас обгладывает не совсем политически развитый адмирал Старк.

— Вы полагаете, что я развит более Старка?

— Не полагаю. Но зато полагаюсь на болыпую честность. Вы, надеюсь, не станете требовать четырнадцати тысяч иен для покупки в Японии разноцветных шелков для украшения флагами того флота, которого в природе более не существует.

— Не существует. Но к чему так жестоко шутить?

— Какие же тут шутки, если ДВР, не отвергая института частной собственности, согласна работать в контакте даже с капиталистами. Я не так давно виделся с товарищем Лениным в Москве, и, провожая меня в Сибирь, он сказал буквально следующее: "Вот вы и докажите всему миру, что коммунисты могут организовать буржуазную республику и управлять ею". Кстати, ваша семья здесь, во Владивостоке?

— Нет, в Петербурге, вернее в Петрограде.

— Мы вызовем ее в Читу... Согласны?

— Это невозможно, — почти задохнулся Коковцев от волнения. —

Спасибо, конечно, за такое милое предложение, но мои убеждения мешают мне следовать вашему совету. Я ведь не признаю вашего Интернационала, я убежденный сторонник единой, великой и неделимой России... Как же я могу служить не России, а лишь какой-то области России, ставшей вдруг самостоятельной?

— Жаль, — сказал премьер ДВР и отошел.

"Мне тоже, конечно, очень жаль", — додумал за него Коковцев. Из двенадцати газет Владивостока он выбрал для чтения "Голос Родины", который обыватели прозвали "Голосом Уродины". Ну, что новенького? Японцы обещают поделиться с жителями селедкой-иваси, пойманной ими у берегов Сахалина... так. Америка согласна признать ДВР как крупное государство, к пусть японцы не думают, что их присутствие в Приморье терпимо и далее... так. Что еще? Редакция газеты призывает всех интеллектуально развитых горожан посетить подвал "Би-Ба-Бо" (Светланская, дом № 23), где по вечерам можно встретить лучшие таланты России, бежавшие от большевистского гнета на спасительные берега Золотого Рога. Там же, в подвале, можно осмотреть выставку гениальных картин знаменитого и непревзойденного мастера слова и кисти Давида Бурлюка, короля русского футуризма. Странно, что Жорка Старк назначил Коковцеву свидание не где-нибудь, а именно в подвале дальневосточной богемы, где собираются кокаинисты-футуристы и гурманы-эротоманы.

В прокуренной дыре подвала "Би-Ба-Бо" стенки были завешаны мазней Давида Бурлюка, выбравшего из всех красок жизни смесь охры с чернилами. Гениальный автор к своим холстам наклеил для полноты впечатления собственные окурки и презервативы, которые он когда-то имел счастье использовать. А вот и он сам! Смотреть на футуро-гения — одно удовольствие. Рожа как у старой потасканной бабы, в глазу — монокль прусского лейтенанта, щеки и рот он разрисовал кружочками и стрелочками, на лысине — тюбетейка казанского татарина, одна штанина у него красная, а другая, черт подери, зеленая... Приходи, кума, любоваться! Собравшись с духом, Коковцев слушал его "фуро-поэзу":

...дом мод, рог гор, потоп,

тип-топ!

Суда, объятые пожаром,
У мыса Амбр — гелиотроп,
Клеят в стеклянной коже рам.
Дам-дам!

— Садись сюда и ничему не удивляйся, — сказал контр-адмирал Старк контр-адмиралу Коковцеву, при глашая его за столик.

К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная и красивая поэтесса Варвара Статьева, провывшая:

— Горбатые ландыши задушили мне горло...

— Брысь, курва! — сказал ей Старк, продолжая спокойно: — Очень хорошо, что Никифорову не удалось соблазнить тебя. У них там в Чите министры получают, как и рабочие, по пять рублей в месяц. А здесь еще можно заработать...

Кончилось тем, что оба напились и ничего не помнили. Разговор, начатый в "Би-Ба-Бо", пришлось возобновить на более серьезных началах в официальной обстановке штаба Сибирской флотилии. Коковцев просил должность — поближе к морю.

— Мы и так усамого моря, — отвечал Старк. — Хочешь моря — смотри на него в окошко. У меня, если хочешь знать правду, осталось всего семь миноносцев, четыре из которых просят продать им японцы. Обещают дать шелку для пошива новых флагов...

Коковцев вовремя вспомнил Атрыганьева.

— Нет уж, — сказал он. — Торговля не по моей части. Ты вот смеешься, Жорж, над Никифоровым, который пять рублей в месяц имеет, а ведь он "ням-ням" на свои кровные. Премьер!

— Мне премьер — не пример. Чего ты меня учишь?..

Подобру-поздорову самураи из Приморья не уходили, притворяясь перед миром, будто они охраняют "порядок", немыслимый при наличии коммунистов. На самом же деле японцы охраняли те дивизии белогвардейцев, скопившиеся под городом, и те невообразимо колоссальные склады, сваленные Антантой на причалах Владивостока еще для нужд армии Колчака; японцы набивали русским сырьем брюха своих пароходов, а говорить о лососине, которую черпали из наших морей, даже не приходится: в эти годы японцы могли есть икру ложками, словно рисовую кашу.

Самураи — большие мастера на всякие перевороты, но во Владивостоке, как они ни старались, из переворотов у них получились "недовороты". В начале лета на улицах города снова разразилась стрельба, и Старк, боясь вмешиваться в "политику", попросил Коковцева позвонить в японскую комендатуру:

— Скажи ты им, чтобы навели наконец порядок!

Коковцев кричал в трубку телефона по-японски:

— Вы собираетесь что-нибудь делать?

— Нет, не собираемся. Нам надоело вмешиваться в русские дела, тем более что любая наша акция вызывает реакцию среди американцев. На этот раз мы решили так. С вечера ляжем и будем спать всю ночь, накрывшись одеялами с головой. А утром мы признаем ту власть в городе, которая победила ночью...

Из этого ответа стало ясно, что братцы-мошенники Меркуловы, захватившие власть в городе, были ставленниками японцев. На кораблях флотилии Старк сразу же заменил комиссаров священниками. Однако самураи чувствовали: сделали то, да не совсем то, что хотелось бы! Переворот грозил обернуться новым "недоворотом", и тогда из Порт-Артура на японском крейсере примчался во Владивосток атаман Семенов. Политическую деятельность будущего "императора" Приморья он начал (как это и водится среди атаманов) с устройства банкета, из-за стола которого и был вынесен на руках почитателями его талантов. Давид Бурлюк с удивительным проворством скатал свои шедевры в трубки и спешно уехал в Японию — устраивать там новую выставку картин.

Коковцев воспринял "меркуловщину" с равнодушием:

— За эти годы я этих переворотов столько уже на смотрелся, что с меня хватит... Лишь бы дали умереть мне спокойно!

Семенов, проспавшись, выходил на балкон гостиницы "Тихий океан" с салфеткой на шее и, поднимая чарку, кричал "ура" самому себе. На подступах к Владивостоку гремели пушки: это каппелевцы начали сражение с семеновцами — шла борьба за власть: кто кого? Оренбуржцы и енисейцы просили прощения у Советской власти. Сергей Третьяков, товарищ министра внутренних дел, требовал "отдать плечистым Малютам на растленье малютку утр". А по улицам

надсадно скрипели дроги: с фронта везли гробы, в которых лежали убитые юнкера и гардемарины, почти мальчишки. Тут даже самураи поняли, что из переворота вышел "недоворот" — самый настоящий!

Старк в эти дни спрашивал Коковцева — не было ли в его роду немцев, поляков, французов или еще кого-либо, только бы не русских. Коковцев представил свою генеалогию:

— Возможно, что в каком-то из нисходящих колен мои предки и роднились с иностранцами. Но точно могу указать лишь приток негритянской крови в царствование Екатерины Великой. Там был какой-то темный грех у моего пращура.

— К неграм не поедешь! — ответил Старк. — Со мною проще: я все-таки из шведов, и шведский флот уже приглашает меня, чтобы я передал ему свой опыт возни с минами.

Осенью случилось то, чего никто не ожидал: каппелевцы (маскируясь под "белоповстанцев") разбили войска ДВР в районе Анучино, добыв богатые трофеи. Они взяли Хабаровск, доказав, что воевать умеют. Но они прошли шестьсот верст, неся потери, а население не дало им людских пополнений. Владивосток тоже не дал! Тут ударили морозы — ни валенок, ни полушубков, ни кальсон. Белогвардейский Харбин быстро собрал эшелон теплых вещей, однако китайцы не выпустили его дальше КВЖД, арестовав груз в компенсацию того ущерба, который нанесли Китаю пьяные орды атамана Семенова. Открылся 1922 год — по снежной целине двигались, урча моторами, броневики, за броневиками шагали хорошо экипированные бойцы Народной армии ДВР, которую вел за собой легендарный Блюхер! В казармы Владивостока стали возвращаться разбитые "белоповстанцы", с мрачным видом катившие впереди себя пушки, отбитые под Анучино у красных, но японцы отняли у них эти пушки сразу же, говоря вежливо:

— Вам теперь они вряд ли понадобятся...

Братья Меркуловы во всем обвиняли генералов:

— Если вы неспособны воевать, наше правительство не станет вам и платить. Только вчера из подвалов у нас пропали стеклянные банки для варенья на общую сумму в двести рублей. Подозреваем армию и флот... Теперь собирайтесь — в Китай!

Генералы кричали на братьев Меркуловых:

— Мы не трогали ваших банок! Но зачем же в Китай, как будто на земле нет места получше? Тогда уж давайте на Камчатку, где с помощью американцев еще можно организовать идеальное государство с самыми благородными социальными тенденциями. А что касается ваших банок, то мы подозреваем... флот!

— Разве флот унизит себя до того, чтобы воровать банки, тем более пустые? — горячо возражал адмирал Старк.

— Флот, — подтвердили братья Меркуловы, — единственная не разложившаяся сила. Вот с кого надо брать нам пример!

Генералы обиделись: флот не разложился лишь потому, что паек и жалованье у них лучше, нежели в армии.

— А вас мы арестуем! — угрожали они Меркуловым.

Старк заявил во всеуслышание, что "революции" ему надоели:

— Как хотите, а мой флот революций не признает...

Чтобы правительство не зашибли, он к дверям меркуловских квартир поставил матросов с карабинами. В благодарность за это братья-правители назначили Старка главнокомандующим — против Блюхера. Коковцев в Морском собрании сказал:

— Если уж против Блюхера послали Жорку Старка, знать, мы долго тут не засидимся...

Единственной реальной силой в Приморье оставались японцы, штыки которых торчали на каждом разъезде, на каждой пристани, и потому Народная армия сдерживала победный марш на Владивосток, дабы избежать военного конфликта с Японией. Это понимали и белогвардейцы, готовясь к эвакуации без спешки и паники. А самураи вдруг стали такими добрыми, что разрешили русским брать со складов, ими охраняемых, ватные штаны — сколько душе угодно! Старк просил Коковцева навестить его в штабе; он сказал:

— Можешь поздравить: японцы выдали столько топлива, что до корейского Гензана вполне хватит, если выдерживать в машинах экономический ход. Сейчас я распорядился, чтобы в кубриках как-нибудь разместили сорок восемь тысяч ватных штанов.

С улицы раздавался чей-то дремучий глас:

— Карау-ул, держите его — он наши деньги украл...

— А потом? — спросил Коковцев.

— Добункеруемся в Гензане и пойдем до Шанхая.

Целая пачка выстрелов: убегавший отстреливался.

— А потом?

— Пропьем ватные штаны и разбежимся. У меня к тебе просьба! Никто не хочет вести миноносцы. Сколько было офицеров, а сейчас все жмутся по углам: мол, подождем большевиков, поглядим, что и как, может, и при них выживем...

Коковцев сжался в глубине кресла, вспоминая Владивосток своей юности: в ушах еще звучал вальс "Невозвратимое время". Он встал:

— Хорошо, я поведу миноносцы. Но с одним условием: никакой шантрапы, вроде семеновцев или каппелевцев, брать не стану. Едино лишь возьму семьи беженцев, ну и калек... до Гензана.

Последний раз в жизни он поднялся на мостик миноносца.

Гензан! Салют наций — двадцать один выстрел, и еще дали тринадцать выстрелов — салют кораблям в гавани. В отсеках плакали дети...

Первый вопрос, который задал Коковцев, был таков:

— А что слышно из России, господа?

Издали родина казалась другой — в святочном нимбе...

Японцы советовали просить подданства США, искать работу в Корее или оставаться в Маньчжурии. Коковцев навестил Старка:

— Кажется, пришло время прощаться, Жорж?

— Умоляю тебя — доведем эти коробки до Шанхая...

В самом конце года флотилия бросила якоря на шанхайском рейде, и здесь, в космополитическом городе, насыщенном всякими соблазнами, команды миноносцев ударились в такой разгул, что всем чертям тошно стало. Только погодя, очухавшись от пьянства и скандалов по кабакам Шанхая, матросы стали посматривать на яхту "Адмирал Завойко", поднявшую красный флаг:

— Эй, завойковцы! Вы что, в Россию собрались?

— Домой, — отвечали с яхты.

— Может, и нас прихватите, а?..

Командир яхты стал вроде консула РСФСР:

— Имею на руках воззвание ВЦИК об амнистии всем матросам и офицерам флотилии, но амнистия действительна лишь в том случае, если верне во Владивосток и свои миноносцы. Относительно же амнистии для адмиралов распоряжений я не имею...

Ясно и доходчиво. Старк сказал Крковцеву:

— Сейчас забункеруемся и махнем дальше — на Филлипины. Манила не манила!

Владимир Васильевич ответил:

— Жорж, я уже нагулялся по белу свету... во как! — Он провел рукою по горлу, — Веди миноносцы сам. Хоть к черту на рога. А я останусь здесь. Все ближе к России...

Последний раз Коковцев вдохнул теплый запах машин миноносца. Он оторвался от поручней трапа почти силком, будто от рук прекрасной женщины, разлюбившей его, — навсегда! В русском клубе Шанхая, обедая среди соотечественников, осевших здесь задолго до революции, Коковцев убедился, что предлагать флоту Гоминдана свои услуги нет смысла: китайцы ориентировались на Америку и Японию, их устраивали инструкторы из немецких офицеров, и в памяти Коковцева снова всплыли эти горькие слова: vae victis...

Русские оседали в Китае "гнездами", имея тяготение к Харбину, типично русскому городу с русской администрацией. Переполненный город с населением во много сотен тысяч жителей Сунгари делила на два обособленных мира. "Новый город" с бульварами и магазинами населяли люди побогаче, управлявшие КВЖД и антисоветскими заговорами. "Пристань" — торгово-промышленный центр Харбина с тихими переулками, как в русской провинции, из окон домишек, обсаженных подсолнухами, виднелись обширные посевы пшеницы и маковые поля, тут кричали поезда и пароходы — жители "Пристани" обслуживали магистраль КВЖД, а все их жизненные помыслы сводились к получению советского паспорта.

Коковцев устроился прилично — заведующим учебными пособиями в Коммерческом училище, выпускавшем до революции высокообразованных экономистов со знанием восточных языков. Адмирал жил очень скромно в доме Зибера на Тюремной улице, он купил себе на окошко герань и не забывал поливать ее. Явилось даже

беспокойство: после его смерти не завянут ли цветы, одинокие и заброшенные, как и он сам? На все письма в Петроград по старому адресу ответа не было. Иногда ему начинало казаться, что Ольги Викторовны уже нет в живых — с Кронверкского она проделала последний путь до Новодевичьего монастыря, где была фамильная усыпальница служивых дворян Воротниковых.

Владимир Васильевич аккуратно вносил ежемесячный налог в "Общество Скорой Помощи", чтобы на случай приступа печени иметь медицинскую помощь на дому. Выпивать он выпивал по-прежнему, но в самых скромных шалманах Фрида и Вольфсона на Китайской улице. Серьезно он заболел осенью 1922 года: вдруг не стало хватать дыхания, сердце билось с. перебоями, возникли боли в загрудине, с болями появился и страх смерти. В частной клинике врач Голубцова сказала ему, что здоровье неважное:

— Вам бы курортное лечение, но это возможно лишь на водах в Японии. А каковы были потрясения в вашей жизни?

— Потрясения? — переспросил он. — Разве их было мало? Впрочем, дважды тонул... Первый раз при Цусиме, еще молодым. Потом на Балтике, в пятнадцатом. Очень, помню, была холодная вода, доктор. Я до сих пор не знаю, как удалось тогда уцелеть.

— Все это теперь и сказывается. — Голубцова, выбирая слова поделикатнее, дала понять Коковцеву, что он инвалид, ему необходимы покой и заботы близких людей.

— У меня никого нет, — сказал он, прослезясь.

— А у меня нет лекарства от старости. Возьмите рецепт в японскую аптеку Хаки-Эндо: там лекарства дешевле...

А больной никому не нужен: из Коммерческого училища Коковцева уволили. Владимир Васильевич полил герань и пошел занимать очередь перед советским консульством: его возглавлял Э.К. Озарнин, о котором ходили слухи, что этот большевик не рычит и не кусается, напротив, внимателен и отзывчив. Коковцеву импонировало, что Озарнин раньше был офицером крепостной артиллерии в царской армии.

Он начал беседу с ним откровенно:

— Эспер Константинович, я никогда не участвовал в заговорах против Советской власти и хотел бы оптироваться в отечественном гражданстве, дабы вернуться к семье.

— Вы продумали причины своего возвращения?

— Я все-таки адмирал. Мои знания, мой опыт...

Озарнин дал ему бланк анкеты и лист бумаги:

— Подайте заявление по всей форме. Желательно подробнее. Но я, честно говоря, не уверен в успехе. Оптирование для вас было бы легче, если бы вы служили на линии КВЖД, в работе которой наше государство всегда будет заинтересовано.

— Когда позволите снова зайти к вам?

— Месяца через два — не раньше...

Экономический кризис в мире аукнулся беспросветною безработицей: паровые мельницы Харбина крутили жернова вхолостую, а вместо пшеницы теперь сеяли один мак, охотно скупаемый для производства наркотиков. Коковцев устроился калькулятором в пригороде Хулань-Чене, где четыреста китайских фирм с миллионными оборотами выпускали в Маньчжурию опиум и свечки, вермишель и пиво, тапочки для покойников и конфеты для детей, круглосуточно шла выгонка китайской водки-ханжи (хан-шина). Коковцеву приходилось очень рано вставать, добираясь до службы поездом за двадцать верст от Харбина, и не опаздывать, чтобы не вызвать грубой матерной ругани управляющего Чин Тай и красивого молодого китайца, получившего диплом химика в Берлине.

Коковцев снова явился в советское консульство, на этот раз Озарнин уже имел об адмирале побольше сведений.

— Не вы ли угнали из Владивостока наши миноносцы?

— Я не ставил себе такой цели — угнать миноносцы, я просто эвакуировал на миноносцах беженцев.

— А теперь беженцы обивают пороги моего консульства, умоляя вернуть их на родину... Благодарны они вам?

— Думаю, даже очень, — отвечал Коковцев. — Если бы я не вывез их морем, им бы пришлось от бухты Посьета тащиться за телегами по грязи до самого Хунь-Чуня, а там ведь было немало и калек. Их ждал лагерь в Гирине, где, вы знаете, умерло множество детей, спавших на

голой земле.

Озарнин выслушал Коковцева с большим вниманием.

— Вы сами осложнили свою судьбу, — сказал он. — Допускаю, что вывезли беженцев. Но, вернись вы сразу же из Шанхая на яхте "Адмирал Завойко", и, поверьте, с вас бы — как с гуся вода: даже не придирались бы... — Консул потянулся было к пачке чистых анкет, но задержал руку. — Это вам ничего не даст, — сказал он. — Попробуйте устроиться на КВЖД, и годика через два-три приходите снова, тогда и поговорим...

Легко сказать — устройся! Тем более, Коковцев о железных дорогах знал лишь то, что поверх насыпи кладут шпалы, а на них рельсы. Владимир Васильевич обильно полил герань и пригородным поездом отправился на станцию Имянь-По, где в живописной местности расположились виллы коммерсантов и остатков того общества, которое у нас принято называть "отбросами белогвардейщины". Генерал Хорват, бывший управляющий КВЖД, отослал адмирала к князю Дмитрию Викторовичу Мещерскому, бывшему русскому консулу в Харбине, который сказал, что, к сожалению, прежние связи на КВЖД у него потеряны:

— Не поедете же вы торговать билетами в Цицикаре?

Коковцев был согласен сидеть в кассе Цицикара.

— Учтите, там бытует китайский язык и маньчжурский.

— Ничего. На слух я уже воспринимаю...

Харбин напоминал русским Новочеркасск или Ростов-на-Дону, а Цицикар уже ничего не напоминал, кроме самих русских, которые, пребывая в беспробудном пьянстве, занимали середину мостовых, обнюхиваемые бродячими собаками. Вокруг крепости, занятой местными властями, тянулись пыльные невзрачные улицы с харчевнями и ломбардами, постоялые дворы для монголов и кумирни в честь Конфуция и драконов, значения которых Коковцев так и не выяснил. Странно было видеть в Цицикаре, удаленном в самую голь и сушь Маньчжурии, гостиницу "Тихий океан" и рекламу швейных машин фирмы "Зингер". Русские обитатели Цицикара были настроены озлобленно-антисоветски: здесь, в этой тусклой яме эмиграции, образовалось застойное болото из самых грязных опитков атаманщины

— Семенова, Гамова, Калмыкова и Анненкова. Эти люди не столько пропитывались ханжой, сколько прокуривались опиумом, китайцы обходили русских стороною, как явных бандитов, для которых тюрьма — дом родной, а терять им уже давно нечего, кроме жизни.

В вокзальной кассе Цицикара был встречен и новый 1923 год — тот самый год, в котором, по мнению адмирала Макарова, русские люди станут умнее, а флот России обретет полноценную боевую значимость. Коковцев выписывал харбинскую газету "Новости жизни", редактор которой Д.И. Чернявский был недавно зарезан на улице за просоветские взгляды; в разделе "Вести с родины" однажды бросилась в глаза примечательная заметка:

"Маневры Балтийского Флота. Как нам сообщили из достоверных источников, большевики в прошлом году сдали на слом корабли общим водоизмещением в 82 тыс. тонн. На уцелевших кораблях они провели "красные" маневры с линкором "Марат" и дивизионом эсминцев, командир которых Н.В. Коковцев был награжден наркомвоенмором золотыми именными часами".

Сомнений быть не могло: Н. В. Коковцев — это его сын Никита, это его старая кровь, перелившаяся в новые сосуды! Владимир Васильевич невольно испытал гордую радость от сознания, что род Коковцевых все же не вычеркнут из славной летописи русского флота! Аккуратненько он вырезал заметку из газеты и всегда носил ее при себе — среди порыжевших семейных фотографий и аптечных рецептов. Но в один из дней, торгуя билетами, он увидел в окошечке кассы чью-то бандитскую харю.

— Твой? — спросили его, тыча пальцем в газету.

— Да, это мой сын... комдив!

В лицо ему шваркнули плевком. Было сказано:

— Убирайся отселе, иначе пришибем вусмерть...

Коковцев захлопнул окошечко. Он, контр-адмирал флота российского, отец двух сыновей, отдавших жизнь за отечество, и вот расплата... плевок в лицо! Но убираться надо: убьют. Владимир Васильевич вернулся в Харбин, охваченный слухами о чудесной жизни в Шанхае: стоит туда приехать — и тебя с руками и ногами возьмут в любую фирму, особенно со знанием языков. Все это очень заманчиво, но где

взять денег на дорогу, на что жить, пока устроишься? Он пришел в ювелирную лавку Анцелевича на Диагональной улице, предложил купить наручный браслет Минного отряда.

— Распилите его! Мне нужно добраться до Шанхая...

Ювелир с профессиональной ловкостью избавил руку Коковцева от браслета, отсчитал деньги.

— Вам разве мало? — спросил он,

— Признаться, ожидал больше.

— На дорогу до Шанхая хватит. Желаю вам, господин адмирал, жить так же богато, как я живу бедно...

Отсутствие на руке браслета с заклинающим девизом иногда пугало Коковцева так, будто его обворовали.

— И погибаю, и сдаюсь, — говорил он себе...

Слухи о привольной жизни эмигрантов в Шанхае оказались ложными, в поисках службы, сытости и ночлега под крышей быстро растаяли деньги. В русском клубе ему сказали, что многие из эмигрантов укатили осваивать сельву в Бразилию и Аргентину: "Только до Австралии мало охотников, и очень бедствует колония в Японии, русским мешает незнание японского языка". Об этом он и задумался: если Окини-сан еще жива, разве она отвергнет его? Японский консул в Шанхае был крайне почтителен с кавалером ордена Восходящего Солнца, сын которого погиб на героическом крейсере "Идзуми"... Цусима обернулась для Коковцева иной стороной, обнадеживающей, а в Нагасаки, куда он прибыл на рассвете, по-прежнему все благоухало, как раньше, мандаринами и магнолиями...

Он искал Окини-сан в квартале Маруяма, но там возникли новые постройки. Все вокруг изменилось. Коковцев пересек залив, побывав в Иносе, он уверился, что на кладбище японцы ухаживают за могилой капитана первого ранга Лебедева, но уже никто из жителей Иносы не помнил Окини-сан... Отчаявшись, Коковцев решил, что, наверное, живы сын или внуки Пахомова, и легко отыскал ресторан "Россия", где все было по-старому, только за стойкой бара стоял незнакомый молодой человек, обликом вылитый японец. Американская машина с ловкостью циркового престидижитатора сбросила с диска одну

пластинку, поставив другую:

О юных днях в краю родном,

Где я любил, где отчий дом...

Уже не зреть мне светлых дней

Весны обманчивой моей.

Русская экзотика с кислыми щами и кулебяками под водку, видимо, интриговала публику, как японскую, так и европейскую.

Коковцев подошел к стойке и сказал, что перед ним, наверное, внук Гордея Ивановича Пахомова, с чем молодой хозяин и согласился, нехотя отвечая Коковцеву по-английски.

— Вы разве уже не знаете русского языка?

— И знать не надобно... Что вам угодно, сэр?

Коковцев заметил потомку порховского земляка, что в его ресторане не все обстоит благополучно с этикетом:

— Так, например, к зелени следует подавать шато-икем, а мускат-люнель хорош в рюмках из желтого стекла. Я имел счастие окончить Морской корпус его императорского величества, в котором нас приучали смолоду, как вести себя за столом...

— Ты уберешься отсюда? — спросил его Пахомов-сан.

Музыкальная машина докручивала "Вечерний звон";

Лежать и мне в земле сырой.

Напев унылый надо мной...

И уж не я, а будет он

В раздумье петь вечерний звон!

— Вы были бы внимательнее ко мне, если бы знали, что этот ресторан, которым вы владеете, завелся с денег русских дворян Коковцевых... Я мог бы, если вам это угодно, исполнять в вашем ресторане роль метрдотеля.

— Ты не первый с таким предложением, — ответил Пахомов-сан, — и я уже знаю, как в таких случаях поступать с русскими попрошайками... Еще одно слово, и я вышибу тебя на улицу!

— Не надо унижать мою старость. Я уйду сам...

Центральный район Цукимати был дотла выжжен недавним пожаром, но быстро отстраивался, и в его переулках уже торговали дешевые сунакку-закусочные. В одной из сунакку Коковцев разговорился с

пожилым японцем, очень добродушным, который охотно выслушал русского адмирала.

— Я мог бы служить в любой конторе, — сказал ему Коковцев.

— А какие языки вам знакомы, адмирал?

— Английский, немецкий, французский, отчасти испанский и шведский. Болтаю по-японски, понимаю китайский.

— И даже испанский? — усомнился японец.

— Я состоял в переписке с адмиралом Сервера.

— А что вас с ним связывало?

— Наши громкие поражения — Сант-Яго и Цусима.

— О, Цусима! — расплылся в улыбке японец. — Мои дети были тогда еще маленькими и до сих пор вспоминают, как много ели они сладких моти в те прекрасные дни нашей победы... Вряд ли какой-либо фирме вы понадобитесь сейчас. Но сразу после Цусимы, извините, вас бы взяли хоть в "Мицубиси"!

Он посоветовал Коковцеву искать Окини-сан за кварталами Дэдзима, в районе трущоб Хамамати, который населяли нищие, инвалиды войны и бездомные бродяги.

— Сколько лет вашей Окини-сан? — спросил он.

— Примерно как и мне.

— Тогда ей только и быть в Хамамати. Всего доброго...

Совет оказался правильным. Только теперь, увидев Окини-сан, Коковцев понял, что искать ее было не надо. Не надо было искать ее, не надо! Ах, зачем он совершил эту глупость?

Но и отступать было уже поздно.

— Гомэн кудасай, — сказал он в растерянности.

— Ирассяй, — отвечала ему женщина...

В нищенской лачуге, собранной из досок и листов ржавой кровельной жести, поджав под себя ноги, сидела облысевшая старуха, с желтой кожей, высохшей от нужды и непосильного труда Перед нею, грязной и отвратной, стояла бутылка дешевейшей сакэ, уже наполовину опорожненная. И лежали три сливы. Три раздавленные сливы — ужин ее! Она улыбалась:

— Ты не сердись на меня... пьяную. Разве я виновата в том, что родилась в проклятый год Тора, отчего ты и сделался снова

несчастным. Как и я, как и я. Но когда двое несчастливых собираются под одной крышей, над ними образуются четыре божественных угла, между которыми легче рассеивать мечты о счастье...

Но можно ли мечтать о счастье в этой лачуге? Коковцев пугливо огляделся в потемках. Несколько горшков да замызганная циновка — вот, кажется, и все, что осталось у нее от прошлого.

Присев подле старухи, он извинился:

— Ты прости, что я пришел к тебе. У меня теперь никого, кроме тебя, нет в этом мире. Никого, никого...

— А у меня есть! — засмеялась Окини-сан.

Утешение ей — полевой кузнечик, она показала Коковцеву крохотную клеточку, в которой кормила тварь молодым пыреем, и за это он, вполне довольный жизнью, услаждал ее старческое убожество незатейливым, беззаботным стрекотанием.

— Он всегда счастливый, — похвасталась Окини-сан, обнажая в улыбке крупные, желтые, редко расставленные зубы.

Странно, что память не изменяла пьяной старухе, и Окини-сан без напряжения вспомнила стихи Токомори:

Как пояса концы — налево и направо
расходятся сперва,
чтоб вместе их связать,
так мы с тобой:
расстанемся -
но, право,
лишь для того, чтоб встретиться опять!

Вместе с Окини-сан Коковцев допил крепкую сакэ.

— Это хорошо, что ты пришел, — говорила она, спотыкаясь во тьме лачуги. — Одной так холодно спать на земле...

Пронзительный свет луны коснулся лысины Окини-сан, потом затарахтела ржавая цепочка, видимо добытая на свалке, от выброшенного велосипеда, на цепочке покачивалась медная жаровня-хибати с дымно тлеющими углями.

— Так будет теплее, — бормотала старуха, — Пусть мы несчастны с тобой, но зато как был счастлив наш сын! А когда он служил на "Идзуми", ему каждый день давали пырей, какой я даю и кузнечику.

— Спи, — сказал ей Коковцев.

Куда делись сказки о забавном смышленом тануки? Вот уж было веселье, когда он стучал лапками по сытому животику, выбивая смешную дробь, как на барабанчике... Да и был ли тануки? Может, все это японские выдумки? Никогда не было тануки...

* * *

Как и другие одинокие женщины, которых отвергли мужья, которые потеряли кормильцев в воинах, Окини-сан не нашла себе лучшей доли, кроме самой обычной, которая и склонила ее над стиральным чаном с грязно булькающей водой. Год за годом, изо дня в день женщина перестирывала кальсоны солдат из ближайшей казармы, рубахи матросов с заходящих в Нагасаки кораблей. А вечером на татами, поверх которого прыгали блохи, Окини-сан ставила бутылку сакэ, ела из котелка плохо разваренные бобы. Стебельком пырея она угощала кузнечика, а корешок пырея всегда доставался адмиралу Коковцеву.

— Мне жаль тебя, — говорила Окини-сан, еще не успев напиться допьяна. — Я всегда хотела делать людей счастливыми и никак не пойму — почему они оставались несчастны?

Она просила его есть, а забота пьяной старухи напоминала Коковцеву прежнюю жизнь — с безответной любовью Ольги, которая (неужели?) так и не простила его. Он думал об Ольге. Думал о своем народе, которого не понимал.

Владимир Васильевич съедал все, не сразу научившись понимать, что в доме больше ничего нет — Окини-сан и сегодня, как вчера, уснет голодной.

— Я не могу так жить, — часто повторял он.

— Если ты голоден, — отвечала Окини-сан, — не огорчайся, голубчик. Скоро будет праздник дзюгоя, и не ужели я не настираю столько корзин белья, чтобы купить вкусных моти? Мы наедимся рису-дзони с овощами... Разве ты забыл праздник дзюгоя?

— Помню. Но тогда все было иное...

Ночью Коковцев проснулся от густого протяжного рева: как некормленные коровы, мычали подводные лодки, уходящие в море.

— Я к ним привыкла, привыкни и ты, — сказала Окини-сан. — Мир

стал чужим для нас. А какие белые паруса были на твоем корабле! А какая тишина наступала вечерами в Иносе!

— Да. Раньше было тихо. И паруса были чистые...

Утром в Нагасаки входил американский крейсер — без флага, в присутствии на мостике лоцмана. Крейсер шел сам, без поводыря, воинственно-гордый, неприкасаемо-белый, отчетливо пробуя под собою грунт импульсами кварцевых эхолотов. И бросил якорь на том же месте, где когда-то стоял клипер "Наездник"...

Коковцев опустил наземь тяжелую корзину с бельем.

— Сколько нам еще мучиться? — спросил он.

— Подумай, что будет с кузнечиком, если меня вдруг не станет? Кто подберет его? Кто накормит? Идем...

Коковцев не сводил глаз с крейсера, отметив дисциплину его экипажа, перемещавшегося по ходу движения часовой стрелки: в нос бежали по левому борту, в корму — по правому.

— И все они в белых штанах и рубахах, — сказала Окини-сан. — А белое пачкается быстрее. Значит, голубчик, у меня снова будет немало работы...

Коковцев за всю жизнь не выстирал себе даже носового платка, и разве думал он, что нужда может быть такой неистребимой, такой угнетающей? В самом деле, что произошло? Жил-был человек. Дослужился до контр-адмирала. Имел хорошую семью и квартиры в трех городах. Любил красивых женщин и сорил деньгами. А теперь? Теперь ему радостно, что эта старуха притащила с крейсера грязное белье, тряся перед ним кулачками.

— Нет, мы не ляжем спать голодными в ночь дзюгоя! — говорила она. — Мы выпьем сакэ и наедимся дзони. Мы будем есть дзони! Сухой, рассыпчатый дзони... Ты хочешь дзони?

— Да, я хочу дзони, — понуро отвечал ей Коковцев.

Всю неделю, пока крейсер околачивался на рейде, белье заполняло лачугу Окини-сан, и Коковцев даже определил некую закономерность: после увольнения на берег пьяные матросы так усердно обтирали панели и лужи, что стирки сразу же прибавлялось. Груды белья заполняли корзины, на смену чистому вырастали кучи грязных штанов и рубах, трусов и манишек. С жалостью глядя на Окини-сан,

трудившуюся с утра до ночи, Коковцев вспоминал восходы над зелеными горами Арима, юная и тоненькая женщина появлялась на берегу, над нею плыли безмятежные облака, и она сбросив с себя кимоно, тянулась к солнцу стройным тельцем. "Где все это? И было ли это?" Он сказал:

— Для тебя дзюгоя, может, и праздник, а для меня календарное полнолуние. И не мучайся сама и не мучай больше меня...

Кузнечик в клеточке засвиристел, радуясь жизни. Окини-сан отжала белье в жилистых руках, обваренных кипятком. Ее глаза, выеденные горячим паром, смотрели печально.

— Потерпи, — сказала она, — Нам осталось недолго ждать...

Вечером в канун праздника Коковцев вскинул на плечо большую корзину с выстиранным бельем, в свободную руку взял вторую корзину. Окини-сан подперла двери лачуги палкой, они тронулись. Быстро темнело, в зелени садов разгорались фонарики, украшенные паучками иероглифов с именами домохозяев. В квадратах растворенных стенок Коковцев не раз видел сидящих точно в центре комнат молодых японок в привлекательных кимоно, они лениво опахивались веерами и ждали, ждали, ждали... Чего?

— Ты очень устал? — спросила Окини-сан.

— Тяжело, — пожаловался он.

За его спиной слышалось ее прерывистое дыхание.

— Не купить ли нам сегодня сакэ, голубчик?

— Хорошо, — согласился Коковцев. — Мы купим сакэ.

Окини-сан сказала, что американцы богатые:

— Они дадут нам деньги, и купим сакэ.

— Если ты хочешь, конечно, мы купим сакэ.

Старуха шла молча, иногда надоедая ему просьбой:

— Не забудь, что нам надо сакэ.

— Да, я помню. Мы выпьем сакэ...

Свободных фунэ у пристани не было. Но рядом садились в вельбот американские матросы спешившие на свой крейсер с берега. Все они были, как на подбор, сытые, холеные, розовощекие, и, глядя на них, Коковцев невольно вспомнил красочный щит рекламы на ревельском пляже: "Я ем геркулес!" Сам же адмирал сейчас мог годиться только

для рекламы: "Я не ем геркулес!" Опустив корзины на пристани, он по-английски окликнул американских матросов:

— Хэлло, подбросьте на вельботе до крейсера...

Американцы с явным уважением к старому человеку подхватили корзины с пристани, помогли ему спуститься в вельбот. Довольный, что не пришлось тратиться на гребца фунэ, Владимир Васильевич сел на транцевую доску в корме шлюпки, сказав:

— Out! — Он пошутил, но, повинуясь команде, хохочущие матросы вставили весла в уключины. — Hold water! — И весла разом, с шумом загребая воду, закинулись в первом сильном гребке.

Старшина шлюпки треснул Коковцева по плечу:

— Приятель! Похоже, ты из нашего клуба?

— Ты не ошибся, дружище.

— А за какую команду играл?

— Играл за Россию... вот и продулся.

— Ого! Не был ли ты, как и я, старшиною?

— Был... адмиралом.

Крейсер наплывал ближе, с него откинули забортный трап, на нижней площадке которого встали фальрепные, чтобы подхватить пьяных. Вахтенный офицер уже сунул в зубы свисток для объявления штрафа в десять долларов тому из них, кто споткнется на трапе. Вельбот на большой скорости мог повредить весла, и потому Коковцев заранее предупредил:

— Шабаш! End of day's work!

Весла исправно прилегли к борту. Ошвартовались.

— Кто на транце? — крикнул сверху вахтенный офицер.

— Русский адмирал... прачка!

— Помогите старику, если не врет...

На палубе крейсера быстро разобрали чистое белье из корзин. Набежало немало матросов; пихая один другого локтями в бока, они недоуменно показывали на Коковцева; он слышал:

— Надо же так! Русский адмирал... Черт побери, неужели он сам выстирал мои трусы и манишку под галстук?

Вряд ли с какой-нибудь прачкой в Нагасаки расплачивались так щедро, как расплатились сегодня с Коковцевым, который едва

поспевал раскладывать выручку по карманам, не забывая благодарить дающих. Слов нет, ему, конечно, было приятно снова ощущать под собой дыхание корабельных машин, вибрация которых передавалась ногам через прогретый металл палубы. Чуткий глаз профессионала уже отметил конфигурацию крейсерских мачт. Грандиозные и ажурные, они упирались в палубу сразу четырьмя растопыренными ногами, внешне похожие на Эйфелевы башни, внутри их железной арматуры провисали, будто ласточкины гнезда, сигнальные марсы и рубки управления стрельбою. Коковцев знал, что все это — наследие Цусимы, результаты которой перепугали конструкторов американского флота.

К нему подошел вахтенный офицер крейсера:

— Вы и правда были адмиралом русского флота?

— Вам не верится. Могу доказать. Это верно, что в Цусиму японцы сбили мачты наших броненосцев сразу же, как и дымовые трубы. Из этого горького опыта вы напрасно извлекли такое решение... — Он показал на эйфелевы башни мачт.

— В чем дело? Собьет одну ногу, останется еще три.

— Не думаю. Наш флот перенял такие же конструкции мачт у вашего флота, но в первые же дни войны с Германией мы спилили их под корень, вернувшись к обычным мачтам...

Вахтенный офицер сделал ему под козырек:

— В таком случае надо бы выпить, и чем скорее, тем лучше. Офицерский бар крейсера к вашим услугам...

На прощание офицеры положили ему в бельевую корзину две бутылки превосходного виски. Коковцев вернулся на берег:

— Смотри! Ты ведь хотела сегодня сакэ...

Окини-сан стала пить еще на пристани:

— Виски лучше сакэ. Не будем стоять под фонарями.

— Теперь, — говорил ей Коковцев, — я сам буду отвозить белье на корабли. Ты только стирай, отвозить стану я... А не зайти ли нам в ближайшую сунакку, чтобы поужинать?

— Куда же нам идти, если все вокруг так хорошо! Только не отнимай у меня бутылку... Я так устала за эти дни, стирая.

Кажется, они уже миновали Дэдзима, свернули в сторону бухты — к берегу, возле которого покоился старый причал.

— Здесь нету фонарей, — сказала Окини-сан.

На другом берегу загорались огни Иносы, оттуда слышалась музыка, а здесь их никто не видел, звонко повизгивали цикады в кустах, ночные жуки пролетали, светясь, как маленькие ракеты, трепеща крыльями... Коковцев вдруг спохватился:

— А где же наши корзины?

— Ты забыл их на пристани в Дэдзима, голубчик. — Пьяная, безобразная старуха, кривляясь, вдруг начала хохотать, издеваясь над ним. — Ты забыл их в Дэдзима! — кричала она — Ах, как смешно... Но мы не забыли виски! А корзины забыли. Стоит ли возвращаться, если мы не забыли виски?

Близился праздник луны, большой и яркой. С высоты старого причала Коковцев видел, как внизу тихо колышется пленка нефти на поверхности гаванской воды. Лишь на какую-то долю секунды лицо Окини-сан повернулось к лунному свету, и он, казалось, узнал в ней черты прежней и невозвратной женщины... Пошатываясь, Коковцев доставал из карманов деньги.

— Это все тебе, — говорил он. — Видишь, как много? Здесь нам хватит надолго... Может, купим новые корзины?

Окини-сан распечатала вторую бутылку.

— Я давно не видела столько денег. Да, мы купим громадные корзины, а наш кузнечик заживет в новой красивой клеточке.

Коковцев наотмашь ударил старуху по лицу. Она низко присела, но удержалась на ногах.

— Оставайся тут... пьяная ведьма. Я не могу больше так жить! Я ненавижу тебя и всю нашу постылую жизнь...

Бутылка выпала из рук Окини-сан, кулак ее разжался, и ветер развеял деньги над нефтяной пленкой воды.

— Я так и знала, — тихо сказала она. — Никто не может...

Со стоном вдруг обняла его — страшно крепко.

— А разве я могу? — раздался ее крик.

В кустах затихли цикады. Коковцев ощутил костлявые ключицы, исчахшую грудь уродливой старухи.

— Прости, — ответил он ей, плача.

— А ты не виноват. Виновата лишь я, рожденная в ужасный год Тора... Ты сам должен простить меня!..

В поведении женщины что-то изменилось.

— Ты не можешь? — переспросила она. — А я?

Над Иносой разгорались огни, слышалась музыка.

— Отпусти меня, — сказал Коковцев.

Стоя спиною к обрыву причала, женщина склонялась над морем, продолжая удерживать его в своих объятьях.

— Не бойся... не надо, — шепнула она.

Только сейчас его охватил ужас.

— Не держи меня! — успел крикнуть он.

Короткий всплеск и холодный мрак. Третий раз в жизни море забирало его к себе. Он не вытерпел, жадно заглотив воду в легкие. Угасающее сознание еще было способно отметить, что Окини-сан, припавшая к нему, вдруг захотела вернуться обратно.

Куда? К своей лачуге? К свету луны? К своему кузнечику?..

Коковцев сам удержал ее на илистом дне гавани, забросанном бутылками, разложившейся падалью и консервными банками. Там, среди отбросов большого города, они и затихли, еще шевелясь и вздрагивая в агонии, пока глаза не закрылись в усталом сне — глубоком и безнадежном.

Где-то очень далеко звучала веселая музыка.

Жизнь продолжалась, но это была уже не их жизнь!

Через несколько дней местная газета коротко сообщила в числе городских происшествий, что море выбросило два трупа. Полиции удалось опознать в них известную когда-то куртизанку из Иносы по имени Окини-сан и русского адмирала, имевшего честь удостоиться от божественного микадо ордена Восходящего Солнца.

Больше ничего. А больше ничего и не надо!